



БИБЛИОТЕКА
ТОМСКОЙ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ

II



Библиотека
томской поэзии
и прозы

Издание Томской писательской организации

Библиотека
томской поэзии
и прозы

ТОМ
2

Тамара Калёнова
Сергей Заплавный
Владимир Шкаликов
Николай Игнатенко

ТОМСК
2018

ББК 84(2Р)6
Б59

Т. А. Калёнова, С. А. Заплавный, В. В. Шкаликов, Н. А. Игнатенко. Библиотека томской поэзии и прозы. Литературно-художественное издание — Томск, 2018. — 444 с.

Литературно-художественное издание
«Библиотека томской поэзии и прозы»
издаётся при поддержке
губернатора Томской области
Сергея Анатольевича Жвачкина

Тамара
КАЛЁНОВА

По следу Рыбки

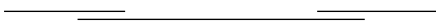
Деревянный маузер



Тамара Александровна КАЛЁНОВА

Калёнова Тамара Александровна родилась в г. Новосибирске 26 апреля 1941 г. После окончания средней школы работала подручной каменщика, лаборантом на строительстве Академгородка под Новосибирском. Выпускница историко-филологического факультета Томского государственного университета. Преподавала русский язык и латынь в томских вузах. Руководила литературным объединением «Молодые голоса» Томского политехнического института (ныне университет). Автор более 20 прозаических книг; в их числе исторический роман в двух томах «Университетская роща», повествующий о создании первого в Сибири университета, возникновении научных школ, о жизни старинного студенческого Томска. Лауреат Всероссийской литературной премии им. В. Я. Шишкова. Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры РФ.

В настоящее издание включены повести для детей и юношества, овеянные романтикой дружбы и поиска.



По следу Рыбки

Повесть

Дочери Ульяне посвящается

1

Короткая дорога к пастбищу спотыкается на кочках, в двух местах утопает в рыже-буrom болотце и затем, перебравшись через ручей по бревну, малозаметной тропинкой ныряет в дикий малинник.

Длинная дорога тянется от посёлка через переезд, широкой гравийной полосой. Возле нижнего склада, где «козлы», огромные краны, похожие скорее на жирафов, чем на козлов, таскают связки брёвен и где накапливаются штабеля древесины и посвистывают паровозы, толкая гружёные лесом платформы, — эта дорога закручивается восьмёркой, соединяя склад, станцию и посёлок Лесной.

Вале нравится короткий путь. Тихо. Таинственно. И кажется, что здесь ещё не ступала нога человека.

Особенно любит Валя переправу через ручей.

Бревно старое, местами изъеденное древоточцами, но ещё крепкое. Лоснится в утренней росе, как жиром смазанное. Вот-вот сорвётся нога — и полетишь в сонное зеркальце тёмной воды, и твоё отражение раздробится, рассыплется на множество осколков-брызг...

Вот и середина бревна. Валя остановилась, замерла. И вдруг, неожиданно для себя, раскинула руки и плавно стала поднимать ногу, наклоняясь в «ласточке». Отражение в воде повторило её движения. Соскользнувшая с плеча коса, будто морской канат, соединила девочку с её водным портретом...

— Уй ты, балерина! — сказал кто-то совсем рядом.

Валя потеряла равновесие, «захлопала крыльями» и, чтобы не свалиться в воду, быстро-быстро пробежала остаток бревна. Уже на берегу споткнулась и упала.

В малиннике мелькнула хитрая толстощёкая рожа Кудоя.

— Что, кукукнулась с ноги на нос? — поинтересовался он.

В просвете веток проявилась ещё одна физиономия — Сенькина.

— Поздравляем с мягкой посадкой! — ухмыльнулся и этот, и его длинное губастое лицо поплыло, словно изображение в телевизоре. Такая у Сеньки улыбка, так меняет она его ничем, в общем-то, не примечательную внешность.

— Ну и глупо, — буркнула Валя, потирая ссаженную коленку.

Настроение у неё испортилось. Что-то уж больно часто на её пути стали попадаться эти двое.

— Валька, а Вальк... А ты куда идёшь-то? — вылез из кустов Кудой.

— Тудой, куда Кудой кудят не гонял, — отрезала Валя и двинулась дальше.

— Ага, — не обиделся на дразнилку Кудой. — И нам туда же. Да ведь, Сеньк?

Ну, всё, теперь от них не отвяжешься.

За болотцем комаров стало больше: будто летающий муравейник... Валя сердито замахала берёзовым веничком и побежала по тропинке.

Мальчишки — следом. Едва не наступая на пятки. Нарочно. Назло. Сенька даже прутиком пожвиковал, как пастух, который гонит отбившегося телёнка в стадо.

В их шестом классе... Нет, теперь уже в бывшем шестом классе Кудой и Сенька, пожалуй, самые беспокойные и слабоуправляемые личности. Особенно Сенька, а точнее, Арсений Корнеев. То двойку выловит, то пятёрку. То у него русский хромает, то физика. То окно разобьёт, а то смастерит полочку для химреактивов — залюбуешься... Может сорвать полкласса с уроков и увести в тайгу за шишками. А может лучше всех работать на воскреснике и забить одиннадцатиметровый в футбольном матче с восьмиклассниками. Всё у него шиворот-навыворот.

А Витька Семёнов — Кудой — в классе вроде клоуна. Что ни скажет, все смеются. После каждого теле- или кинофильма у него обязательно появляется коронная фраза: «Ну и рожа у тебя, Шарпов!» либо «Разберу на запчасти и скажу: так и было», или «Танцуй назад...». Лепит её к месту и не к месту. Пока новый фильм не посмотрит.

Прозвище своё он получил в четвёртом классе. Вызвал его Геннадий Фёдорович отвечать по русскому языку. Написал Витька предложение на доске. Вроде бы всё правильно. Стоит, ждёт отметки.

Геннадий Фёдорович и говорит:

— А теперь, Семёнов, разбери по членам предложения...

— Пожжалста! — сказал Витька и лихо разметал все члены предложения.

— Постой, постой, — учитель даже за рукав его придержал. — Какой член предложения к у д а?

— Дополнение, — не моргнув глазом, отрапортовал Витька.

— А часть речи?

— Существительное!

— Может быть, ты подумаешь...

— И думать нечего: существительное!

— Тогда склоняй...

Геннадий Фёдорович покачал головой и пошёл к столу за журналом.

— Именительный — к у д а. Родительный — к у д ы. Дательный — к у д е. Винительный...

Как дошёл Витька до творительного к у д о й, так весь класс и грохнул. Пол-урока смеялись. И учитель вместе с ними.

Так Витька Семёнов стал Кудоем. Прозвище прилипло к нему, даже имя стали забывать. Кудой да Кудой. Раньше толстяком дразнили — Витька сильно обижался. А теперь ничего, даже доволен. Ещё и подыгрывает, сам под «кудоя» подставляется. Вот как сейчас...

Дружбу свою Семёнов и Корнеев начали с драки. Теперь не разлей вода. Такие вот дела с этой «двоицей».

2

Пастбище, или как в посёлке говорят, летняя дойка, открылось взгляду внезапно и радостно. До поры до времени тропинка таилась в полусумраке густого леса — и вдруг вырвалась на простор, на волю, под жаркое солнце, на зелёный косогор, по которому не спеша бродили коровы и телята, пощипывая траву.

Приметив под навесом знакомый белый халат, Валя побежала:

— Ма-ма!

Александра Тарасовна обернулась в сторону леса, поднесла ко лбу ладонь козырьком и стала вглядываться против солнца: кто там бежит, размахивая ветками?

Ну, конечно же, Вáлюшка — мала, как вáрежка...

Александра Тарасовна улыбнулась, вспоминая, как свекровь впервые взяла на руки спелёнутую Вáлю и сказала:

— Кака ж ты махонька! Будто вáрежка...

Она же и имя внучке дала. И всегда произносила его именно так, с ударением на первом слоге: Вáлюшка.

— Ма! — Валя с разбегу уткнулась в материно плечо. — Это я!

— Да уж вижу, — ласково усмехнулась Александра Тарасовна. — Эк боднула — чуть не с ног долой! Летишь, словно телушка...

И отвела с разгорячённого лба дочери своевольную прядь

тёмно-русых волос. Бывало, в детстве и у неё самой тоже торчал такой «вопросительный знак», выбиваясь из-под шапки или косынки, да с годами улёгся под платком, утихомирился. Осталась лишь на косом проборе небольшая зальсинка: словно телёнок лизнул и пригладил. Вот и у дочери наметилась такая же...

— Ну, где твои? — нетерпеливо вывернулась из-под материнской руки Валя. — Какие они? Сколько?

Александра Тарасовна пожалала плечами:

— Двадцать две головы... А какие — сама увидишь, — лицо её стало строгим. — А тебе почему дома не сидится? Чего прискакала?

— Помогать!

Мать покачала головой:

— Помощница... Ну, пошли...

Редко, но случается порой так, что животноводческую ферму обновляют: заводят сразу много новых коров. Трудное это время. Дояркам и скотникам нужно присмотреться к своим подопечным. Да и животным тоже свыкнуться надо — меж собой и с людьми, с новым местом.

Целыми днями Александра Тарасовна пропадает теперь на ферме. Валя даже дома за неё хозяйкой сделалась.

— Тарасовна! Дело есть! — оповестил ещё издали Пётр Парфёнович Корнеев, пускаясь наперерез Найденцевым, матери и дочери.

В сапогах гармошкой, в стареньком галифе и пёстрой ситцевой рубаше, под широкополой соломенной шляпой, с пышными усами на тощем лице, бригадир Корнеев, родной Сенькин дядя, выглядел городским человеком, обряженным нарочито по-деревенски, словно персонаж из кинокомедии. Однако Пётр Парфёнович обладал отнюдь не комическим характером...

Валя не любила мамино начальника.

Догнав Найденцевых возле загородки, он остановился, вынудив остановиться и их, не спеша снял шляпу и долго вытирал мокрую лысину платком. Потом водрузил шляпу на прежнее место и эдак скучно, с наигранным безразличием, глядя в сторону, произнёс:

— Не подоишь ли бесхозную коровёнку, Тарасовна? Вон ту чернуху, которая в углу жмётся. Два дня не дёбена. Вымя вон как разбарабанило...

— Два дня? — удивилась Александра Тарасовна. — Что ж так?

Она вопросительно поглядела на доярок, стоявших поодаль, но те промолчали.

— А не допускает никого, — охотно объяснил Корнеев. — Вче-

ра станок разобрала. Норовистая! — и льстиво добавил: — Может, тебе дастся? Ты ж у нас в этом деле генерал! А, Тарасовна?

Станок — прочная, испытанная деревянная загородка, в которую загоняют животных для осмотра или для дойки. Разобрать его копытами либо рогами — это надо силу иметь...

Валя подёргала мать за рукав халата:

— Не надо, а...

Пётр Парфёнович заметил её движение и как бы невзначай, шутливо, но больно потрепал Валю по голове:

— Ты, Валюха, опять здесь? И не скучно? Шла бы в посёлок, с ребятишками поиграла бы...

Только что не сказал вслух: не мешайся, дескать, малявка, не лезь по взрослые дела.

— Не скучно, — ответила Валя и спряталась за мать. — Сами бы и подоили! Чего ж два дня ждали?

Доярки засмеялись, а Пётр Парфёнович громче всех. Он однажды «подоил» корову — до сих пор отметина со лба не сошла.

— Будет тебе, доченька, — миролюбиво сказала Александра Тарасовна. — Неси скамеечку.

Не торопясь, она застегнула на все пуговицы халат. Подправила опавший узел сидящих тёмно-русых волос на затылке. Потуже подтянула концы белого платка. Сняла с жердины коротенькую верёвочку и пошла за коровой.

Увидев её, чернуха наклонила голову и угрожающе замерла.

— Что ты, что, моя хорошая? — ещё издали негромко заговорила Александра Тарасовна. — Не бык ведь, корова... Зачем людей пугаешь?

Корова нервно облизнула широкий нос, прислушалась.

Мать снова сделала несколько шагов.

Корова попятилась в самый угол загона и направила к земле рога.

Валя схватилась руками за жердину, с тревогой ожидая, что же будет дальше...

— Вот и ладно... Вот и сговорились, — тем же ровным и добрым голосом приговаривала мать.

Ловким и незаметным движением она накинула верёвочку на острые рога, повернулась к коровьей морде спиной, легонько потянула — и повела животное за собой. Так, словно проделывала это с нею не раз.

И чернуха подчинилась. Только ноги её, тонкие и мосластые, будто одетые в белые гольфы, сильно дрожали.

В станке тоже поначалу всё пошло благополучно. Корова дала себя погладить по шее, по бокам... Казалось, не обратила внима-

ния на то, что мать сняла с гвоздя доильный аппарат и начала прилаживать его к вымени.

Но едва Александра Тарасовна подставила подойник, чернуха к-а-к даст задней ногой! Аппарат — в одну сторону, ведро — в другую.

Доярки, собравшиеся поглядеть, как Тарасовна будет раздаивать упрямицу, дружно ахнули.

Корнеев выронил портсигар.

Валя зажмурилась.

Когда открыла глаза, то удивилась: в станке, казалось, ничего не произошло. Мать по-прежнему сидела на скамеечке, перед нею стояло ведро. А доильный аппарат снова висел на гвозде, будто его и не снимали.

— Не нравится? И правильно, — разговаривала мать с коровой. — Давай по-другому...

Она осторожно огладила вымя руками, смазанными вазелином. Легонько потыкала в него кулаком — словно бы телёнок головой... Снова погладила. Потом бережно потянула за дойки.

Коротко и резко дзенькнула в пустое ведро первая струя молока.

Корова дрыгнула правой задней ногой... Но мать успела выставить плечо и уберегла подойник.

Дзень... дзень... дзень...

Это продолжалось долго.

Чернуха била себя по ногам лохматым хвостом, беспокойно переступала, крутила головой. Несколько раз пробовала поддеть подойник копытом, но всякий раз натыкалась на мягкое плечо Александры Тарасовны и... сдерживала удар.

Наконец мать распрямылась. Медленно встала. Ногой отодвинула скамеечку. Передала женщинам через станок ведро с молоком. Затем вернулась к корове, смахнула с её морды комаров и мух.

— Красавица ты моя... Умница... Ступай, отдохни, бедняжка...

И выпустила чернуху на свободу.

Тут все обступили Александру Тарасовну, заговорили:

— Ты глянь, послушалась!

— Не иначе, Шура, ты слово какое знаешь?

— Забеседовала...

А Корнеев пот с лица вытер, головой покачал:

— Сколь времени тебя, Тарасовна, знаю, столь и удивляюсь! Ты ж меня сейчас чуть не уморила!

— Я? Вот так новость, чем же? — усмехнулась мать.

— Как чем?! — Пётр Парфёнович даже голос возвысил. — Ду-

мал, зашибёт ведь тебя чернуха! Даст копытом — и пожалуйста... А ты хоть бы голову отвернула, хоть бы побереглась! Как нарочно. А у меня, веришь ли, от страха до сих пор рубаха к телу не прилегает! Во!

Все засмеялись, а мать нахмурилась и спросила:

— Скажи, Пётр Парфёнович, только честно... Кто чернуху до меня доить пробовал? У кого это она станок разобрала?

Корнеев и голову опустил. Молчит.

— У Зинки Степановой! У кого же ещё? — вместо него ответила тётя Нюра. Прошлой весной её торжественно проводили на пенсию, а сейчас снова позвали — хотя бы временно поработать, и она вышла. Что ж делать, если не хватает людей...

Зинка Степанова — свояченица Корнеева. Сестра его жены. Ох и сердитая! Все у нее «твари», «чертовки», «ухоплясы»... И коровы, и люди. Палку из рук не выпускает, вот какая. Валя за это её терпеть не может.

— Эх, Пётр Парфёнович, — с неодобрением сказала мать. — Не раз тебе говорили: убери Степанову. Она шоферить умеет, пусть корма к ферме подвозит. Без работы не останется. А ты что?

— А что я, что? — заволновался Корнеев и глаза в сторону повёл. — Разве я не беседовал?

— Беседовать мало. Управлять фермой надо, — сказала тётя Нюра. — По-мужски. А то у нас мужики нонче пошли... Научились только бумажки ворошить. А верховодят ими бабы.

— Ладно, ладно... Разговорились! Тут, понимаешь, дети кругом! — Корнеев дёрнул подбородком в сторону Вали. — Лучше скажи, Тарасовна, берёшь ты к себе эту брыкалку? Или нет? Записывать за тобой?

— Записывай, — вздохнула мать, потирая плечо.

— Тогда кличку давай! — обрадовался Корнеев. — В книге учёта как обозначить? Чернуха, что ль?

— А вот об этом мы у Вáлюшки спросим, — остановила его мать. — Она у меня кличками заведует.

Все посмотрели на Вáлю: ну, что ж ты молчишь?

А на неё отчего-то вдруг напала робость. Одно дело с матерью наедине говорить, и совсем другое — на людях...

— Ну, доченька, смелее, — ободрила Александра Тарасовна. — Как чернуха тебе показалась? Строгая?

— Строгая, — согласилась Валя. — Это уж д-а-а...

— Вот и ладно, — сказала мать. — Стало быть, так и запиши, Пётр Парфёнович. Строгая.

Корнеев развёл руками: Строгая так Строгая. Какие могут быть возражения? Это право доярок называть своих коров.

Так среди группы коров Александры Тарасовны появилась Строгая, лишняя по счёту...

3

Домой Валя возвратилась на грузовике с флягами. Она бы ещё осталась на летней дойке, да огород полить надо. Отец нынче работает на эстакаде в две смены, вторую — за крановщика, гулявшего свадьбу.

Раз надо — значит, надо.

Валя переобулась в резиновые чоботки, сняла с крючка в сенцах коромысло, взяла вёдра — и к колодцу.

А там — вот так совпадение! — её подружки, Нина и Катя, сёстры-близнецы Абачины.

— Привет! — обрадовалась Валя.

— Привет. Где пропадала? Опять на ферме? — Абачины тоже обрадовались.

— Ага. А вы что делаете? Огород поливаете?

— Ну. Надоело уже. Таскаем, таскаем...

— И мне надо. Папка в две смены сегодня. Напарник у него жениться вздумал.

— Не горюй! Мы уже заканчиваем. Жди, придём помогать.

Девочки наполнили вёдра и разошлись в разные стороны, довольные тем, что скоро соберутся вместе.

Огород у Найденцевых устроен, как у большинства жителей Лесного, по-северному. Гряды высокие, унавоженные, обиты досками. И дорожки меж ними тоже из досок. Во-первых, земли хорошей, пригодной для выращивания овощей, в болотистой тайге не так уж и много. Во-вторых, дождями размывает меньше. В-третьих, удобнее поливать. Идёшь себе по деревянным дорожкам с лейкой — и ноги сухие. Красота.

Валя потащила полную лейку в дальний угол, туда, где обычно располагались огуречные ряды. Нынешним летом здесь отец посадил арбузы. Самые настоящие. В Лесном о таком деле прежде никто и слухом не слыхивал. А отец привёз арбузные семечки из Черепанова, из Новосибирской области. Посадил — и вот, гляди-ка, растут!

Поставив лейку, Валя бережно раздвинула сильно изрезанные, словно снежинки, грубоватые шершавые листья. Её взору предстали шесть одинаковых тёмно-зелёных полосатиков. Все они выросли на одном трубчатом канате, который так прочно закорился, что его невозможно даже стронуть с места. Да и зачем страгивать? Пусть ползёт куда хочет, выставляя вперёд свои усики-антенны...

Валя погладила ближний шар по глянцевиному боку. Небольшой, вдвое меньше волейбольного мяча, с тоненькой корой, но — арбуз! Его ни с чем не спутаешь!

Огород — увлечение отца. Раньше, правда, было у него ещё одно... Как и теперь, он тогда тоже любил повозиться на участке, но время от времени «подбадривался». А бутылки прятал в кустах малины или смородины. Осенью, когда листья опадали, они как бы «прорастали». Мама плакала, отец отмалчивался. Однажды маленькая Валя в детском саду рассказала, что у них на огороде растут лук, бобы, сладкий горох и красивые пустые бутылки... Когда отец услышал это собственными ушами, то несколько дней ходил мрачный, будто чужой, а потом сказал: всё! И с тех пор увлёкся огородом по-другому. Стал отовсюду привозить какие-то семена. То картофель «нарымский» сорт, то саженцы облепихи и стелющихся яблоней с Алтая, то рассаду помидоров «бычье сердце»...

Правда, получалось у него не всё и не всегда так, как ему хотелось. Раз он посадил огурцы. Ухаживал за ними, поливал, прищипывал, а побеги пошли какие-то странные... Вверх по стенке уборной, по сараю — и аж на крышу усы перекинули! А в конце июля свесился оттуда один-единственный огурец, но какой! Словно толстая плеть. Шестьдесят один сантиметр! Оказалось, отец перепутал длинноплодный «Сюрприз» с «Нежинским».

Теперь вот — арбузы.

Управившись с поливом морковки и лука, выпустившего подозрительно много толстых дудок с шишками-семенами, Валя оставила лейку и снова взялась за вёдра.

Принесла воды и стала ковшиком разливать по лункам, где росли помидоры. Ей нравилось больше так: ковшиком. Будто по тарелкам раскладывать еду малым детям.

— А вот и мы! — перегнулись через забор Катя и Нина.

Их рыжеватые пушистые хвостики, схваченные на затылке аптечными резинками, дружно и приветливо кивнули тоже: вот и мы...

Валя очень любит сестёр Абачиных. Катю — за увлечённость, с которой она бралась за любое дело. Нину — за спокойный и рассудительный нрав. Сёстры такие разные и... такие внешне одинаковые! Кроме пушистых хвостиков (Валина мама называет их заячьими), у девочек совершенно одинаковые светло-коричневые глаза, красивые, будто нарисованные губы и прямые, как у маленьких дятлов, носы. «Две Буратины», — дразнят Абачиных поселковые мальчишки, за что Валя схватывалась с ними не раз.

— Заходите! — махнула подружкам рукой Валя. — Я сейчас! Только помидоры остались...

Катя и Нина взяли второе ведро и тоже стали поливать — с другого конца, чтобы навстречу.

Работать втроём — одно удовольствие. Через полчаса не осталось ни одной сухой лунки. Столкнувшись лбами над последней, девочки радостно и освобождённо рассмеялись: ура! конец! кончил дело — гуляй смело. И на речку успеть можно. Солнце-то вон где, ещё над лесом висит.

И побежали за купальниками.

4

Река Лисица возле посёлка делает небольшую петлю. Если идти к ней по улицам через центр, то будет километров пять; это как бы вдоль петли получается. А если огородами, через дыры в заборах, то втрое короче. Конечно, это если сердитый окрик кого-нибудь из хозяев не перекроет, словно шлагбаумом, дорогу. Тогда уж придётся поворачивать назад, да ещё извиняться.

На этот раз девочкам повезло. Ни одного «шлагбаума» на всей трассе, путь открыт!

На ходу сбрасывая одежду, Катя, Нина и Валя промчались по берегу и одна за другой булькнулись в согретую за день воду.

Коричневатая, как все таёжные речки, неглубокая и не очень широкая, Лисица огласилась смехом, визгом, шлёпаньем по воде. Скопившаяся к вечеру мошка и комары, хоть ненадолго, но разорвали свой надоедливый хоровод, потеснились от берега.

Валя перевернулась на спину, подгребая руками и ногами. Какое хорошее в Сибири небо... Нежное, зеленовато-голубое, как таёжное озерцо на рассвете. Его скромную красоту не сразу заметишь, а всмотришься — взгляд отвести нет сил. И солнышко незлое, не печёт, а именно греет. И подружки у Вали самые-самые замечательные! И хорошо, что август, золотое времечко, когда и в школу уже хочется, и до школы ещё далеко: всю законные каникулы...

— Ва-ля! — в два голоса дружно закричали Катя и Нина. — Ты куда-а-а?

Валя приподняла голову и увидела, что незаметно для себя далековато отплыла от песчаной косы, и что сёстры вышли на берег, машут ей руками, зовут обратно. А с ними ещё кто-то. Тоже прыгает и мотает руками. Ну конечно же, это Розка Степанова!

Валя отвернулась и упрямо поплыла вперёд. Пусть попрыгают, пусть подождут, если опять с Розкой помирились...

Плавала она хорошо. Лучше всех девчонок в посёлке, правда,

чуть похуже Сеньки Корнеева, чемпиона школы. На спор переплывала Лисицу пять раз без отдыха. Дольше многих лежала на дне с железным колесом, испытывая дыхание. В этом она уступала опять-таки только Сеньке да ещё Кудюю, который брал в себя столько воздуха, что раздувался и лежал на дне, словно пузатый карась. А Розка плавает, как лягушка, у берега, а дальше — ни-ни.

Ох уж эта Розка!

«Полуподружка-полунет, — говорят про неё сёстры Абачины. — Такая привязчивая! Куда мы с Валею, туда и она!».

А вчера Валя с Розкой чуть не подрались. Из-за телёнка. У Степановых на подворье растёт тощий, вечно голодный телёнок. Ходил он, ходил по ограде, набрёл на розкины учебники, брошенные в летней кухне, да и сжевал «Математику». Вот Розка и принялась его прутом охаживать: «Ах ты, дохлятина! Ухопляс паршивый! Ну, я тебе, жевуну сопливому, покажу!...». Как мать её, Зинаида Степанова, так и Розка ругается.

Валя не утерпела, заскочила в степановский двор, схватила пучок крапивы и начала стегать Розку по босым ногам: «Вот тебе! Вот! Ну, как? Не нравится?». «А ты... а ты... — растерялась Розка, — Уходи с моего двора! Коровья нянька!»

Ладно. Коровья нянька так коровья нянька.

А сегодня — гляди ты! Розка опять прилепилась. И, главное, Абачины её приняли.

— Ва-ля! Плыви обратно!!! — в три голоса продолжали звать с берега. — Ну хва-а-тит...

По-мальчишески ловкими и резкими сажёнками Валя дала небольшой круг и повернула к берегу.

— А ты, как настоящая чемпионка, — льстиво похвалила её Розка, когда она деревянными ногами выбиралась из воды.

Валя не удостоила её даже взглядом.

— Ну чё ты, — забормотала Розка, идя следом. — На коровью няньку дуешься? Так я ж пошутила! Подумаешь, из-за какой-то дохля... Ну, не буду, не буду! Сказала — не буду!

— Чего не будешь? — остановилась Валя. — Животных бить? Обзывать? Кидать где попало учебники?

— Скотину бить не буду. Обзывать — тоже. Учебники — моё личное дело, — оттараторила Розка. — Ну, прости меня, Валь, а? Мне ведь тоже больно. Вон какие на ногах волдыри... Мамка спрашивает: откуда? А я молчу...

Она повисла у Вали на плече, простодушно заглядывая в глаза.

Вот и повоюй с такими... Чуть чего, сразу «прости». Знает, что Валя не умеет долго сердиться. Если, конечно, человек честно подойдёт и извинится.

Девочки долго лежали на остывающем белом песке. Не хотелось ни двигаться, ни разговаривать. Особая, предвечерняя тишина опускалась на землю. Одна за другой умолкали дневные птицы. Тени от кустов поползли к воде, словно бы сами растения вдруг начали удлиняться. Нет, не прибавил тальник в росте — это солнце, коснувшись гребенчатой стены леса, посылало скользкие лучи, от которых сильнее зеркалила вода, а тени становились протяжённее. Вот-вот потускнеют рябиновые краски заката — но темнота наступит ещё не скоро, почти под утро. Северная белая ночь хоть и пошла на убыль, да всё ещё сильна, светозарная.

С мягким шипеньем уходили сквозь песок некрупные волны. Где-то недалеко вода чмокала и хлюпала в береговую впадину. Играла, неожиданно всплёскивая, стайка щурят.

Закрыв глаза, Валя слушала привычные звуки, почти не замечая их, и думала о своём.

5

В прошлом году впервые она получила пятёрку за сочинение по литературе. А дело было так...

Прибежала как-то Валя на ферму и видит, что мать занята — йодом смазывает шею Марте. «Ма! — закричала Валя. — Послушай...». Дальше сказать не успела — корова испугалась и... наступила ей на ногу. Тихая, добрая Марта, казалось, сама перепугалась, увидев, что натворила. Вытянула к Вале бело-рыжую морду, уши поджала... Хотя Валя сама была виновата. Мама столько раз говорила ей, что нельзя при животных резко голос повышать, сначала надо ласково окликнуть, обратить на себя внимание, и тогда корова не обидит.

Пришлось проваляться в постели дней десять. Нога заживала медленно. Валу часто навещали и ребята, и взрослые. Даже Пётр Парфёнович как-то заглянул, варёных шишек принес.

— Лежишь? — говорит. — Ну, лежи, лежи... У одного спрашивают: «Ты где провёл отпуск?» — «Половину в горах». «А другую?» — «В гипсе». Смешно, правда?

— Смешно, — без улыбки согласилась Валя. — Очень.

— А я что тебе говорил? — не понял её иронии Пётр Парфёнович. — Не крутись возле коров! Займись своим делом!

— А может, это и есть моё дело?

— Ну, ты молодец... — он с удивлением посмотрел на неё. — Мой Арсений в мореходку нацелился, Розка Степанова — в манекенщицы, а ты, значит, на ферму? Похвально, похвально. Одобрю.

А у самого по глазам видать, что не одобряет и не верит ни единому её слову. Ну и пусть не верит.

Оставшись одна, Валя долго думала. Может, и правда, это её дело? Бабушка всю жизнь коров доила. И мама.

Она где-то читала, что в далёкие времена «дочь» означало «до-ящая». С малолетства девочек приучали к женской доле — ходить за коровами, за домашним скотом. И дело это считалось очень сложным и тонким, требующим особых знаний и мужества. Валя знала, что домашние коровы и быки произошли от дикого тура. А это гордое, очень сильное и свободолюбивое существо. Недаром буйволы, нынешние потомки туров, умны и бесстрашны. С самим тигром в схватку вступают! И очень преданны человеку и послушны.

В древнем мире быки и коровы считались священными животными. «За исключением короля, нет ничего выше коровы», — считают до сих пор африканские племена ватусси. И в самом деле, что король? Он не сможет прокормить племя, а стадо коров — да.

В старинных книгах персов ещё лучше сказано: «В коровах наша сила, в коровах наша потребность, в коровах наша пища, в коровах наша одежда, в коровах наша победа».

Персидские книги Валя, конечно же, не читала, в Африке не была, но эти слова учителя литературы Геннадия Фёдоровича запомнились ей сразу. Выходит, и мама, и тётя Нюра, и такие как она, и даже крикливая Зинаида Степанова, — все они изо дня в день, всю свою жизнь работали и работают для победы всего народа. И неважно, что сейчас не военное время, — для победы!

О многом тогда подумала Воля, оставаясь одна. Мысли её были порой чёткие и простые, порой неясные.

А потом она пришла в школу. Прозвенел звонок. Для Вали — словно музыка прозвучала. Даже не верилось, что он часто бывал (раньше, до болезни) и надоедливый, и невпопадочным.

Первый урок — урок литературы.

— Пишем сочинение! — объявил Геннадий Фёдорович радостно и немного таинственно. Он любил этот вид работы и был уверен, что класс разделяет его чувства.

Валя не разделяла. Сочинение для неё было мукой. В её тетради слова почему-то выглядели неуклюже, нелепо, как развалившаяся поленница. Мысли рождались куцые и невнятные. Эпиграф — днём с огнём не найдёшь. А тут ещё почерк... Мелкий, корявистый.

— Найденцева, что ты там шифруешь? — упрекал её Геннадий Фёдорович. — Пиши крупнее, не стесняйся!

Крупнее... Значит, и мысли должны быть крупнее.

— Найденцева, на прошлом уроке мы говорили о взаимоотношениях человека и природы, — подошёл учитель к Вале. — Читали стихи. Ты, конечно, имеешь право не писать сочинение. Но ты попробуй. Выскажи свои мысли. Как ты понимаешь отношение человека к природе? И наоборот... Вспомни книги, кинофильмы, стихи о природе. Пофантазируй. Хорошо?

— Попробую, — сказала Валя. — Обо всём, обо всём можно? Как на свободную тему?

— Конечно, можно. Ну, работай, Найденцева. Не теряй времени.

Валя раскрыла тетрадь. Скосила взгляд — сосед по парте бодро строчил: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у неё — наша задача».

Оглянулась — Сенька Корнеев уже вывел заголовок: «Лес — наше богатство!».

И у Нины Абачиной готово — «Русское поле»...

Задумалась.

О русском поле, о берёзках и о «хлебном дереве» кедре, пожалуй, и она смогла бы написать. Только странно: почему большинство людей воспринимают природу только как лес, поле, реку?.. А животные? Это ведь тоже природу. И не только те, которые в тайге живут. А ферма — тоже природа? Точно. Природа, созданная руками человека. Значит, у человека могут быть и такие с ней отношения. Не только брать, но и создавать...

Мысль, кажется, правильная. Вот только... Как её в слова уложить?

Где-то она читала, что постоянное общение с животными похоже на совместное путешествие...

А что если так и озаглавить: «Совместное путешествие»? И рассказать о маминых коровах. Написать, что человек и коровы, и лошади, и всё-всё-всё живое — это родня. Засмеют? Но ведь так оно и есть: родня.

Нет, лучше написать просто: «Однажды произошёл такой случай...».

Валя подумала и нерешительно вывела первую строчку:

«Однажды произошёл такой случай. От совхозного стада отбилась Зорька. Она была с телёнком. Телёнок баловался, стал уходить от неё подальше и забрёл на машинный двор. А из ворот пятился колёсный трактор с прицепом. Тракторист не видел, что творится сзади, а может, плохо смотрел, но по нечаянности он прижал телёнка к изгороди.

Тогда подросла Зорька. Просунула голову сквозь жерди и упёрлась рогами в зад прицепа. И громко замычала.

Тракторист понял, что случилось что-то, и затормозил. Когда он выскочил из кабины, подошёл к изгороди, то увидел, что Зорька сдвинула прицеп в сторону и освободила своего телёнка. И что у неё сломан рог и течёт кровь.

Тракторист отвёл машину, наругал телёнка, прогнал на пастбище. Вроде бы всё обошлось. Случай как случай. Бывает всякое.

Но когда я вижу Зорьку и её сломанный рог, висящий возле уха, я думаю о том, что она очень умная и мужественная. И не только она. Многие животные выделяются своим характером и своим поведением. И человек может многому у них поучиться.

Люди часто восхищаются машинами, автоматами и роботами. Говорят, за ними будущее. Я не спорю, машина — друг человека. Но самые главные его друзья — это, по-моему, всё-таки животные. Может быть, и наступит время, когда их не станет, когда масло будут получать из нефти, а молоко из всякой химии, но я лично не хотела бы жить в таком времени...».

Дальше Валя не знала, о чём ещё написать. Она чувствовала, что случай с Зорькой — это маловато для раскрытия такой трудной темы как «Человек и природа». Подумала и дописала:

«Я хочу быть дояркой. Доярка — это коровья нянька. А няни, как и врачи, и воспитатели, очень нужная и полезная профессия».

Мысль дальше не шла, и Валя поставила точку.

Лучше было бы всё-таки написать о лесе или о речке...

Как же удивилась Валя, когда на следующем уроке Геннадий Фёдорович объявил, что лучшее сочинение — у неё. Что в нём нет ни одной грамматической ошибки, даже все тире и запятыя расставлены правильно, и что он обязательно пошлёт его в районный... нет, в областной центр! Как лучшее сочинение от всей школы!

Вот было радости...

Правда, после этого сочинения и приклеилось к Вале её прозвище — коровья нянька.

Ну и пусть. Нянька так нянька. Зато не манекен ходячий...

6

— Скорей бы в школу, — задумчиво сказала Нина, садясь рядом с Валей на песке. — Что-то лето нынче долгое...

— А мне вот ни столечки! Вот ни полстолечки не хочется в школу! — показала на пальцах Розка, перекатываясь со спины на живот. — Опять диктанты, сочинения, география... Брр! Да и холодно. Опять же в сентябре картошку копать... Веточный корм для фермы заготавливать. Нет, не люблю.

— А что ты вообще любишь? — насмешливо спросила Катя,

приподнимаясь на локтях. — Вот Нина любит книжки. Вале животные нравятся. А тебе что?

— А мне... А мне интересно ни-че-го не делать! — Розка загребла песок под грудь и уткнулась в него подбородком. — Чтобы всё вокруг было тепло, светло и пауты не кусали! Чем плохо? Живи себе да живи!

На её лице, к которому из-за конопушек плохо приставал загар, появилась мечтательная улыбка. Розка была вполне искренна. Она вообще не умела скрытничать: что на уме, то и на языке. В школе её считали красивой. Кудрявые, чёрные, будто вар, густые волосы. Белая или даже бело-мраморная кожа, вся в рыжих, будто солнечных точечках. Но самое удивительное — Розкины глаза. Синие, чуть косящие, такие загадочные и одновременно доверчивые.

Уставится Розка ими, к примеру, на Геннадия Фёдоровича — и гипнотизирует, и гипнотизирует... «Степанова, отвечайте», — просит он. А Розка молчит. «Вы учили стихотворение?» — «Да». «Так отвечайте же!». Она снова молчит. Учитель подумает-подумает... «Ставлю вам... точку, — и вздохнёт: — В следующий раз спрошу обязательно».

Вот как на людей Розкины глаза действуют! Всем нормальным людям «ты» и двойку, а ей — «вы» и точку.

— Значит, чтобы всё вокруг было тепло, светло и пауты не дожимали? Живи себе? — переспросила Нина; она любила определённости. — Ишь ты какая... А работать за тебя другие будут?

— Зачем другие? Пусть машины работают. У нас их вон сколько. И вообще — сейчас какой век? Машинный, — лениво передразнила Розка. — Вот пусть эти самые машины и работают. А я на песочке лежать буду. Лично мне так больше нравится.

— Лодырь ты, Розка! — возмутилась Катя. — И неинтересный человек!

— Молчи уж, интересная, — беззлобно огрызнулась Розка. — Знаем про твои интересы...

«Сейчас поругаются, — подумала Валя. — Сейчас она скажет Кате про театральный — и всё».

Хотела было вмешаться, но Розка сама, на удивление, отступила:

— Ладно, побережём любимые мозоли...

Дело в том, что Катя увлекающаяся натура. Все кружки в школе перепробовала: спортивный, фотодело, библиотечный, вязание... Загорится, полгода позанимается — лучше всех, между прочим! — а потом остынет.

В последний раз надумала в райцентр, за реку, в Дом пионеров ездить. В театральную студию.

— Ты ж картавая, — напомнила ей Розка. — И рыжая. Из-за носа лица не видать.

— Ну и что? — обиделась Катя. — В артисты не только красавчиков берут! Там всякие нужны...

— То ж в артисты, — не унималась Розка. — А ты артисткой хочешь быть. А они сплошь красавицы!

Катя всё-таки стала ездить в райцентр.

— Ой, девочки, как интересно! — делилась она с подругами. — Речь ставят. Дикцию! Нужно только тренироваться каждый день. Вот так: «Мы забор свой красили, кра-а-асили... Кра-а-а-асили, красили...», — и она изо всех сил растягивала свой голос от низа до самого верха.

Через полмесяца связь с райцентром прервалась: тронулась река. А когда наладили паромную переправу, Катя о театральной студии и не вспомнила. Она уже записалась в кружок механизаторов при леспромхозе и с увлечением разбирала двигатель внутреннего сгорания.

Нина — полная её противоположность. Сосредоточенная. Тихая, но въедливая. Пока не докопается до сути, не отступит. Однажды, запнувшись о нечаянный вопрос Вали: «Откуда взялось у нашей речки такое название, Лисица?», — она занялась историей географических названий Сибири и через полгода в кружке русского языка ответила не только на Валин вопрос, но и на многие другие.

Оказалось, что их родная речка получила своё имя потому, что так называли её селькупы, народность сибирская, которая и сейчас на этой речке живёт. А в переводе с их языка Локака — это и есть Лисица. А северную Лымбельку, где собираются открыть новый леспромхоз, можно назвать Орёл-рекой. А Чунджелка — река Дятел. Во как!

Что ни говори, Нина — удивительный человек. В школе её все уважают — и учителя, и ребята. Лишнего слова не вымолвит, а что скажет — всё точно, всё продумано.

Вале до неё далеко.

— Девчонки, а девчонки... Пошли завтра по чернику? — предложила Розка. — Наедемся...

— Можно, — согласились сёстры и вопросительно посмотрели на Валу.

— А пойдёте! — сказала Валя. — С обеда только. А то мне с утра...

— Ладно уж, — хлопнула её по плечу Розка. — Знаем, куда надо с утра коровьей няньке...

Валя сердито поднялась, взяла одежду и молча пошла по бе-

регу. Но Розка со смехом догнала её и повалила на песок. Нина и Катя налетели следом — и получилась куча-мала. А в ней, как известно, обидчиков и обиженных не бывает. Не должно быть.

7

За черникой, однако, девочки выбрались не скоро.

Как догадались подружки, на следующий день Валя отправилась на ферму. В зимних помещениях оставались несколько коров, которые должны были отелиться. Обычно телята появляются весной, в конце мая. Но Марта, Беяна, Зорька и Рогуля, «старушки» из прежней группы, дотянули с этим делом до начала августа.

— Тарасовна, ты где? — позвал в открытую дверь коровника Пётр Парфёнович.

— Она в контору пошла, — вышла к нему Валя. — Соль-лизунец привезли, а рассыпной опять нет. Вот мама вас и ищет.

— А я — её, — вздохнул Корнеев и некоторое время молча разглядывал Валю. — Стало быть, ты опять здесь... И что делаешь?

— Ничего, — опустила голову Валя, не понимая, чем это она так мешает бригадиру.

— А это что? — указал он портсигаром на квадратную щётку в её руке.

— Ну... коров чесала, — ответила Валя. — Нельзя?

— Всё причёсываете, — как-то неопределённо заметил Корнеев. — Может, от этого у вас с матерью коровы шибче доятся?

В его голосе прозвучала насмешка.

Валя вспыхнула.

— Да! И от этого! — с вызовом сказала она.

— Ну-ну, — примирительно произнёс Пётр Парфёнович. — Не сердчай. Сбегай-ка лучше за своей мамкой. Скажи, дело есть, — и добавил: — А что копируешь мать — дело хорошее. Да хлопотно тебе жить будет...

Пришлось идти.

Шла Валя и думала, что жить по-маминому, и правда, дело хлопотное.

Коров Валина мать не выбирает. Какие достались, такие и ладно. Работает, как работала всегда. В любое время, зимой или слякотной осенью, утром или вечером, первая приходит на ферму, а уходит последняя. Шерсть своим бодёнушкам расчёсывает, щётками продирает. Ни единого турнепса, ни картошины во дворе не оставит — всё в тазик соберёт, всё коровам скормит. Да ещё требует: «Везите побольше!». Другие доярки соль-лизунец положат — и ладно. А Александра Тарасовна рассыпную соль фартуком

таскает да в кормушки подкладывает. Чем вкуснее поедят, тем больше попьют. Чем больше попьют, тем больше молока прибавится...

В передовики вышла. Сразу и надолго. «Пожизненно на первом месте!» — говорят о ней в посёлке. Президент районного клуба «3500». Что это значит? Это значит, что когда какая-нибудь доярка надоит за год три тысячи пятьсот килограммов молока от каждой коровы, её в клуб принимают. Почёт и слава.

Только мама говорит, что эта цифра никакой не рубеж. Точнее, рубеж, но не преграда. Сама она по четыре тысячи надаивает... И приводит в пример мировой рекорд: в 1982 году корова из Кубы — по имени Убре Бланка — дала 24268,9 килограммов молока! Необыкновенная корова. Вот как умеют удивлять мир эти коровицы. Конечно, и люди постараться должны: кормить хорошо, ухаживать...

«Молодец, Шура, так и надо, — хвалят маму старики. — Давно ли девчушкой за «мамкиными коровами» бегала? А теперь, гляди-ка, орден заслужила...»

Есть, конечно, и другие шепотки: «Передовичка... Картошку моет, ха! Да чтоб я коровам картошку мыла?! В ледяной воде?! Чтоб я им хвосты чистила? Да я что, враг себе?».

А она мыла. И тяжеленные вёдра с бардой таскала. Её коровы охотно пили барду (остатки от квасо-перегонки), хотя кругом только и слышно: «Ну её к лешему, эту барду! Не пьют ведь, чего таскать?...».

И коров Александра Тарасовна раз в неделю моет. Все над ней подшучивают, даже друзья, а она не отступает. Хвосты коровьи шёлковые делаются, распушатся — хоть в кино снимай.

«Чистюля! Волховка! — не на шутку удивляются доярки. — Мы на пастбище в сапогах идём, прутами коров на дойку сгоняем, а она, видите ли, в тапочках... Покличет: доченьки-и, голубушки-и... А коровы так и плывут к загону. Одна за другой. Впереди вожачиха Строгая. За ней остальные. Да ещё по очереди! Хромая у неё как-то была корова... Лежит, на станок поглядывает. Как Тарасовна последнюю корову выпускает — и она, бедная, подымается. Ковыль, ковыль — на дойку сама становится. Не иначе как Найденцева «слово» какое знает? Волховка да и только...»

Из-за таких пересудов Валя не раз схватывалась с ребятами. Даже со взрослыми в спор вступала. Да разве всем объяснишь, какое «слово» знает её мама? Труд — вот это слово, главное на всю жизнь, самое «секретное». Другого нет. И мать мамы всю жизнь дояркой проработала (так на работе и померла). И мать отца, ба-

бушка Плотя, Плотанида Герасимовна Найденцева, такая же. До сих пор без дела не посидит, в свои восемьдесят два года.

Надо бы навестить бабушку Плотю, поведать...

Маму Валя повстречала недалеко от конторы.

— Мам, тебя Корнеев зовёт! Говорит, дело есть, — ещё издали доложила Валя.

— Странно, — удивилась мать. — Утром виделись, ничего не сказывал. А к обеду и дело обнаружилось... Ну, что ж, надо так надо.

Когда они появились на скотном дворе, Корнеев нетерпеливо похаживал возле тракторной тележки и то и дело поглядывал на часы.

— Наконец-то! — закричал он, увидев Найденцевых. — Решай, Тарасовна, да побыстрее. Как скажешь, так и будет.

Мать с недоумением посмотрела на него. Потом на тележку... Что-то поняла, нахмурилась. Передала Вале тетрадку с записями суточных удоев и раздачи кормов — и легко перелезла через борт.

На тракторной тележке лежал бык. Ноги подогнуты. Голова крепко-накрепко верёвкой прикручена.

— Филя, что случилось? — присела перед ним Александра Тарасовна.

Бык узнал её, голову вывернул и, как кошка, мордой потёрся. А у самого слёзы из глаз...

— Сгружай, Пётр Парфёнович! — скомандовала мать, спрыгивая на землю. — Не отдам Филю!

— Так я и знал, — ворчливо, но с видимым облегчением отозвался Корнеев. — Говорили же умные люди: вези мимо фермы, не показывай Найденцевой... Ты посмотри на его ногу, упрямая голова!

— Не слепее тебя, вижу, — ответила мать. — Всё равно не дам выбраковывать.

— А-а, — махнул рукой Пётр Парфёнович. — Так и быть, сгружайте!.. Но ответственность, Тарасовна, я на тебя возлагаю, учти!

— Возлагай, возлагай, — закивала мать, отвязывая верёвку, которой крепилась к борту голова быка.

Водитель поднял платформу — и Филя, как с горки, съехал на землю.

Корнеев проворно уселся в кабину, высунул голову из окна:

— Я на обеде, если кто спросит...

И укатил.

Валя с матерью остались во дворе одни. Да ещё бык с распухшей, как столб, передней ногой.

— Вставай, Филя, вставай, — просила мать, потягивая за верёвку.

Он только замычал глухо, а подняться не смог.

Что делать?

Мать принесла из телятника питьё в тазике и поставила перед ним.

Бык лизнул воду и... положил голову рядом с тазиком.

— Сходи-ка, дочь, поищи подорожника. Да молочая с дурманом. Да мясорубку из дома прихвати, — задумчиво глядя на него, сказала мать.

— Ага, мам, я сейчас!

Валя побежала выполнять поручение. Ей было жаль беспомощного Филю. Так хотелось для него что-нибудь сделать... Но и маму жалко — всё набирает себе работу, всё набирает...

Филя всегда помещался в стойле возле маминих коров. Его место было крайним, у входа. Когда он, могучий страж, возвышался над загородкой, коровы вели себя спокойно. Хорошо ели и пили. Когда его в стойле не оказывалось, они крутили головами, мычали тревожно, словно чего-то боялись. Красно-коричневый степняк с белой звёздочкой на лбу, обладатель низкого и раскатистого рыка, Филя был просто красавец. И нрав имел не злобный, но решительный.

Однажды произошёл такой случай. Кто-то из нездешних, не леспромхозовских, решил утащить электропилу «Дружба». Утащить утащил, да сторож всполошился, погнался за ночным гостем. Тот — в коровник. Пилу в подсобке спрятал, а сам в кормушку с сеном нырнул. Притаился.

Сторож походил, походил по коровнику — никого... Ушёл.

Переждав немного, воришка решил выбраться из своего укрытия. Да не тут-то было: над ним нависали грозные бычьи рога!

До самого утра продержал Филя в кормушке ночного посетителя. И отошёл только тогда, когда увидел участкового милиционера. Будто понимал, кому надлежало сдать нарушителя.

Вот такой это был — Филя.

Подорожник, молочай с дурманом да листья алоэ Валя прокрутила на мясорубке. Получилась сочная кашлица.

— Приложи, доча, Филе к ноге, может, пройдёт... Да тряпками потуже обмотай, — сказала мать.

Валя так и сделала.

Александра Тарасовна навела быку поило, подавила варёной картошки, принесла и поставила рядом с водой.

Есть он не стал. Даже кусочек хлеба, присыпанный солью,

только понюхал и виновато отвернул в сторону мокрую от слюны морду.

В этот день Валя до позднего вечера пробыла с Филей. Меняла повязку. От высокой температуры каша быстро чернела и превращалась в сухую труху.

На другой день пришли сёстры Абачины. За ними Розка... От неё, конечно, толку было немного, а вот Нина и Катя принесли ихтиоловую мазь и помогли наладить новую повязку.

Так и лежал Филя на дворе четверо суток. Ничего не ел, только пил. Чего только не придумывали Александра Тарасовна и Валя! То пропаренные отруби, то крапивные листья и лопухи...

Из-за Фили — он лежал у самого входа — во двор не могла заехать машина, и доярки на руках перетаскивали молочные фляги до ворот.

— Развели пропастину! — шумела Зинаида Степанова. — Больно жалостливые собрались! Ни пройти, ни проехать... Таскай теперь из-за этой дохлятины...

На попреки Степановой Александра Тарасовна не отвечала. Хватала фляги и волокла к машине. Что и говорить, Филя прибавил неудобства, и без того дояркам приходится несладко. Особенно таким, как тётя Нюра, пожилым.

А Валя на Розкину мать сердилась. Ей было жаль маму, её руки, несчастного Филю, усталых женщин... А Степанову — нет, не жаль!

«Разные живут на свете люди, — думала она. — Одно и то же видят, а понимают неодинаково. Одних всю жизнь Розками да Зинками кличут, а других смолоду по имени-отчеству величают. Чего этой тётке Зинке надо? Чего разоряется?»

Она смотреть не могла на эту ещё не старую, но такую неопрятную толстую крикунью. И даже когда та прислала с Розкой листья алоэ — цветок Найденцевых был ощипан в первые два дня, — она всё равно не смягчилась. И добро Степанова делала как-то нехорошо.

— Неси, — кричит, — алоэ своей подружке! Пусть наматает быку, хоть на лоб! Может, сдохнет скорее...

А он не сдох. К концу четвёртого дня опухоль прорвало, Филя кое-как поднялся и своим ходом вернулся в стойло.

И жил много лет.

— Вам нужен холодильник? — собрав лоб гармошкой, поинтересовался Кудой.

Встреча произошла у магазина.

— Н-нет, — пожалала плечами Валя, не подозревая о подвохе.

— Тогда поставь его на веранде, мы с Корнеевым подъедем на мотоцикле и увезём! — торжествующе выпалил Кудой и расхохотался, довольный, что удалось подловить на очередной шутке.

— Неумно, — рассердилась Валя. — Собираешь что попало...

В этот момент кто-то подкрался сзади и прицепил на её косу бумажный пропеллер.

Валя обернулась: так и есть — Корнеев.

— И ты здесь?! Поговорим?

Она зацепила сетку с хлебом за штaketину и схватила прут.

— Ты чё, ты чё? — отбежал в сторону Кудой. — Он же просто так! Это... он ухаживает!

Сенька, странное дело, не попятился, не разухмылялся, как обычно, а стоял, опустив голову.

— Что, не можешь в глаза посмотреть? — насмешливо спросила Валя.

Корнеев поднял голову. Во взгляде его серых, глубоко упрянтанных глаз было что-то такое, от чего Валя смутилась. И чтобы скрыть это, она возвысила голос и отчеканила:

— Ухажёр, значит? Ну, так запомни, Арсений, ухажёра из тебя никогда не получится! И знаешь, почему?

— Почему? — прошептал он, переступая поближе грязными от торфа парусиновыми туфлями.

— А потому что у тебя глаза хорошие...

— Да? — доверчиво переспросил Сенька.

— ... как у кобры! — закончила Валя.

Не обращая внимания на застывшего Сеньку, сняла со штaketины сетку, отшвырнула прут и, сдерживая себя, медленно и независимо проследовала мимо мальчишек.

Она уже шла по тротуару, ведущему в проулок, когда сзади слышалось:

— Это мы ещё посмотрим! Коровья нянька... Мы ещё тебе сюрприз преподнесём!

Кричал Кудой, но угроза исходила явно от обоих дружков.

Ладно, посмотрим.

Не замечая никого и ничего, Валя проскочила почти весь посёлок и, громко бахнув тяжёлыми воротами, влетела во двор бабушки.

— Ба, это я!

— Да уж слышу, слышу, — отозвалась Плотанида Герасимовна, выходя на крыльцо. — Гром гремит, земля дрожит... Ну, здравствуй, Вáлюшка, соплива вáрежка! Растёшь из соплёвны в царевну?

— Ба-а... — недовольно протянула Валя, поднимаясь по ступенькам.

— Не буду, не буду, — махнула рукой Плотанида Герасимовна. — Скажу на другой манер. Здравствуй, Вáлюшка, красива варешка! Ладно ли?

— Так лучше, — согласилась Валя. — А я тебе хлеба принесла. — Вот спасибочки. Ну, входи, входи.

Валя сбросила пыльные тапки у порога и удовольствием прошлёпала по чистым половицам, устеленным тряпичными половичками. Как хорошо у бабушки Плоты! Как уютно...

Она любила приходить сюда, с ночевой или просто так, вот как сейчас, забежав ненадолго.

Старый дом, стоявший вдалеке от больших улиц, был главной достопримечательностью посёлка. Строил его дед Степан. Из лиственницы. Выбрал в тайге неохватистые стволы — и получился дом всего из трёх брёвен. От завалинки до крыши всего три венца — и крыша. Уложил плотно, без конопатки: на века. Изнутри сколы вышли такие ровные, что и штукатурить не пришлось. Обил их дед Степан струганными плашками — и получился терем. Светлый, тёплый, пахучий...

В нём и сейчас живёт смолистый лесной дух. Особенно зимой, когда баба Плотя печь топит.

— Чем же мне мою внучечку попотчевать? — спросила бабушка, входя в горницу, и сама ответила: — А-а, знаю чем...

И загремела мисками у печи, за занавеской.

Грузная, с широкими бёдрами и узкими плечами, похожая на конус, с громким голосом и сильными руками, бабушка занимала много пространства. С её появлением комната становилась словно бы меньше. И Валя чувствовала себя маленькой. И ей нравилось это полузабытое ощущение — маленькой-маленькой...

С привычным ожиданием чего-то необыкновенного она уселась за стол. Погладила его поверхность, всю в зазубринах от ножа, но гладкую, будто отполированную. Милый бабушкин стол... Без клеёнки, без скатерти, всегда чистый до желтизны, он походил на волшебную полянку, на которой вот-вот появится что-то чудесное.

— Гляди-кось, что у меня есть, — посмеиваясь, бабушка выложила на стол угощение: репу, помидорину и морковь. Репка походила на детскую юлу с тёмным пояском посередине, морковь на балерину, а помидор — длинный и жёлтый, как дыня «торпеда».

— Опять у Дедушки-соседушки отняла? — радостно улыбнулась Валя, разглядывая овощи.

— У него, Вáлюшка, у лохматого, — закивала Плотанида Герасимовна. — Как вырастет у меня что хорошее, так он и норовит в свои хоромы утащить! А я ему: «Отдай, старый, внучечке сберегу... единственной...».

Взаимоотношения бабушки с домовым, которого она величала Дедушка-суседушка, были запутанными и длились годами — сколько Валя помнила себя. От Суседушки поступали иногда гостинцы. Бабушка то мирилась с ним, то бранилась, сетовала на его неуживчивость, на сварливый характер, то рассказывала, что он заболел и лечится русской баней, а по сей причине, хитрец, побрал лучшие берёзовые веники...

В детстве Валя верила, что так оно и есть. С замиранием сердца пробиралась в его «хоромы» — на чердак. Помогала бабушке вязать для него шарфик, варежки и носки, стежить телогреечку...

Потом выросла, поняла, конечно, что всё это сказки-выдумки и никакого Дедушки-суседушки нет. Но в душе сохранилось ощущение таинственности, царившей в бабушкином доме, живой сказки. Осталась и привычка ко многим полезным занятиям. Незаметно для себя Валя выучилась шить, вязать, лепить пельмени и стряпать пирожки, сушить травы и многое-многое другое.

— Ба, расскажи про Холмогорочку, — попросила Валя и положила подбородок на скрещённые руки. Уходить от бабушки не хотелось.

— Про Холмогорочку... — задумалась бабушка.

Она села напротив Вали, поставила перед собой чугунок с водой и принялась чистить картошку, сбрасывая кожуру в передник.

Она никогда не удивлялась её вопросам, только замолкала ненадолго, припоминая.

— Про Холмогорочку, значит, — повторила она. — А разве я тебе не сказывала? Ну, ладно... До того, как мы с твоим дедом Степаном повстречались, я у одного купца коров доила. С двенадцати лет. Да. Хорошие у него были коровы, почти сплошь ведёрницы! Хозяин хвастал, что из-под самого Архангельского они, с севера. Молочные. Будто бы эта порода ещё царём Петром Первым заведена была. Ну, ладно... Здесь, в Сибири, на севере, до революции соболь шибко ценился. За одну его шкурку две коровы можно было выменять. А теперь? На хорошую корову и пяти соболей не хватит. Корова в цене стала. Корова хоть в рогоже, да всех дороже. И правильно. Корова всему голова. Она во дворе — и харч на столе. Так о чём я...

— Как ты у одного купца коров доила, — подсказала Валя, удивляясь не столько забывчивости — у старых людей это слу-

чается, — столько тому, что её родная бабушка у купцов коров доила, ещё до революции.

— А Степан, дед твой, охотником был. Молодой. Удачливый. Сильный. Только губа верхняя малость попорчена. Ласка, лесная куница, деранула, не уберёгся... Вот и решили мы пожениться. Ничего, не худо жили... А из памяти холмогорские коровушки всё не выходили. Настрелял как-то дед соболей... В заготпушнину сдал, деньги получил и говорит: «Поеду-ка я, мать, в Архангельское за коровой. Хоть одну пригоню, на племя...». Шкурки три соболя с собой прихватил и поехал...

Руки бабушки замерли, упали на кожуру в переднике. После этих слов «и поехал...» начинался у неё отсчёт другой жизни.

До Архангельского дед Степан доехал, и о покупке коровы договорился, и уж в обратный путь двинулся... Да началась война. Возле Уральских гор повернул Степан Кириллович Найденцев на запад — рядовым стрелкового батальона, снайпером. А корову в какой-то уральской деревушке оставил. Под честное слово. Адрес написал и письмо жене и детям — к корове в придачу.

— Ну, как в войну жили, известно, — снова вздохнула бабушка. — Над кем беда не рассыпалась? Хлебнули горя. Были, конечно, и такие, кто в те годы совесть свою износил, но не об их речь. Похоронка на твоего деда, Вáлюшка, зимой сорок первого пришла. Из-под Москвы. Я тогда на ферме работала. Как, говоришь, работали? Обыкновенно. Сами пасли коров, сами и доили. Откидывали застывшие говяжи. Руки об вымя грели. С утра встанешь — не гнутся руки, хоть ты им что! хлопаешь, хлопаешь ими обо что-нибудь — об матрац, об валенки, об себя... Пока не отхлопаешь. Тогда и на работу идёшь. Гонишь коров к проруби напоить. Трясутся, бедные, холодно... Друг об дружку греются... Когда полку на ферме пустили, бабы от радости, как от горя, плакали: «Ой, хорошо, бабоньки! Помирать не надо...».

— Ба, а Холмогорочка... Ты ж не досказала.

— И доскажу, — подняла голову Плотанида Герасимовна. — Я тебе такое чудо объявлю!.. Вот кончилась война. И вдруг в сорок пятом получаем с Урала письмо. Как, мол, живы-нет Найденцевы? Отзовитесь. Пишут такие-то. А что, для чего — молчок. Я ответила письменно, как полагается. А сама думаю: что за люди? Никакой родни у нас там нету... Ладно. Прошло ещё время. И вдруг появляется в нашем посёлке человек. С коровой. Меня кличут. Иди, мол, к тебе гости... И что ты думаешь, голубка? Оказался тот человек с Урала. Письмо от деда Степана привёз. И корову возвратил, — бабушка утёрла концами белой косынки глаза. — Вот так-то. В народе, что в туче, в грозу всё наружу выйдет. И дурное,

и расчудесное. Что вот, скажи на милость, того уральского человека заставило нас искать? Война ведь, с кого взыщешь... Кто б осудил? Ан совесть-то не позволила за войну укрыться! Правда, корова была не совсем Степанова... Тёлка от той холмогорочки. Ну, да разве в том история...

— Ба, а ты не жалеешь, что всю жизнь дояркой пробыла?

— Нет, девонька, — ласково посмотрела на неё Плотанида Герасимовна. — Главнее этой работы мало что на свете есть... Добрая она у нас. Чистая. Людям необходимая. И ещё скажу, а ты послушай...

Бабушка наклонилась к Вале и, словно желая передать большой секрет, понизила голос:

— При такой работе ты никогда одинокой не будешь. Точно. Не люди, так бодёнушки твои тебя не оставят...

Поздно вечером уходила Валя от бабушки. Они многое успели сделать вместе — и в огороде, и в дому. Одно не смогли: вдоволь наговориться.

— Ба! Я и завтра приду! — пообещала Валя.

— У завтрава свои завтра будут, — ответила бабушка. — Придёшь — и ладно. А с ребятишками заиграешься, и то ладно. Твое дело молодое — прыгать да бежать. А моё старинбе — ждать да лежать...

— Не заиграюсь, — помахала на прощанье Валя рукой. — Ты жди, ба!

— Жду, Вáлюшка, жду...

С огорода, под уклон уходящего к полуболотцу, поднимался туман, окутывал сумеречной кисеёй старый дом, бабушку, стоящую у ворот, сами ворота, тоже старые, потемневшие, скрипучие, с козырьком... И это тоже походило на сказку.

9

Бабушка не ошиблась: обещание своё Валя выполнить не сумела.

На следующее утро в почтовом ящике она обнаружила записку:

«ХочИшь увидИть сюрприз — приходи в 10 часов дня к Лисице на песчаную косу. Не пожалеИшь».

Подписи не было. Но Валя сразу догадалась: писал Корнеев. Только он делал такие настырные ошибки в глаголах хотеть, увидеть, пожалеть...

И всё-таки — что делать? Пойти? Порвать записку? Ерунда какая-то. Опять мальчишки что-то затевают.

Не пойти? А они скажут: струсила...

Валя вернулась в дом. Часы над диваном показывали пятнадцать минут десятого. До назначенного времени ещё целый урок.

В раздумье она повертела записку, и вдруг её охватила тревога: Сенька способен на всё...

Может, позвать девчонок? Тогда уж точно скажут: побоялась одна.

Интересно всё же: что ещё придумал Корнеев?

Валя собрала сумку — полотенце, купальник, косынку. Подумала — и положила белый халат. После купания можно будет зайти на ферму, к новорождённым телятам.

Заложила калитку щеколдой и направилась к реке.

На песчаной косе она появилась в тот самый момент, когда мимо неё, медленно разворачиваясь, проплывал плот-паром, на котором обычно перевозили с левобережных покосов сено. А на нём, растопырив ноги, тревожно вытянув к воде шею, стояла... Рыбка.

От внезапной догадки, что это и есть «сюрприз», Валя так и села на песок.

10

Это была самая добродушная, тихая и задумчивая и какая-то... уютная корова. Давала по четырнадцать-шестнадцать килограммов молока в сутки и требовала, чтобы её доили не два, а три или даже четыре раза. Первая приходила на дневную дойку, занимала очередь и никого впереди себя не пропускала. А через некоторое время снова стояла в загоне и взмыкивала — звала Валину мать. И когда Александра Тарасовна подоит её, похвалит за усердие, краюшкой хлеба с солью угостит, — плывёт на пастбище гордая, с высоко поднятой головой.

— Ну и важная она у тебя, Шура, как печка! — говорили доярки.

— Эт-точно, — с улыбкой провожала Рыбку Александра Тарасовна. — Однако ж Строгая всё равно обгонит её. Раздоится хорошенько — и обгонит!

А Вале мать объяснила, почему Рыбка чаще других просится на дойку. Вымя у неё такое — быстро наполняется, хотя само по величине и небольшое. Так бывает. У кобылиц, например, вообще вымя маленькое, и молока в нём скапливается немного. Вот почему кобылиц доят чаще, чем коров. Будущая рекордистка Строгая примечательна тем, что и вымя у неё большое, и наполняется оно быстро.

Строгая Рыбку не очень-то жаловала. Будто чувствовала в ней соперницу. В стаде нередко происходили меж ними стычки. Од-

нажды, когда Рыбка в знак расположения лизнула Строгую, та понужнула её рогами так, что Рыбка, бедная, понеслась вскачь и долго потом не приближалась.

У коров свои правила поведения, свои чины в стаде. Строгая сразу стала вожачихой, предводительницей в группе; её все слушаются, и только она сама вольна выбирать себе ровню.

По-настоящему, с аппаратом, Валя научилась доить именно Рыбку. Ей так нравилась эта корова, что она готова была проторчать возле неё весь день. В душе она считала её своей. Гордилась, какая Рыбка чистюля: не ляжет, пока свежих опилок или соломы не подстелешь. А когда Александра Тарасовна верхового торфа по соломе набросает, Рыбка такая довольная ложится, как будто понимает, что торфяной подстил действительно улучшает в коровнике микроклимат и гигиену. Зеркало (кожа с нежным подшёрстком повыше вымени) у неё беленькое, даже отсвечивает розовым.

Рыбка белобокая...

Кличку этой корове тоже давала Валя (когда та переходила в мамину группу). В прошлом году заметила Валя, что молодая пеструха за номером восемь очень уж воду любит. Отойдёт от других коров в сторонку, залезет по горло в речку и стоит, блаженствует. Будто не корова, а буйволица. Про буйволов в книгах написано, что из воды их не выгонишь.

Однажды произошёл забавный случай. Стояла как-то пеструха № 8 в воде, думала, как всегда, о чём-то своём, коровьем...И вдруг к-а-ак дёрнет головой! А из пасти у неё серебряный хвостик торчит: чебачка схватила! Ох и смеху было... Пастух глазам своим не поверил:

— Чтоб корова рыбу ловила?! Н-е-т. Ну, медведь — ладно. Ну, росомаха... Ну, птица. Но чтоб корова?!..

А Рыбка подержала во рту чебачка да выплюнула его обратно в реку. Видать, щекотал хвостом.

Вот такая это замечательная корова.

11

Огороженный кривыми жердями паромный плот разворачивало течением, и он всё ближе подходил к берегу.

В этом месте, у песчаной косы, движение реки замирало, и плот должен был непременно сесть на мель.

Подобрав подол, Валя пошла в воду.

— Рыбка... Рыбка... Не волнуйся — говорила она, стараясь негромким голосом успокоить корову. — Сейчас... сейчас... Ещё поближе...

Рыбка узнала её, радостно мыкнула, переступила ногами на дощатом помосте. Потянулась мордой. Вот уже совсем близко... Так близко, что можно прочесть записку, наколотую на коровий рог: «Давай поцелуемся, нянька!».

Ну, Сенька! Ну, Кудой! Рожи клюковкой, глазки луковкой! Ну, погодите! Чего выдумали, а? Это уже не шутка, это уже вредительство!

— М-му...

Рыбка подступила слишком близко к краю плота.

— Стой, Рыбка, стой! — испугалась Валя. Если корова свалится, то хоть утонуть возле берега и не утонет, но может сломать ноги. Корова — животное нервное, пугливое, впечатлительное; неизвестно, что ей в ум взойдёт...

И тут случилось непредвиденное. Тяжело перемещаясь, Рыбка раскачала плот-паром, и он стал отходить от берега...

Валя как была в платье, так и бросилась в воду. Доплыла, ухватилась за бревно. А сил вернуть плот-паром обратно к берегу не хватило...

На глубине течение сделалось неожиданно сильным, коварным. И когда плот вынесло на стрежь, когда он попал в «трубу», Валя разжала пальцы.

Одной не справиться. Нужна лодка.

12

Все лодки, которые были на берегу, оказались на замках.

Мокрая, взлохмаченная, вся в песке, Валя добежала до избы Абачиных, стоявшей ближе всех к реке, и заколотила в ставень.

— Что? — выглянула Нина.

— Что случилось? — вынырнула из-за её спины Катя.

— Скорей... нужна лодка! — задыхаясь от бега, проговорила Валя. — Тащите ключ!

— Зачем тебе ключ? Скажи толком! — потребовала Нина.

— Рыбку уносит... на плоту... Кудой и Сенька... Это они отправили её... Пойдём... на вашей лодке...

Валя привалилась к резным перилам; не было сил ни говорить, ни двигаться.

— Пойдём, — согласилась Нина. — Только папка ещё вчера нашу лодку брату отдал. За травой съездить.

Она помолчала. Слишком долго молчала — так показалось Вале. Потом решила:

— Ну, вот что, вы тут пока переоденьтесь, соберитесь, а я — наперерез. Встретимся у новых мостиков. Там должны быть ходячие лодки.

Натянула трико, ловко зашнуровала кеды и, одёргивая на ходу футболку, умчалась со двора.

Катя деловито заметалась по комнате, засовывая в сумку хлеб, огурцы, лук, соль, спички... Отец Абачиных, лесной обходчик, приучил девочек к быстрым решениям и походной жизни.

— А еду зачем? — удивилась Валя. — Мы ведь быстро...

— На всякий случай, — невозмутимо отозвалась Катя. — В тайге запас карман не тянет.

Она разыскала в чулане ещё одни кеды. Принесла свой спортивный костюм и, подражая сестре, скомандовала:

— Снимай мокрое!

Пришлось подчиниться.

Кричать, плакать, шуметь, ругаться, произносить слова — это бесполезно. Молодец всё-таки Нина! Сразу сообразила: пока плот движется по петле, которую делает Лисица, его можно попытаться перехватить на другом конце этой петли — у новых мостков, с которых женщины полощут бельё.

Валя попыталась собрать узел волос. Ох уж эта коса! Надоела. Вечная с ней морока. Тяжёлая, резинкой не схватишь, шпильки выпадают. А тут ещё и растрепалась, намокла... В школе Сенька проходу не даёт: то дёрнет за косу, то к спинке парты за ленточку привяжет. «Приходи ко мне в пещеру, будем мамонтов пугать!» — дразнится Кудой, когда её коса разлохматится на физкультуре.

Некстати возникшие мысли о Кудое и Сеньке словно подхлестнули Валу; она, как попало, скрутила волосы в жгут и торопливо закрепила шпильками.

— Ну что, готова? — спросила Катя.

— Я-то готова, а вот где сейчас Рыбка...

— Найдём! — пообещала Катя.

И девочки помчались на другой конец Лесного, не видя никого и ничего по сторонам.

Иначе они заметили бы, что всё это время за ними внимательно следили из-за сарая Кудой и Сенька.

Сначала они, зажимая от смеха рты, потешались над «мокрой курицей Найденцевой». Ещё бы не смешно! Видеть, как она в спешке суёт левую ногу в правый кед, как мотается по двору Абачина — вот только непонятно, которая из сестёр... Интересно, какое впечатление на девчонок произвела записка «Давай поцелуемся, нянька!»... Это ж надо такое придумать! Умрёшь со смеху...

Когда Катя и Валя пробежали мимо, Кудой выставился из-за сарая и, кобенься, пропел частушку:

По деревне идёт парень
И играет в гармозень!
На ём новая рубаха,
На рубахе ремезень!

Но странно: девчонки даже головы в их сторону не повернули. Мальчишки переглянулись. С их лиц сползли ухмылки. Кудой шмыгнул облупленным носом. А Сенька поскрёб в затылке и неуверенно пробормотал:

— Тут что-то не того... этого...

13

Ещё издали Валя и Катя увидели, что Лисица пуста: плота с Рыбкой нигде нет.

Нина махала веслом: давайте сюда!.. У берега покачивалась лодка, в которой восседала Розка. Весь её вид говорил, что главная здесь — она.

Девочки даже шаг замедлили: что за судьба! Никуда от этой Розки не денешься...

Нина встретила их виноватым взглядом: дескать, простите, но никакого речного транспорта, кроме лодки Степановых, на берегу не оказалось.

Чего уж там...

Валя и Катя залезли в лодку. Нина оттолкнулась. И они поплыли.

Солнце стояло высоко над головой. Время катилось к полудню.

— Где сейчас Рыбка... — вслух думала Валя. — Доить пора...

Так сильно хотелось поскорей догнать плот-паром и вернуть корову в стадо, в привычную для неё обстановку. Валя жалела, что не забралась к Рыбке на плот — плыли бы теперь вместе...

Лодка двигалась медленно, хоть плачь.

— Давай вместе? — предложила Валя сидевшей на вёслах Нине.

— Давай. Иди ко мне...

Валя передала Кате сумку и, придерживаясь за планширь лодки, стала перебираться к Нине.

«Раймонда» (так пышно именовалась Розкина лодка) сильно качнулась.

— Тише вы! — возмутилась Розка. — Опрокинемся!

— Не опрокинемся, — Нина строго нахмурила брови. — А ты чего, как на прогулке, сидишь? Бери кормовое весло, подгребай!

Розка лениво заглянула под сидение.

— Нету! — обрадовалась она, вспомнила и добавила: — У нас его сроду не было.

— Тогда руль держи!

Оказалось, что на «Раймонде» и руля нет.

Весёленькая семейка эти Степановы. Затеет Розкина мать пироги печь, так полпосёлка об этом знает. У одних дрожжи попросят, у других яичко, у третьих противень... Ничего своего нет. И как это лодка у них завелась? Ободранная, неуклюжая... Но всё же настоящая, да ещё с заморским именем!

Поросшие тальником приземистые берега между тем мало-помалу оставались за кормой. Посёлок скрылся за поворотом. Вдали маячила буровая вышка. Её недавно поставила нефтеразведка.

А плота всё не видно...

Зато на дне лодки появилась вода. Откуда? Вроде бы, когда сиделись, сухо было...

— Ну да, сухо, — заявила Розка. — Это, Нина, ты нахлопала, когда заскакивала!

Обвинение было столь нелепым, что на Розку даже никто не обиделся.

Откуда всё же в лодке вода?

Нина осмотрела каждый шпангоут. Да нет, щели зашпаклёваны и просмолены.

Вода, однако, прибывала.

— Черпать надо, — сказала Катя. — Розка, где черпак?

— Где, где... Ищите.

Черпака найти не удалось.

— Поворачиваем к берегу, — решительно сказала Нина. — Валя, подгребай шибче, а я чуть-чуть потабаню... развернёмся...

— Может, ничего, а? — всё ещё на что-то надеясь, спросила Валя. — Может, ещё немного поплывём, а? Ведь упустим, упустим!..

Нина покачала головой и глубоко погрузила весло в воду, поворачивая «Раймонду» к берегу.

Как всегда, она оказалась права. Из-под доски, проложенной по дну лодки, вдруг вылез большущий кусок... пластилина. Открылась дыра. Вода стала хлестать толстой струёй. И лодка начала тонуть.

Хорошо ещё, что здесь было не глубоко.

Ощувив под ногами опору, растерявшиеся поначалу девочки начали сноровисто ловить вёсла, сумку, какие-то дощечки...

— Приехали! — с отчаянием сказала Валя, выныривая из воды и отплёвываясь. — Ну, Степанова! Ну, красавица! Мозги бы тебе пластилином конопатить, а не дыру в лодке!

Отдышалась, набрала побольше воздуха и снова нырнула. Ругайся не ругайся, а вытаскивать затонувшую «Раймонду» придётся. Не оставлять же её здесь, на дне.

14

Тем временем из-за невысокого мыска, кудрявого от молодых рябин, показалась длинноносая набойная лодка с высоко поднятыми над водой, нашитыми досками-насадами. Два гребца в ней лихорадочно работали вёслами — брызги так и стояли веерами по обеим сторонам.

Розка первая заметила лодку. Подставив к глазам тощие, сжатые «биноклем» кулаки, по слогам прочитала:

— Ро-со-ма-ха...

И радостно завопила:

— Девчонки, это же «Росомаха» Корнеевых!

И замахала руками:

— Витька-а!.. Сенька-а!.. Сюда-а!

— Чего орёшь? — остановила её Нина.

Встретив недовольные взгляды подружек, Розка осеклась:

— Так ведь это ж наши...

Нина, Катя и Валя молча продолжали тащить «Раймонду».

Только сейчас Розка вспомнила, из-за кого они пустились в плавание, кто завёл бедную Рыбку на плот... И виновато принялась пихать лодку, заскрежетавшую килем по дну.

Но мальчишки уже и сами заметили их и повернули к берегу.

— Привет! — с расстояния закричал Кудой. — Скорую помощь вызывали?

— Проваливайте! — воинственно ответила за всех Розка. — Без сопливых обойдёмся!

— Нас оскорбляют, — протестующе вскинул руку Кудой.

Нина, Катя и Валя не проронили ни слова. Будто не замечая мальчишек, они делали своё дело. «Раймонда» медленно, рывок за рывком, выползала на берег. Грязными потоками из неё вытекала вода.

Сенька резко гребанул вёслами — и «Росомаха» врезалась в отмель. Сбросив штаны и рубаху, Корнеев прыгнул в воду, и несколькими ловкими движениями они с Кудоем выдернули из реки свою лодку почти на треть. Он явно бахвалился силой и загаром «в шахматку». Как же, новую моду освоил! И терпения хватило часами загорать под газетами с квадратными дырками...

Поигрывая мускулами, Сенька перешёл к «Раймонде» и тоже поволок её вместе со всеми. Оставляя широкий мокрый след, лодка, как живая, ползла по песку.

Когда она очутилась в полной безопасности, девочки оставили её — и повалились наземь.

— Ну и видок у вас! — не удержал своего удивления Кудой. — Хоть на выставку!

Вид у девочек был, действительно, не из лучших. Грязные, мокрые, волосы спутаны. Катя ушиблась, вгорячах не заметила, а теперь морщилась, растирая коленку. У Вали из носа текла вода; нахлебалась, видать. У Розки платье разодрано. А Нина... Нина рассадила руку от локтя до запястья, и кровь текла по руке, смешиваясь с песком и синеватым илом.

Сенька помчался к своей лодке, притащил рубашку и пластанул по низу. Получилась длинная полоса.

— Дай перевяжу, ну... — присел он возле Нины.

— Уйди, — тихо, но твёрдо сказала Нина и даже отодвинулась.

Сенькины руки замерли с куском полотна. Он медленно выпрямился. Посмотрел на девочек — и наткнулся на их отчуждённые, почти враждебные взгляды.

Только сейчас до него дошёл весь смысл происходящего. Их с Кудоем шутка угрожала перейти в беду. Этого он не хотел. Не предвидел.

Он тупо смотрел на землю, и... не знал, что теперь делать.

— Вы что — да?! Вы очумели, да? — засуетился вокруг девочек Кудой. — Гордые — да? А мы, значит, барахло?

— погоди, — остановил его Сенька, — я сам. — И, глядя почему-то на Нину, как на судью, виновато сказал: — Да не хотел я так... Не хотел! Честное слово. Я пошутить хотел... Ну! Я ведь вправду... сам не рад... Мир, а?

Валя встретила Сенькин взгляд. Тревожный, покаянный, он упрашивал: «Хватит, а?». Но Валя молчала. Будет так, как скажет Нина. Её слово решающее.

Нина сидела на земле.

Сенька стоял перед нею.

Девчонки ждали.

Наконец Нина снизу вверх посмотрела на Сеньку:

— На, бинтуй. Скорая помощь...

И протянула руку.

С готовностью Сенька присел на корточки и начал счищать вокруг раны песок.

— Может, промыть, а? — подал совет Кудой, сообразив, что хотя и не вполне, но они прощены. — Я мигом!

— Нет, — покачала головой Нина. — Арсений делает всё правильно. Кровь сама промывает. Забинтовать — и всё.

Довольный похвалой, Сенька бережно замотал на несколько

рядов руку до локтя, надкусил зубами полоску ткани, порвал надвое и затянул узел.

— Спасибо, — поблагодарила Нина. — А теперь ищите кед. Катя потеряла. Надо двигаться дальше.

Умница Нина! Конечно же — дальше! Это просто замечательно, что среди них есть человек, способный при всех обстоятельствах не выпускать из вида главное!

— Айдайте на «Росомахе» — предложил Сенька. — Рекой не ногами, догоним. Вот увидите!

— Придётся на «Росомахе», — согласилась Нина. — Несите вещи.

Мальчишки стали переносить немудрящее походное снаряжение девочек на свою лодку.

— А как же «Раймонда»? — вдруг закапризничала Розка. — Бросаем, да?

— Бросаем, — жизнерадостно подтвердил Кудой. — Ничего с твоей калошей не делается. Кто на такое барахло позарится?

Он подхватил весло, надел на него Катин кед, с которого капала вода, и замаршировал:

— Тру-ту-ту-тту... Проходит кавалерия!..

— Если хотите, оставайтесь при водном транспорте сторожем, — с подчёркнутой вежливостью предложил Розке Сенька.

— Сам оставайся, — огрызнулась Розка. — А ты, Кудой, рот закрой — кишки простудишь!

Отбившись от насмешников, она обогнала всех и с независимым и гордым видом первая влезла в лодку.

15

Подгоняемая течением «Росомаха» уходила вниз по реке. Плата по-прежнему не было.

— Может, он... того? — высказал глубокомысленное предположение Кудой, но, спохватившись, начал выкручиваться: — Может, зацепился где и стоит. А мы того... гонимся...

— Сам ты «того!» — рассердилась Катя. — Затовакал, товошка... Где он мог зацепиться, если мы двумя лодками шли и ничего не заметили? Нет, тут другое что-то...

Ребята замолчали.

Сенька старательно вертел длинной жилистой шеей, обшаривая взглядом реку, берега, тальниковые заросли. Он проклинал себя за эту глупую шутку с коровой. Знал бы, что так выйдет, за версту бы эту Рыбку обошёл! Достанется же ему от дядьки... Пётр Парфёнович в гневе на руку скор: сразу за ремень хватается. «Я, — говорит, — из тебя дурь выблюю, один ум останется. Чтоб перед

памятью родного брата не было стыдно, паршивец ты этакий...»

Отец Сеньки, лесоруб, добродушный молчаливый великан, гнувший спину только перед разъярёнными кулачками жены, погиб три года назад. Напарника в сторону оттолкнул, а сам не успел отскочить — так вместе с корабельной сосной и рухнул... Мать Сеньки в тот же год из Лесного уехала. «Ненавижу тайгу эту, — сказала. — Видеть её не могу!» Живёт в городе, работает на телеграфе, мотается по общежитиям. «Получу, — говорит, — квартиру — и Арсения себе заберу!»

Он что, вещь какая? Заберу... Он в тайге и сам не пропадёт, не маленький. Разве тайга в гибели отца виновата?

Только бы эта корова нашлась!

Сенька привык, что его ругают. И в школе, и дома. Дома, правда, чаще всего ругала мать. С отцом отношения были такие: натворит Сенька что-нибудь, отец посадит его рядом и... молчит. Пять минут, десять, полчаса... Молчит и всё. Смотрит на сына и молчит. От всего этого делается на душе так муторно и стыдно, что Сенька начинает ёрзать, сопеть, тереть кулаком глаза... Отец вздыхает и говорит одно слово: иди... Сенька срывается с места, давая в душе клятву никогда-никогда больше не заставлять отца так молчать! Вылетает на улицу, к ребятам и... забывает о своей клятве.

Дядька Пётр Парфёнович молчать не будет. Отдерёт, как сидорову козу.

Впрочем, не это страшно. Безлюдная тихая река, на которой даже намёка нет на след Рыбки, — вот что по-настоящему страшно.

Сенька приналёг на вёсла. Скорее всего, плот-паром задержится где-нибудь на Лосином языке — так называется узкая и длинная петля, которую Лисица непонятно почему завинчивает на ровном месте. Течение там бьёт в правый берег так сильно, что неуправляемый плот вполне может врезаться в отмель и остановиться.

Хоть бы так и случилось...

Валя смотрела на тощую, загорелую «в шахматку» спину Сеньки и думала о том же самом: Лосиный язык — последняя надежда.

Они с отцом плавали на моторке до Лосиного языка и даже дальше. Путешествие тогда показалось ей лёгким и коротким. На этой косе они с отцом варили уху из ершей и ельчиков. Обыкновенная песчаная коса, переходящая в унылый глинистый берег. Но если там задержится плот-паром!.. Это будет самое замечательное место на земле! Самое прекрасное! Тогда всё-всё будет хорошо! И Корнеев перестанет выкидывать свои дурацкие шуточки. Не такой уж он плохой... Без тормозов, правда. Всё-то ему

сделать надо что-нибудь такое, чтобы все ахнули. На добрые дела выдержки не хватает, так он из озорства не выходит; там большого ума не требуется.

Валина мать жалеет Сеньку. С Петром Парфёновичем ссорится: «Ещё раз тронешь ребёнка — в суд заявлю!». «Без посторонних разберёмся, — отвечает Корнеев. — Дело семейное. С ремня сдачу не дают!»

В такие моменты Валя тоже Сеньку жалеет.

А в такие, как сегодня, когда он преподнёс «сюрприз» с беззащитной коровой, — прихлопнуть, как комара, готова!

Тревога за Рыбку усиливалась с каждым часом.

— Может, её кто-нибудь поймал и к себе увёл? — высказала догадку Катя.

— А плот? — спросила Нина. — Тоже к себе увёл?

— Ах, плот... Ну да...

— Девчонки, а я есть хочу! — заявила Розка. — Как из ружья!

Нина взглянула на солнце: да, в самом деле, обед давно миновал. Достала сумку, припасённую Катей.

Отец учит: уходишь в тайгу на один день, бери продуктов на неделю. Катя, дочь своего отца, будто наперёд знала, в какую переделку они попадут. Соль и хлеб — в отдельных мешочках. Спички — в пять слоёв обмотаны полиэтиленом. Огурцы, лук, сало... «Складишок», так называет отец свой любимый походный нож. Неужели потеряли? Нет, складишок на месте...

Нина разделила все продукты на шесть частей. Затем каждую часть — ещё на три: на обратный путь, на сейчас и НЗ, неприкосновенный запас.

— Берите. Поедим здесь, пока река за нас работает.

Мальчишки начали было отказываться, но Нина так на них посмотрела, что они перестали ломаться. Взяли свои доли и тут же сжевали, только хруст огуречный стоял.

— Вот он! Вижу! — вдруг заорал Кудой, подхватываясь с места, будто его ущипнули пониже спины.

— Что? Где?

— Да вот же он! — Витька так размахивал руками, что совершенно было непонятно, куда глядеть.

Все тоже повскакивали. Лодка закачалась...

— Си-деть! — громко приказала Нина. — Ещё раз искупаться захотели?!

Валя и Катя послушно опустили на сидение, а Розку усадил за плечи Сенька.

— Ну, Кудой, — погрозил он кулаком. — Ещё одна ложная тревога, за бортом гулять будешь!

— Уй ты, испугал, — притворно втянул круглую голову в плечи Витька. — Ну, давай, налетай! Рискни здоровьем! Уж и пошутить нельзя...

Но Сенька ничего ему не ответил. Только поплевал на ладони да покрепче ухватил вёсла — и рраз! и — два! и — три...

«Росомаха» устремилась вперёд, словно длинноклювая птица.

16

На плот-паром они наткнулись именно там, где и ожидали. На одном из поворотов течение прибило его к берегу, затолкало между карчами, пнями и обломками деревьев, которые и создавали в этом месте затор.

— А где же Рыбка? — растерянно сказала Валя.

Рыбки не было. Лишь плот-паром с охапкой пожухлой травы покачивался на мелкой волне.

— Да-а... Интересное кино получается, — сказал Кудой, озадаченно глядя на пустой плот. — И вора не было, и корову украли. Вот здесь же она стояла, здесь!

— Заявь, а? — попросила его Розка и, раскинув руки, обратилась ко всем: — Всё, нету Рыбки! Испарилась. Ищи-свищи!

— Что ты предлагаешь? — спросила Катя.

— Возвращаться. Вечер скоро. Не ночевать же тут!

— А почему и не заночевать, если надо? — заспорила Валя. — И потом, до вечера ещё ого-го-го!

— Нас же хватятся, искать станут! — убеждала Розка. — А ещё мы с мамкой с утра в райцентр собрались. В магазин хотели пойти.

— Зачем тогда за нами увязалась? — упрекнула Катя.

— Я? Увязалась? — возмутилась Розка; её синие глаза стали совсем круглыми: — К кому твоя сестра прибежала? Ко мне! На чьей лодке мы поплыли? На моей!

— На чьей лодке мы тонули? На твоей! — в тон ей добавила Катя.

Все засмеялись — и ссора миновала.

— Хочешь, возвращайся, Роза, — миролюбиво предложила Нина. — Возьми в провожатые Кудоя. Успеете до темноты. Заодно скажете нашим, где мы. Чтобы не беспокоились.

— Рыжего нашли! — хмыкнул Кудой. — Да никуда я с ней не пойду, ещё чего! Лучше режиком заножусь. Пусть сама идёт!

— Тогда Корнеев...

— И не подумаю, — отрезал Сенька.

— Ну, мальчишки, так ведь нельзя, — сказала Нина. — По од-

ному в тайге не ходят... И главное — надо сообщить, где мы. И что вернёмся не скоро.

Кудой и Сенька насупились, приняли отсутствующий вид.

— Ах, так! — обиделась Розка. — Сама пойду!

Никто не стал её удерживать. Знали, что она трусиха, и никуда не денется.

И правда, отшагав по берегу метров пятьдесят, Розка остановилась, капризно уселась на дерево с когтистыми корнями, вывороченное весенним ледоходом, и уронила лицо в ладони.

— Всё, теперь будет театр показывать, — подытожил Кудой.

Видя, что недоразумение никак не разрешается, Валя пошла по берегу, поближе к кустам, призывно окликая: Рыбка! Рыбка, где ты...

И услышала, как ребята дружно к ней присоединились:

— Рыбка!.. Рыбка!..

— Она не могла уйти далеко, — обрадованная поддержкой, Валя дождалась ребят. — Наверняка она где-то здесь. Надо искать!

— Значит, так, — распорядилась Нина, — Лодку поставим на берег. Далеко не расходиться. Держаться по двое: Катя с Витей, Валя с Корнеевым...

— А ты?

— А мы с Розой. Какие ещё будут вопросы?

— У матросов нет вопросов, — не преминул напомнить о себе Кудой.

— Далеко не ходить! — ещё раз напомнила Нина. — А то потеемся. Через два часа собираемся. Здесь же!

И она зашагала к Розке.

17

Сенька, ни на минуту не сомневаясь, что он главный в поисковом звене, сразу же принял стратегическое направление. Врубился в кусты дикого шиповника и пошёл прокладывать дорогу...

Валя едва поспевала за ним. И очень удивилась, когда Корнеев отыскал какую-то хитрую тропу, и они как-то неожиданно попали на островок соснового леса. Идти стало легко. Это был молодой сосняк, но в нём уже угадывались и мощь, и стать будущего корабельного леса. Прямые стволы. Кудрявые и густые, словно зелёные облака, вершинки. Залитые вечерним солнцем поляны. На каждой, словно в чистой горенке, расстелены коврики: брусничные, моховые, из хвоща и папоротника... Рыже-чёрные конусы муравейников похожи на уютные хатки, в которых живут волшебные существа.

Муравейники — признак здорового леса. Отсутствие пней — знак того, что сюда ещё не приходил человек.

Встречались белки и мыши, бурундуки и рыжеголовые сойки, кедровки и дятлы. Они близко подпускали Валю и Сеньку, с доверчивым любопытством рассматривали неожиданных гостей.

Полон жизни августовский лес на томском Севере. Кого только не встретишь на пути!

И только нигде не было той, которую так искали ребята. Рыбка будто по воздуху улетела — ни единого следа...

18

В лагерь Валя и Сенька вернулись, когда солнце окончательно запуталось в густых кронах соснового леса и резко убавило освещение. словно выключили хрустальную люстру, оставив одну-единственную лампочку. Вернулись ни с чем. Усталые, исцарапанные, покусанные комарами.

Нина умывалась в нагретой за день речной воде.

Розка сидела на корме «Росомахи», натянув на колени юбку.

— Где остальные? — спросил Корнеев.

Розка безразлично дёрнула плечами.

— Что молчишь? Не возвращались ещё, что ли?

— Что ли. Не возвращались.

— А ты так и сидишь? Ну и штучка!

— А ты штукарь. Уйди с глаз. Не порть зрение, — почти дружелюбно ответила Розка; ей уже надоело «показывать театр», она соскучилась по ребятам.

Подошла Нина.

— Ты вот что, Арсений, — сказала она, — наготовь сушняка.

Сенька хотел было что-то сказать, но сдержался. Готовить пищу для костра — дело мужское, и тут сильно не разговоришься: надо так надо.

Валя и Нина опустились на траву, отдохнуть. Розка слезла с «Росомахи» и тоже улеглась рядом с ними.

— Устали, да? — посочувствовала она. — Я тоже. Совсем комары заели.

Умеет Степанова и обидеть, и тут же напустить на себя дружелюбие, ох умеет!

Вдалеке послышался какой-то шум, треск. Кто-то продирался сквозь кустарник.

Девочки встревоженно поднялись.

— Нашли! — ещё издали закричал Кудой. — Нашли!!

Нина, Валя и Розка так и кинулись ему навстречу:

— Где?!

— А вон там!.. — подросла из кустов и Катя, растрёпанная, но радостная. — Витька нашёл!

— Мне! Мне удалось! — перебил её, захлёбываясь от гордости, Кудой. — Во, глядите!

И он поочерёдно стал поднимать ноги, обутые в старенькие кеды.

— Точно, — подтвердила Катя. — Идем, идём... И вдруг Витька пр-я-мо в лепёшку угодил! Здорово, да?

— Вот так удача!

— Молодец Витька!

— Настоящий детектив...

— Ур-ра, живём!..

Девчонки смеялись, тормозили Кудоя, Сенька хлопал его по плечу. Поднялся такой шум, что с ближайшей сосны неуклюже снялся «доктор в чёрном халате», дятел-желна, и, недовольный, полетел вглубь леса.

— Всё. Пора делать привал, — заявил Сенька, принимая команду на себя. — Ночью корова никуда не уйдёт.

И снова отличился Кудой. Он обнаружил в своих бездонных карманах кусочек лески и один-единственный крючок, завёрнутый в плотную конфетную обёртку.

— Кудой — ты гений! — серьёзно похвалил его Сенька.

— Чего уж... Зачем мне холодильник, когда я не курю, — заскромничал Витька, довольный всеобщим вниманием.

Мальчишки вырезали удилице из тальника и устроились на какой-то коряжине, у слияния протоки с Лисицей. Не может такого быть, чтобы здесь да не водилась рыба!

Девчонки принялись устраивать ночлег. Расчистили место на берегу. Наломали пихтовых веток. Надёргали «обувальной» травы-осоки, не пропускающей сырость, — это для лежанок. Собрали кучу сушняка (Сенька не успел довести до конца мужское дело, Кудой помешал). Вчетвером приволокли трухлявый пенёк — всю ночь гореть будет!

Пригодились спички из Катиного полиэтиленового мешочка. Большая консервная банка из-под селёдки (черпак с «Росомахи») пришлась вместо котелка. Дикого лука и черемши Нина и Катя нащипали по дороге. НЗ выдал четвертину хлеба, огурцы, кусок сала и две картофелины.

Ничего, жить можно!

Северные люди очень любят огонь. Могут часами неподвижно и молча сидеть возле костра, следить изменчивые движения рыже-белого пламени и слушать, как «огонь говорит».

В эту ночь ребята долго не могли уснуть. Не то чтобы они пугались густой тишины притаившегося за их спинами чёрного леса... Нет. Каждому из них уже приходилось ночевать в тайге, на покосах, коротать время у костра. Но сидеть вот так, прижавшись, плечо к плечу, объединёнными общими заботами, — это случается не каждый день. Освещённые костром лица казались какими-то незнакомыми, и в то же время такими близкими...

— А помните, как мы с Фарадеем воевали? — ни с того ни с сего сказала Катя.

— Ну...

— А что?

— А то. Видела я его в райцентре, — Катино лицо опечалилось. — Электриком работает. В «Сельхозтехнике».

— Ну и что? — не понял Сенька.

— Как что? А вдруг он из-за нас тогда из школы ушёл? — вы сказала догадку Катя.

— Ну да, из-за нас! — не согласился Кудой. — Сам виноватый!

— Наверно... Но и мы хороши были, — самокритично сказала Катя. — А если подумать, физик он был неплохой.

Если подумать... И без этого ясно, что Фаддей Фёдорович был неплохим физиком. Чего стоили одни только лабораторные! Всегда в них было что-то загадочное, волнующее...

А вот с учениками мир его никак не брал. Конфликт за конфликтом. Молодой учитель со старинным именем, которое школьники сразу же переделали в «Фарадея», безвольный и мягкий человек, он обладал удивительной способностью возбуждать к себе неприязнь.

Маленького роста, с прилизанной назад причёской, утиным носом, вечно перепачканными мелом руками, которыми он хватался за классный журнал и тетради учеников... Вдобавок к неказистой внешности Фарадей был обидно язвителен, чем постоянно раздражал класс.

— Опять зубы сушите? Не знаю, не знаю... До того вы все ненагруженные! Точно, не потонете с такими знаниями. Как пробки.

— У меня класс — дуб к дубу. Молчуны. Дубовая роща...

И так далее, и тому подобное.

Взрыв произошёл после того, как Фарадей выдал:

— Вы что, белые мыши? Вас дрессировать надо? Сахар вместо мела на доску класть?

На следующем уроке ребята забаррикадировались в физкабинете и не пустили его на урок.

Он ходил, ходил под дверями, надеясь уладить дело миром. Потом просунул под дверь записку: «Откройте!».

Ему в ответ: «Если ничего не будет, откроем».

Он: «Будет! Завуча позову!».

Они: «Раз так — зовите!».

Пришла завуч, пожилая и усталая женщина. Ребята слышали, как она в коридоре негромко сказала:

— Фаддей Фёдорович, я в последний раз прихожу к вам налаживать дисциплину. Больше этого не будет. Даже если дети с вас брюки снимут...

Фарадей кое-как довёл второе полугодие и исчез. И вот, оказывается, работает электриком...

— Может, там ему лучше? — предположил Сенька. — Не всем же быть учителями. Электрики тоже нужны.

— Не умничай, — попросила Нина. — Всё-таки это был наш учитель.

— Ну и что? Был, да сплыл, — заспорил Сенька. — Он будет обзывать, а я должен терпеть?

— Да не обзывался он, — возразила Нина. — Он пробудить в нас самолюбие хотел. Чтоб мы физику лучше знали. А мы ему — войну...

— И правильно! — поддержала Сеньку Розка. — Мы тоже люди!

— Люди-то люди, — не сдавалась Нина. — А раз люди, значит, у нас есть не только права, но и обязанности.

— Ну тебя, Нин! — сказала Розка. — Что ты, в самом деле, завелась? Конечно, жалко Фарадея, немного перестарались... Но не бежать же за ним: вернитесь, пожалуйста...

Глухо и жутко ухнул филин-пугач. Девчонки вздрогнули. Мальчишки снисходительно переглянулись.

— Противная птица, — прошептала Розка, придвигаясь поближе к Кате. — Так бы и дала ей по круглой башке!

— Размахалась, — с неодобрением сказала Нина. — У каждого живого существа есть что-то хорошее. Что ты знаешь про эту птицу?

— И знать не хочу.

— А зря. Совы и филины — очень верные птицы. Раньше говорили «совушка-вдовушка, век одна». Они даже более верные, чем лебеди. Просто про них песен не поют, как про лебединую верность. И вообще, мало кто знает...

— Слушай, — повернулась Розка к Сеньке, — а чего это ты свою лодку «Росомахой» назвал? Назвал бы «Филином». Всё-таки символ верности! А росомаха — зверюга жадная. Нажрётся и лежит на пузе, аж лапы до земли не достают. Пока не выжрет всё, не уйдёт с места. А её мясо не ест ни один зверь.

— Всё? — спокойно дослушал её Сенька.

— Всё.

— Тогда поцелуй меня с разбега, я за деревом стою, Раймонда.

— Ребята, ну хватит! — взмолилась Катя. — А то опять поссоримся. Язык у тебя, Корнеев, как...

— А хотите, я анекдот расскажу? — вклинился Кудой и, не дожидаясь разрешения, заторопился: — Идут, значит, две булавки...

— Кто-кто? — не поняла Нина.

— Идут, говорю, две булавки, — повторил Витька. — Одна и говорит: «Жа-а-рко...». Другая: «Ну, расстегнись».

— И всё?

— Всё.

— Не смешно, — сказала Розка. — Пусть лучше Валя чего-нибудь расскажет, а то она всё молчит и молчит.

Все повернулись к Вале, безотрывно глядевшей на костёр.

— Валь, ну... Спишь, что ли? — подтолкнула её локтем Розка.

— Не сплю.

— Тогда разговаривай!

— Жили-были коршун и сова... — начала Валя.

— Ну-у... Опять сова! — Розка шутливо схватилась за голову. — Ладно, ваяй! Пусть будет сова.

— Жили-были коршун и сова, — повторила Валя. — И завелась меж ними дружба. Встретились они в лесу. Сова стала просить коршуна: «Знаю, коршун, что ты любишь чужими птенцами поживиться. Только мы с тобой теперь дружбу завели. Не губи моих детушек!». «А как же я узнаю, кума-сова, которые птенцы твои?» — спросил коршун. А сова ему в ответ: «Мои дети самые красивые из всех птенцов! Таких красавцев ни у кого нет!». «Ладно, кума-сова, не съем я твоих красивых детей. Ты на меня надейся», — пообещал коршун и улетел.

Захотелось коршуну покушать. Увидел гнездо на дереве, подлетел и заглянул. А там сидят такие уроды!.. Голые, ни пуха, ни пера! Рты большущие, глаза навывкате, круглые, как колёса. «Ну, таких страшил можно и съесть», — решил коршун и всех сожрал. А это и были совиные птенцы, — закончила Валя. — Может, поэтому сова так страшно кричит? По детям тоскует...

— А мне мамка говорила, что ушастые совы — это птицы зловещие, — вспомнила Розка. — Их крик предвещает несчастье.

— Выдумки, — возразила Нина. — А птица-див, птица-сирин? Это же и есть сова. Сова просто сказочная птица. О ней много историй сложено. А так — птица как птица. Ничего зловещего.

— Ну да, — недоверчиво сказала Розка. — Эй, вы, подбросьте-ка в огонь! Что-то холодно...

Сенька встал и пошёл за сучьями. И — словно порог переступил: не видать его.

Валя посмотрела ему вслед. Станный мальчишка. То хороший, то плохой... Словно «шахматка».

Как по команде, вскочил за другом и Витька. И тоже исчез в темноте.

Нескладный, мешковатый и добрый... «Кудой всем в пуп дышит!» — дразнят его за малый рост. И вовсе он не маленький! Нормальный мальчишка.

С запоздалым раскаянием Валя вспомнила, как вместе со всеми потешалась и она над сочинением Витьки по теме «Кем я хочу быть». Сенька тогда про мореходку написал. А Витька про то, как ему нравится строгать и пилить, и вколачивать гвозди в доску. И что он хотел бы заниматься «резнёй по дереву».

Ох, и грохотал же весь класс над этой «резнёй»!

— Резьба, Семёнов, понимаешь? Резьба по дереву, — объяснял Геннадий Фёдорович. — Неужели ты не чувствуешь разницу между словами?

— Нет, — признался Кудой, — не чувствую. Я глухой к словам.

То, что глухой — это точно. В четвёртом классе написал: «Он упал вверх кармашками», — и никто до сих пор не может ему вдолбить, что это не одно и то же с выражением «упал вверх тормашками». Именно в кудоевских сочинениях можно было прочитывать: «С криком ура солдаты бросились в кусты», «Задышал свежей морской грудью» или «Пушкин встречается в разговор»... Это он мог с жаром декламировать у доски стихи Твардовского:

Переправа, переправа!

Берег левый, берег правый!

И вставлять пушкинское:

Пушки с пристани палят,

Кораблю пристать велят.

А вот фигурки медведя, лося, глухаря и других лесных жителей у Кудоя получают занятные. Смешные какие-то. Все звери и птицы у него почему-то улыбаются. Может, Витька действительно слова не слышит, а слышит дерево? Интересно-то как...

Валя глядела на костёр и думала: «Хорошо и не страшно в тайге, когда рядом товарищи и горит добрый огонь... Вот только родителей жалко. Не спят сейчас, беспокоятся. Была бы у нас, к примеру, карманная радиостанция. Р-раз — и звонок. Не беспокойтесь, мол, дорогие взрослые, с нами всё в порядке. Поход как поход — идёт в штатном режиме».

Она посмотрела на подружек — тоже примолкли, глаза грустные. Наверно, о том же думают...

20

И вдруг с верховьев протоки послышался и не сразу понятный звук — словно бы стрекотал кузнечик.

— Моторка! — в голос закричали Витька и Сенька и бросились к реке.

Девчонки за ними. Столпились на берегу. В белёсую темноту глядываются. Хоть и светла северная ночь, но с мраком тайги и ей не справиться.

«Кузнечик» затарахтел совсем близко. Это и в самом деле была моторка.

— Эй, на лодке! Поворачивай сюда! — закричали мальчишки.

Мотор на лодке чихнул и замолк. Лодка уткнулась в берег — и ребята узнали её хозяйина, ханта Палькина, знаменитого на всё Приобье рыбака.

— Здорово, мужики, — поздоровался Палькин с мальчишками за руку, не устаивая девочек своим вниманием. — На уху наловили-ка?

— Наловили, дядя Палькин! Давайте к нашему костру! — обрадованно тянули его за собой мальчишки. — А что вы так поздно?

— Сеть порвал, — поделился огорчением Палькин. — Рыбалка пропала.

— Оставайтесь с нами!

— Нет. Домой надо, — покачал головой Палькин и потуже натянул шлем-накидку. — А вы что здесь ловите?

Он даже мысли не допускал, что на реке можно заниматься чем-то ещё, кроме рыбной ловли.

— Корову ищем. Пришлось заночевать, — солидно ответил Сенька и попросил: — Дядя Палькин, заедьте к нашим в Лесной! Скажите, где мы. Чтоб не ругались.

— Ай-яй-яй, — неожиданно тоненьким голоском посочувствовал Палькин. — Однако вас наказывать надо. Отцов не жалеете.

— Это потом! — заверил Сенька. — Накажут, не сомневайтесь. Вы, главное, заедьте!

— Тогда ладно, — согласился Палькин. — Заеду.

Он оставил ребятам щуку из своего улова, хлеб и отсыпал полкоробка спичек. Сел в лодку, и «кузнечик» трудолюбиво завёл свою однотонную песню: тах-тах-тах-тах...

С каким облегчением, с какой радостью проводили ребята моторку! Долго махали вслед, что-то кричали... Как беспечно и лег-

ко им стало — ай да чудо-дядя-Палькин! Гладкой дороги и ясной луны вам, добрый человек! Пусть домчит поскорей ваш старенький «кузнечик» до Лесного...

Спать не хотелось — ну нисколечко! Кудой затеял игру в загадки.

— Почему охотник прищуривает один глаз? — пристал он к девчонкам.

— Для удобства.

— Для зоркости!

— Потому что плохо видит?..

— Нет. Если бы он закрыл оба глаза, то ничего не увидел бы, — торжествовал Кудой, и они с Корнеевым от души потешались над несообразительностью девчонок.

— Ах, так? — сказала Нина. — Кто такой: маленький, хорошенький, серенький, похожий на слона?

Мальчишки задумались.

— Мышонок? — высказал предположение Кудой, подозревая, что на этот раз им с Сенькой не выкрутиться.

— Нет.

— Суслик?

— Тоже нет. Сдаётся? Эх, вы! Это же слонёнок! — выпалила Катя. — А вот ещё...

— Ну уж нет, теперь наша очередь! — запротестовал Кудой. — Да ведь, Сенька? Ну, говори...

Сенька мучительно стал припоминать что-нибудь эдакое, позаковыристее, но как назло в голове было пусто.

— Тогда я... — поспешил ему на помощь Кудой. — Слушайте. Что будет, если скрестить кенгуру со слонем?

— Ну и глупо, — фыркнула Розка.

— Ага, сдаётся! — запрыгал вокруг костра Витька. — Австралия в ямах, вот что будет!

— Слов нет про тебя, Кудой, одни мысли, — засмеялась Катя. — Ложился бы ты спать, вечный двигатель...

Спать повалились после полуночи — кто где, и усталость, накопившаяся за день, в считанные секунды разом сомкнула всем губы.

21

Под утро Вале приснился сон. Широкое поле. Холмы. Зелёная трава. С рюкзаком, в кедах, в спортивном костюме Валя идёт по траве. Легко поднимается на холм. Рядом с ней Зорька со сломанным рогом, потом Строгая, Марта, Беяна, Филя...

— Куда это вы? — спрашивает Розка. — И почему без нас?

— Они путешествуют, — отвечает торжественный и незнакомый голос, похожий на голос радиодиктора. — Не мешайте им...

Розка остаётся позади. А Валя и её компания уже на плоской вершине. Перед ними расстилается степь — сухой океан. Словно большие, пёстро окрашенные корабли, плывут по нему коровы. Их движение спокойно и красиво, даже величественно.

Но где же Рыбка?

— Рыбка-а... — кричит Валя, но у неё почему-то нет голоса, только шевелятся губы. Ей становится страшно. Сердце сильно-сильно стучит. И вдруг откуда-то издалека слышится знакомое: му-у...

Валя подхватывается куда-то бежать. Даже взлететь. Отталкивается от земли...

— Ты что, а? — трясёт её кто-то за плечо. — Проснись!

Валя открыла глаза.

Над нею склонился Сенька. В глазах удивление.

Валя села. Помотала головой, освобождаясь от сна. И тоже с удивлением посмотрела на него.

— А ты чего? — забормотала спросонья.

— Понимаешь... мне показалось... Корова где-то... Вот только что мычала...

Валя поднялась. Прислушалась.

В сыром предутреннем лесу было тихо. Только где-то на другом берегу протоки монотонно тенькала какая-то птичка. Не то просыпаясь, не то засыпая.

Старый пень, седой от золы, почти прогорел. Оставалось ещё несколько не потухших углей, но и они тускло помаргивали, словно лампочка при слабом напряжении.

Сенька подложил немного сучьев — в костре зашипело, повалил дым.

— Му-у... — глухо донеслось из глубины леса.

— Во, слышишь? — схватил Валю за руку Сенька. — Видать, нас почуяла...

— Слышу.

Она вытащила из сумки белый халат и надела поверх спортивного костюма. Так Рыбка быстрее узнает её.

— М-му-у...

— Туда! — Сенька показал рукой на заросли смородины и первый ринулся в самую гущу.

Ветки хлестали их по рукам, по лицу, сыпалась градом роса, в кедах чвакала отсыревшая резина.

— Скорей! — торопил Сенька. — Я ж тебе говорил!..

И Валя торопилась за ним, едва поспевая перешагивать через

валежины и пни. Упала. Сенька ловко подхватил её, поставил на ноги.

Всё дальше и дальше они углублялись в чащу.

— Рыбка! Рыбка! — не переставала звать Валя.

И корова снова отозвалась. Её мычание раздалось погромче, но откуда-то сбоку. Видимо, Сенька всё же сбился с курса. Ребята свернули влево.

Первой увидела их сама Рыбка.

Заметив между деревьями белый Валин халат, она радостно мыкнула и, ломая кустарник, тяжело двинулась навстречу.

— Золотая моя...

Валя повисла у коровы на шее и... расплакалась.

Сенька топтался рядом.

— Ну, что ты... Ты что, а? — бормотал он. — Будет вам... и так сыро...

А Рыбка всё выворачивала голову и норовила лизнуть Валу в солёные мокрые щёки — ну совсем как собака!

Сенька нагнул, настегал пучок травы, свернул из неё жгут и начал протирать спину, морду, шею Рыбки. Кровь так и потекла по бокам — от раздавленных кровососов, из царапин и ссадин.

— Осторожней, — упрекнула Валя. — Дерёшь, как... дай-ка я!

Сенька даже внимания не обратил на её слова. Им овладело радостное возбуждение: наконец-то! живая и невредимая корова нашлась! и теперь всё-всё-всё будет хорошо...

— А я, понимаешь, как специально проснулся, — спешил он рассказать Вале о своих переживаниях. — Холодно. Вы все, как улитки, свернулись. Ну, я малость огонь подправил... А заснуть не могу. Дай, думаю, подежурю, послушаю. Слушал, слушал — и точно!..

Валя кивала, что-то отвечала ему невпопад, а сама всё гладила Рыбку, всё не верила, что это не сон...

Они долго и медленно шли обратно. Впереди Валя, за ней Рыбка, позади Сенька с хворостиной в руке.

Но погонять настрадавшуюся в одиночестве корову не было никакой нужды. И без привязи она шла, почти утыкаясь головой в белый халат, старательно перебирала тонкими дрожащими ногами. Быть может, вспоминала то время, когда была ещё телёнком... Маленьких лосей, косуль, оленей, телят завораживает белый цвет. Особенно «зеркальце» у хвоста матери, которое заметно даже ночью. Они бегут спокойно, пока не теряют его из вида — лишь бы впереди маячило это самое «зеркальце»...

Валя шла по светлеющей тайге и счастливо улыбалась. С нежностью и жалостью она припоминала разные мелочи и случаи, связанные с Рыбкой, и на душе у нее было хорошо и свободно.

У Рыбки долго не было телят. Пётр Парфёнович даже хотел её выбраковывать. Но потом она принесла Орлика. Что это было за чудо! Весь беленький, шёлковый, а на лбу яркое рыжее пятно, как маленькое солнышко. Правда, телёнок родился слабеньким...

Валя радовалась ему. Называла «мой мычёночек», поила из соски, укрывала своим старым фланелевым халатом.

Рыбка стояла недалеко от загородки, куда на первое время определили малыша. И нервничала. А когда мама подоила и понесла молоко Орлику, корова аж вздохнула со стоном — и только тогда потянулась к кормушке.

Как и мать, Валя не ценила кормораздатчик. Они любили кормить коров сами. С машиной, конечно, легче, а... хуже как-то. Неинтересно. Те мгновения, когда тёплая мокроносовая голова с добрыми и всегда печальными глазами зарывалась в охапку сена, чуть прихватывая мягкими губами пальцы, руки, — эти мгновения были прекрасными. Между ними и коровами устанавливалось какое-то особое понимание. «Ешьте, милые, ешьте», — подражая матери, приговаривала Валя, и животные благодарно мотали головами, словно что-то хотели, но не могли сказать в ответ...

22

Кроме белого, ночью коровы лучше видят голубые и зелёные цвета, а красные не замечают. Ночью для них пастбища кажутся голубыми. Может быть, именно поэтому Рыбка чуть не наступила передними копытами на откатившиеся от костра угли.

— Стой, ты! — осадил её Сенька.

— Тише, ребят разбудишь, — сказала Валя и повела Рыбку подалее от костра.

Нина, Катя, Розка и Витька ещё спали.

Кудой, свернувшись калачиком, обхватил колени руками и лежал с краю, почти на голой земле. Своей заштопанной курткой он прикрыл плечи Розки и Кати, а сам лежал так.

Валя посмотрела на спящих. Согнала с толстых щёк Витьки деловито ползущего жучка. Потом отыскала банку, в которой вчера варили уху. Надо поскорей подоить Рыбку...

Она долго тёрла банку песком, чтобы уничтожить рыбный дух. Потом присела возле коровы на корточках.

Бедная... Как вымя-то исхлѣстано. Жалко, нет вазелина. Дома в сенцах стоит трёхлитровая банка с вазелином, её бы сюда... Отец из города привѣз. Пока вѣз, все спрашивали: «Почѣм мѣд покупал, Александр Иванович?». А он улыбался и отвечал: «Да не мѣд это, вазелин! Моя Шура лечит коровам вымя, когда об

осоку оширкаются». Кое-кто потом осуждал: «Всё не как у людей... Другие из города чего повкуснее везут, а он вазелину коровам добыл!».

Валя обмыла Рыбке вымя и осторожно промокнула полой халата. Ничего. Как-нибудь...

Рыбка стояла ожидающе. Изредка помахивала длинным тонким хвостом. Такой хвост, говорила мама, признак хорошей удоистности. С таким хвостом надо мно-о-го молока давать...

Валя бережно взялась за дойки, упругие, неподатливые. Стиснула и одновременно потянула вниз. Показались белые капли. Потом коротко дзенькнула первая струя молока, другая...

Вспомнились мамины руки. Со стороны казалось: эти руки делали всё сами, легко и непринуждённо, словно бы имели свой собственный разум. Мать доила обычно «кулаком», всеми пальцами. Реже — двумя. Это уж когда у коровы ушиб на вымени или сосок залип. «Щипком» доить Александра Тарасовна не любила и другим не советовала: молоко хуже идёт и корове неприятно...

Рыбка белобокая, ну, стой, стой... Не волнуйся.

Валя доила двумя пальцами, отчего дело шло медленно, и время тянулось долго. Сенька стоял рядом и терпеливо ждал, пока Валя закончит. Он впервые вдруг услышал, что струйные звуки похожи на какую-то мелодию. Эта мелодия вроде бы знакомая, а почему-то волнует, как новая...

И ему хотелось так и стоять на пустынном берегу, смотреть на ловкие пальцы Найденцевой... Ему всё нравилось в ней: и тяжёлая коса, и внимательный взгляд серых глаз, сжатые губы и даже то, что она такая невысокая, какая-то вся маленькая. И правда, Вáлюшка...

— Чего стоишь? — спросила Валя, распрямляя спину. — Бери. Пей.

И протянула банку, полную молока. Маловата посудина, придётся додаивать...

Сенька принял банку обеими руками и с замиранием сердца ощутил тепло молока и рук девочки.

Валя отняла руки. Но всё равно тепло осталось.

— Ну что, будить ребят? — спросила Валя.

— Погоди, — почему-то шёпотом попросил Сенька и, кашлянув, прибавил: — Пусть ещё поспят гаврики...

Они оба посмотрели на розовеющий краешек зубчатого леса: там поднималось солнце.

Ясное и спокойное небо, бархатистая гладь сонной Лисицы обещали впереди хороший день.

— Ой! — сказала Катя и уставилась на корову сонными глазами.

— Рыбка! Нашлась! — обрадовано бросилась Нина к невольной путешественнице.

— Молочка ба... — потянулась безмятежно Розка. — Парного ба...

А Витька, словно мячик, скатился с пихтовых лап и заблажил, по-совиному подкатывая глаза:

— Я упала с сеновала, головою бороздя... Ур-ра! Привет высокоудойному механизму!

— Отвянь, а? — жалобно простонала Розка, закрывая уши ладонями. — Ох, и надоедливый же ты, Кудойше...

Настроение — чудесное!

Никто ни на кого не сердится!

Парное молоко — волшебный напиток!

Всё хо-ро-шо...

Над рекой, словно далёкая сенокосилка, застрекотал вертолёт.

— Гляньте, вертушка! — заорал Кудой и замахал руками. — Эй, кто-нибудь!..

Не снижая высоты, словно приглядываясь к верхушкам деревьев, проплыла зелёная «стрекоза». Тень от вертолёта скользнула по сверкающей от зари воде.

— Это вахтовый, — с видом знатока сообщил Сенька. — Буровикам смену повёз. Они там по две недели вкалывают. А потом две — в городе прохлаждаются. Хорошо! Катайся туда-сюда бесплатно. Вот закончу девятый класс и к нефтяникам пойду. У них техника — будь здоров! Один канадский «Форемост» чего стóит! Колёса — выше меня... Или «Арок» — мастерская на колёсах. А вездеходы? А «Татры»? Мировая география, да и только!

— Точно, — серьёзно поддержала его Катя. — До тебя, Корнеев, всё доходит через Канаду. Своей географии ты не знаешь. Тебе сразу мировую подавай.

— К географии вернёмся позже, — вмешалась Нина. — А сейчас пора думать, как вернуться домой.

— И думать нечего, — ухмыльнулся Кудой. — Запросим по радиации вертолёт, подцепим на трос Рыбку и — привет!

— Шутник, — возмутилась Катя. — Как проснулся, так и шуутит...

— Ну, тогда... — Витька подмигнул Кате. — Посадим Рыбку в лодку. Или на плот. А сами — как бурлаки...

— Ох, и надоед ты, Витька, — вздохнула Розка. — Ведь, правда же, домой надо!

— Тогда решайте сами, — развёл руками Витька. — Я своё сказал. Пусть Сенька скажет.

Все взгляды обратились на Корнеева.

— Я предлагаю, — кашлянув, негромко сказал Сенька, — одним возвращаться на лодке, другим с коровой идти берегом.

— Правильно, — поддержала его Розка. — Раз так, я согласна плыть.

— Раз «как»? — уточнила Нина.

— Как слышала. Кто ещё хочет плыть со мной? — начала набирать команду Розка.

Все молчали.

— Интересно, — хмыкнул Кудой. — Ну, я, скажем, решил по берегу прогуляться. А ты, Сенька? Тебе ж лодку бросать нельзя. Тебя ж дядька за неё...

— Ну, хватит спорить, — примирительно сказала Нина. — Лучше кинем жребий.

Катя отломилла пять длинных палочек и одну короткую.

— Не считайте меня, — попросила Валя. — Я останусь с Рыбкой. В этом с ней трудно было не согласиться.

— Правильно, — Катя выбросила одну длинную палочку. — Больше самоотводов нет?

— Есть, — неожиданно заявил Сенька. — Я тоже... с Рыбкой.

Кудой разочарованно шмыгнул носом, а Розка так даже свистнула: ай да Корнеев.

— Ничего, Витя, ты будешь у нас капитаном, — предложила Нина.

— Скажи лучше — на вёслах, — скривился Кудой. — Капитан у нас уже есть — Роза Батьковна.

— А я согласна, — не растерялась Розка. — Неплохо. Капитан третьего ранга! Высшего... Чего ты, Арсений, лыбишься?

— Ничего, — сказал Сенька. — У морских офицеров звания не как у сухопутных. Капитан третьего ранга — это майор, второго — подполковник, первого — полковник. Значит, командиром на «Росомахе» будет Витька.

Так Розке и не удалось покомандовать.

Ребята расстались здесь же, на берегу протоки. Настроение у всех испортилось. Делиться в походе — последнее дело. Но все понимали, что решение принято верное и остаётся только его исполнить.

Отдохнувшая и подоенная Рыбка двигалась бодро, отгоняя хвостом комаров, лесных мух, оводов... Особенно оводов. Коро-

вы их боятся: эти насекомые откладывают яйца под кожу, а это очень мучительно.

Сенька шагал по левую сторону от коровы и, скорее для солидности, чем по надобности, время от времени помахивал тальниковой лозой.

В утреннем лесу, прошитом золотыми иглами солнца, проступали рыже-красные полосы — стволы молодых сосен, клубились тёмно-зелёными облаками одинокие кедры. То выступала вперёд мрачноватая загадочная красавица ель. Мешались под ногами растрёпы-кустарники. А то вдруг открывалась, словно окошко, чистая лесная поляна.

Знакомая милая картина. Сибирская родина. Место, где была повешена твоя зыбка, — так говорят на томском Севере.

Гнус, комары, мошка... Зловредные существа мокрецы (меньше мошки, их даже не видать, а проведёшь рукой — вся ладонь мокрая). Испарения болот. Густой лес. Невеликая река, в которой «сырая вода» (не замёрзшая) бывает всего лишь два неполных месяца. Белые июльские ночи, ещё никем не воспетые так, как белые ленинградские... Трудная земля. Скупая на тепло и нежность. Но именно здесь, на этой земле, была повешена её зыбка.

Впервые по-настоящему Валя ощутила смысл этих, много раз слышанных слов, поняла их глубинный настрой.

Хотелось ли ей когда-нибудь отсюда уехать?

Розка только и говорит: вырасту и уеду из Лесного за тридцать земель в тридцатое царство. Катя мечтает о райцентре, Нина об институте. Сенька — о мореходке, а значит, тоже об иных землях и странах.

Валя взглянула на Корнеева. Иные земли и страны...

«Нет, — честно призналась себе Валя. — Ничего этого мне не хочется. Хорошо это или плохо?»

Неожиданно Сенька повернул к ней лицо и, кашлянув от долгого молчания, спросил:

— Ты... чего?

— Ничего, — Валя сильнее замахала перед лицом веничком из папоротника. — Иду и иду.

— А я думал, ты хотела что-то сказать. А то идти скучно.

— Жалеешь, что не пошёл на «Росомахе»? Плыл бы сейчас и плыл. На реке прохладно и комаров нет.

— Чё я там не видел? — самолюбиво дёрнулся Корнеев.

— Но ты ведь будущий моряк, в мореходку собираешься...

— Одно другому не мешает. А вообще... Я так решил: если мамка в поселок не вернётся, то и я из посёлка никуда!

— При чём здесь мать?

— Как при чём? А хозяйство? — Сенька даже остановился. — У нас всё-таки свой дом, лодка, земля... Уеду — и всё пропадёт. Не-ет, я так не хочу! Дом отец строил. Для жизни, а не для распродажи.

— Достается тебе... — жалеючи сказала Валя. — И от Петра Парфёновича, и ото всего...

— Это всё ерунда. Мне на моего дядьку три ха-ха! Да он и не умеет драться... Машет, машет своими граблями, а попадает мало. А так он — ничего. В войну боцманом был. На минном тральщике. Раненый. Ничего-о... Жить можно! Мне бы ещё плавать на скорость научиться...

— Ну и учился бы, а то... — Валя погладила Рыбку, — а то живое существо по воде пустил. Это тебе что, цирк с плавающими коровами?

— Между прочим, и неплохой бы вышел номер, — разулыбался Сенька. — Многие домашние животные что-нибудь умеют. Я по телевизору видел. Есть учёные петухи, свиньи, лошади, кошки, дельфины... А где коровы?

— На столе, вот где! — Валя начала сердиться. — Коровье молоко дают. Без фокусов обойтись можно, а без молока нет. И характер у коровы посерьёзней твоего. Некогда ей глупостями заниматься. Да, Рыбка?

Корова мотнула головой.

— Видишь, она всё понимает, только не говорит. Не веришь? Спроси у неё сам, что хочешь!

— И спрошу, — решил подыграть Сенька. — Рыбка, Рыбка, как ты относишься к цирку?

Корова даже голову от него отвернула: дескать, что за глупый вопрос. И продолжала так же неторопливо и важно вышагивать по траве.

— Понял? Цирк её не увлекает, — засмеялась Валя.

— Её ничто не увлекает. Молочный завод...

И тут Рыбка остановилась. Укоризненно скосила на Сеньку большие коричневые глаза и коротко мукнула.

— Слышал? — с победным видом спросила Валя. — Она тебе сказала: глупый ты, Корнеев. То человек как человек, а то целый завод глупостей!

— Ладно, — махнул прутом Сенька. — Ты ей скажи: это проверка.

— Сам скажи.

— Я и говорю: это проверка...

Рыбка согласно качнула головой и двинулась дальше.

Только сейчас Корнеев заметил, что корова останавливалась и шла дальше, подчиняясь движениям рук Вали.

— Ага, — обрадовано уличил он, — да она у тебя дрессированная!

— Сам ты дрессированный. Пойдём, Рыбочка, ну его...

Но корова вдруг остановилась, пригнула к земле голову, вывернув рога из пояска, на котором вела её Валя. Кожа на её шее собралась в складки, задёргалась; холка напряжинулась, хвост подобрался...

Что такое?

Сенька подтолкнул её сзади: чего упрямишься?

Рыбка ни с места.

И тут они увидели медведя.

«Хозяин тайги», «дядя», как говорят на томском Севере, полускрытый кустами, сидел на поляне и ел чернику. Шарил обеими лапами возле себя, выдирает кустики и сосредоточенно объедал ягоды. Вытянутая медвежья морда выражала истинное удовольствие. Голые ступни лап, напоминавшие человеческие ладони, были грязно-синими от раздавленных ягод.

— Стой, — шёпотом приказал Сенька.

Медведь тоже увидел их. Перестал жевать и устался на ребят и корову. Потом оперся на передние лапы и встал.

Это был небольшой медведь, должно быть, второгодок, но морда у него была вполне взрослая.

Побледневший Сенька загородил собой Валу.

Медведь долго смотрел на них неподвижными маленькими глазами. И вдруг лапы его поднялись вверх — он будто замахивался...

Но тут Рыбка неожиданно выставила вперёд рога и пошла на медведя.

Мохнатый несколько секунд с недоумением смотрел на странное животное. Может, впервые в жизни корову увидел? Потом опустил на четвереньки и... затрусил прочь.

Незабываемая картина.

Когда кусты смородины перестали качаться за ним, ребята перевели дух.

— Ну и ну, — сказал почему-то охрипшим голосом Сенька. — Рыбки испугался, мохнарь!

Валя промолчала. Трясущимися руками она вернула петлю из пояска на коровий рог и потянула вперёд. Кто знает, что у зверя на уме, вдруг вернётся?

Она в первый раз видела медведя так близко. Правда, в прошлом году отец Нины и Кати Абачиных какое-то время держал на своём подворье медвежонка, оставшегося без матери. Выкормил

его и отправил в зооцирк — может, артистом станет... Так тот был совершенно другой — игрушечный, что ли. Гонялся за мячиком, баловался, кувыркался, барахтался с детьми, ковылял на задних лапах, озорничал, охотно откликался на свою кличку «Медведёк». Даже музицировал. Перевернёт дном кверху оцинкованный таз, усядется рядом. Ударит лапой по тазу — и слушает. Ударит — и слушает... «Композитор».

Ещё Валя вспомнила, как в детском саду они играли. Кто-нибудь выбирался «медведем», а все остальные должны были его ловить. «Медведь» рычал, громко щёлкал, будто ел кедровые орехи, залегал в «берлогу», прятался в «дуплах»... «Охотники» искали его, ловили — нужно было непременно схватить его за уши, тогда «медведь» уже не сопротивлялся. Вели его в «стойбище»... Весёлая игра. После неё у «медведя» так горели уши...

Но то была игра.

Долго ещё шли и оглядывались ребята, вздрагивали от каждого звука. Всюду им мерещилась медвежья физиономия.

— В такое время они на людей не нападают, — успокаивал Сенька. — Август — месяц сытый. Чего нападать? Они и так отъедаются на малине да на голубике, на смородине. Бурундучьи запасы разоряют. Глупые они. Жадные и глупые...

Валя согласно кивала: да, не нападают... Ей и самой хотелось в это верить. Однако вспоминались и рассказы отца Нины и Кати Абачиных, лесного обходчика.

— Отец Нины-Кати говорил, что как раз медведи не глупые, — сказала она, невольно понизив голос. — Из хищников самый сложный мозг у медведя. Это учёные установили. Медведь очень хитрый. Катин-Нинин отец говорил, что медведь, когда ложится в берлогу, идёт спиной вперёд. Следы путает. Будто бы он из берлоги ушёл, нет его.

— Ну да, хитрый, — не стал спорить Сенька. — Мне тоже отец рассказывал... Он сам видел, как мохнарь зашёл в речку и стал вытягивать рыбацкие сети. Вытащит, рыбу съест, а сеть бросит.

— Твой отец хороший был. Зря не сказал бы, — подтвердила Валя. — Раз видел, значит, видел.

Сенька с благодарностью посмотрел на неё. Тоска по отцу порой так сильно давила, что хотелось плакать, сорвать на ком-нибудь своё непоправимое горе... Об отце он ни с кем не мог говорить. О матери — сколько угодно. Даже поругать её за то, что не хочет возвращаться в Лесной. А об отце — ни с кем.

Однако сейчас Валины слова хотелось слушать ещё.

— Твой отец красивый был, — искренно сказала Валя. — И добрый.

Был... Какое маленькое и страшное слово!

В носу Сеньки защипало, словно травинка попала. Чтобы скрыть это, он отшвырнул прут и свернул с просеки.

— Куда ты? — забеспокоилась Валя.

— Иди, я сейчас...

Вернулся с пригоршней синих, приплюснутых с макушек ягод.

— На, держи, — сказал. — Что мы, хуже «дяди»?

Валя протянула ладони ковшиком, и он ссыпал в них чернику. Но ковшик оказался маленький, ягоды ещё остались. И Сенька великодушно протянул их корове:

— Угощайся, героиня!

Рыбка покосилась на его руки — и единым махом слизнула всё, что было в пригоршне.

— Вот это по-нашему! — похвалил Сенька. — Р-раз! И как корова языком слизнула!

Его слова показались Вале очень смешными, и она, поперхнувшись черничным соком, рассмеялась.

Сенька посмотрел, посмотрел на неё, на корову... И тоже залился смехом, откидывая назад нечёсаную лохматую голову — точь-в-точь, как цветок лопушка, на который порывисто дунул ветер.

Они хохотали долго, не в силах остановиться, повисали на шее Рыбки...

Им было хорошо и ничего-ничего не страшно.

25

Чем дальше продвигались по лесу Валя, Сенька и Рыбка, тем шире становилась дорога. Малозаметная тропинка, начавшаяся от протоки, превратилась сначала в тропу, затем в просеку, потом в дорогу. Чаще стали попадаться рытвины, оставленные тяжёлыми вездеходами, гусеничные следы, поваленные деревья, железный хлам. Земля бугрилась и вспучивалась, словно бы сквозь вековую оболочку прорастало из неё что-то невиданное, громадное и беспокойное.

И проросло.

Это была передвижная разведочная вышка, похожая на остов подъёмного крана, только без его выносной стрелы и подъездных путей. На самом верху трепетал красный флаг.

В некотором отдалении от вышки стояло несколько овальных вагончиков серебристого цвета. Они напоминали тупоносые самолёты без крыльев. Земля вокруг них тоже была измолочена бульдозерами и вездеходами, засорена брёвнами, трубами, какими-то мешками...

Ребята вместе с Рыбкой дошли до крайнего вагончика и только хотели постучаться, как резко отпахнулась дверь, и на пороге появился рыжебородый человек в оранжевой брезентовой длиннополой куртке и таких же штанах.

— Тью! — по-детски удивился он. — А это ещё что за экскурсия?

— Мы из Лесного, — солидно объяснил Корнеев. — Идём мимо. Нельзя, что ли?

— Почему нельзя? Если только вы не из иностранной разведки, — продолжал сквозь усы улыбаться рыжебородый здоровяк.

— Не-а, мы из своей разведки, — нахмурился Сенька.

— Хорошо ответил. Хвалю, — нефтеразведчик спустился с приставной лесенки и заинтересованно спросил: — А корова тоже оттуда?

— Ага. Возвращается после ответственного задания.

— Я так и догадался. И какой же у неё шифр-имя?

— Рыбка.

— А у тебя?

— Арсений Корнеев.

— А у неё?

— Валентина.

— Всё сходится, — удовлетворённо кивнул бородач. — Значит, из-за вас такой переполох? Это вы пропали?

— Мы не пропали, — возразил Сенька. — Дядя Палькин обещал предупредить...

— Он и предупредил. По реке моторку за вами выслали. Нам по рации: прочесать окрестности... А вы тут как тут. Молодцы!

Он обернулся в сторону второго вагончика и громко позвал:

— Эй, орлы! Поход отменяется! Нашлась пропажа!

И, доверительно склонившись к Сеньке, сообщил:

— Из-за вас, чертенят, полсмены по тайге мотается...

Из второго вагончика вышли двое мужчин, одетых так же, как рыжебородый. От них сильно пахло «Дэтой» — видать, и в самом деле собрались в тайгу.

— Ну вы даёте! — сказал один из них, оглядев ребят. — Ну и молодёжь пошла, а бригадир?

Вроде бы сердито сказал, а у самого глаза добрые-добрые.

— Всё, всё! — растопырил обе пятерни бригадир. — По местам! А вы — марш в столовую!

Он весело оглядел корову и поискал взглядом: куда бы её пристроить?

— Не беспокойтесь, — сказала Валя. — Рыбка никуда не уйдёт. Ей бы только попить...

— Это можно, — с готовностью ответил бородач и добавил:

— Идите, идите в столовую. Всё сделаю, как надо.

Столовая располагалась в третьем вагончике под вывеской «Северянка». На маленьких окошках висели занавески. Четыре стола, покрытые белым пластиком, сияли чистотой. В вазочках кудрявились сиреневые соцветия иван-чая. Даже лозунг над раздаточным окном выбран подходящий: «Хлеб — батюшка, вода — матушка, щи — добрые люди».

К удивлению ребят, хозяйничал в «Северянке» мужчина. С коротко стриженными «в торчок» седыми волосами, вытянутыми вперёд губами, носом и подбородком, в коричневой махровой футболке, повар весь походил на ёжика. Особенно маленькие чёрные глазки, близко посаженные и очень внимательные.

«Ёжик» проворно выставил на стол железные мисочки с борщом, тарелку с хлебом, выдал вилки и ложки. Сел напротив и, подперев по-старушечьи щеку ладонью, стал сочувственно смотреть, как ребята едят.

Подождав, пока они утолят первый голод, спросил:

— Отличники, небось?

— Это почему? — удивился Сенька.

— Ложками хорошо работаете. Звук в звук. Уважаю. Кто ладом ест, тот так и работает.

Вскочил, исчез за перегородкой, через минуту появился и торжественно шлёпнул на стол две консервные банки.

— Шпро-ты, — прочитал по слогам этикетку. — Поняли? Шпроты — это килька с высшим образованием. В ней фосфора много. Для питания мозга. А это сгущёнка — детская смущёнка. Ешьте, ребятки. Второго у меня не осталось, всё мужики подмели, а ужин я ещё не сготовил.

Затем «ёжик» ещё раз наведалься в кухню — принёс компот.

— А мои ребятки выросли. Сгущёнку больше не любят, — доверительно сообщил он.

В его словах Вале послышалась печаль.

— Кем станешь, когда вырастешь? — спросил он у Сеньки, не в силах долго удерживаться от вопросов.

— Моряком.

— А ты, девочка?

— Я? Дояркой. Или ветеринаром.

— Доброе дело, — похвалил «ёжик». — Каждый мечтает о своём. Без мечты человек — полчеловека.

— А вы о чём в детстве мечтали? — спросил Сенька.

— Как о чём? — даже удивился «ёжик». — Поваром стать.

— Ну да? — не поверил Сенька. — Так не бывает!

— Постой, постой, — заволновался повар. — А почему так не бывает?

— Да не мечтают о поварах — и всё! — отрезал Сенька. — Работают — да. А чтоб с детства мечтать — нет.

— Да? — огорчился «ёжик». — А я мечтал. Меня с кухни гнали, а я лез.

— И вас не дразнили в школе? — недоверчиво спросил Сенька, сомневаясь в искренности взрослого человека.

— Смеялись, конечно, — вздохнул «ёжик». — Эй, мол, кухарка... А мне интересно было. Отчего каша фонтанчики пускает, плюётся? Почему борщ на компот похож, если овощи не пассеровать, не поджарить то есть... Как хлеб выпекается? Ну и так и далее... Я даже курить не стал, хотя друзья и подбивали. Потому что курящий повар всё равно, что артист без голоса. Ему же всё пробовать надо и нюхать... Кстати, раньше повара были сплошь мужчины и славились не меньше полководцев.

Валя верила «ёжику». Вот ведь и Пётр Парфёнович тоже не любит, когда она на ферму приходит. Чуть ли не гнать готов, лишь бы она под ногами не путалась. Не понимает, что её просто тянет туда. И не только он один не понимает...

— Это замечательная профессия, ваша, — тихо сказала она. — Это приятно и нужно... кормить.

— Во! — обрадовался повар. — Нормальный человек понимает! Одарила хорошим словом, спасибо!

— Да не мужская это профессия! Кастрюли, поварёшки, ложки... — рассердился Сенька.

— Нет, сынок, — покачал седой головой повар. — Тут ты не прав. На свете нет немужских профессий. Запомни. Все профессии — мужские. Понимаешь? Профессия — это профессиональная работа. А мужчина и есть прежде всего работник! Сначала работник, а потом всё остальное.

— И женщина тоже работник, — вставила Валя.

— Женщина — сначала мать.

— Как всё у вас просто, — не сдавался Сенька. — Сначала то, потом другое... А в жизни не так!

— Конечно, — не стал спорить «ёжик», и глаза его погрустнели. — В жизни много чего не так...

Сенька победно ухмыльнулся, схватил свою кружку и пошёл на кухню попить. С минуту постоял, удивляясь до сверка начищенным кастрюлям, газовой плите, разным ножам, шумовкам, черпачкам, ложкам и вилкам, разложенным на льняном полотенце, как на хирургическом столе. А может, и правда — бывает у человека и такое призвание?

Валя протёрла влажной тряпкой стол и отправилась мыть тарелки.

— Так, так, — похвалил повар. — Мытьё посуды есть продолжение обеда. Теперь можно и погулять.

Валя и Сенька поблагодарили его за вкусную еду и покинули «Северянку». Огляделись: никого. Только Рыбка мирно поела за вагончиком столовские отходы из эмалированного ведра. «Ёжик» успел угостить и её.

От буровой шло мерное гудение, свист, скрежет металла. Как магнитом, Сеньку потянуло туда.

26

На деревянном помосте, заляпанном цементным раствором, два бурильщика вставляли в «свечу» длинную трубу, что-то крутили, вправляли. На площадке повыше — ещё один. Он подавал эту трубу. У пульта чумазый парень в оранжевой каске, словно экскаваторщик, управлял рычагами. И только бригадир был относительно свободен, переходил от одного к другому.

Заметив ребят, он призывно махнул рукой: дескать, не робейте, залезайте! Если хотите...

Ещё бы не хотеть! Сенька проворно полез наверх. Расстёгнутый ворот его рубашки затрепетал на ветру, как острый кормовой флажок на речном катере. Всей душой мальчишка потянулся туда, к этим сильным людям, захваченным ритмом непонятной работы.

Парень у пульта подвинулся, и Сенька встал рядом с ним, положил руки на горячие подрагивающие рычаги.

Разговаривать на буровой невозможно — грохот и гудение подавляют голос. И всё же Сенька вдруг услышал песню:

Бесконечный простор, вековая тайга.
Здесь ничья до сих пор не ступала нога.
Лишь снега да снега. Только свист ветровой
От моей буровой до твоей буровой...

Он оглянулся: кто поёт?

Но лица бурильщиков были всё так же сосредоточены и замкнуты, губы стиснуты, а руки поглощены работой и взгляды устремлены туда, где прокручивается тело трубы, где из скважины плюётся раствор и оплывает с лебёдки трос... И только бригадир улыбался издали и делал знак рукой: ничего, мальчик, всё правильно!

Но ведь была же песня! От моей буровой до твоей буровой... Неужели это Арсений придумал её?

Валя, постояв немного у подножья вышки, так и не решилась взобраться вслед за Сенькой и вернулась к «Северянке».

Заглянула в столовую — никого. Взяла ведро и чистую марлю, которой была прикрыта мытая посуда, и пошла к Рыбке.

Странное всё-таки соседство: буровая вышка и корова. Мощный бульдозер застыл с поднятым стальным ножом — и Рыбка белобокая... Шум буровой и тонкое пение молочной струи.

А почему — странное?

Мир машин и мир животных и растений — это и есть мир человека, мир людей. Хорошо, если бы в нём всегда и везде царила справедливость. Чтобы не было изрытой тайги, безжалостно поваленных деревьев, пересыхающих озёр и рек...

Когда Валя закончила доить, за её спиной уже стояли рыжебородый бригадир, повар-«ёжик», Сенька и ещё какой-то человек, как потом оказалось, шофёр.

Валя поставила ведро на ступеньку крыльца.

— Неси кружки, Арсений.

Тот кивнул и пошёл за кружками. Он теперь готов был выполнять любые её распоряжения. Хорошо бы вообще подружиться с ней... Не похожа она на других девчонок. Упрямая. Смелая. Добрая. За своих коров готова и в спор, и в драку...

Но вот как подружиться, Сенька понятия не имел. С мальчишками проще. Куда Сенька — туда и Кудой. Вместе на реку, вместе в лес, вместе «резнёй» по дереву заниматься: Витька оленей выстругивает, Сенька двухмачтовую шхуну мастерит. А с девчонками — что? Э-э-э...

И всё-таки жаль, что подходит к концу их неожиданное совместное путешествие...

Натянув марлю на край ведра, Валя осторожно наполнила кружки молоком.

— Пейте, — сказала она и, как её бабушка Плота, прибавила нараспев: — На доброе здоровье.

Бригадир улыбнулся:

— На доброе здоровье! За нашу будущую нефть!

И медленно, не отрываясь, выпил парное молоко.

А «ёжик» подошёл к Рыбке и долго и ласково гладил её по шее, по голове, будто соскучился и теперь радовался встрече.

И тех, кто сейчас трудился на вышке, не обидели: Рыбка отдалась почти полным ведром отличного молока.

Они возвращались в Лесной на грузовике. По длинной дороге — через переезд, мимо нижнего склада, где работяги-краны укладывали разделанную древесину аккуратными штабелями на железнодорожные платформы.

По той осторожности и в то же время лихости, с которой ply-

ли по воздуху перевязанные тросами хлысты, Валя определила, что это её отец управляет могучей машиной.

Он любит работать без передышки, без перекуров. Стрѳпали и эстакадная бригада ворчат на него, жалуются, что «этот Найденцев охоч до крана, как кузнец до наковальни, гоняет смену до седьмого пота». Ворчат и... просятя с ним хоть в день, хоть в ночь.

Как хорошо возвращаться домой!

Валя и Сенька стояли в полный рост в кузове, по обе стороны от Рыбки. Сжимали в кулаках «монетки» керна — подарок нефтеразведчиков. Жѳлтые, красно-мраморные, сизые, чѳрно-угольные... «Это образцы породы, — объяснил бригадир. — Земля — как слоѳный пирог. У каждого слоя свой цвет и запах, и вкус... А нефть прячется глубоко. Иногда в ловушках и щелях. Редко, но встречаются даже нефтяные озѳра. С помощью керны мы узнаѳем, где она. Это как бы следы её...»

Завидев посѳлок, корова потянулась вперед.

— Стой, Рыбка, стой... — уговаривали её Сенька и Валя, обнимая за шею. Душа их тоже стремилась вперед — домой...

А навстречу им, поднимая кедами тяжѳлую вечернюю пыль, неслась знакомая четвѳрка. Впереди длинноногая Розка с букетом рыжих цветов — «солнечных шаров». За нею, взявшись за руки, бежали Нина и Катя. Позади, отдуваясь, поспешал Витька-Кудой.

Сенька расплылся в улыбке:

— Во, марафонцы...

Как приятно возвращаться домой.

28

На следующий день Валя проспала до обеда. Не слышала, как ушла на ферму мать, как вернулся со смены отец, как приходила бабушка... Ничего не слышала: спала.

Потом встала. Умылась. Походила по комнате. Вышла во двор. По привычке заглянула в почтовый ящик...

И обнаружила там листок, неровно выданный из тетради в клеточку.

«Если хочИшь увидИть сюрприз — приходи в пять часов дня к переправе через ручей. Не пожалейШь!».

Подписи не было.

Томск, 1986 г.

Деревянный маузер

Повесть

Едут, соколики!..

Сквозь неплотно задёрнутый полог пробился рассвет. В его белёсом свете обозначилось нехитрое убранство девчоночьей палатки: раскладушки, две расшатанные тумбочки, опорный столб посередине — корявый, с «совиным глазом», круглым зеркальцем, зацепившимся за сучок.

Тоня заглянула в «совиный глаз». Подстриженные волосы цвета омытой дождём соломы торчат на затылке, как хохолок рассерженного попугая. Брови не найдёшь — выгорели. Нос облупился. Глаза сонные.

Всё. Долой от зеркала. Откинула полог и выбралась наружу.

Потрескавшаяся земля, редкая колючая трава, шеренга четырёхместных палаток, похожих на крыши, снятые с квадратных домов, флагшток — всё будто солью посыпано. Иней... Не верилось, что через час-два грянет жара.

Казахстан... Откуда-то совсем близко, словно из-под ног, выкатывается огромное багровое колесо, чтобы весь день, до глубокого вечера, жечь, жечь, жечь...

Здешнее солнце напоминало Тоне «буржуйку», железную печку, купленную матерью на толкучке в первую военную зиму. Едва поднесёшь спичку, как печка начинает шипеть, гудеть, стрелять, трещать и выплёвывать дымные дровяные осколки. Возле неё становилось нечем дышать, жарко. Но и выстывала она так же стремительно, как безжизненная казахстанская степь, когда наступала темнота.

По утрам здесь вода холодная, ладонями не зачерпнёшь. Но умываться надо.

Тоня выросла в небольшом селении среди гор, на юге Краснодарского края. Там пресная вода ценилась высоко, потому что где она протекала хотя бы струйкой, была жизнь, трава пробивалась сквозь камень, цветы вырастали с ладонь взрослого человека. Правда, если её было много — дожди порой выпадали оглуши-

тельные, — то все мергелевые тропы-дороги-улицы превращались в бетонное месиво. Поленишься, не очистишь сразу обувь — утром молотком не отобьёшь. Ох, и попадало Тоне от матери за такие дела... Отец же никогда не ругался, только насмешливо щурился, глядя, как дочка мается с окаменелостями.

«Сегодня же напишу им, — покаянно подумала Тоня; в спешке она послала родителям только телеграмму, где было всего три слова: «Приехать не смогу». — Длиннющее письмо напишу! Чтob весь вечер читали. Расскажу, почему «не смогу»...»

Она представила, как отец не спеша цепляет проволочные дужки за уши, длинными портновскими ножницами режет края конверта. А мать нетерпеливо заглядывает ему в лицо, словно он уже всё прочитал и всё узнал. И глаза её (у Тони такие же) тревожно синеют, как море незадолго до шторма.

В низеньком, по самые окна ушедшем в землю доме тихо-тихо. Только шелестят руки матери, поглаживающие то конверт, то пустой рукав отцовского пиджака, прижатый солдатским ремнём. Они всегда в движении, эти руки, в порывистом желании что-то делать. А когда не находится дела, они долго-долго ласкают чистую клеёнку на столе...

Пастушьим бичом щёлкнул брезентовый полог. Тоня обернулась. Запрокинув голову, раскинув длинные тонкие руки, сладко потягивалась Паша.

— Привет, — чуть охрипшим после сна голосом сказала она. — Любуешься картинками живой природы?

— Нет, тобой.

Тоня почти не лукавила. Её подруга была просто замечательная. Баскетбольный рост. Сильная высокая шея. Копна рыжих волос. Вот только лицо... слишком просторное, что ли. А так — всё, что надо!

Паша подошла к умывальнику. Набрала в пригоршню ледяной воды да как плесканёт в Тоню!

От неожиданности Тоня вздрогнула и жалобно позвала:

— Тимк-а-а!..

Из крайней палатки на шум выбрался Тимофей, заспанный, недовольный. Его худая зеленоглазая физиономия, усеянная веснушками, курносая и оттого всегда задорная, хранила следы жёсткого походного изголовья.

— Чего разорались ни свет ни заря? — строго спросил он.

— И свет, и заря, Тимочка! Ты только погляди, какая вокруг природа! А ты дрыхнешь, поэт непризнанный, — и Паша запустила в его сторону «водяную гранату».

— Но-но! Шли бы на кухню, чегой-то жрать хочется, — Тимофей увернулся от «гранаты» и нырнул в палатку.

— Всё, уполз брюхоногий в раковину, — притворно вздохнула Паша. — А я-то думала, что поэты нуждаются только в духовной пище. Айда, Тоська, наварим каши для хилого мужичка...

— Ничо, подвоят сегодня парни, мы волю-то вашу обкорнаем, — пообещал из палатки Тимофей, обидевшись на «хилого мужичка».

Паша и Тоня отправились в «Сушуар». Так они называли летнюю столовую, где однажды спасались от короткого, но злого дождя, не успев натянуть палатку.

Две недели маленькое подразделение квартирьеров — Тоня, Паша и Тимофей — не знало ни сна, ни отдыха: ставили палатки, вместе с совхозными электриками тянули в лагерь связь, запасали спецодежду, инструмент, смотрели объекты, преследовали совхозных снабженцев, надоедали директору Булаевского совхоза... Зато теперь всё подготовлено к приезду томской «Каникулы», межвузовского студенческого строительного отряда. Ну... почти всё.

Согнувшись вдвое, Тимофей выбрался из своей «раковины». Огляделся, потоптался на месте и... двинулся напрямиком к инструментальной палатке.

Это уже стало привычным ритуалом. Первым делом по утрам Тимофей шёл проверять отрядное богатство: насаженные на черенки совковые и штыковые лопаты, молотки, кельмы и мастерки, обёрнутые в промасленную бумагу и наточенные ножовки, пилы, топоры, в специальных полиэтиленовых упаковках новенькие фуганки, рубанки и отвесы... Хотя сейчас натягивай комбинезоны, брезентовки, списанные солдатские «хэбэ», бери инструмент «по руке» — и трудись. Кирпич, доски завезены, цемента на первое время хватит...

Поначалу девчонки решили, что с прорабом «Каникуле» не повезло. Длинный, худой, как складной метр, с которым очкарик-четверокурсник из строительного института не расставался, скорее застенчивый, чем молчаливый, он не понравился своей медлительностью и дотошностью. Самую обыкновенную ямку под опорный столб в «Сушуаре» просто так не даст выкопать: всё ходит вокруг да около, примеривается: разметку делает... Терпение лопаается смотреть на его маету. Но глядишь — сколько успели сделать за день!.. И, главное, ни одной мелочи, никакой работы по два раза не переделывали. Если уж обмазали да побелили отрядную печку, так нигде ни крошечки не отколупнёшь, известька не сыплется, рукой проведёшь — ладонь чистая.

— Ну что, ключник, всё на месте? — спросила Паша, когда Тимофей наконец расстался со своей инструменталкой и появился в «Сушуаре».

Ничего не ответив, Тимофей опустил на чурку у входа, возле бачка с водой, взял из корзины картофелину и принялся неторопливо состругивать с неё кожуру.

— Брось, милый, не переводи общественный продукт, — Паша отобрала у него аккуратный кубик. — Что дозволено Юпитеру, то не дано прорабам.

Тимофей похлопал за очками девчоночьими ресницами.

— И когда они только приедут? — сказал он, глядя в степь. — Не больно-то Белозёров торопится...

— Командира не критиковать, — попросила Тоня. — Командиры не опаздывают, а задерживаются.

— Да я ничего, — стал оправдываться Тимофей, всерьёз приняв её слова. — Я просто говорю: такой день пропадает...

Он затоптал окурок старенькими, выдавшими виды «вибрамами», одёрнул выцветшую футболку, неплотно облежавшую его костлявую, с выпиравшими ключицами грудь, и, пока доваривалась на плите пшённая каша, пошёл колоть дрова.

Тюк... Пауза. Тимофей долго устанавливает полено. Затем снова — тюк! И опять долгая-долгая пауза...

* * *

Отряд прибыл под вечер, когда квартирьеры уже устали ждать.

— Девчонки, ура! Едут, соколики! — завопил на весь лагерь Тимофей.

Паша и Тоня выскочили из палатки: где же? где?..

— Жалкий оптимист, — сказала Паша.

— Да ты послушай! — задрал палец вверх Тимофей. — Точно, едут!

Девчонки недоверчиво прислушались. Тоня даже на цыпочки поднялась, чтобы разглядеть хоть что-нибудь в той стороне, куда указывал Тимофей.

В воздухе висела сероватая кисея сумерек, но в той стороне, где она начала сгущаться, возникло вдруг странное свечение. С каждой минутой оно разгоралось, приближаясь.

— Э-гей! — закричал Тимофей, сложив ладони рупором. — За руливой сюда! Здесь мы-ы...

И вдруг подпрыгнул, сделав ногами в воздухе «ножницы».

Блеснули ветровые стёкла. Медленно, очень медленно к лагерью приближались два грузовичка. Вскоре стало понятно, почему они так шли: одна машина тащила на буксире другую, с откинутым вверх капотом, отчего издали казалось, что грузовичок разинул пасть, задыхаясь от жажды.

Но вот машины, мягко качнувшись, остановились. Из кузовов

посыпались рюкзаки, одеяла, авоськи, пакеты, стали выпрыгивать парни и девушки в помятых целинных формах, разминаясь, галдя и смеясь. В лагере стало пестро и весело. Замелькали парадные куртки — алые, с погончиками и накладными карманами, с множеством белых перламутровых пуговиц.

Из кабины переднего грузовичка, смачно хлопнув дверцей, выбрался командир линейного отряда «Каникула» Виктор Белозёров.

Затёкшие от многочасового неподвижного сидения ноги его не послушались, и он как-то странно, с приседанием, сделал несколько шагов. Потом распрямился во весь свой стодевяносто-сантиметровый рост, оправил на узкой талии широченный, с морской бляхой ремень и подошёл к квартирьерам:

— Привет! Как дела, хлебосолы?

— Пыхтим, не жалуемся, — скромно потупился Тимофей, неожиданно оказавшийся на голову ниже командира. — Ужин на печке, а мы на крылечке. Милости просим!

И он повёл рукой в сторону «Сушуара», на котором трепетал на ветру транспарант: «Жизнь не те дни, что прошли, а те, что запомнились!».

— Ужин потом. А теперь, прораб, показывай командованию боевые позиции, — и командир, хлопнув пилоткой по плечам, где больше всего осело пыли, дёрнул Тимофея за рукав: — Пошли...

Тоню и Пашу ребята взяли в кольцо. Но всех нетерпеливых осадил Иван Булатов с густой, неопределённого цвета бородой, внутри которой жила широкая улыбка. Он пролез в середину кольца и подмигнул Тоне:

— А горячего для встречи не расстарались, разведчики?

— Расстарались, — ответила Тоня.

— Да ну?! — изумился Булатов.

Тоня поднесла ему наполненную до краёв кружку.

Булатов хлебнул и... сильно удивился:

— Да это же...

— Кумыс.

— Ну, так эту экзотику я готов вёдрами пить!

— Вёдрами не выйдет. В кумысе есть градусы, а у нас сухой закон, — нравоучительно заметила врач Лена, черноволосяя девушка, уже успевшая умыться, причесаться, и теперь сиявшая кругленькими незагорелыми щеками.

— Не налегай, мой ласковый, — Паша отобрала у Ивана кружку и передала другому.

— Я не твой, — возразил Иван. — Я теперь коммунальный.

Иван слыл в общезитии таким балагуром-ленивцем. Повис-

нет на перилах между вторым и третьим этажами в «Пятихатке» — не сдвинешь с места. Всех останавливает, всех задевает, особенно девчонок. Коробка из-под дамских туфель возле его ног быстро заполняется окурками «Солнышка», «Примы»: парни с самых разных факультетов не прочь постоять с ним, послушать анекдоты.

Поздно вечером Иван вытряхнет свою коробку в железный бак у пожарного щита, а утром снова на посту. И коробка, словно верная собака, у его ног. Когда человек учёбой занимается? Непостижимая загадка. Но радиофизики утверждают, что у них «Джон Булатов голова-а!», до четвёртого курса дошёл без троек.

Через полчаса возле «Сушувара» появился Белозёров. По его стремительной походке, вскинутой голове, по глазам, захмелевшим от радостного возбуждения, было видно, что он доволен осмотром боевых позиций.

— Эй! — позвал он парней, обступивших ведро с кумысом. — А кто машины разгружать будет? Белинский?

Закатал до локтя рукава алой рубашки и первый пошёл к грузовику.

Возле машин снова сделалось людно.

— Навались, парни, не стесняйтесь! Работаем на износ, без права на реставрацию! Принимай, Булатов, посылочку! — командир сдёрнул наземь тяжёлый заколоченный ящик.

Иван принял. И передал другому. А тот — ещё другому... Обозвалась цепочка.

А Белозёров помчался дальше — проверять палатки.

— Ну, как, девчата, устроились? Порядок? Что?.. Утюги не предусмотрены. Под матрац одежду, под матрац! Как из ателье будет... Тимофей, где ты? Тащи, хозяин, нашим барышням ещё одну раскладушку!

Густой зычный голос Белозёрова, срывающийся порой от излишней молодости, разносился по лагерю, проникал во все уголки, тормозил, торопил, будоражил, подстёгивал.

— Бригадиры! Завтра в шесть ноль-ноль на планёрку! В семь — построение и подъём флага. А сейчас — в баню! Потом ужин — и спать!

«КП». Командный пункт

Туристская палатка, в которой разместился командный пункт, была на редкость хороша: нарядного синего цвета, с квадратными оконцами, прикрытыми снаружи матерчатыми ставенками с

никелированными кнопками. В многочисленных карманах, нашитых по внутренним стенам, удобно хранить книжки, расчёски, бритвенные и всякие другие принадлежности, а также чертежи, графики, заявки — словом, всю «стройдокументацию», как солидно выразался Тимофей. Одно плохо — тесновато. Особенно сейчас, когда в неё набилось столько народу.

Тоню засадили за протокол. Она же филолог... Пусть потрудится.

Зажатая с одной стороны Пашей, с другой стороны Василём Кравченко, бригадиром каменщиков, она, как и все, ожидающе глядела на командира.

Тёмно-русый клинышек его чуба, ещё хранивший следы мокрой расчёски, расправлен и уложен в правую сторону. Красная парадная рубашка застёгнута на все пуговицы и удивительно идёт к его распахнутым серым глазам. Никогда прежде Тоня не видела его таким. Конечно, она привыкла к Витьке Белозёрову, организатору, комитетчику (Тоня, избранная на факультетском собрании, весь минувший второй курс заседала вместе с ним в университетском комитете комсомола). Ей нравилась его энергия, напористость, но чтобы вот так, как сегодня, откровенно и доверчиво светилось в нём вдохновение и горела решимость «не пожалеть живота ни своего, ни чужого»... Нет, таким она его ещё не видела.

Особенность первой утренней планёрки, её торжественность, наверно, почувствовали и остальные: ребята сидели притихшие и серьёзные.

— Ну, что ж, начнём, — Белозёров сделал попытку встать, но вовремя вспомнил, что палатка не рассчитана на его долговязость, ограничился тем, что энергично шлёпнул ладонью по хлипкому столику. — Предлагается такая схема нашей жизни здесь, на целине: а) стальная дисциплина; б) сухой закон; сноска: кумыс только в лечебных целях; в) одиннадцатичасовой рабочий день; г) побудка в семь ноль-ноль, подъём флага и торжественная линейка в семь тридцать, развод по объектам в семь сорок пять, с тринадцати до четырнадцати обеденный перерыв. Ужин в восемь вечера, отбой в одиннадцать тридцать. Остальное время — личное и общественное. Так сказать, танцы-флянцы, вечера, беседы, шефская помощь коренному населению, стенгазета, и прочая, и прочая... Повторяю: работа на износ без права на реставрацию! Иначе нам не видать ни красного знамени, ни даже выпела, ни тем более первого места, как своих ушей!

— Жёсткая схема. Без допусков, — заметил Булатов.

— То есть?

— С объектов до кухни за полчаса не допрыгнешь. Я считаю так: обед полтора часа, а то и два. Но уходить с работы с темной.

— Мы не согласны, — подняла руку Паша.

— Кто это «мы»?

— Бригада штукатуров, — сказала Паша. — Мы не только вкалывать сюда приехали, но и культурно проводить время, общаться с населением...

— Пообщаемся уж, — прогудел Василь Кравченко. — Мы им — школу, котельную, коровник и клуб, они нам — стройматериалы, раствор и, само собой, приличный расчёт...

В общежитии про Кравченко говорили, что «он родом с Белоруссии, и поэтому его прозвали хохлом». Он не носил гимнастёрки, но в нём угадывалась военная выправка: плечи развёрнуты, спина не горбится, воротник наглухо застёгнут на все пуговицы, да и сами пуговицы пришиты со знанием дела, в две нитки. И лицо спокойное. Ни один мускул не дрогнет, и только в светло-коричневых, чуть навывкате глазах дрожит какая-то искорка. Только по ней можно заметить, когда Василь Кравченко говорит «наполовину шутя».

— О расчёте преждевременно, — нахмурился Белозёров. — И споры ваши считаю необоснованными. С отдалённых объектов на обед будем возить. А с культурным досугом и того проще. Кто захочет, тот и время найдёт. В общем, пиши, Авдеева, основной закон: а) стальная дисциплина; б) сухой закон...

— Как говорил законодатель Спарты Ликург, законы не нужно записывать, ибо закон становится законом, когда он распространяется в массах и становится традицией. А у нас традиции пока что нет, — назидательно вставил Булатов.

— Умный ты, Джон, — одобрительно сказал Белозёров. — Но пойдём дальше. Василь, а ну покажь свою бригаду!

Джоном Булатова называли в общежитии за то, что много умничал, любил группу «Битлз» и неплохо знал английский язык, за что радиофизики пророчили ему заграничную преддипломную практику.

Кравченко разжал громадный кулак и выпустил из него лист бумаги.

— И смотреть нечего. Он-то уж подобрал себе бригаду! Сплошь пятьдесят второй размер, — с обидой заметил Булатов. — А мне, ведущему специалисту-плотнику, салажат-первокурсников?

Отбирая добровольцев в межвузовский стройотряд, комитетчики придумали «спец-проверку»: приложат к спине рубашку 52-го размера — зачисляем! сдюжит! В бригаде Василя Кравченко были сплошь такие.

— Стыдно слышать эту канитель! — Белозёров грохнул по столу кулаком; авторучки и карандаши запрыгали, как лягушата. — Котельная — важнейший объект. У Василя пятый разряд каменщика. Профессия! — командир указал пальцем на потолок. — Поняли? И ещё, для сведения. Кравченко с девяти лет деревенские печки клал. В армии три года на строительстве БАМа протаршинил. Так что имеет права набирать команду, как ему надо!

— А что, ремонт сельского клуба — это уже не важнейший объект? — не унимался Булатов.

— Важный, — не стал спорить Белозёров. — У нас все объекты важные. Скажи, Прасковья, ведь так?

Паша только плечами повела. Они с девчонками будут штукатурить коровник, ну и что? Объект как объект.

— Дай мне ещё людей, — потребовал Булатов. — Хотя бы Кошкина...

— Кошкина не дам, — отрезал командир. — Он у меня на растворный узел поставлен.

Шура Кошкин в общежитии разносил почту. Это была его общественная нагрузка. Худой, нескладный, сильно припадающий на левую ногу, Кошкин прыгал со ступеньки на ступеньку, прижимая к груди ворох газет, журналов. Стучался в комнаты, подсовывал газеты под дверь. Вёл собственный информационный бюллетень: вырезывал из «Комсомолки» интересные, на его взгляд, статьи и кнопочками прикалывал их на щит возле трюмо, стоявшего на площадке между вторым и третьим этажами. Джон Булатов, обнимавший перила, и «информбюро Кошкина» составляли привычную общежитскую картину. Без них эта картина была бы неполной.

На целину Кошкин рвался изо всех сил, хотя знал о запрете врачей. Демонстративно играл с парнями в футбол, гонял на велосипеде вокруг биокорпуса и университетской рощи. Мало кто знал, чего стоила ему эта демонстрация. По ночам, стиснув зубы, часами растирал изогнутую ступню, бинтовал её эластичными бинтами. Ложился на матрац, а ногу пристраивал повыше, на подушку. «Всё пройдёт-заживёт!» — упрямо шептали его пересохшие губы. Шура не верил, что несчастье, свалившееся на него в четырнадцать лет (катался на лыжах, сломал ногу), не преодолимо.

На целину попал просто: забрал у заболевшего первокурсника красную стройотрядовскую рубашку — и пришёл на вокзал Томск-1. Смешался с толпой парней, распевавших под гитару походные песни, потом сел в поезд и приехал. Куда его теперь? Только на растворный узел.

Утро вечера мудренее

— Нет, так дело не пойдёт, — Паша в изнеможении опустила на пол.

Поленька, Фросита и Нина виновато отводили от бригадира глаза.

— Нет, вы не хотите меня понимать! Скажи, Ефросинья... — Паша упорно называла Фроситу её «натуральным» именем, а не «на испанский манер». — Где ты видела, чтобы мастеров держали, как рюмочку, двумя пальцами?

— Разучилась, потеряла форму, — пробормотала Фросита.

При зачислении в «Каникулу» решающей стала её клятва, что она хорошо знакома со штукатурной работой.

— Ты её и не имела, форму, — Паша сдёрнула с головы белую косынку и принялась ожесточённо протирать заляпанные раствором глаза. — Я её, как ведущего специалиста, понимаешь ли, на потолок ставлю, а она мастеров держать не умеет! Ну, Поленька — первокурсница, где ей научиться было? И то старается не тыкать в стенку, а наброс делает с расстояния.

Поленька, малявка с огромными слегка испуганными глазами, зарделась от Пашиных слов и смущённо затеребила пушистую пепельную косу, затянутую на конце изолентой.

— А ты, Нина, тоже всё позабыла? Как мы с тобой подвал в «Пятихатке» мазали, позабыла? — продолжала разнос Паша.

— Так то ж подвал... Здесь же ж чистовая работа, — просто-душно ответила Нина, лаская забинтованными толстенькими пальцами поверхность полутёра.

— Правильно, — согласилась Паша. — Халтуру не примут!

— Ну, это уж ты слишком... — Тоня закончила затирать неподатливый квадрат под окном и с усилием распрямилась.

— Раз ты такая умная, вот ты и предлагай! — переключилась на неё Паша. — Я, например, ума не приложу, как мы одолеем эти коровьи километры...

— Одолеем. Будем учиться, — примирительно сказала Тоня. — Не боги горшки обжигают. Но вот с ведрами, конечно, это не работа... Раствору не натаскаешься. Надо что-то придумать...

— Вот ты и думай, а у меня перекур, — Паша растянулась на мешках из-под цемента и подсунула под голову полутёр.

Нина и Поленька сделали то же самое: перекур так перекур.

— Пожалуй, надо сходить к хлопцам Василя... — вслух подумала Тоня.

— И я с тобой! — подскочила Фросита. — Ты только подожди меня, не уходи!

Тоня вышла наружу. Сухота, шедшая от земли, объятая зноем, обожгла, перехватила дыхание. Нет, что ни говори — им, штукатурам, всё-таки легче: под крышей не так палит солнце, выручают сквозняки, гуляющие по ещё не застеклённым оконным проёмам. А парни... Сварились, поди, от пекла...

— Вот и я!

Тоня обернулась — и ахнула. Вместо заляпанного комбинезона на Фросите весёленький мини-сарафан и соломенная шляпка. Даже пухленькие губы подкрашены. И когда успела?

Бригаду каменщиков девчонки обнаружили в тенёчке, за каменным гаражом, рядом с недостроенной котельной. Парни бойко орудовали топорами и молотками.

— Привет краснодерёвщикам! — окликнула их Фросита.

Лёгкой пританцовывающей походкой она прошла вдоль ребят, перешагивая через доски. Нашла ящик из-под гвоздей, села на него и не спеша расправила коротенький подол. У неё были красивые, в меру полные ноги с круглыми, как мячики, коленками, и Фросита прекрасно знала об этом.

Стук молотков притих. «Краснодерёвщики» повернулись к Фросите. Искорёженные доски, множество погнутых гвоздей говорили о том, что кое-кому из них тоже нелегко давалось знакомство с тайнами плотницкого ремесла, и они были рады малейшей передышке.

Василь Кравченко вынул из разжатых губ горстку гвоздей, аккуратно загнал их поочерёдно в перекладину, крепящую ноги «козла», и только потом обратил внимание на девушек.

— Як дела, барышни, на вашем фронте? Обжились?

— Да, обживёшься тут, — не давая Тоне и рта раскрыть, пожаловалась Фросита. — Мешалка не работает. Вручную месим раствор. Хоть бы кто из вас, мальчики, пришёл нам подмогнуть! А то сидите здесь, в тенёчке, да гвоздики забиваете непонятно во что.

— Что ты городишь? — одёрнула её Тоня. — Не видишь, что ли, ребята готовят для себя подсобное хозяйство, подмости, трапы, носилки...

— Вижу, вижу, — не унималась Фросита. — Мебелью запасаются! А у нас этих самых... окорят нет!

— А инструмент? — деловито спросил Василь.

— Тоже ремонта просит, — сокрушённо махнула загорелой рукой Фросита.

— Понятно, — Василь задумчиво поскрёб затылок. — Жестящика совхозного то ли найдёшь, то ли нет...

— «То ли нет», — сказала Тоня. — Уже обращались, сказали — на больничном...

— Понятно, — повторил Василь.

Он оглядел своих хлопцев. В гимнастёрках, мокрых на спинах, хоть выжимай, в брюках «хэбэ» с продранными коленками, они походили на маленькое воинское подразделение. Скомандуй — выполняют любое задание. Но Кравченко не любил и не хотел командовать, ждал, что они скажут сами.

— Надо помочь, — подал голос кто-то, и остальные согласно закивали: да, надо.

Василь улыбнулся:

— Добре. Значит, так. Кто-нибудь из вас... Ну, хоть ты, с голыми коленками... — он указал на Фроситу, — добеги до склада, пускай три листа жести выделяют. И тогда завтра у вас будут носилки-окорята.

— Слушаюсь, командир! — Фросита стрельнула в его сторону глазками и поднялась: — Уже бегу!

— Спасибо, — от души поблагодарила Тоня парней. — Мы так и знали, что вы настоящие рыцари!

Фросита поспешила на совхозный склад, а Тоня вернулась в коровник.

Нина и Поленька спали, примостившись на тех же мешках, а Паша... Паша доканчивала штукатурить начатую девчонками стенку. Ровная, гладкая поверхность высыхала крупными серыми пятнами. Пашина тенниска, как и гимнастёрки парней из команды Василя Кравченко, тоже была тёмная.

— Ну, что ж ты, Павлуша, — огорчилась Тоня. — Знали б, никакого перекура не было б...

— Ладно, ладно, — отмахнулась Паша. — Становись. А девчонки пусть ещё поспят. Ничего, день-два и втянутся...

* * *

Расима три раза подогревала гуляш, дожидаясь штукатуров.

— Явились, — проворчала она, встречая медленно бредущую цепочку. — Позже не могли? Все давно поужинали.

— Не надо, Расима... Не сердись, мы не хотим есть...

Не останавливаясь, Пашина бригада побрела мимо раздаточного окна напрямиком в палатку.

Как подкошенная, Поленька повалилась на постель и закрыла глаза.

Паша отстегнула лямки и стянула с неё серый от раствора комбинезон, «пижаму», как прозвали девчонки эту неуклюжую одежду, расшнуровала отсыревшие кеды, укрыла Поленьку одеялом.

— Спи. Завтра на работу не пойдёшь, — сказала Паша и неумелым резким движением подоткнула одеяло с боков.

— А командир? — не открывая глаз, прошептала Поленька.

— Не твоё дело. Пока что я твой командир. Спи.

Фросита и Нина побросали свои «пижамы» в угол, улеглись на раскладушки и тоже моментально заснули.

Тоню охватило какое-то странное оцепенение. Она сомкнула ресницы — и перед глазами поплыли голые неоштукатуренные стены, пустые окна, груды строительного мусора на входе в коровник. Как в замедленном кино, смешно взмахивает руками Фросита — и ведро с раствором опрокидывается на неё. Беззвучно хохочет Нина. Потрясает кулаками Паша. Запах цемента, застоявшейся воды... Согнуться, зачерпнуть мастерком, шлёпнуть жидковатую массу о стену — снизу вверх, только снизу вверх... Подхватить правилом, разгладить... Сантиметр за сантиметром, квадрат за квадратом. Пальцы сами разжимаются, и мастерок глухо звякает о ведро...

— Ой-ёй, — тихонько стонет во сне Поленька.

Её лицо, бледное, заострившееся, почти сливается с подушкой. Пушистые пепельные волосы опали, скатились в некрасивые сосульки. Разъеденные пальцы распухли, растопырены, словно Поленька держит в руках по крупному яблоку.

Надо немедленно сходить к Лене, взять лечебной мази. Только прежде надо встать... Встать!

Тоня свешивает с раскладушки ноги, поднимается. Сейчас, сестрёнка, сейчас... Не найду мази, хоть сметаны притащу... Потерпи, я сейчас...

Mens sana in corpora sano

Это длинное латинское изречение: «Здоровый дух в здоровом теле» — украшало палатку-санчасть, но чтобы его всё прочитать, нужно было обойти палатку кругом. Такие огромные были буквы, так постарались украсить «полевой госпиталь» парни из команды Булатова. Художники!

Над входом развевался квадратный флажок с красным крестом на белом поле.

Вообще, Лена развернула полевую санчасть по всем правилам. Заставила плотников настелить свежеструганные доски, покрасить тумбочки белой эмалевой краской, которая и сохнет вмиг, и даёт блестящую больничную белизну; несколько досок превратили раскладушку в жёсткую кушетку; и самое главное: Лена потребовала, чтобы сюда протянули двухсотсвечовую лампу-переноску.

Весь день санчасть благоухала смолистой сосной, но вечером в ней запахло йодом, спиртом, мазью Вишневского, вазелином... Бригады стали возвращаться с объектов. Соринки, опилки, кусочки угля, попавшие в глаз... Занозы с добрую иголку. Сбитые ногти, содранные колени, ладони. Красные, словно обваренные, спины и плечи. И это не считая лопнувших и всяких других мозолей!

Когда прихрамал Иван Булатов, вогнавший гвоздь в пятку, Лена уже порядком устала и начала нервничать.

В медицинский институт она пошла не по своей воле, а подчиняясь горячему желанию матери, заслуженному врачу-педиатру. Дошла до четвёртого курса, но в глубине души по-прежнему теплилась в ней надежда, что когда-нибудь она станет артисткой, такой, как Ия Саввина или Жанна Прохоренко. И вот теперь, как говорится, гвоздь в пятке...

Лена подумала и вкатила Булатову противостолбнячный препарат и стала делать перевязку.

— Не туго, герой?

— Туго — это когда обнимают, — убеждённо ответил тот. — Что касается меня, то я скоро удеру на машину. Что ли, зря я права шофёра получил...

— Ты когда-нибудь молчишь?

— Конечно, — Булатов начал загибать пальцы: — Когда ем, когда сплю, когда целуюсь...

— Когда лечишься, тоже молчи. Герой...

Она хотела было отправить его восвояси, но не тут-то было. Иван улёгся на раскладушку, всем своим видом показывая, что улёгся надолго.

И тут пришла Тоня.

— Дай, пожалуйста, мази, — попросила она. — У Поленьки руки разъело.

— В перчатках работать надо! — вспыхнула Лена. — Технику безопасности соблюдать! Разъело, видишь ли...

Достала нераспечатанный тюбик синтомициновой эмульсии и швырком отправила его в руки Тони.

Ну, швырок так швырок. Устала Лена. Трудный день для неё выдался.

— Следующий! — как на приёме в поликлинике, позвала Лена. Тоня кивнула: понятно... И покинула медсанчасть.

«Следующих» возле палатки не было.

«Звериная газета»

После короткой ночи наступило утро. Дул ровный прохладный ветер. На небе курчавились белые облака с тёмными пятнами посередине. Ребята с надеждой поглядывали вверх: так хотелось дождя, большого, щедрого! Раздеться, подставить спину этому небесному душу, пошлёпать по тёплым лужам...

— Как там сводка? — не дожидаясь, пока Белозёров сообщит на линейке о погоде, спросил Кошкин, когда шло к концу поедание утренней каши. В эту ночь Шура спал плохо, беспокоила нога, чувствительная к переменам погоды.

— Сводка? — переспросил командир и заглянул в блокнот. — Ничего сводка. Сухо. Простоев не будет, — закрыл блокнот и командовал: — На линейку ста-ановись!

Все выстроились вдоль белой известковой линии, проведённой прямо по земле. Командир прошёлся вдоль отряда, вглядываясь в лица своих бойцов. Конечно, было бы неплохо дать им отдохнуть, прийти в себя после первых трудовых дней... А с другой стороны, если поворачивать руль, так лучше сразу и до отказа. Не отдыхать приехали.

— Задания у бригад прежние, — начал Белозёров и остановился, поискал взглядом Пашу: — Пстой, пстой, а где Полина?

— Мы за неё, — ответила Паша.

— Чьё решение?

— Моё, — спокойно ответила Паша.

— Яс-но.

Заложив руки за спину, Белозёров сделал несколько шагов вдоль строя и, крутанувшись на пятках, снова остановился перед Пашей.

— Ещё раз повторится такая... самодеятельность, выгоню. И бригадира, и подчинённую, — чеканя слова, заявил он. — Р-р-а-зойдись!

Этот день тянулся долго. Дождя так и не дождались.

Вечером, когда все заснули, Тоня выскользнула из палатки, прихватив лист полуватмана.

В «Сушуаре» никого не было, только шуршали, стукались о неяркую лампочку ночные бабочки и жуки. Тоня развернула твёрдую бумагу, придавила углы кружками и стала оттачивать кухонным ножом цветные карандаши.

От широкого, в четыре доски, стола приятно пахло сосной и сыростью. После ужина Расима долго, не жалея воды, моет его, скоблит ножом. На такой стол хорошо положить уставшие ладо-

ни... Молодец Расима. Из трудовой многодетной семьи, из татарского Заисточья, она не жила в общежитии, но легко и естественно влилась в его коммуны. Предложили в стройотряде поработать на кухне — согласилась: надо так надо. И теперь тянет этот нелёгкий воз, встаёт в четыре утра, ложится спать за полночь.

Тоня задумалась.

Сначала она решила изобразить во весь лист командирское лицо так: раскрытый рот, из него брызгами вылетают грубые и несправедливые слова: «выгоню!», «накажу!»... Но она вспомнила, как любовалась Белозёровым на первой планёрке в «КП». Нет, даже карикатура должна быть справедливой. Витька неглупый человек, ему достаточно и намёка.

Она склонилась над листом и машинально принялась рисовать непонятную зверушку, с круглыми печальными глазами, как у мишки-коалы, с пушистыми, как у бельчонка, ушами. Доверчивый зверёк. Нет, всё-таки хорошо, что Поленька не пришла на линейку и не слышала командира...

Зверушка держала в забинтованных лапках лопату, на которой было написано: «Бери больше, кидай дальше». Около неё разместилась бригада бобров с топорами и пилами на облезлых плечах; это, конечно, плотники. А вот длинная задумчивая жирафа уткнулась в чертежи — Тимофей...

«Ну, погоди, Витька, — мысленно усмехнулась Тоня. — Я знаю, кем ты у меня рисуешься...»

И она изобразила в центре большого дятла-желну в чёрном халате и с красной шапочкой на голове. Длинным клювом дятел нацелился в макушку пушистого зверька с круглыми печальными глазами. И требовал: «Без права на р-р-реставрацию!».

Вместо заголовка Тоня приписала слова Ромена Роллана: «Лошадью легче управлять, если не слишком натягивать вожжи». И собрала в пакетик карандаши.

Из-за мешка с картошкой выбежала ящерица с тёмно-зелёной головкой и замерла, глядя на Тоню неподвижными, какими-то потусторонними глазами.

Тоня притихла, боясь неосторожным движением испугнуть её. Ящерица посмотрела, посмотрела, и, показав вдруг тонкий белый язычок, непугливо и неспешно ушла за печку.

Разбросав руки, Тоня потянулась-потянулась... Потом приколотла кнопками на видное место «звериную газету» и потушила свет.

«Мне бы твои заботы!»

Ужин закончился. Корзина для грязной посуды переполнилась. Расима поискала глазами Светку... Помощницы нигде не было. Отодвинув миску с гречневой кашей, Расима тяжело поднялась и взялась за вёдра. Ну и помощницу аллах послал, на ходу спит, а то и вовсе пропадает...

— Погоди, — Тоня перехватила Расиму на полдороге. — Дайка... — отобрала у поварихи вёдра и легонько подтолкнула её назад, к столовой: — Да поешь ты спокойно!

Цистерна, завалившаяся набок, на спущенное резиновое колесо, стояла неподалёку от кухни, за умывальником. Там, где подтекала вода, зеленела по-молодому трава и даже набирали цвет крохотные степные звёздочки, белые остролистые созданыца на коротких мохнатых ножках.

Тоня поставила ведро под кран и вдруг услышала:

— ...Длинные тени не спеша переходили дорогу. Вечерело. Дерево, оставленное жить долго, как памятник погибшим лесам, приготовилось не спать всю ночь. Памятники никогда не спят.

Когда я проплывал мимо него, дерево заговорило по-казахски, и я сообразил, что достиг квадрата, некогда в старину называемого Казахстаном. Что ж, квадрат как квадрат. Провести ночь можно и здесь. А завтра снова вперёд...

Я улёгся. Отключил питание мозга, оставив бодрствовать сторожевой центр под скучным названием «Опасность»...

Сначала Тоня даже не поверила, что этот таинственный голос принадлежит Свете, помощнице Расимы, про которую в отряде говорили, что она может спать даже стоя.

Заглянула за цистерну и обнаружила в её продолговатой тени Свету, прислонившуюся спиной к колесу. Рядом сидели трое загорелых дочерня мальчишек.

— А дальше? — нетерпеливо дрыгнул босой ногой один из них и щелочки его глаз распахнулись от неподдельного интереса.

«В самом деле, а дальше что?» — Тоня не стала включать водяной кран и тоже приготовилась слушать.

— ...Утром сторожевой пост передал сигнал «Внимание!». Вижу: прибыли неизвестные существа, с рюкзаками, с гитарами... «Что вы делаете?» — спросил я. «Палатки ставим, — ответил парень в красной рубашке. — А ты кто такой?». «Я Сгусток Энергии, Хозяин здешних мест, вот кто!». «Ладно, разберёмся, — сказал парень. — Скажи лучше, Гутя, где найти жерди?» «Что-о-о?» «Вот чудак, а ещё Хозяин! Не знает, что такое жерди! Ось нашей планеты закреплять будем, вот для чего! Под углом 18° к экватору!

Понял?». Ну, показал я им, где жерди лежат. Весь день провёл возле пришельцев. Они, казалось, ничего не имели против. И когда я помог им поджечь костёр — мысленно, без спичек, — они сказали, что я «свой парень в доску». Потом они пели «Ветер качает волны...», а я слушал. Потом они заснули под своим брезентовым небом. А наутро начали с Нуля... Стали строить свою планету под странным названием Целина. Планету на планете. Меня поставили на подогрев битума, и я вдоволь нахлебался дыма. Они работали, «как звери»...

Тоня перевернула ведро кверху дном и уселась на него. «Тоже мне, Станислав Лем, — подумала про Свету. — Интересно...»

— ... А я решил «прошвырнуться» (так они говорили) до Средиземного моря. Не люблю глотать битумный дым. Вернулся — никого и ничего нет. Домá — были. В школе звенел звонок. И в роще опадали осенние листья. А планеты не было. Пришельцы сложили её в свои рюкзаки и уехали. Оставили жерди, потому что они им больше не были нужны. Я смешной и неграмотный Сгусток Энергии... Когда я закрываю глаза, то думаю, что никогда не было такой планеты под углом 18° к экватору. Когда открываю — вижу дома, и школу, и рощу, то думаю, что она всё-таки была...

— Вот вы где! — раздался голос Расимы. — Ничего-ничего, отдышайте!

Она сказала это так, что Тоня, застыдившись, как школьница, вернула ведро на место и открыла кран. Света вскочила.

— Ой, а дальше что? — взмолились мальчишки.

— А всё, Тайгара, конец, — Света торопливо погладила старшего мальчика по голове. — Ступайте домой. Вон и лошадка ваша куда-то убрелá. Потеряется ещё.

— Не потеряется, она старая, — небрежно ответил Тайгара. — Можно, мы завтра придём?

— Можно, только вечером...

Не глядя на Расиму, Света заспешила на кухню.

— Всё, — мрачно сказала Расима, глядя ей вслед. — У нас с ней несовместимость. Я и так её только на чай и компоты поставила... А она...

— И давно это у вас — несовместимость? — улыбнулась Тоня. — Вы же с ней подруги. С первого курса. Не разлей вода.

— Теперь разлей, — Расима схватила ведро с водой.

— Я тебя понимаю, — Тоня взялась за второе ведро. — Но ты ведь старше, ты сильнее. А значит, у тебя и ответственность выше.

— А-а, — махнула рукой Расима.

Белозёров ужинал одним из последних. Он сосредоточенно жевал кусок хорошо прожаренного мяса, предварительно поелозив им в густом подливе, когда к нему подседа Тоня.

— Чего тебе? — с опаской посмотрел он на неё.

— Да вот, смотрю... — улынулась Тоня. — Вкусно?

— Ничего, — командир поддел вилкой лавровый лист и выложил его на край миски. — Есть можно.

— Можно или нравится?

— Ну, нравится, — никак не мог понять, куда она клонит, Белозёров. — Что из этого?

Тоня показала ему ученическую тетрадку, на которой печатными буквами было выведено: Отряд «Каникула». Таверна «Сушуар». Книга похвал и предложений».

— Вот, — она протянула тетрадку командиру. — Надо оставить запись.

Белозёров полистал тетрадку. Здесь уже красовалось несколько записей:

«Лошади, поэты (и студенты) должны быть сытыми, но не жиреть» (Карл IX и мы, плотники XX века).

«Сего дня, такого-то числа, укомпочивание населения прошло на должной высоте» (Бригада штукатуров).

«Спасибо, Расима! Любовь питается не только чувствами, но и бифштексами» (Джон).

«Кравченко за обедом съел три миски. Есть предложение: вычесть из его жалования стоимость алюминия, выплавки, штамповки, доставки изделия. Иначе мы скоро есть будем из котла» (Анонимы).

«Молодец, Василь! Бей их мельче — собирать ловчее»...

— Это ещё зачем? — Белозёров с подозрением посмотрел на Тоню. Он ещё не забыл утреннего сюрприза — «Звериной газеты»; пришлось даже вид сделать, что ему весело видеть себя в образе дурацкого дятла с тупым носом...

— Сначала нужно написать, — не отступала Тоня.

— Пожалуйста, — он взял карандаш и написал: «Ужин сегодня хороший. В. Белозёров». — А дальше что?

— Ничего особенного, — Тоня забрала у него тетрадку. — Просто у нас родилось предложение.

— У кого это «у вас»?

— У едоков, — ответила Тоня. — Хорошо бы на линейке отметить работу столовой. А?

— Ха, — покрутил головой Белозёров. — Мне бы твои заботы!

— Того, кто хорошо работает, надо отмечать. И медсанчасть тоже. Знаешь, как Лене досталось?.. А у Светы хорошо с детьми

получается. Может, дать ей такое поручение? Чтобы она с ребятами занималась... И перед Пашей бы извиниться... А?

Несколько минут Белозёров молчал, о чём-то размышляя. Потом порывисто поднялся, мимоходом тронул Тоню за плечо:

— Может, ты и права... — и вдруг весело добавил: — Ха! Мне бы твои заботы!

«Комиссаром может стать любой человек...»

Тоня опустила руку в кастрюлю, сонно пошарила по прохладным эмалированным стенкам — будильника в кастрюле не было.

«Проспала...» Села; старенький спальный мешок угрожающе затрещал. Тоня выпростала ноги, подошла к Расиме. Так и есть: будильник нацелен прямо ей в ухо. Забрала часы, тяжёлые и холодные, будто камень, вынутый из воды, придавила кнопку звонка.

Расима пошевелилась. В рассветном сумраке поверх одеяла трепетнули забинтованные руки; обожглась вчера, схватившись за котёл, заторопилась.

Тоня хотела бесшумно исчезнуть, но задела висевшую на столбе гитару; струны глухо отозвались.

— Опять утро? — жалобно пробормотала Поленька. Гитара висела над её головой.

— Спи, ещё рано, — прошептала Тоня.

— Ага, — обрадовалась Поленька, поджала ноги, вечно вылезавшие из-под одеяла, замерла, цепляясь за дремотные остатки утреннего сна.

Тоня натянула «пижаму», кеды и, прихватив расчёску, зеркальце, мыло, полотенце, выбралась из палатки. Умылась и отправилась в «Сушуар».

Дров мало, разве что для растопки... Зато, словно маленькие печные трубы, дымились, освобождаясь от ночной сырости, несколько кирзовых сапог.

«Сапоги выставили, а дров не догадались натаскать, рыцари...»

Огонь в печке долго не хотел разгораться. Тоня сунула под щепки мазутную обтирку (Джон Булатов всё-таки выбился в шофёры, и теперь промасленная ветошь перестала быть редкостью). Огонь весело забился, загудел, и печка вздохнула живительным теплом.

Тоня поставила две кастрюли: большую — для компота, поменьше — для каши. И принялась чистить картошку. Картофели-

ны были все как на подбор, мелкие, скользкие, усеянные глубокими глазками.

— Что ж ты не разбудила меня? — упрекнула Паша. — Я знаешь как спать горазда? У меня тоже талант к этому, не у одной Светки. Не веришь? Железно. Раз даже спор выиграла, пришлось целоваться с одним придурочным.

— Ой ли?

— Вот тебе и «ой ли». Думаешь, раз бригадир, так и никто...

— Ну что ты, Павлуша...

— И ты туда же, — проворчала без обиды Паша. — Павел да Павлуша... Какая я тебе Павлуша, ну, погляди?

— Пашенька, ты и правда, чудо, — рассмеялась Тоня. — Честное слово. А парни что? Глаз у них нет.

Паша умывалась долго, с удовольствием, нежно повизгивая от холодной воды. Одевалась с явной неохотой. В рабочей «пижаме» она снова станет Павлом... Сутуловатой долговязой девчонкой, с размашистыми движениями, аршинной походкой, при которой парни спокойно рассказывают анекдоты и могут даже пригласить закурить.

Паша принесла дрова. Печка взбодрилась. Забулькал компот. За ним каша...

Девушки настороженно поглядывали на кастрюлю, прикидывая, куда в следующую минуту стрельнёт горячий липкий фонтан, чтобы успеть увернуться.

Появилась Расима. Широкое смуглое лицо ещё сонно. Тёмная, почти непрерывная ленточка бровей нахмурена, глаза смотрят остро, с прищуром.

— Что, плюётся? — злорадно осведомилась она, набрасывая кастрюлю из-под будильника на гвоздь. — Не будете в чужие дела лезть. Сердобольные какие...

— Доброе утро, Расима!

— Доброе, доброе...

Расима отщёрла девчонок от печки.

Вчера на линейке командир торжественно объявил ей благодарность «по цеху питания», и ей совсем не хотелось, чтобы кто-нибудь мог подумать, что она не сумеет достойно отстоять свою вахту. На той же линейке он извинился перед Пашей за «проявленные к ней неуставные отношения» («выгоню... накажу...»), и с той поры он снова стал для всех прежним Витькой Белозёровым, «своим парнем в доску».

Палаточный городок досыпал свой законный час перед подъёмом. Тихо. Разве что изредка донесётся птичий крик. Звуки в степи какие-то неокрашенные, голые, совсем не такие, как в лесу.

В шесть часов пятнадцать минут Расима озабоченно взглянула на часы.

— Пора будить командира. Сходил бы кто, а?

Её чёрные глаза просительно остановились на Тоне.

— Могу, — согласилась Тоня. — Через сигнализацию, что ли?

— Ну да.

Тоня шла между палатками. Вот «Станица Насыпаевская». По бокам два лозунга: «Лучше переесть, чем недоспать» и «Лучше быть богатым, но здоровым, чем бедным, но больным!». Так сказать, всё в одном стиле. Чувствуется рука каменщиков Василя Кравченко.

Рядом со станичниками жилище плотников. У них своё: «Каждому тушканчику — высшее математическое образование!». Ага, а вот новенькое, видать, из собственного опыта: «Усталость — лучшая подушка» и «Терпение — логарифм успеха».

На палатке радиофизиков вместо прежнего лозунга «Лучший выход — всегда насквозь» голубело скромное заявление: «Провались земля и небо, мы на кочках проживём!».

Тоня обогнула палатку — и едва не наступила на Олега и Герасима. Джон-Булатовские адъютанты, похожие, как близнецы, лежали на земле, на соломе, закинув под головы загорелые, все в шрамах-царапинах руки. Длинные, как у старорусских мастеров, волосы разметались на скатанной валиком телогрейке. Из карманов одинаковых зелёных курточек полыхали диковинными цветами две одинаковые малиновые расчёски. Розовели треугольники щёк, на которые наступали бороды.

«Господи, и на что им эти волосья, бороды, — пожалела Тоня парней. — Одна морока. Мыть да расчёсывать».

Тоня сняла с одеяла, наброшенного на ноги «адъютантов», глянцевого жука с устрашающими усищами и пошла дальше.

Возле «КП» остановилась. Нашла бечеву, о которой рассказала Расима, подёргала.

Изнутри нулевая реакция. Тоня снова дёрнула, посильнее. Брезентовая дверь неожиданно метнулась в сторону, и из полутёмного треугольника появилась сонная физиономия.

— Тимка?

— Э-э, опять... — огорчённо махнул рукой Тимофей, и его узкое веснушчатое лицо, беспомощное без очков, обиженно скривилось. — Командиру вставать, а будят меня.

И он выставил голую ногу, на которой болтался конец бечевы.

Тоня улыбнулась. Парни не уставали разыгрывать друг друга.

— Ну, так разбуди командира! А то Расима волнуется. За каждые полчаса, что проспит командир, достаётся именно ей.

— Ладно, — Тимофей отвязал бечеву. — В последний раз, учти.

— А я при чём? Меня попросили, я и выполнила.

Ладно, — повторил Тимофей и исчез за пологом.

В отряде начинался обычный рабочий день. И ни командир, ни Тоня, никто другой ещё не знал, что он им готовит.

* * *

К вечеру в отряде появился Марк Зарицкий, комиссар объединённого штаба студенческих строительных отрядов. Недолго посидев с Белозёровым в «КП», затем вместе с ним и Тимофеем отправился по объектам.

Зарицкого в отрядах знали все — кто понаслышке, а кто и в лицо. В прошлом году он возглавил двести добровольцев, отряд, привезший в Томск переходящее Знамя ЦК ВЛКСМ. Эта была первая такая высокая награда, и томичи очень гордились этим.

Марк был невысок, плотен, быстр в движениях. Буйная шелюра венчала его голову, словно каракулевая шапка. Приметный какой-то дремучей красотой, он чувствовал это, и его выразительные глаза заранее словно извинялись: «Я это не нарочно...».

Девчонки-поварицы во всех отрядах вздыхали о нём и бежали прихорашиваться, завидев бодрую развалюху-полуторку, на которой обычно разъезжал Зарицкий.

В «Каникулу» вместе с ним прибыла гибкая белокурая девушка, одетая в изящную замшевую куртку. На боку фотоаппарат со вспышкой. Корреспондентка. Может, из областной молодёжки, а может, даже из Москвы.

Глаза её восторженно блестели — так ей всё нравилось на объектах: и штабеля кирпича, и усталые, но мужественные лица парней, и несуетливая деловитость бригадиров. Она принялась снимать всё подряд. То присядет, то, не замечая насмешливых взглядов парней, заберётся куда повыше — на скамейку, на машину, на строительные леса. И всё щёлкает, щёлкает, а потом что-то пишет в свой шикарный блокнот.

Возле штукатуров она задержалась.

— И не жалко плёнку? — насмешливо спросила Паша, поглядев на неё сверху вниз. — Неужели мы такие красивые?

— Конечно! — девушка не заметила иронии. — Вы очень даже красивые. Ой, можно, я попрошу перейти вот сюда...

— Но там нам нечего делать, — не согласилась Паша.

— Ну и что? — корреспондентка оценивающе оглядела Пашу. — Впрочем, я попрошу вас, — и она перевела взгляд на Тоню.

Тоня отрицательно покачала головой.

— А можно мне? — не выдержала Фросита и полезла на подмости. — Так? Я только платок сниму, можно?

Не дожидаясь разрешения, стянула с головы обрызганный раствором платок и распушила волосы.

Журналистка щёлкнула.

— Так быстро? — расстроилась Фросита.

— Я хотела бы с вами поговорить, — девушка застегнула футляр фотоаппарата и снова обратилась к Паше.

— Придётся подождать до обеда, — ответила Паша. — Или до вечера.

— Вечером не получится, — покачала головой корреспондентка, пряча в сумку свой красивый блокнот. — Вечером у вас собрание будет.

— Какое?

— Отрядное, — со значением улыбнулась девушка. — Там и поговорим, раз сейчас вы слишком заняты.

Костёр располагает к доверительности. Особенно такой — круглый, высокий, пахучий. Джон Булатов, разъезжая по степи, раздобыл где-то старую камазовскую шину, и теперь она горела просторно и вольно.

А какой же костёр без картошки?

Тимофей разгрёб угли и выкатил сначала прутом, а потом задубевшим пальцем большую обгорелую картошину. Подул на неё, подбросил на ладони — и катнул её к Тоне. Картофелина ткнулась в кеды — и отлетела к Лене. Лена удивлённо и вопросительно посмотрела на Тимофея, но подарок взяла. На её красиво очерченных губах появилась довольная улыбка.

Тимофей смутился, покраснел и, вооружившись прутом, снова полез в огонь за следующей картошкой.

Отмахиваясь веничком от комаров, подошла Фросита. В отличие от девчонок, одетых в брюки и парадные красные рубашки с длинными рукавами, она была в своём мини-сарафанчике, и теперь ей приходилось героически делать непринуждённое лицо, создавая видимость, что ночной холодок и комары ей нипочём.

— Кого же мы ждём? — устроившись поближе к костру и в центре, спросила Фросита.

— Щас увидишь, — пообещал кто-то из парней. — Только не упади.

К костру подошли Белозёров с гостями.

— За опоздание просим собрание нас извинить, — сказал Витька и сухо добавил: — Есть предложение: общее отрядное собрание открыть. Как, товарищи?

— Чего ж ещё предлагать? И так собрались, — сказал Кравченко. — Объявляй повестку.

— На собрании присутствуют все, — доложил командир. — Передаю слово комиссару объединённого штаба студенческих строительных отрядов, — и сел.

Марк красивым жестом провёл рукой по шапке своих волос:

— Парни! — помолчал, терпеливо дожидаясь полной тишины, потом заговорил быстро, напористо: — Сегодня мы побывали с корреспондентом областной партийной газеты на всех объектах. Слов нет, работаете вы здорово. На котельной вкалывают так, что высморкаться некогда... — вокруг костра тишина, никто не засмеялся, и он продолжил: — У плотников тоже... Я уж не говорю о ваших героических девчатах на коровнике. Вместо десяти плановых квадратов они семнадцать гонят! Посмотрел, и у самого руки зачесались...Пожалел, что вместо того, чтобы пропотеть в одной из таких замечательных бригад, мотаюсь по степи, как инспектор...

— Вот и оставайтесь! — горячо предложила Фросита.

Марк ответил ей благодарной улыбкой и продолжал:

— Словом, того, что есть у вас, не отнимешь. Давайте поговорим о том, чего нет. Ради справедливости.

— А чего у нас нет? — удивился Тимофей.

— Общественного лица. А без него вам первого места не видать. Вот так. В общем, нужно выбрать отрядного комиссара, чтобы он отвечал за культурные мероприятия, за связь с местным населением, за газету... За общественное лицо, одним словом. Что тут непонятного? Белозёров просит прислать из штаба, но вам по численному штату освобождённого политрука не положено. Вот я и предлагаю выбрать кого-то из вас. Подумайте... И предлагайте кандидатуры, без оглядки на штаб.

Поднялся Тимофей. Одёрнув рубашку, кашлянул в кулак и сказал:

— Я думаю, что в нашем отряде любой сможет быть комиссаром. Главное, чтобы с душой...

— Ну да, любой, — не согласилась Расима. — Вон Булатова поставь, увидишь...

— Моё дело — баранку крутить, — важно сказал Джон, — а не кашу с вами варить.

— Можно мне? — вдруг как на уроке подняла руку Паша.

— Валяй, Павел, — разрешил Василь Кравченко.

— Короче... — Паша вскочила; куртка свалилась к её ногам; статные широкие плечи, гордая высокая шея — всё чеканное, строгое, как скульптура; парни залюбовались. — Короче, я предлагаю её, — и она указала на Тоню. — Авдееву.

Над костром прокатился шумок. Все изучающе уставились на Тоню, словно увидели её впервые.

— Паша, сядь, — потянула Тоня подругу за руку. — Ты с ума сошла!

— Ну что ж, — ободряюще улыбнулся Марк. — Одна кандидатура есть. Охарактеризуйте. Как полагается.

— А чего её характеризовать? — удивилась Паша. — Она вся и так ясная, как на ладони.

— Да, — поддержала Фросита. — Она песни поёт...

— Авдеева газету выпустила, — громко заявил Кошкин. — Хорошую!

И все, как по команде, повернули головы к Белозёрову.

Витька не стал отводить глаза.

— А что, неплохая стенгазета, — с вызовом подтвердил он. — А ещё Авдеева неплохо зарекомендовала себя в квартирьерах. Общественная жилка у неё действительно есть.

— Она понимает психо-эмоциональное состояние пациен... человека, — по-научному выразилась глава медсанчасти Лена.

— Раз других кандидатур нет, ставь на голосование, командир! — разрешил Марк.

Голосование окончилось неправдоподобно стремительно. Один воздержавшийся, остальные «за». А дальше... Обычная вещь: кто-то берёт гитару, пробует — не расстроена ли? Никаких заявок — пой, что хочешь...

Ветер качает волны.

Волны качают берег.

Берег плывёт в тумане —

Туман уплывает вдаль...

* * *

... Тоня бродила позади «Сушувара», одна. «Любой человек может стать комиссаром»; ну, Тимка, ну, прораб человеческих душ... Поговорить бы сейчас с отцом. Что он сказал бы? Наверно, ничего особенного. Сказал бы «работай» — и всё. В их семье всегда так было: работай, остальное приложится. И умение, и радость от самой работы, и награды. Впрочем, о наградах в их семье не говорилось. «Глазоньки страшатся, а рученьки делают», — не уставала повторять мать.

На фронте отец был политруком, то есть тоже комиссаром. Давно, ещё в детстве, Тоня пыталась расспрашивать его, как это было.

— Так... работал, — отвечал он. — Вон как мама в библиотеке работает.

Его ответ никак не вязался с тем, когда он по ночам бредил, кричал: «Вперёд!.. за мно-о-й!..». Мать уговаривала его, как ребёнка, баюкающим шёпотом, и он затихал.

Работа... Это сейчас у отца работа. Рано утром — в школу. Поздно вечером — из школы.

Тоня остановилась. Ей даже почудилось, что она слышит отцовские шаги по каменистой улочке. Цок, цок... ток, ток... Ни с кем не спутаешь — то звонко, то глухо, но всегда до боли знакомые шаги на протезах. Отец, отец...

— Авдеева, ты почему не спишь?

Тоня вздрогнула от свистящего Витькиного шёпота.

— А ты?

— Иди спать, — не отвечая на вопрос, приказал Белозёров. — Вишь, как вызвездило? Завтра жара будет, а ты силу на гуляние тратишь!

— Ухожу...

Значит, Витька тоже не спит. Значит, не только её сейчас одолевают думы... На душе стало теплее, не так одиноко, и Тоня пошла к своей палатке.

Объект номер один

После коровника бригаду штукатуров перебросили на школу. Плотники закончили свои ремонтные дела и уступили девочкам «фронт работ». Прощаясь, особенно напирали на слово «фронт». Дескать, посмотрим, как фронт держать будете...

Как, как... Как обычно.

В «Учительской» на скамье разложены мастерки, правила, тёрочки — помытые и очищенные от раствора. А всё Паша — хоть умри, но инструмент в конце смены вымой, иначе из школы не выпустит.

— Поленька садится на откосы. Тося с Ефросиньей на стенки. А я... — Паша мужественно сдержала вздох, — на эти чёртовы полтки!

Фросита фыркнула, дёрнула на сарафане замочек и отправилась переодеваться в пустой класс.

— Ну, хочет девчонка быть Фроситой — пусть. Что в этом плохого? — упрекнула Пашу Тоня.

— Нет, не пусть! — Паша была не в духе. — Нос картошкой, щёки азиатские, а она, видите ли, Фро-си-та! И не уговаривай!

Тоня даже обрадовалась её резкости; теперь и она имеет право вспылить:

— И не собираюсь уговаривать! Всех уговаривать — себе дороже... Если ты не понимаешь, что игра в красивое испанское имя только игра или вроде детского заболевания и ничего больше, то извини, я с тобой спорить не буду.

Тоня включила походную растворомешалку. Ведро цемента — три ведра песка. Ведро цемента — три ведра песка. Потом запустить из шланга воду. Сначала на лопасти, чтобы мешалке было легче проверить. Нехитрая работа.

Старенький механизм надсадно гудит, аж стонет от напряжения. Сквозь щели в подставленные ведра продавливается цементная жижа. Иногда мешалка вдруг останавливается, перестаёт гудеть, и тогда кажется, что она делает это нарочно, чтобы хоть немного перевести дух.

Бригада работает слаженно, привычно. Втянулись. Даже слова, поначалу непривычные для слуха, полюбились: ёмкость, мастерок, или ещё — правило. Правда, Поленька до сих пор его лекалом называет...

Пританцовывая, напевая что-то, позабыв о Пашиной настырности насчёт «натурального имени», появилась Фросита. Ей уже душно, и она готова сбросить «пижаму».

— А ну зачехлись! — погрозила ей «с потолка» Паша. — Не пляж, просквозит живо. Будешь в командирском приказе фигурировать!

— А теперь нам не страшен серый дятел! У нас начальство под боком, — Фросита вскарабкалась на подмости к Тоне. — Правда, Тосенька? Ты ведь не дашь в обиду?

— Какое я тебе начальство... Я всю ночь спать не могла...

— Понятно, — посочувствовала Паша. — Не дрейфь, комиссар, канаву в два прыжка не перепрыгивают. А мы... надо — споём и спляшем, и лекции прочитаем!

— Всё получится, — поддержала Поленька. — Если всё делать по-доброму...

— Смотри что называть по-доброму, — возразила Паша. — Вот, допустим, парни дрыхнут, устали чертовски, а «Сушуар» горит... Разбудить — жалко, и столовку — жалко. Как тут по-доброму?

— Ну, ты, Паш, загнёшь...

— Ой, девочки, а с кем я позавчера в кино ходила! — Фросита уже готова была устроить внеочередной перекур, чтобы поболтать.

— Да уж знаем, эту каланчу Петькой зовут? — Паша продолжала работать.

— И не каланча вовсе, — обиделась Фросита, — а персональный водитель директора совхоза. Кроме того, он мне замуж предлагал...

— Сразу и замуж?

— А что? Это теперь модно. Ранние браки и немедленное объяснение в любви, — Фросита явно поддразнивала Пашу. — Вот загребу я в конце лета энную сумму... Оденусь! Все парни мои будут!

— А я... если заработаем денег, я родителям pošлю, — неожиданно вступила в разговор Нина. — Они дом строят. А знаете, сколько в дом вложить надо...

— Да-а... — сочувственно протянула Паша. — Мои семь лет строили, строили... Ефросинья, подкинь растворчику! Мне тут одну дырёху заделать надо...

— Щас! — Фросита поспешила выполнить просьбу-приказ бригадира. — Талант у тебя, Павел, ей-богу! Не потолок — зеркальце!

— Ладно, проваливай, — смутилась Паша.

Неожиданно во дворе раздался резкий гудок. На пороге появился директор совхоза Александр Степанович Гриценко.

— Здорово, орлицы! — приветствовал он. — Как дела?

За ним маячила ухмылка его водителя Петьки: привет, мол, бабоньки...

Директор мал ростом, сухонький, лет пятидесяти, с громким, немного режущим голосом. От левого глаза к виску лёг шрам, похожий на глубокую морщину. На первый, торопливый взгляд, кажется, будто лицо его имеет хитроватое, с насмешливым прищуром, выражение. А приглядишься — раненый глаз смотрит печально и строго.

На должности директора совхоза Гриценко с самого начала освоения целины. Приехал из Ставрополя, оставив богатое, отлаженное хозяйство молодому председателю.

— Здравия желаем, Александр Степанович!

— Цементов маловато...

— Знаю, знаю... — перебил Тоню Александр Степанович. — Не берите меня за горло, у меня ангина, — и засмеялся своей шутке.

Паша вдруг спрыгнула с подмостей прямо перед ним:

— А я говорю, хотите иметь школу к началу учебного года — обеспечьте материалами! А потом хоть коклюшем болейте!

— Ну, ну, сердитая. Размахалась. Ты лучше посмотри, что мы привезли... Петька, давай!

И он отодвинулся в сторону, пропуская водителя с ящиком.

— Фьють... кафель! — присвистнула Фросита. — Где вы его откопали?

— Красив, а? — на обветренных губах Гриценко появилась гордая улыбка. — Будет у наших ребятшек белая-белая уборная! В московских школах такой не найдёте!

— Но... — Паша не знала что сказать. — Мы не умеем... По кафелю. Тут специалисты нужны. Мастика особая. Но самое главное — сроки...

— Да, — сказала Тоня и глупо добавила: — Мы боремся за первое место, и нам нельзя срывать оговоренные в подписанном соглашении сроки.

— Ну вот, — огорчился директор. — Мастика, сроки, первое место... Да разве в этом дело?

— А в чём?

— В том, что школа — это всегда объект номер один!

— Вот именно, — согласилась Паша. — Запорем — вы же с нас шкуру и снимете!

— Ага, снимем, — согласился директор. — Но белая уборная или, как там, туалет... чтоб у детей был! Ясно? А мастику я вам найду, — и пошёл к выходу.

Петька завлекающе улыбался.

— В субботу потанцуем? — и скопил глаза на Фроситу.

— С твоим Чапаем натанцуешься! — фыркнула Фросита. — Вздохнуть некогда. Гони да гони!.. Он всегда такой, или на студентов зуб имеет?

— Всегда, — с гордостью сказал Петька. — Когда он в отпуске — весь совхоз отдыхает.

И он так же, как Александр Степанович, громко захохотал.

Во дворе нетерпеливо просигналил газик: пэ-э-м, пэм...

— Во жгёт! Иду-у! — Петька опрометью бросился вниз.

Девчонки гладили плитку: красивая... Такой кафель — большая редкость, на стройках применялся редко. И вот теперь он в их руках... Понятно: школа — это же всегда объект номер один.

Светины «мушкетёры»

Серая лошадёнка, отпряжённая от водовозной тележки, забрела по брюхо на середину мелкого водоёма, оставшегося от недавних дождей, и никак не хотела возвращаться на берег, наслаждаясь прохладой. Полуголые мальчишки карабкались на её спину, хватались за хвост, за реденькую гриву — она покорно терпела — и затем, как с трамплина, шлёпались в мутную воду.

На искусственной насыпи водоёма показались Тоня и Света.

— Гей! Мы здесь! — закричали мальчишки; взобрались наверх и ринулись к Свете. — Здравствуй! А мы к тебе приходили...

— Ждали-ждали...

— Привет, мушкетёры! Чем вы тут занимаетесь? — приветствовала своих давних знакомых Света.

— Купаемся. Хотите, я покажу вам, где здесь по грудь? — предложил Тайгара.

— Спасибо, нет, — остановила его Тоня.

— А когда ты нам «Трёх мушкетёров» доскажешь? — мальчишки не отставали от Светы.

— Доскажу, — пообещала она. — И про Огненного бога Марранов доскажу. Где?.. Да хоть здесь, на этом берегу!

— Зачем же здесь? — вмешалась в разговор Тоня. — Вы, ребята, прямо в наш лагерь приходите. В гости, — она оглядела мальчишек и спросила: — И много вас?

— Кого? — не понял Тайгара.

— Ну, ребят вашего возраста.

— Много, много, — обрадовался он. — Вовка Рыжий — раз, Вовка Косой — два...

Всего насчитал тринадцать.

— А что, девочек у вас нет? — удивилась Тоня.

— Почему нет? — хмыкнул Тайгара, — Сколько надо, столько и есть. Наверно, штук двадцать...

— Не штук, а девочек, — поправила его Света.

— Ага, — с готовностью согласился Тайгара, — Штук двадцать... девочек. А вас как зовут, тётенька?

— Меня зовут Антонина.

— Это наш комиссар, — добавила Света.

— А разве тётеньки комиссарами бывают?

— Выходит, бывают...

— А тогда где её маузер? У комиссара в фильме «Чапаев» был...

— Ну, всё, знатоки, пока, до вечера!

Тоня и Света пошли дальше. Комиссар шла и думала: «Школа — объект номер один. Так. Дальше... Светкины «мушкетеры»; дальше — пионергруппа! с барабанами, горном, кострами и, главное, — с такой вожатой! Вот это настоящее комиссарское дело. Дело новое, не известное для «Каникулы», но полезное для детей»...

Правда, Расиме теперь на кухне не позавидуешь...

«Кошкин, грязь!»

Шура доскрёб из цементного ларя последние крохи. Перемешал с глиной и песком. Выключил рубильник. Всё. Последний замес. Подъедет Джон Булатов, заберёт его — а дальше что?

Шура сбросил верхонки. В рукавицах руки отсырели, побелели от въевшейся цементной пыли, сморщились. Отёр со лба пот и огляделся.

Онемевший растворный узел, к которому Шура был прикован весь этот месяц, выглядел заброшенно и нелепо. Неопрятной бородой свисали вокруг люка сосульки из раствора. Тросы «обледенели» от него же. Всюду, куда проникала вода, проступала ржавчина. И только лопасти, отполированные работой, горели на солнце.

Но самое нехорошее в этой картине — тишина.

Цемент истаял незаметно, неотвратимо, как весенний ледок. А нового всё не привозили. Сначала Шура интересовался у Витьки, когда да что... Тормошил Джона: ну, когда?!.. Потом тормозить перестал. И Джон, и Витька ходили мрачными, как грозовые облака.

Назревала безработица. Остановятся каменщики. Перестанут мелькать в окнах школы девчоночьи пёстрые платки... Шура так гордился, что сумел полностью заменить непроизводительный труд старой растворомешалки и принять на себя заботу о Пашиной бригаде... Остановится, замрёт привычная отрядная жизнь. И к чему тогда весь этот сумасшедший темп, работа на пределе человеческих сил, если наступит другая жизнь — в четверть накала, тлеющая, как лампочка на последних минутах деревенского движка... Есть, спать, слоняться без дела по лагерю?

Шура сел на песок и принялся растирать левую ногу. Побаливает. Как-никак не в шахматы играл. И всё-таки он доказал. Он — может! И в футбол играть, и вкалывать по-настоящему, безо всяких скидок.

Острая боль от ступни до колена вдруг предательски напала на Шуру и принялась выворачивать кости.

— О-о... — прикусив губу, застонал Кошкин.

На этот раз приступ длился особенно долго. Шура успел отчаяться, разозлиться на себя, не дающего покоя этой бедной конечности, усомниться в правильности своего решения: нагружать, терзать работой и упражнениями своё тело, чтобы оно привыкло наконец к мысли о том, что никакое оно не больное, посетовать на судьбу, которая требует одного и того же — преодоления... За что, за что ему выпало такое пре-о-до-ле-ние?! Тысячи, нет, миллионы людей живут тихо-мирно, без этого самого преодоления...

На дороге появился самосвал. Боль куда-то отступила, и Шура встал навстречу Булатову, лихо подкатившему под погрузку.

— Кошкин, грязи! — крикнул Джон, высовываясь из кабины.

Шура привык к этому требованию: «Кошкин, грязи!». Даже по ночам ему снится иногда, как он крутится на растворном узле. И хотя ему сейчас только что хотелось побыть одному, пожаловаться на судьбу, он обрадовался Булатову, потому что понимал — он, Кошкин, действительно нужен людям.

— Н-на! — Шура вывалил замес в кузов. — Да вези на котельную! А то я тебя знаю: опять к девчонкам поскачешь!

— Но-но, — Булатов вытянул шею и заглянул в кузов. — Вали полнее, не жмись!

— Нету! — махнул рукой Шура. — Всё!

— Что, так хило? — не поверил Булатов, но, поняв по лицу Кошкина, что шутки плохи, тихонько свистнул и бережно отъехал от растворного узла.

Шура посмотрел — куда он завернул, не на школу ли? И побрёл следом, к Василию Кравченко.

На генеральном плане, который висел в «КП» над раскладушкой прораба Тимофея, котельная выглядела обычным прямоугольником. А в жизни — от земли уже давно оторвались белые стены, выложенные кирпичик к кирпичику, под расшивку, обозначились строгие контуры высоких окон. Будущая котельная походила на белоснежный корабль, возникший в степи неожиданно-негаданно, а каменщики в бумажных пилотках там, на верхотуре, — на бывалых матросов.

Внизу, у подъёмника, двое парней загружали раствор в бадью. Завидев Кошкина, переглянулись.

— Это правда? — спросил один из них.

Шура мотнул головой: да, правда, цемент закончился.

— И никаких заначек?

Шура снова мотнул: нет, никаких. И не спеша полез по длинному трапу наверх.

Крутятся там, внизу, изо дня в день, не разгибая спины, он не думал о том, что изо всей этой грязи, усталости, муторной и однообразной сутолоки может вырасти вот такое славное здание, самое высокое в посёлке.

А наверху гулял ветер. Блестели, словно намазанные шоколадным маслом, спины парней. Василь Кравченко, опережая всех своих каменщиков на пять рядов, заводил такой угол — залюбуешься! Казалось, будто весь этот недостроенный, но уже великолепный корабль задрал нос высоко-высоко в ярко-синее небо и взбирается на крутую волну.

Ребята работали сосредоточенно, молча. Не глядя брали силикатный кирпич за кирпичом, укладывали в намазанные раствором гнёзда, пристукивали рукоятками кельм сверху, «обстригали

слиюни» с боков... Они гнали норму. Они ещё не знали, что в отряд пришла безработица.

По правилам ближнего боя

После утренней линейки Белозёров остановил Тоню:

— Собирайся, комиссар, поедем в Булаево, в штаб.

Пришлось переодеваться. Брюки, парадная алая рубашка, на шее Фроситин небесно-синий платок. Смоченные волосы разглажены, и даже «хохолок попугая» присмирел, улёгся завитком на макушке.

— Эх ты, лягушка-путешественница, — Витька по-мальчишески ухватил Тоню рукой за затылок, но тут же опомнился: всё-таки перед ним девушка, а он командир отряда; впрочем, и на командиров иногда находит. — Ну, айда седлать лошадей!

Седлали около часа: ИЖ-49, старожил совхозного гаража, никак не хотел заводиться.

— Кончай барахлить, старая ты калоша, — уговаривал его Витька. — Ехать надо!

Содрогаясь всем телом, мотоцикл отвечал хрипом, кашлем, редкими руладами, клубами дыма. Но Витька не терял надежды. Постукивал по демпферу, крутил рукоятку газа, толкал кик-стартёр.

— Может, подтолкнуть? — посоветовала Тоня. — У нас, бывало, в мотокружке мы так разгоняли «ижачок»...

— А у нас в мотокружке... — язвительно начал Витька, но его правая нога сорвалась со стартёра, и... послышалось прерывистое тарактение.

— Вот, — с довольным видом он указал Тоне на коляску. — Поехали!

До Булаева предстояло одолеть километров сто десять, а то и больше. Вырвавшись на хорошую, плотно укатанную грейдерную дорогу, Витька включил скорость под восемьдесят.

Плотный, горьковатый от пылины встречный поток воздуха придавил Тоню к спинке жёсткого сидения. Ветер заламывал ресницы, выжимал из глаз слёзы, выхватил из-под воротника Фроситину косынку, и её концы, словно крылья, затрепетали за спиной, растрепал и сам же пригладил волосы.

Тоня выставила вперёд ладони — он отодвинул их. Почти материально Тоня ощущала мускулистую напористость ветра, его силу и озорство; она опустила за борт коляски руку и со счастливым удивлением почувствовала, как он ухватил её за руку, стал

перебирать, щекотать ладони. Так же поступает вода, если свесить руку за борт идущей на хорошей скорости моторной лодки.

— Держись, а то вылетишь! — прокричал Витька.

— Не вылечу-у! Жми на полной!..

Озорство ветра передалось Тоне, захватило её. Ей хотелось, кричать, петь, встать во весь рост, схватить Белозёрова за плечи и перебраться на сидение за ним.

Созревающие хлеба подступали к самой дороге. Золотые, зелёные краски на фоне ярко-синего неба резали глаза, кружили голову. Огромное небо над огромной степью, циркули опор высоковольтной линии, шагавшей куда-то за горизонт, — всё воспринималось как нечто живое, подвижное, хотелось крикнуть всему этому живому что-то весёлое, помахать рукой.

Степь, степь... Раньше Тоня считала, что только горы могут быть красивыми. Поначалу казахстанская степь казалась скучной и однообразной. Но вот походила она по ней, поработала, вот мчится теперь на стреляющем сизыми выхлопами «ижачке» — и глаз не может оторвать от неё. Каким раздольным и щедрым на красоту кажется ей это опалённое солнцем, овейное ветром почти одушевлённое существо. Степь...

— Скоро Булаево! — крикнул Витька.

— Ты не забыл? Письмо Гриценко о мастике для кафеля не забыл? — прокричала Тоня.

— Что?! — не понял Витька.

— Мастика... для кафеля...

— Не-ет, не забыл! В кармане!

Витька нисколечко не удивился Тониному вопросу; сам всегда думал о делах.

— Хорошо! — Тоня старалась перекричать рёв двигателя. — Всё хорошо! Одолеем!..

— Кого? — снова не понял Витька, но Тоня не стала ему объяснять, кого собирается «одолевать».

Перед въездом в райцентр Белозёров притормозил у нового указателя. На столбе, на стрелах, направленных в разные стороны, масляной краской было начертано:

До Москвы — 3740 км

До Самарканда — Тысяча и одна ночь

До Томска — 12 руб. 38 коп. Дезертирам скидка 50%

— Во, гаврики! — одобрительно сказал Витька и направил мотоцикл прямо до Самарканда.

В узком полутёмном коридоре штаба, располагавшегося во флигеле райсовета, Белозёров и Тоня наткнулись на деловой разговор.

— Слушай, старик, дай машину кирпича. Вывернусь — отдам. Через неделю.

«Старик» лет двадцати прижимисто молчал, прикидывая, что бы такое запросить взамен.

— Ну, так даёшь?

— Сами горим... Разве что пиломатериал... — уклонился от прямого ответа собеседник.

Всюду в воздухе носилось тревожное магнитное слово — цемент. Его не было. Штаб бомбардировал телеграммами Москву, Семипалатинск, Искитим, Орск... Не хватало бруса, железобетонных перекрытий, гравия, кирпича. Но острее всего — цемента. Где-то на подходе были два вагона. Их ждали, как чуда, и уже задолго до их прибытия штаб осаждали представители отрядов.

— Иди за мной, — шепнул Белозёров Тоне. — У меня здесь свой человек...

И повёл её в какую-то проходную комнату.

«Свой человек» разговаривал по телефону, с трудом перебивая шумное разноголосье. Заметив Витьку, кивнул и через несколько минут закончил телефонную перепалку.

— Привет, «Каникула»! — заулыбался он. — Чё надо?

— Как «чё»? Цемент. Горим, — и Витька замысловато показал, как «горит» отряд.

Улыбка сползла с лица парня.

— Все горят, — хмуро сообщил он.

— Я обо всех не говорю. Я говорю о нашем с ней отряде, — Белозёров кивнул в сторону Тони.

Ему было неловко: расхвастался, а «свой человек» оказался таким несговорчивым.

Тоня стояла тихо; она и не предполагала, что так трудно достаются строительные материалы.

— В Древнем Риме, — примирительно сказала она, — бетон был рядовым материалом, а мы в двадцатом веке цемент за небесное счастье почитаем.

— В Древнем Риме не было студенческих строительных отрядов, — объяснил штабист.

— Ну, так что? — наступал на него Белозёров.

— А ничего.

— Власть показываешь?

— Ага.

Витька хотел было сказать такое... Но сдержался, поманил парня в сторону, и они зашептались о чём-то.

Потом штабист вынул из кармана авторучку и тут же, на подоконнике, заполнил требование на цемент.

— Спасибо! — Витька выхватил драгоценную бумагу и подмигнул Тоне: — Айда!

Когда они вновь очутились в коридоре, Тоня спросила:

— Что ты ему наговорил?

— Кто, я? — рассеянно переспросил Витька; мысли его были уже где-то далеко.

— Нет, Белинский!

— Постой, постой... Да ты что, обиделась? — Витька взъерошил чуб и смущённо хохотнул. — Уж извини, но я ему соврал, что ты дочь директора Искитимского цемзавода.

— И помогло?

— Как видишь! — он похлопал ладошкой по нагрудному карману. — Получать будем в первой спецочереди!

— А без этого... Нельзя было?

— Нет, — убеждённо сказал он. — Снабженцев за горло надо брать. И вообще, хочешь чего-нибудь добиться, дави на психику, жми на все педали и кнопки, дуй без трепета.

— На все случаи жизни?

— Почти.

— Ты зачем меня сюда привёз? — рассердилась Тоня. — Для наглядности?

— Не только. Иди к Зарицкому, он хотел тебя видеть. Будет удобный момент, попроси людские резервы.

Ничего не ответив, Тоня двинулась по коридору.

— Ты это... чуть чего, наступай по всем правилам ближнего боя! — посоветовал Витька ей вдогонку.

— Ближний бой я оставляю тебе! Полководец... — ответила Тоня.

* * *

Марк Зарицкий, должно быть, тоже привыкший к давлению на психику и бесцеремонному вторжению посетителей, даже внимания не обратил на Тонино «можно?». Он читал, картинно разбросав длинные руки, — будто стол обнимал.

Тоня кашлянула.

Марк поднял голову:

— Ко мне?

И недовольно наморщил лоб.

— Я из «Каникулы». Моя фамилия Авдеева, — представилась Тоня, решив, что Марк забыл о своём визите в отряд.

— Да, да! — приветственно махнул рукой Марк. — Думаешь, я своих линейных комиссаров в лицо не знаю?

«Свой линейный комиссар»... В этом было что-то картинное, рисованное.

— Ну, что там у тебя? — поторопил Марк.

— У меня? — переспросила Тоня. — Мне казалось, что это вы меня вызывали...

— Да? — несколько смутился Зарицкий. — Конечно, конечно... Да ты садись, чего стоишь.

Он запустил руку в ящик стола, выудил записную книжку, полистал.

— Ага! — замер и строго поглядел на Тоню: — Что ж ты всё раскачиваешься? Отчётов не присылаешь. Ни одной лекции, ни концертов, ни крупного общественного мероприятия... Чем объяснишь? Занятостью штукатурной работой?

Тоня не узнавала Марка. В отряде он разговаривал с ней просто и дружески...

— Отчёт я действительно отправить не успела, это правда, но я его привезла, — и выложила на стол исписанный листок. — Но это не значит, что мы бездействуем.

И она стала рассказывать, что медицинский работник Лена прочитала уже три лекции для населения по санитарной профилактике, идёт подготовка к большому концерту в Доме культуры, выпускается стенная газета, что родилась идея создать при отряде пионерскую группу, есть хорошая кандидатура вожатой...

— Ну-ка, ну-ка, — прервал её Зарицкий. — Давай поподробнее об этой хорошей идее...

Тоня рассказала о Светиных «мушкетёрах».

«Пионерской группы ещё нет ни в одном отряде, — подумал Марк. — Идея прекрасная! Если же её осуществить масштабно... Мы бы тогда прогремели... И тогда можно было бы не отдавать переходящее Знамя Центрального Комитета комсомола...»

— Молодец, Авдеева! — похвалил он. — Какая помощь нужна?

— Во-первых, моральная, — засмеялась Тоня. — Я её получила. Во-вторых, нам нужно подкрепление.

— Людей нет. Все отряды укомплектованы.

— Между прочим, я на помощь не напрашивалась, — напомнила Тоня.

— Да, Авдеева, это была моя ошибка, — нарочито горестно склонил голову Зарицкий. — Ну, будь здорова. Всего доброго. Свободна.

Без запасных швов

В «КП» тихо и душно. Свет, проходя сквозь синий верх палатки, подсинил и лица, и одежду, и столик... Казалось, здесь пролилась нежно-синяя гуашь.

Тоня и Витька сидят вдвоём за командирским столом. Витька бросил перед собой длинные жилистые руки. Думает.

Мысль о цементе вытеснила все другие заботы. Упустишь время — скатишься в отстой, на последнее место. Это плохо. Возвращаться домой — так только победителем. Или тогда не надо было соглашаться на командирство. Белозёров привык быть на виду, в самом центре событий. Всё, за что брался, делал на совесть, не жалея себя. Но уж любил, чтобы ему за это воздали. По справедливости. Не то чтобы он был слишком тщеславным, но и вкалывать, а потом прятаться в тень, как некоторые, считал излишней роскошью, пережитком скромности.

Цемент — это работа. А уж на работе его отряд сумеет дать любому сто очков вперёд! Но в реальности — на горизонте безработица...

— Директор совхоза предлагает земляные работы, — угадав заботу командира, сказала Тоня.

— Земляные! Конечно! — вспыхнул Витька. — Этому Гриценке лишь бы нас занять! А он забыл, какова стоимость бетонных и земляных работ? А она разная! Как рубль и копейка. Что мне скажут мужики в конце сезона? Куда пошлют?

— Не пошлют. Объяснишь — поймут. Мы сюда не ради заработка приехали.

— Но и он не лишней!

Ну что тут скажешь...

Витька ненадолго задумался, потом спросил:

— Почему так бывает? Человек старается, старается, не для себя, заметь... А кто-то не старается, а получает всё...

— Не знаю, обидно, должно быть...

— Обидно, обидно! — взорвался Витька. — Что я, девчонка, чтобы обижаться? От людей элементарное требуется: дал слово — сделай! Вот чего я в людях не понимаю. Как дурак, всю жизнь стараюсь держать слово, на десять минут опоздаю — совесть замучает... Нет, я не ставлю себя в пример...

Тоня впервые видела его таким. Устал, устал командир... Ответственность — тяжёлая ноша.

— Что молчишь? Думаешь, раскис Белозёров? в жилетку плачется? — набросился он вдруг на неё. — Ты — добренькая, Тимка — добренький, а Белозёров — цербер на цепи, только гавкать приставлен? Да?

— Зачем ты так...

— Как могу. Некоторые считают, что у них доброе сердце, хотя на самом деле у них слабые нервы, — Витька уже не мог остановиться. — Не я сказал, другие умные люди. А я с ними согласен. Согласен! Понимаешь?

— Доброта одна, — возразила Тоня. — Каждый по-своему её понимает, но она одна.

— Философия!.. Я давно заметил, что филологи любят порассуждать о том, о сём. А я не филолог, я на физмате учусь. Я по-грубому, по-мужицки считаю, что добро — это труд. В самом широком смысле. Если понадобится, я и гавкать стану, лишь бы дело двигалось. Не понимаю людей, которые не работают, а только время отбивают. Не понимаю. И за врагов считаю. Они для меня неприятны, как лягушки в молоке. И не гляди на меня так!.. Подозреваю о твоих принципах, так сказать, демократическо-гуманистических. Думаешь, я забыл твою «звериную стенгазету»?

— Ты, Виктор, прав, — совершенно искренно сказала Тоня. — Сегодня ты прав. И вообще очень часто ты бываешь прав, ну, как бы тебе сказать... По содержанию. А вот форма...

Витька опустил голову на поставленные на локоть руки и ответил медленно, как бы раздумывая:

— А я вообще по-дурацки скроен. Без запасных швов, на пределе. И если жизнь когда-нибудь заставит меня раздобреть, то я не выдержу и просто лопну. Вот почему про форму мне просто некогда думать. Не получается.

Тоня не знала, что ему сказать. Понимала его терзания, а утешительных слов не находилось. Да и зачем слова? Витька сильный. Сам разберётся.

Времянка

Тоня легко взбежала на крыльцо совхозной конторы. Миновала коридор, длинный и просторный, с лавками вдоль стен, с бачком питьевой воды и кружкой на цепи. Постучала.

— Входите!

Директор поднял голову от бумаг и с ожиданием задержал взгляд на Тоне, словно спрашивая, какую недобрую весть ему ещё предстоит услышать?

Лето выдалось неудачное, тяжёлое. Сгорела зерносушилка, а заодно с ней амбар. Недавно принятый на работу шофёр разбил машину и скрылся в неизвестном направлении. Но главное — не было дождей... Вот почему на каждого посетителя Гриценко смотрел как на возможного вестника новых неприятностей. К тому же, студенты брали за горло, требуя «красивой работы».

— Ну, зачем пришла? — спросил Александр Степанович. — Тоже за фронтом работ?

— Нет, за советом.

Гриценко неудобно завозился на стуле, стал зачем-то переключать немногочисленные бумаги.

— Значит, за советом... Ну, спрашивай, коли так.

— В двух словах не объяснить...

— А ты четыре скажи. Может, пойму.

Тоня улыбнулась: ох, не любит беседовать Александр Степанович! Вспомнилось, как он бегал от неё, узнав, что студенты затеяли пионергруппу для ребятишек. А потом — бац! — решил всё единым махом: и пустующую часть школы выделил, и раскладушки достал, и прикрепил ребятишек к совхозной столовой, чтоб, значит, всей группой обедать-ужинать ходили.

— Я о детях, — начала Тоня. — Просьются они на Солёное озеро, в поход. Там ведь лес по берегам... Ну одолели с этим путешествием! Как вы думаете, что им ответить?

Гриценко слушал её задумчиво, склонив над столом седоватую голову. То, что студенческий комиссар пришла не с претензиями, а за советом, тронуло его.

За советом... Последнее время, стал замечать Александр Степанович, молодёжь всё больше требует, а не просит. Хорошо ли это, плохо ли — кто скажет? Но обидно.

Вот и дочь его... Уж и не помнит он, когда она эти слова говорила: «Посоветуй, отец...». Всё по-своему норовит, по-горопливому. Вышла вгорячах замуж, хлебнула горя. Разошлись. А ведь пытался он отговорить её от этого замужества. Нет, куда там! Теперь, как струна натянутая, живёт, а всё равно: «Я сама, сама...». И всё молчком. На ферму — молчком, с работы — без песен...

Он посмотрел на Тоню — совсем как его дочка... Обе молодые, но у этой глаза ясные, ещё только разгораются для жизни.

— Ну, что тебе сказать? Солёное озеро — это бы хорошо... Надо подумать. О чём ещё посоветоваться хотела?

— Как совместный вечер отдыха провести.

— Отдыха?.. Не время, Антонина Батьковна, не время, — Гриценко отрицательно покачал головой. — Люди от зари до зари в поле.

— А мы к ним сами, на поле! С концертом, — не сдавалась Тоня. — Мы свои песни сочинили...

— Ну... дело ваше, — полусогласился директор и взялся за какую-то бумагу, давая понять, что любой разговор должен иметь свои границы.

В это время дверь в кабинет приоткрылась, и высунулось тёмное скуластое лицо с пронзительно голубыми глазами.

— Так что я опять к тебе, Степаныч, — сказала голова, удивлённо моргая. — Да вижу, ты занят. Мне что, могу и подождать.

— Заходи, заходи, Василий Егорович, — директор даже обрадовался нежданному посетителю. — Секретов у нас нет.

Дверь отворилась, и вошёл Василий Егорович. У него было небольшое, перекошенное в одну сторону тело — левое плечо выше правого на целую ладонь; на левой ноге неуклюже и как-то неумело сидел разношенный сапог, а правую заменял самодельный протез. И не лицо его, простое, обыкновенное, мужицкое лицо, испещрённое глубокими складками, задубевшее на степном ветру, не его неровные плечи, на которых выгоревший помятый пиджак висел, как на кривой вешалке, не руки его, беспокойно теребившие кожаную фуражку, а именно этот самодельный протез приковал Тонино внимание.

— Здрассте! — Василий Егорович сел за стол напротив Тони.

— Ну? — спросил его Гриценко.

— А чего «ну»? Вы всё знаете, — сказал посетитель.

— А ты не мне, ты ей расскажи. Слышал про студенческий отряд? Вот комиссар перед тобой. Антонина Батьковна.

— Как же, знаю. Хорошо стараются.

Директор вдруг привстал, выглянул в окошко.

— Петька! — закричал он. — Что ж ты, бисов сын, делаешь?.. — вышел из-за стола и заторопился к выходу: — А вы тут, люди добрые, погутарьте без меня, побеседуйте... Может, до чего и договоритесь...

Некоторое время Тоня и Василий Егорович сидели молча.

— С Волги мы, переселенцы... То есть какие переселенцы? По своей воле, по своему согласию. Понравилось, вот и живём. Я в кузне работаю, жена в поле.

— Вы участник войны? — спросила Тоня.

— Не признáтый, — сокрушённо вздохнул Василий Егорович. — Участвовал, но не признáтый.

— Не понимаю...

— Ехал воевать, а фашисты полуторку разбомбили. Я один выжил. И до фронта не доехал, и свидетелей не осталось. Так и живу... Вражескую бомбу на себя принял, а не участник войны.

Тоня не знала, что и сказать.

Лицо Василия Егоровича приняло вдруг просительное выражение.

— Подряжайтесь ко мне, а?.. Оплачу... сколь сумею.

— Вы о чём? — опешила Тоня.

— Дак вить строиться надо! А детки пока что только есть-пить...

Тоня наконец поняла, почему так поспешно покинул кабинет Гриценко. «Погутарьте, побеседуйте...»

Василий Егорович ожидательно заглядывал ей в лицо.

— Нет, не сможем, — нерешительно сказала Тоня. — Мы взяли такие обязательства... И сроки! Вы же знаете, в каких сжатых временных условиях мы работаем... Мы боремся за первое место... А к сентябрю должны вернуться домой, на учёбу.

Василий Егорович глядел на неё внимательно, как школьник, и всё время согласно кивал, поддакивал:

— Как же... Ясное дело... Мы понимаем...

Тоня смотрела на его руки, продолжавшие терзать замасленный козырёк фуражки. Она чувствовала, что все эти «временные условия», «обязательства», «первое место» для Василия Егоровича как сигналы с другой планеты. Ей стало мучительно стыдно. Она потёрла пальцами лоб и пробормотала:

— Вообще-то... посмотреть надо...

— Отчего не посмотреть? Айда! — обрадовался Василий Егорович. — Хоть сейчас! — вскочил и заторопился к двери.

И столкнулся с Гриценко.

— Ну как? — спросил директор. — Договорились?

— Посмотреть надо-ть, — солидно ответил Василий Егорович.

— Это хорошо. Правильно, — похвалил Гриценко. — Хороший хозяин всегда сначала примерит, потом отрежет.

— А как же с нашим разговором? — напомнила Тоня.

— Ну-у... Во многом он будет зависеть от вашего с Василием Егоровичем осмотра.

— Значит, условия ставите, — огорчилась Тоня.

— Нет, пожелания делаю, — губы директора неожиданно раздвинулись в ласковой улыбке. — Да не смотри ты на меня, дочка, как прокурор! На меня уже по-всякому смотрели. А жизнь, она сложная штука, не определишь, где условие, а где сердечное пожелание... Вы работу ищите — она сама вам в руки идёт. А цемент будет. По моим сведениям, через недельку... Ну, бывайте. Рад был поговорить.

* * *

Тоня и Василий Егорович медленно двигались по главной улице в конец посёлка.

— Степаныч у нас сурьёзный... К людям со всей душой. А нет, так и не возьмёшь ниоткуда, — рассуждал Василий Егорович.

— Да, да... понимаю, — отвечала Тоня.

Пройдя третьим переулком, они остановились перед низеньким сооружением, огороженным редкими — курица пролезет — досками и штакетником. На самой широкой доске печатными буквами было выведено: «Алек дураг!».

— Вот это моя времянка! — с гордостью показал рукой Василий Егорович. — Сам строил! Вот этими руками!

Времянка оказалась самой настоящей полуземлянкой. Пол от входной двери уходил куда-то вниз, в помещение, заполненное детскими голосами, шумом.

В комнатушке всё было перевернуто вверх дном. Четверо ребятшек, мал мала меньше, три девочки и мальчик, барахтались на полу, изображая борьбу. На полотах, на неубранной постели сидел пятый ребёнок, слабенький мальчуган с крупной белой головой, и тоненько смеялся:

— Фи...фи... фи...

Брат и сёстры развлекали малыша.

Василий Егорович шумнул: не дикарьте! Взял на руки малыша и строго спросил:

— Где мамка?

— Сушилку после пожара чистит. Ещё не приходила, — ответила старшая девочка и подошла к отцу.

Остальные держались настороженно, разглядывали гостью, как бы спрашивали: а ты с чем пришла к нам? со словами или делами?

Видеть их лица Тоне было почему-то тяжело.

— Хорошо, я поговорю с ребятами... — сказала она.

— Вот спасибо! — обрадовался хозяин. — Да не беспокойтесь! Хоть немного, а деньги есть, — пошарив под клеёнкой, он достал сберегательную книжку и протянул Тоне. — И материал почти весь... Директор обещал в колодец воды залить...

— Хорошо, хорошо, — окончательно смутилась Тоня и попыталась к выходу. — Не будем об этом...

Она торопилась миновать переулок, улицу и выйти на дорогу, ведущую в лагерь. Воображала, как развесёлая студенческая братия за несколько недель возведёт самый настоящий дом — просторный, тёплый зимой и прохладный летом, с высоким крылечком... В новый дом по одному, робея, войдёт глазастая четвёрка ребятшек, очень похожих друг на друга. И времянка перестанет звучать, как испорченный радиоприёмник. Её просто разломают на дрова. Взволнованно и важно будет ходить по горнице хозяйка. А сельчане, собравшиеся на новоселье, станут обсуждать качество и небывалую скорость самого строительства и одобрительно качать головами.

— Студенты... — с уважением скажут они.

А студенты сделают вид, что им нипочём строить и дарить такие дома, сущий пустяк, а не работа... А на деньги, от которых они, конечно же, откажутся, потому что увидят, как они здесь

нужны, хозяйка накупит чего-нибудь ребятишкам, кое-какую мебель вместо полатей...

Тоня всё убыстряла и убыстряла шаг, она почти бежала — так не терпелось ей поскорее очутиться в родной «Каникуле», увидеть лица парней и девочек, услышать их голоса, их ответ после того, как она расскажет обо всём, что успела увидеть и перечувствовать здесь, во времянке «непризнáтого» участника Великой Отечественной войны.

Простоя не будет

Первым делом Тоня разыскала командира. Витька сидел в «КП» вместе с Тимофеем и заполнял свой «бортжурнал». Прораб отодвинул чертежи в сторону и следил, как бойко бегают по бумаге командирская авторучка.

— Привет, комиссар! — обрадовался Витька. — Садись. Отдыхай. Щас и совещание проведём...

— Я не устала, — ответила Тоня, но за стол присела. — У меня потрясающее предложение!

— Потом, потом, — по лицу Витьки блуждала довольная улыбка.

Сама обстановка в «КП», радостный вид командира так не вязались с последними событиями, что Тоня недоуменно вздохнула.

— Не вздыхай, Антонина, всё в порядке! — Белозёров блаженно потянулся. — Будет и на нашей улице праздник! Не веришь? — он прищурился, как фокусник перед замысловатым номером. — Тимоха, а ну подтверди!

— Да, — как-то бесцветно сказал Тимофей. — Если это можно назвать праздником...

Не обращая внимания на него, Витька приподнято сообщил:

— Простоя не будет! Всех незанятых бросаем на рытьё котлованов!

— Каких ещё котлованов? — не поняла Тоня.

— А без разницы! Под мастерские, под магазин... Чапай-Гриценко нам всё мелочёвку пытался подбросить, да я ему не первоклассник, Я ему вопрос ребром поставил: или — или!

— Какой магазин, какие мастерские? Разве они у нас прописаны в обязательствах, а, Тимофей? — спросила Тоня.

— Нет. Но в следующем году... возможно.... Они войдут в договор, — как-то неопределённо ответил Тимофей.

— «Возможно», «в следующем»... Да вы что? Все эти котлованы за год осыпятся! Здесь же такие пылевые бури... И вся работа впустую! — возмутилась Тоня.

— Да, — согласился Тимофей, — пустая работа. Хотя и средне-денежная.

— Смотри ты, какие сознательные! — взорвался Белозёров. — Они о пользе дела думают, а я, выходит, не думаю! А я, выходит, врач и хапуга, хватаю всё, что плохо лежит? Так, да?

Ему никто не возразил, и это его подстегнуло:

— Мне это, что ли, нужно? И работа, и деньги? Да если хотите знать, я прежде всего о вас, об отряде думаю! Показатели, между прочим, ещё никто не отменял. Будем уезжать отсюда, нас спросят, а сколько тысяч освоили? Что у нас за душой? А мы нахохлимся, как бедные родственнички, и станем на обстоятельства кивать... Мол, цемента вовремя не завезли... То, сё, пятое-десятое... А нам резонно вкатят: тюхи вы, а не целинники! За работу надо драться, искать её, а не ждать у моря погоды.

— Есть работа, — сказала Тоня. — В посёлке есть человек, которому надо срочно помочь. Инвалид войны. Пятеро детей. Живут почти что в земле... Кирпич, доски у него припасены, а работников нет.

— Хм! — Витька насмешливо потёр нос.

— Как понимать твоё «хм»? — заволновалась Тоня. — То, что мы не можем помочь человеку построить дом за просто так, без денег?

— Я сказал «хм» и только, — Белозеров посмотрел на неё так, будто увидел впервые. — Ну и кипятик ты!..

— А ты холодильник...

— Ладно, хватить карябаться! — Витька шлёпнул ладонью, и командирская авторучка, как резиновая, запрыгала по столу. — Вас я внимательно выслушал. Приказ будет такой. Василя Кравченко отправляем толкачом за цементом. Все безцементные работы продолжаем в усиленном режиме. Кафель на школьном туалете уложим в срок. С домом для инвалида будет так... — он оценивающе поглядел на Тоню. — Договорится комиссар с народом о работе во внеурочное время — в часы отдыха, банные дни, ночное время — стройте дом! Хоть за деньги, хоть за просто так. Приказ по отряду на этот объект я писать не буду. Точка.

Точка так точка. Тоня выскочила из «КП» и отправилась к штукатурам. Женский совет для неё сейчас важнее командирских приказов.

«Лопаты перед употреблением взбалтывать!»

Василий Егорович заканчивал расчищать площадку для нового домовладения. Поодаль, в линеечку, белоголовыми столбиками застыли ребяташки, шмыгали носом, наблюдая за отцом.

Завидев студентов, Василий Егорович выпрямился, пересчитал их глазами: один, два, три, четыре, вместе с комиссаршей. На мгновение его лицо выразило разочарование, но он справился с собой и зычно позвал:

— Мать, давай!

Из времянки-полуземлянки, низко согнувшись не то в полупоклоне, не то чтобы не стукнуться о притолоку, вышла крупная степенная женщина с преждевременно состарившимся, некогда красивым лицом. Она вынесла широкое блюдо, на котором поблёскивали гранёные стопки, примостилась тарелка с закуской и возвышалась поллитровка «Московской».

— Милости просим, гости дорогие! — сказала хозяйка. — Спасибо, что пришли!

— Вот... Размочим доброе дело, — засуетился Василий Егорович, приглашая к скромному застолью.

— Не положено, — солидно отказался Тимофей.

— Вот те раз! — искренно удивился хозяин; его жена так и стояла рядом с ним.

— Сухой закон, — объяснил Шура Кошкин.

— Зако-о-н... — недоверчиво протянул Василий Егорович и, решив, что парни стесняются своей комиссарши, обратился к Тоне: — Обижаете, гости дорогие, долгожданные! Не по обычаю эдак-то...

Тоня растерялась. Она не знала, как поступать «по обычаю». Взяла стопку и сказала парням:

— По обычаю так по обычаю! Пусть в новом доме поселится радость!

Легонько «обчокала» все стопочки, слегка пригубила и вернула на блюдо. Парни и Паша последовали её примеру.

Хозяин и хозяйка остались довольны.

Василий Егорович заковылял по двору, с гордостью показывая свой строительный материал:

— Всё есть! Песок. Цемент. Кирпич. В колодец давеча директор велел две чистерны залить. У нас ведь как... Не наполнишь — не попьёшь...

Без лишних слов команда принялась за работу.

Тимофей натянул по периметру шнур. Забил колышки. Сделал разметку. Шура, Паша и Тоня стали пробивать канавку под фундамент.

— Может, не надо так глыбоко? — засомневался Василий Егорович.

— Надо, хозяин, надо. И не волнуйся, всё будет по науке, по последнему слову техники, — успокоил его Тимофей, не отвлекаясь от работы.

— По последнему? Ну, ну... — Василий Егорович ушёл под навес, к верстаку.

Работали сосредоточенно, молча. Нехитрое вроде техническое задание — копай да копай, но под зорким оком Тимофея, замечающего малейшие отклонения от его плана, приходилось не раз переделывать.

Говорят, труд — хороший врачеватель душевных невзгод. Но в этот раз Тоню он лечил плохо. Снова и снова она перебирала в памяти свои разговоры в бригадах.

Девчонки все и сразу поддержали. «Какой разговор! — сказала Паша. — Надо так надо!» А Нина добавила: «Кто, если не мы?». Света пообещала взять детей Василия Егоровича под своё попечительство. Фросита подсмотрела у парней новый лозунг: «Лопаты перед употреблением взбалтывать!» — и поручила Лене нарисовать хороший плакат.

Плотники послушали Тоню внимательно, не перебивая. И тут же стали прикидывать: окосячить будущий объект — это, конечно, их забота. Настелить полы, вскинуть крышу — тоже. Но сначала пусть поработают каменщики.

Каменщики не возражали. Но без Василя Кравченко твёрдого слова не дали. А бригадир укатил обменивать швеллер на мешки с цементом, и никто не знал, когда он вернётся.

Джон Булатов вообще устроил маленький митинг у вечернего костра.

— Не уважаю кустарный подход! — заявил он. — Наше государство сильный, я бы сказал, даже мощный организм. Оно давно объявило беспощадную битву всем землянкам-временкам. Планомерный, целенаправленный. А ты что предлагаешь? Извини меня, но это больше смахивает на благотворительность. А наш народ в этом наследии буржуазного общества не нуждается. Тем более не нуждается государство, чтобы его функции подменялись...

— Скажи, а кто для Василия Егоровича и его детей государство? Конкретно, в лицах? — спросила Тоня.

— Ну... дирекция совхоза. Их Чапай, к примеру, Гриценко.

— А вот нынче это государство никак не может построить дом. Вернее, может — материалы есть, желание помочь тоже, но нет рабочих рук. А они есть у нас. И вот мы, рабочие руки, желаем оставаться в стороне. Пусть-де государство планомерно и целена-

правленно справляется само с этой проблемой. Ждите. Когда-нибудь дойдёт очередь и до временки инвалида Василия Егоровича. А когда дойдёт?! Но если считать, что мы — тоже государство, то этой очереди для Василия Егоровича может вовсе не быть! Уже в эту зиму он сможет жить под новой крышей! Или я, Джон, не очень понятно объясняю, или ты... — разволновалась Тоня.

— Милая, — сказал Булатов, и в его голосе просквозило сочувствие, — что мне стоит два-три часа поработать на объекте? Ты меня знаешь. Но меня не устраивает сам принцип, если хочешь, сама твоя идея. Ты сказала, что это дело добровольное. А на такой основе, как благотворительность и философия «малых добрых дел», я в добровольцы не гожусь. Извини уж.

«Спор — решето истины», — вспомнила чьё-то изречение Тоня. Но когда спор превращается в пустую болтовню, да ещё на разных языках, решето становится огромной дырой, сквозь которую истина проваливается, как в колодец, и никакими усилиями её невозможно выловить.

Тоня повесила в «Сушуре» объявление о наборе добровольцев на новый объект — и всё.

Так вот и получилось, что сегодня их только четверо.

* * *

...Раствор настоялся густой, ладный. Особенно под конец, когда лопаты начинали легко скользить по маслянистой поверхности.

— Гляди-ка, чего это они делают? — слышался девчоночий шепоток за штaketником.

Тоня распрямилась, потёрла замлевшие руки. Оглянулась. Возле усадьбы Василия Егоровича собрались ребяташки. Оттуда и донёсся шепоток.

— Как чего делают? — солидно ответил мальчишка. — Фундамент. Который в земле, чтоб дом не косился. Мне папка рассказывал.

— А они сейчас будут строить? — снова спросила девочка.

— А когда же! Знамо дело, — с чувством превосходства продолжал объяснять «специалист».

— Может, к вечеру и построят? Да?

— Ты что, дура? Они много дней строить будут. Думаешь, легко дом построить?

Да, всё было так, как представляла себе Тоня. Почтительная публика с уважением смотрит на ловкие профессиональные движения студентов. Из груды бесформенных камней начинает вырастать крепкий фундамент. А потом вверх потянутся стены...

Всё было так. Мешала только незаметная, но острая, как колючка, неуверенность в собственной правоте.

* * *

Закончили работать только тогда, когда перестали различать в темноте друг друга.

— Шабаш, — устало сказал Тимофей.

Тоня собрала инструмент. Откуда-то вынырнул Василий Егорович и забеспокоился:

— Почто струмент забираешь?

— Так положено, — ответила Тоня. — Да вы не беспокойтесь, Василий Егорович, раз взялись, сделаем.

— Да я что... Ваше дело известное, молодое-занятёе! Я не в претензии, — заторопился он. — Раз начальство говорит, всегда верю!

«Начальство» горестно улыбнулось в темноте.

Василию Егоровичу сильно хотелось поговорить о своём, о новом доме, вообще о жизни, но он видел, что девушка устала, поэтому сдержался, побоялся быть навязчивым. Простился степенно, за руку, пригласил быть «когда душе станет угодно».

Молодёжь, она ведь такая... Гладко стружит, да больно стружки кудрявы.

На что опереться...

Квадратная одноэтажная совхозная баня, построенная «по-городскому», с раздевалкой, мочным и парным отделениями, остывала. Крупные тяжёлые капли, как живые, ползли по окрашенным окнам и стенам, холодными «пульками» срывались с потолка на горячие тела. Пахло разопревшим деревом, щёлоком, степными травами.

Тепло медленно уходило из огромных чёрных кадушек, из скользких половиц. С каждым ковшиком вода становилась прохладнее.

Девчонки мылись в последнюю очередь, поэтому не торопились. Забрались в парилке на верхний полоч. Фросита сунула голову в тазик, поплескалась — и растянулась, прильнув щекой к синтетической губке.

— Хорошо... — довольная, вздохнула она. — Бархатный сезон. Ни жарко, ни холодно. Девочки, миленькие, окатите меня разочек...

Окатали. От удовольствия Фросита даже глаза закрыла. Потом приподнялась на локтях.

— Мы ещё и на танцы пойдём! — заявила она. — А что? И на танцы пойдём, и дом построим, нарисуем — будем жить! А, Тось? Что молчишь, комиссар? Думаешь, раз сегодня нас было мало, значит, конец? Ничего подобного! Как навалимся, как возьмёмся...

— Навалимся, — Тоня опустила руки на колени. — Спасибо, девочки, что поддержали. Только я не понимаю... Почему у меня всё сорвалось? Не понимаю...

— И ничего не сорвалось! — возразила Паша. — Всё только начинается!

— Тонь, а что у тебя такое с Джоном произошло? Он, понимаешь, вчера у костра, когда тебя не было, такую философию развёл! Терминами заворачивал, без словаря не разберёшь! Государство, твердит, мощный организм и всё такое прочее. Парни вроде бы загнали его в теоретический угол, он впал в жуткую ярость, затоптал костеришко и в степь подался. Может, вы что-то недопоняли с ним?

— Не знаю, Павлуш, — опечалилась Тоня. — Я ещё не поняла...

— Ой, девочки, а я анекдот знаю! — Фросита просунула всклокоченную голову между Пашей и Тоней. — Про то, как не поняли... Значит, так. Хорёк пригласил ежа к себе в гости. Стал угощать и приговаривает по-украински: «Йиж, йиж!». А ёж подумал, что он дразнится, и говорит: «А ты — хорёк!». Хорёк обиделся и ляпнул: «А ты колючий!». А ёж ему в ответ: «А ты вонючий!». Так и поругались.

— Ну, Ефросинья! — Паша шлёпнула Фроситу мочалкой. — Всё-то ты знаешь... Ступай, сполоснись и нам воды принеси.

— А ну вас, — Фросита нехотя пошла к чёрным кадушкам. — Сидят, нахохлились, как мокрые попугаи...

— То, что Джон линию какую-то ведёт, яснее ясного. Только не разберёшь какую, — раздумчиво проговорила Паша и вдруг набросилась на Тоню: — Но и ты хороша! Могла бы хоть посоветоваться! А то трах-бах! Наобещала! Шутка ли, дом людям построить? А на моей шее объект номер один! Школа... Сколько ещё с этим кафелем провозимся...

Тоня ничего не ответила. Да что тут скажешь? Паша права. «Я не имела никакого права одна решать за других... Ни-ка-кого!» — думала она.

Вылила на себя из тастика воду. Пора уходить. Завтра подъём ни свет ни заря...

В предбаннике Поленька чуть не плача разбиралась со своей косой.

— Дай помогу, — Тоня отобрала у нее расчёску, и Поленька затихла, как послушная школьница.

Влажные волосы тяжело легли на руки Тоне. Ей вдруг показалось, что всё это уже когда-то было: и мокрые ступени, и деревенские чёрные кадушки, и маленькая сестрёнка с перепутанными волосами...

На секунду Тоня закрыла глаза. Нет, ничего такого раньше не было. Она росла у отца с матерью единственным ребёнком. Просто в ней всегда жила эта детская тоска по сестрёнке. Наверно, поэтому ей было легче и интереснее с девчонками...

— Вообще-то ничего страшного не произошло, — вышла в предбанник Паша и тоже начала одеваться. — Подумаешь, Джон! Да парни все такие! Упёртые!

— А Стендаль говорил, что опираться можно только на то, что оказывает сопротивление, — подросла Нина. — Парни сначала поспротивляются, а потом придут помогать.

— Ну что вы меня хороните? — растрогалась Тоня. — Действительно, ничего страшного не происходит. Надо работать — и всё...

Молча, без шуток и песен, Пашина бригада вернулась в лагерь.

А там было сонно, тихо. Помытые и уработавшиеся «упёртые парни» спали «без задних ног».

Палатки едва серели во мраке. И только позади «Сушуара» тлел костерок, бессильный разогнать черноту казахстанской ночи. Возле него дежурил Тимофей.

Тоне показалось, что он ждал именно её; Тимка даже привстал, когда она проходила мимо...

Не сразу Москва строилась

Дом потихоньку рос. Вскарabкался на фундамент. Принял первые кирпичные ряды. Василий Егорович похудел, почернел с лица, хотя, казалось, куда уж ему худеть ещё. Да и то: с утра в кузнице, вечером во дворе, на стройке. Складывалось впечатление, что он вовсе не спит: всё-то на ногах, что-то подстругивает, приколачивает, копает подполье для нового дома. Выбирает кирпичик к кирпичику и раскладывает их по всему периметру — для удобства «мастерам каменной кладки» (так он именовал Тимофея и Шуру Кошкина).

— Ничего, помаленьку да полегоньку, — приговаривал Василий Егорович. — Куда спешить-то? Вон Москва... Она тоже не сразу строилась!

Шура Кошкин улыбался одними губами и, старательно разровняв раствор, вдавливал в него очередной кирпич.

Тоня тоже пробовала повести стенку, но Тимофей её работу забраковал, и ей пришлось исполнять подручные обязанности.

Возле будущего дома каждый вечер собиралась ребятня. Мальчишки стремились быть хоть в чём-то полезными: поднять упавший инструмент, принести студентам воды... Тоня удивлялась: и что их сюда тянет? у пруда или на совхозной конюшне куда как интереснее... Но они продолжали приходить.

А недавно заглянул сам Гриценко. По-хозяйски обошёл двор, потрогал стены (они уже выросли ему по пояс), поковырял схватившийся в швах раствор, постоял рядом с Тоней, а уходя, как бы невзначай заметил:

— Скажи своей вожатой, пусть собирает детвору на Солёное озеро...

Признаться, каждый вечер Тоня ждала появления на этом «внеплановом объекте» командира. Но Белозёров не приходил. И от этого на душе у неё становилось горько, словно она ошиблась в человеке, которого уважала, которому верила.

* * *

— Тётянька, тётянька, смотрите, ваши идут! — позвал Тоню детский голосок.

— Где?

— А вон там, — девочка показала пальчиком в сторону проулка и хихикнула: — Пылят всё равно как телята...

Это были Олег и Герасим, джон-булатовские адъютанты. В самодельных пилотках, хитро сложенных из газет, в распахнутых на груди рубашках, они «припылили» к дому и живописно повисли на изгороди.

— Привет, соколики, Бог в помощь! — возвестил Герасим. — Наёмные работники нужны?

— Только добровольцы! — обрадовалась Тоня.

— Тогда это по нашему адресу!

Парни заменили Тимофея и Кошкина на кладке, а те вытеснили девчонок на подготовке раствора. Работа пошла веселее.

— Ну а случится, что он влюблён, а я на его пути... — запел Олег.

— ...уйду с дороги — таков закон., — подхватил Герасим.

— ...третий должен уйти! — лихо закончил Шура Кошкин.

«Глядишь, и Джон Булатов прикатит на своём самосвале, — размечталась Тоня, — пошутит: «Лопаты перед употреблением взбалтывать!» — и мир воцарится на всей планете Целина...».

Василий Егорович прибрал инструмент. Отбил пристывшие куски раствора с корыта, загнал домой ребятишек и сел на скамейку возле калитки покурить.

Маленьким взрывчиком вспыхнула в темноте спичка, осветила его щетинистый подбородок, потрескавшиеся губы.

— Ф-фу... — с натугой выпустил дымок Василий Егорович, привалившись затылком к новенькой изгороди.

Давно зажглись окна в домах по всему переулку. Его собственное, во времянке, желтело сбоку неярко и умиротворённо. В крытых дворах взмыкивали коровы, блеяли козы, хлопали крыльями гуси, устраиваясь на ночлег.

Василий Егорович любил такие минуты. Хорошо сидеть на своей скамейке у своего дома... Словами не расскажешь! Он прикрыл глаза и задумался. Интересное дело, к примеру, сегодняшняя молодёжь... Работают на износ, а пожалеть не моги, враз обидятся. Не все, конечно. Много и таких, что лишнего не перетрутся. Но и у них совесть недалеко запрятана. Разбередила их комиссарша. А поначалу думалось: не по плечу воз взяла... Шутка ли, дом построить! Это ж работа на века...

Солёное озеро

Это был её день. Её праздник. Света привела в лагерь свой отряд, девятнадцать отмытых, отглаженных и причёсанных ребятишек с любопытными и жаркими глазами.

Командир объявил с утра «санитарный день» — второй выходной за всё время пребывания отряда на целине.

Только первые минуты ребятишки вели себя чинно и тихо. А потом разбежались кто куда. Заходили в «Сушуар», залезали в палатки; всё трогали, пробовали на вкус, на ощупь. Толпились у огромной — на двух щитах — отрядной газеты.

Парни закрепили в кузовах поперечные лавки для сидения, загрузили походное имущество: палатки, одеяла, продукты питания, казанок, кружки-чашки, котелки... «Медико-санитарную часть» Лена упаковала в свою походную сумку через плечо и забралась в кузов первой бортовой полуторки, над кабиной которой Василь Кравченко прикрепил полотнище: «Даёшь море!».

По команде Светы ребятня с воплями бросилась штурмовать машины.

Их возбуждение, ожидание чего-то необыкновенного передалось и студентам. Парни забарабанили по кабинам:

— Поехали-и-и...

Машины тронулись. Полотнище наполнилось встречным ветром, заплескалось, захлопало по рукам, по лицам. С ним было неудобно, терялся обзор, но так не хотелось его убирать, такое оранжевое, похожее на парус...

Света сидела напротив Тони, загорелая, с растрепавшейся на ветру мальчишеской стрижкой. Концы алого галстука непокорными язычками бились у неё на груди. Она то и дело оглядывала «своих», зажатых между студентами: всё ли в порядке... Встретилась взглядом с Тоней — и ответила незнакомой счастливой улыбкой.

Тоня узнавала и не узнавала её. Прежняя Света, вялая, с вечно сонными глазами, даже не вспоминалась. Эта — яркая, трепещущая, как язычки пионерского галстука на её груди, стояла перед глазами. Эту Свету хотелось узнать поближе — в сущности, для Тони она была новым человеком. К этой Свете тянуло, хотелось с ней подружиться.

А машины катили и катили по степи, оставляя позади себя шлейф пыли. Солнце весёлым глазом следило за передвижением и всё поджаривало и поджаривало и без того шоколадные лица, руки, плечи.

Прошёл час, другой...

В лес въехали неожиданно, как-то вдруг. Задремавшие от жары и тряски ребятишки осоловели вытаращили глаза.

— Выгружайтесь, орлята, тайга!

Орлята посыпались из кузовов, недоверчиво озираясь по сторонам.

Лес был рядом — руку лишь протянуть — молчаливый, непривычный. От него шёл густой травяной запах, застревающий в горле.словно в дремоте, лес никак не отозвался на прибытие людей — ни птичьим разговором, ни шумом ветвей, ни приветствием барабанщика-дятла.

Собственно, он и не был настоящим лесом. Это подросли искусственные посадки, которые сумели выжить под степными суховеями, окрепли, заросли травой и кустарником. В них даже появились грибы.

— Разведчики, кто со мной?..

— Айдате в лес...

Голоса постепенно удалились от машин, и вскоре здесь никого не осталось, кроме Расимы и Нины, которые расстелили на лужайке длинную серую ленту брезента и стали готовить походный обед.

Тоня пошла в лес вместе со всеми. Она тоже старательно пробиралась сквозь хрупкие кусты, прокладывала тропу, пьянея от лесного запаха.

Ягод почти не было. Лишь изредка мелькали красные капли костяники.

Ребятишки, студенты разбрелись по всему лесу, перекликались, аукались. Сначала с Тоней было пять человек. Потом остались две девочки.

Они шли за ней тихонько, след в след. И только когда увидели полосатого бурундука, не выдержали и завизжали так, как обычно визжат обрадованные дети.

— Озеро, озеро! — впереди послышались возгласы.

Лес кончился. Открылось Солёное озеро, большая серая чашка в камышах.

* * *

Купались долго и весело. Потом обедали. Потом ходили по лесу, искали цветы для поварих — в знак благодарности за вкусный плов. Нашли несколько степных звёздочек и кричали «ура».

Потом кто спал, кто сочинял песню...

Студенческий строительный отряд,
на целине
руководи и властвуй!
Пусть нас, ребята,
навсегда объединят
июнь, июль и август...

Обычная вещь: кто-то берёт гитару, пробует — не расстроена ли... Смолкают разговоры. Ожидание повисает в воздухе, и стрела времени прекращает свой невидимый полёт.

Семестр третий,
ты наш комиссар!
Мы на тебя равняемся.
Ребята,
ведь нас бойцами
называют неспроста —
бойцами стройотряда...

Незабываемые мгновения.

«Целина без женщин!»

Клуб отремонтировали на славу. Полы на полукруглой сцене и в зале перебраны. Сферический потолок забран декоративной деревянной решёткой. Обновлены кружевные наличники, пля-

стры, а крыльцо так вообще похоже на сказку. Не верилось, что всё это сделали обыкновенные парни с мехмата.

Тоне вспомнился отрешённый взгляд Тимофея, сутками пропадавшего в клубе. Вспомнилось, как плотники первыми уходили на работу, а ночами по очереди дежурили на пилораме... И вот теперь — такая красота! Пьяняще пахнет смолистыми стружками. Не хватает лишь музыки, которая заполнила бы это ухоженное и приветливое пространство.

«Музыка будет, — не сомневалась Тоня. — А вот куда подевались плотники?..»

Она пришла поговорить с парнями. С клубом они закончили, может, придут «вскинуть крышу» на доме Василия Егоровича, как обещали? Но в клубе никого не было, даже вахтёра.

Она вышла на крыльцо, постояла.

Потянуло дымком. Так, словно бы в тихом сосновом лесу кто-то закурил.

Тоня беспокойно повертела головой. Никого. Обошла клуб. На заднем дворе, там, где стоял сарай, в котором хранились инструменты и другой хозяйственный инвентарь, горелым запахло гуще.

Тоня подбежала к сараю, потянула на себя дверь — и отшатнулась от чёрных клубов дыма, освобождённо устремившихся на волю.

— Пожар!.. — крикнула Тоня, не отдавая отчёта в том, что рядом с ней никого нет.

Заметалась по двору. Наткнулась на ведро. Помчалась на улицу, к колодцу, всё ещё не понимая, что одним ведром не остановить огня.

Улица словно вымерла. Так бывает днём: взрослые на работе, ребятишки постарше третий день на Солёном озере, придут только вечером, младшие попрятались куда-нибудь от палящего солнца. Только какая-то девчушка лет шести играла на завалинке дома напротив колодца.

— Беги во-о-н туда! В школу! — попросила её Тоня. — Скажи, клуб горит! Да ведра пусть не забудут...

Девочка серьёзно кивнула кудрявой головёнкой и засемила по пыльной дороге.

А Тоня продолжала поливать входную дверь сарая — ведро за ведром. Лишь бы огонь на клуб не перекинулся! Лишь бы только сарай...

По счастливой случайности Паша ещё не увела бригаду на обед. Подмога подоспела быстро. Девчонки образовали живую цепочку — и огонь стал понемногу отступать.

С полдороги вернулись плотники, прервав поход на обед. На

чали растаскивать загоревшие брёвна, забрасывать их землёй. В ход пошли лопаты, крючковатые палки... В эти минуты ребята казались Тоне самыми красивыми, самыми расчудесными парнями на свете. То, что они были рядом, словно угадали, в какую минуту будут необходимее всего на свете, поразило её; это походило на чудо. В эти мгновения она не различала никого по отдельности — все они были для неё верными, дорогими товарищами.

Потолочная балка, как в замедленной киносъёмке, вдруг нависла над головой Герасима, а он ничего не видел, не понимал, увлечённо отдирая от стены доску.

Тоня бросилась к нему, оттолкнула в проём, сбила с ног, и они вместе упали на горячую землю...

* * *

В палатке «медико-санитарной части» отряда «Каникула» (так Лена именovala своё заведение) прохладно и тихо. Лена разогнала всех любопытных и приказала Тоне: лежать и лежать! переломов позвоночника, рук-ног нет, только ушибы и гематомы, плечевой вывих и отравление дымом... но с этим мы справимся, главное — покой и ещё раз покой.

— А Герасиму — примочки и выговор! — сказала она громко, при всех. — Где это видано, чтобы девушка спасала мужика, а не он её?!

Белозёров выговор объявлять не стал, а ходил между парнями и хвалил за «оперативность и мужество в чрезвычайной ситуации». Потом с трёх раз завёл свой «ижачок» и куда-то утарахтел.

Герасим удалил со своей палатки Джон-Булатовский призыв-дразнилку «Целина без женщин!», а потом долго и виновато блуждал между палатками и всё норовил покаяться, но его никто не слушал.

— А вы знаете, почему замёрзли дикобразы? — приставал ко всем Булатов.

— Эра похолодания!

— А вот и нет!

— Тогда почему?

— Дикобразы хотели прижаться друг к другу, чтобы согреться, но чем больше прижимались, тем больше кололи друг дружку своими иглами...

— Три ха-ха. Не смешно.

В лагере продолжалась своя жизнь. Тоня слышала её, но как будто во сне — издалека и со стороны. У неё ничего не болело (Лена сделала какой-то укол), но пошевелиться она не могла. Временами было трудно дышать, но потом удушье проходило, и сердце вновь начинало стучать ровно и отчётливо.

«Справимся, — всплывали в сознании слова Лены. — Конечно, справимся... Вот только немного отдохнём... и справимся»

* * *

На следующее утро в палату пришёл Белозёров. Принёс тарелку черешни.

— Ну, больная, как самочувствие? — спросил наигранно весёлым тоном.

— Отличное, — Тоня и в самом деле чувствовала себя неплохо.

Витька с облегчением вздохнул и уселся на табуретку рядом с кушеткой.

— А я привёз тебе привет от Зарицкого, — сказал он. — И пожелание скорейшего выздоровления.

— Спасибо. Что нового в штабе? — спросила Тоня.

Белозёров только и ждал этого вопроса. С искренним воодушевлением он стал докладывать:

— Цемент на подходе, со дня на день, и Джон... то есть Иван Булатов с завтрашнего утра будет дежурить на жэ-дэ-станции;

— по срокам и объёмам работ «Каникула» не хуже прочих отрядов;

— коровник принят с оценкой хорошо;

— за ремонт и спасение клуба Гриценко обещал премию...

А потом начал подробно рассказывать, как Марк Зарицкий хвалил — прилюдно! комиссара Антонину Авдееву за хорошо поставленную общественную работу, за то, что «Каникула» взялась построить новый дом для семьи инвалида Великой Отечественной войны, и что это первый такой благородный опыт в движении студенческих строительных отрядов всего региона, и его, этот опыт, взяли на вооружение в Центральном Комитете комсомола, и теперь, если все линейные отряды сработают, как договаривались, то переходящее Знамя ЦК ВЛКСМ останется в Томске навечно...

Он говорил, и лицо его светилось гордостью за свой отряд, за то, что знамя останется в родном городе, что их опыт взят на вооружение...

— Ну, Антонина, прости, заболтал я тебя, — сказал Белозёров, взглянув на командирские часы. — Да ты лежи, лежи... Поправляйся! Скажи, может, тебе надо чего? Какие будут твои пожелания?

— Замени Шуру Кошкина на доме Василия Егоровича. Пусть отдохнёт, — попросила Тоня. — Придёт цемент, и опять ему не уйти с растворного узла...

— Заменяю, — с готовностью пообещал Белозёров.

Попрощался с Тоней за руку и, не удержавшись, бросил:

— Ха! Мне бы твои заботы...

А ещё через день Тоню посетила целая делегация. Светины «мушкетёры» гурьбой ввалились в палатку, чем привели в изумление Лену:

— Как можно?! Да вы что?!

Но они уже ввалились.

Показали Тоне свою стенную «Пионергазету» — с рисунками, шутками и загадками.

— Как выйти сухим из воды? — торопился удивить Тоню Тайгара и сам же отвечал: — Стать гусем!

— А как правильно перевести на казахский язык «Есть пить»? — Пить есть, есть нету», — включилась в игру Тоня.

Мальчишки смеялись, а девочки рассматривали убранство палатки; особенно им понравился белоснежный халат врача Лены и стеклянный шкафчик с бинтами и бутылочками.

На прощанье Тайгара передал Тоне пакет с надписью «Не сгибать!» и сказал:

— На, возьми.

— А что это?

— От всех нас!

— Спасибо...

Дети покинули палатку и рассыпались по всему лагерю.

В пакете было что-то твёрдое.

«Уж точно, не согнёшь!» — в предвкушении шутки Тоня раскрыла старательно склеенную упаковку, и глазам её предстал... деревянный маузер.

«Ну, ребята...» — Тоня погладила старательно отполированную поверхность подарка.

Это была копия старинного автоматического пистолета на шесть патронов. Изобретение Вильгельма и Пауля Маузеров, пистолет выпускался с 1896 года и прославился тем, что во многих кинофильмах о Великой Октябрьской революции именно с ним ходили комиссары и восставшие матросы.

«Значит, и меня они сейчас воспринимают «как из кинофильма», — со смешанным чувством, растроганно думала Тоня. — Раз Света сказала им про меня «комиссар», значит, я должна быть «с пистолетом». Странно... Как по-своему, неожиданно и творчески дети представляют мир взрослых... Как многое им ещё предстоит узнать и перечувствовать... Что расскажут они своим детям о нашей «планете Целина»? И вспомнят ли?..»

Ей хотелось верить, что и расскажут, и вспомнят. И сами станут студентами, «наденут красные рубахи, и поедут строить города...». Хотелось верить — и она верила.

* * *

Две потрёпанные мазовские шины, добытые на каком-то отвале Булатовым, политые соляжкой, разгорелись на редкость жарко, огромно. Огонь равномерно распространялся по окружности, и костёр походил на рыжий круглый стол. Вокруг этого «стола» каждый занимался своим делом. Расима перебирала лук. Нина и Паша чинили плотникам «хэбэ» (гимнастёрки буквально горели на локтях и спинах). Шура Кошкин читал книгу и порой косил взглядом на Поленьку, помогавшую Фросите перепарывать её старое платье, «чтоб оно стало как новое». Лена вертела в руках сосновый обрезок, пахнувший смолой и дымом, и не решалась бросить его в общий «стол».

— Ишь ты, аромат, — заметил кто-то из парней.

— Домом запахло, — мечтательно сказал Герасим.

— Томском! — поддержал его Олег.

— Тайгой! — возразил Василь Кравченко.

— Пиломатериалом, — насмешливо подсказал Джон Булатов.

«Непризнанный поэт» Тимофей вертел в руках какой-то листок. Потом встал, кашлянул, привлекая к себе внимание, и сообщил:

— Ну вот... Сочинил. Послушайте...

У него никак не складывался последний куплет отрядной песни, и вот теперь, похоже, сложился...

Пройдут года –
другая целина
нас позовёт,
и мы ответим «здравствуй!».
Вот и выходит,
что у юности весна:
июнь, июль и август...

Листок пошёл по рукам. Слова понравились. Кто-то припомнил первые два куплета. Дружно запели: Студенческий строительный отряд, // На целине // руководи и властвуй! // Пусть нас, ребята, // навсегда объединят // июнь, июль и август!..

Гитара заговорила звонче, решительней. Песня окрепла. Развернула крылья и полетела над степью — вперёд, в будущее.

Томск, 1974 г.

Сергей ЗАПЛАВНЫЙ

Крылья Карлыгаша

Марейка

Стихотворения



Сергей Алексеевич ЗАПЛАВНЫЙ

Заплавный Сергей Алексеевич родился в г. Чимкенте 12 мая 1942 г. Окончил историко-филологический факультет Томского государственного университета. Был сотрудником областной газеты «Красное знамя», редактором областной газеты «Молодой ленинец», старшим редактором Томского отделения Западно-Сибирского книжного издательства. Автор более 30 поэтических и прозаических книг. Лауреат Всероссийской литературной премии им. В. Я. Шишкова, призёр V Международного славянского литературного форума «Золотой витязь» и других литературных конкурсов. Член Союза писателей России. Действительный член Петровской академии наук и искусств. Член Совета старейшин города Томска.

Первая повесть «Марейка» опубликована издательством «Молодая гвардия» (М., 1973) с предисловием выдающегося русского писателя Виктора Астафьева. Отрывок из романа «Клятва Тояна» возрождает события, предшествовавшие строительству города Томска.

Крылья Карлыгаша

Из романа «Клятва Тояна»

Люди Эушты родятся и умирают среди осёдланных коней. Молоком одной кобылицы можно насытить трёх человек, мясом одного коня можно накормить обитателей трёх юрт, из конской шкуры можно сделать бешмет, кожаные штаны и пару сапог. А какие прочные верёвки из конского волоса получаются — сто человек не разорвут. Какие ошейники выходят, поводья, скрепы, подхваты, перетяжки, рыболовецкая и охотничья снасть... О-о-о! Всего и не сосчитать. Но самое главное в коне — его сила, выносливость и быстрота, делающие человека всадником. А ещё — верность. Лишь конь и пёс умеют понимать хозяина с полуслова, чувствовать его настроение, ценить ласку и прощать обиды. Но у коня достоинств всё-таки больше. Он превращает наездника в батыря, которому по плечу любые труды и преграды. Он раздвигает перед ним земные просторы. Будоражит ему кровь. Вот почему конные народы не сравнимы с пешими. Между ними такая же разница, как между птицей и муравьём, ветром земли и дыханием человека.

Потеря любимого скакуна для эуштинца подобна смерти близкого человека. Но и потеря хозяина оборачивается для коня почётной смертью — смертью сопровождения.

Танаю минуло шесть вёсен, когда умер его дед Эрмашет, владетель Эушты. Над его бездыханным телом поставили серую юрту печали, чтобы женщины могли безутешно плакать, кидаясь в горе золою, а мужчины и дети почувствовали, что с дерева рода ат-тугум — рода коня — ненастьем сорвало самую большую ветку. Но как на смену осени и зиме приходят весна и лето, а на смену ненастью — расцвет и спокойствие, так на смену отцу приходят его возмужавшие сыновья.

Три жены, два сына, одиннадцать дочерей было у Эрмашета. Наследником его стал Тоян, отец Таная. Именно его подозвал к себе в последний миг своего пребывания среди живущих властитель Эушты, именно в его твёрдые губы вдохнул свою силу и веру в успех предстоящего правления. Став воплощением Эрмашета, Тоян подозвал к себе Таная и приблизил свои губы к его детским губам, показывая, что отныне и он несёт в себе дыхание всеми

почитаемого деда. Более того, Тоян взял малолетнего сына с собой на курганный холм в сосновой роще возле зимнего городка Эушты, чтобы Танай своими глазами мог увидеть, как деда предадут земле. Присутствовать при столь важном событии дано лишь мужчинам рода, крепко сидящим в седле.

Танай испытал гордость от сознания, что участвует в обряде наравне с лучшими людьми рода. Погребение поразило его своей торжественной деловитостью. В стороне от посмертного жилища, очерченного на земле, возвышался сруб из сосновых поленьев. На него уложили останки деда и подожгли сразу с четырёх сторон. Но дотла сгореть не дали, тут же вынули из смолистого пламени и опрыскали соком семи душистых трав. Старый таиб Одтегин, исцелитель людей, живущий у Белого озера — Аккуль на другом берегу Тоома, вещим голосом сказал:

— Влетевший в огонь после смерти сам становится огнём. Мудрый Эрмашет, поводырь Эушты, только что стал огнём. Для нас он, как светильник над головой — толщи жизни просвечивает. Ему и дальше крылья нужны. Карлыгаш — его крылья. Не будем разлучать их!

Едва Одтегин умолк, слуги Эрмашета вывели из-за сосен тёмно-пепельного коня с белой отметиной на лбу, белёсым ремнём по хребту и таким же хвостом. Это и был Карлыгаш, что значит ласточка, черноватая птица. Его густая шерсть отливала серебром, его копыта, твёрдые, как камень, напоминали праздничные башмаки, его литое стремительное тело рвалось к высоте небес и протяжённости земли.

Конь жадно принюхивался. Видно, уловил во множестве запахов тот единственный, который не в силах уничтожить ни тлен, ни огонь — запах хозяина.

Остальное произошло быстро, как и должно было произойти. Слуги разом сошлись возле Карлыгаша, захлестнули ремнём его ноги, опрокинули наземь. В тот же миг Тоян безошибочным ударом жертвенного ножа отправил его вслед за усопшим.

Маленький Танай содрогнулся. Но тут же возликовал: теперь дед Эрмашет и его верный Карлыгаш снова встретились. Отец хорошо сделал, соединив их.

Отсечённую голову коня слуги положили к ногам обёрнутого в дорогие ткани деда. Рядом разместили топор, удила с литой распоркой в кольце, стремяна, плётку, котёл с дорогой посудой в нём и насыпали сверху приличествующий его заслугам курган. Тело коня унесли прочь. Ведь оно всего лишь оболочка жизни. Вечное заключено в голове. В ней обитала и обитать будет вечная душа Карлыгаша.

На следующее утро отец взял Таная на пастбище.

— Под стать человеку конь родится, — сказал он. — Пришла пора и тебе скакуна выбирать, сынок. Не спеши ошибиться, но и не мешкай. Пусть глаза и сердце тебе помогут.

Пастбище протянулось от высокого склона, на котором стоит Верхняя Эушта, до белых отмелей далёкого Тоома. Если верить сказаниям долгожителей, склон этот когда-то находился на месте отмелей. Там и поселился поначалу предок рода ат-тугум Эушта. А на другом берегу жил дух тайги Таг Ээзи. Не понравилось ему такое соседство, решил он противоположный берег подальше от себя отодвинуть. Позже берег так и остался вдали от Тоома. На его месте образовалась низина с малыми речками и Птичьим Озером — Кушлой...

На полпути к Кушле Танай обернулся. Отца на пастбище уже не было. Он решил не мешать сыну. Наедине со своим умом оставил. Как взрослого. И Танай двинулся дальше — навстречу своей судьбе.

День выдался жаркий, солнечный. Вокруг кипела буйная зелень. Воздух звенел от треска зелёных кузнечиков, от шуршания стрекоз и бабочек. Травы нагрелись, как звериная шкура, вынесенная на просушку, но под ними томилась прохладная земля.

Над головой Таная кружил сокол. Он зорко выискивал добычу. А над ним беспечно заливалась звонкоголосая птица юла — жаворонок. Глупышка. Совсем потеряла голову от восторга, забыла об опасности.

Кони встретили Таная недовольным пофыркиванием. Насторожённо поглядывая на него, они скалили зубы, переступали с ноги на ногу, отмахиваясь хвостами от жадных до крови шершней-ара. Это были гулевые, необъезженные кони. Танай шёл от одного к другому, приглядываясь, не встретится ли ему скакун, похожий на Карлыгаша. Но тот всё не попадался.

Приуныл Танай. Одно дело смотреть, как управляют с табуном опытные пастухи, другое — самому на их месте оказаться. Наконец приметил красно-серого коня с узкой мордой. Он смотрел на Таная без угрозы, вроде даже с интересом.

— На, — протянул ему кусок ячменной лепёшки Танай.

Конь принял, сделал навстречу один шаг, потом другой. Танай попятился, приглашая его следовать за собой. Неподальку рос раскидистый тал, приречное дерево. Взобравшись на развилку, Танай отдал коню кусок лепёшки и в тот же миг запрыгнул на него.

Конь проглотил угощение, постоял, ожидая, не получит ли добавки, потом неспешно затрусил вдоль берега Кушлы.

Осмелев, Танай распрямылся, как и подобает настоящему наезднику, принял гордую осанку. Иль алла! Конь признал его!

Где-то неподалёку пел пастух. «Кони — это не коровы, — говорилось в его песне. — Они выкусывают траву до земли. Вот почему на сочном лугу много голых мест. Не так ли и жизнь — то густо расцветает, то умирает, обглоданная до корней...»

Заслушался Танай, залюбовался собой. Тут-то конь и сбросил его с себя, как песчинку. Заржал насмешливо и затрусил прочь.

Ладони и лицо Таная словно огнём обожгло, из носа хлынула кровь, боль пронзила колено. С трудом сдерживая слёзы, он сорвал лист молодого репейника и заткнул ноздри. Когда кровь перестала идти, ползком добрался до Кушлы. Ему повезло: прямо под берегом бил подземный ключ. Остудив лицо и руки, Танай зачерпнул горсть вязкого пахучего ила, как делал это табиб Одтегин у себя на озере, и обмазал им колено.

— Это не конь, а синий осёл! — по-взрослому выругался он. — Только на мясо и шкуру годен!

Чтобы успокоиться, Танай вынул из-за пазухи остаток лепёшки, но съесть не успел. Что-то тёмное надвинулось из-за спины и выхватило из пальцев драгоценную половинку. Обернулся Танай, а это жеребёнок. Совсем ещё сосунок. Глазастый. Любопытный. Дыхание у него свежее, молочное. Губы морщит, словно улыбается. Сам светло-бурый, со стоячей гривкой.

— Ха, карсак!¹ — рассердился Танай. — Зачем ты мою лепешку съел?

Он хотел отпихнуть нахальную морду, но рука вопреки его воле погладила мягкую шелковистую шею жеребёнка, вынула из гривки комок слипшихся колючек и снова погладила. В ответ жеребёнок ласково ущипнул его.

— Эх, карсак, — вздохнул с сожалением Танай. — Если бы ты был большим, я мог бы сделать тебя своим конём. Но ты маленький. Уходи, пожалуй. Мне возвращаться надо: ата ждёт. Что я ему скажу только?

Танай попробовал встать, но боль в колене пронзила его. Подождал, пока боль уляжется, кое-как поднялся, однако и трёх шагов не сумел сделать. Упал, если бы жеребёнок не подставил ему свой бок. Уцепился Танай за него, попробовал идти — боль не даёт.

И тут случилось чудо. Карсак подогнул передние ноги, подхватил Таная и ломко поднялся. Покачиваясь из стороны в сторону, он потащил мальчика к матери-кобылице. Та встретила его беспокойным ржанием. Жеребёнок, будто оправдываясь, заржал в ответ. Их бессловесный разговор услышал пастух и явился на по-

¹ коротышка

мощь. А там и Тоян подоспел. Будто чувствовал, где искать сына.

— Не сердись, ата, — виновато встретил его Танай. — Я не сумел выбрать коня.

— Ты его выбрал, сынок! — засмеялся отец и указал на жеребёнка. — Вот он... Большая шапка с головы свалится, взрослые ичиги ходить не дадут, а Карсак с тобой вырастет..

С тех пор минуло ещё десять вёсен. Они были наполнены неустанными трудами. Отец учил Таная всему, что может пригодиться в жизни мужчине — жить в седле, пасти скот, охотиться на зверя и рыбу, ездить к ближним и дальним соседям, участвовать в праздничных состязаниях... И повсюду его сопровождал Карсак. Из коротышки он превратился в невысокого чагравого коня с едва приметными полосками на потемневших ногах и полустоячей гривой. Бока его посветлели, сделались бусыми. От шеи к крупу легко и красиво перекачивались нетерпеливые мышцы. Он видел дорогу и днём, и ночью. Он чуял зверя не хуже охотничьей собаки и всегда успевал повернуться так, чтобы Танай без промаха кинул копьё или выстрелил из лука. Он умел ползать и бесшумно плавать. Слышал возле Кушлы то, что делается на другом берегу Тоома. Отыскивал в пути источник с самой чистой живительной водой, но мог и росой с травы напиться. Плохих и хороших людей различал по голосам. Особенно невзлюбил Басандая, сопровителя Эушты.

Сто достоинств соединились в Карсаке. Но стоило ему оказаться в табуне — неуправляемым становился. Самых высоких и крепких кобылиц себе в подруги выбирал. Отгонит в сторону и давай играть, распаяя в них природный пламень. А это прямой вызов вожаку или жеребцам стада. К чужакам они непримиримы. Но Карсака испугать трудно. Он — завзятый боец, готов сойтись на поединке с кем угодно.

Танаю довелось видеть, как бьётся его конь. Сначала Карсак дразнит соперника, ловко увёртываясь от слепых наскоков, потом вдруг взвивается на дыбы и обрушивает на него удары передних копыт. Тот запоздало поднимается навстречу, но его ответные удары не так сильны и точны. Кони молотят один другого передними ногами, кусают нещадно, сшибаются грудью, пока не рухнут, подмяя всё под собой. Храп. Кровь. Хлопья пены. Ржанье испуганно-зачарованных кобылиц. Но вот соперники тяжело вскакивают. И снова Карсак опережает противника. Стремительно развернувшись, он пускает в ход задние копыта. В нём клокочет задорная ярость и упоение. Не выдержав напора, противник покидает развороченное поле битвы.

Нетрудно представить, что происходило дальше. Карсак

праздновал свою победу. Не до пастьбы ему тогда становилось, не до сна, не до забот жожака-баша. Он спешил насытиться, нагуляться с кобылицами, пока Танай своими делами занят. Но стоило его позвать, тотчас прибежал с луга — весь в кровавых рубцах, с опавшими боками, едва стоящий на ногах, но довольный собой.

Несчастье нагрянуло неожиданно. В очередном поединке противник оказался сильнее и опытней его. Он перебил Карсаку переднюю ногу, из верхней губы клочок мяса вырвал и часть ноздри. А ноздри — самое уязвимое место у коня. Отсюда все болезни начинаются. И превратился красавец Карсак в хромого мерина с оскаленной мордой. Уродом стал.

Тяжело переживал Танай эту беду. Старого Тигильдея, ближнего соседа Эушты, возненавидел. Ведь это в его табуне Карсак разом все свои достоинства потерял. Пусть будет проклят день и час, когда Танай в его юрт заехал!

Стали судачить люди Эушты: наследник Тояна юн, горяч, хорош собой, но как бы ему судьбу своего коня не повторить... Ещё больше поразило эуштинцев известие, что отказался Танай завести другого скакуна, пока жив Карсак. Так и сказал отцу: знали вместе удачу, разделим и несчастье.

— Ладно, — не стал спорить Тоян. — Будь по-твоему. Подожду, пока твои ноги голову научат, как любовь с пользой примирить.

Пришлось Таная больше ходить и бегать, чем на коне скакать.

У одних сородичей это вызвало уважение, у других насмешку. Басандай за глаза Таная себявезущим назвал, а для человека из рода ат-тугум это большая насмешка.

Кто знает, чем бы всё кончилось, если бы не находчивость любимой сестры Таная Айбат. Объехала она с верными людьми все табуны и косяки, где обгуливал когда-либо кобылиц Карсак, и привела двух жеребцов его помёта. Так подобрала, что один на дедова Карлыгаша похож был, другой — на отца Тельюгана, что значит ловчий сокол. Прежде чем показать их брату, Айбат решила свести жеребцов с Карсаком — признает ли он их за своих или нет. Карсак долго принюхивался, потом с каждым шеей потёрся и заржал благожелательно.

Тогда Айбат позвала брата.

— Смотри, Танай, — сказала она. — Эти жеребцы — семья твоего Карсака. Любишь его, полюби их, научи всему, своими скакунами сделай. У жизни три времени. Одно с дедушкой Эрмашетом связано, другое с отцом-повелителем, третье с тобой, наследником. Если одно время захромает, надо на другое пересесть, а третье в запасе будет.

Танай решил пересесть на халзаного жеребца с белой отметиной на лбу. Пусть тоже Карлыгашем зовётся. А белогривого Он-Оком назвал — десять стрел, значит.

Но конь — лишь первая ступень в жизни мужчины. Вторая — жёны-помощницы, матери его будущих детей. Без них как же?

Пришло время Танаю первой женой обзавестись. И тут снова Айбат вмешалась:

— Где споткнулся конь, там наездника хорошая добыча ждёт. Это все знают. Значит, невесту тебе в Тигильдеевых юртах искать надо.

— Ты что, сестра, совсем без головы? — опешил Танай. — В табуне Тигильдея Карсак не просто споткнулся, он себя потерял.

— Чем больше он потерял, тем больше ты найдёшь, — ответила она.

Айбат немного старше Таяна. Когда ей минуло тринадцать вёсен, посватался к ней состоятельный барабинец. Он был не молод, но решил поучаствовать в свадебной борьбе на неосёдланных конях. И был побеждён. Это привело его в ярость. Он схватил с земли камень, которым чистят котлы, и ударил своего коня. Конь в ответ лягнул обидчика и зашиб его до смерти. Осталась Айбат несостоявшейся женой. Недоброжелатели стали говорить, что свататься к ней смерти подобно. Пэша Аной стали называть — колдовской женщиной. Это Пэша Ана ночью коням гривы заплетает, любит их, сама может в кобылицу превратиться. А других животных преследует. И человека невзлюбить может. Лучше с ней дела не иметь.

Вспомнив это, Танай не удержался, уколол Айбат:

— Чем больше потеряешь, тем меньше найдёшь.

Она поняла его, но не рассердилась:

— Если что-то случается, так надо. И твоё, и моё время впереди, брат. Самбула Тигильдеева хорошей женой тебе будет. Я знаю. Попроси отца сделать как надо, и сам убедишься...

Самбула и впрямь оказалась впору Танаю. Из худенькой угловатой девочки она скоро превратилась в крепкую цветущую женщину, которая всё умеет — дом вести, за скотиной и домашней птицей смотреть, кобылиц по восемь раз на дню доить, мужа принимать таким, каков он есть, и одаривать ласками, себя не жалея...

Много и других событий случилось за десять вёсен, пролетевших со времени погребения деда. Эрмашет-каллу стали называть Тоян-каллой. И не потому, что забыли Эрмашета, а потому что признали Тояна. Нелегко ему это далось. Тут недостаточно быть твёрдым и решительным, ещё и предусмотрительность

нужна, умение склонить на свою сторону одних, чтобы другие тебя из седла не вышибли. Басандай, к примеру. Он благообразно выглядит, убедительно говорит, но внутри его клокочет зависть и неутолённая гордыня. Однако ничто не бывает вечным — ни согласие, ни вражда, ни любовь, ни ненависть. Время меняет их местами, перемешивает или убирает одно, чтобы возобладало другое. Так и в Эуште.

Но раздоры между родичами — полбеда. Хуже, когда приходится за данью степняки и начинают управлять этими раздорами.

За год до того, как, пересев с Карсака на Карлыгаша и взяв в жёны Самбулу Тигильдееву, Танай занял место на ковре Совета Эушты, явился на Тоом тайша чёрных колмаков Биней. Это был опытный военачальник. Он любил, чтобы народы и женщины этих народов расстилали себя перед ним, как ковёр. Вот и решил Басандай подарить ему свою красавицу дочь. Сказал при этом: «Дрова давай разжигать тому, кто их нарубил, скот пасти тому, кто его вырастил». Понравились эти слова Бинею, ещё больше понравился подарок. Ответил Биней: «Цветы землю красят, цветущая женщина — мужчину. Пусть твоя дочь мне седьмой женой будет. Но запомни: между мужем и женой садится только глупец».

Понял Басандай, что Биней хотел сказать этим, но стал после его ухода похвастаться: отныне я сижу рядом с человеком, кровь которого с одной стороны к Кучум-хану восходит, потомку Шейбана, брата Батыя, с другой — к великим джунгарам. Чтобы ещё больше укрепить своё положение, отправил Басандай сватов на Чёрный Июс к князю боевых кыргызов Логе. Велел сказать ему: я породнился с Бинеем, теперь хочу породниться с тобой: отдай одну из своих дочерей в первые жёны моему старшему сыну Мураю, и ворота Басандай-каллы для тебя всегда открыты.

Лога ответил согласиём.

Пример заразителен. Евага поспешил породниться с чатским мурзой Тарлавом, Енюга с темерчинским мурзой Бадагдой, Ашкиней с умацким мурзой Четеём, ведь они уже породнились с тайшой белых колмаков Обаком. Не о народе стали думать, а о собственной выгоде, о том, как пристроиться к стремени сильного. Превратили ковёр Совета в ковёр разлада.

Потом приходил в Тоян-каллу посольский отряд орусов, привозил ярлык московского царя. В ярлыке том был призыв к дружбе и единению. Но мало ли что в грамотке можно написать. Словом и обмануть нетрудно. Хорошо, при написанном толковый посланник был — Василей Тырков. Он-то и напомнил Совету Эушты, что Сибирская Москва из Сибирского ханства выросла, а Сибирское ханство из объединения татар с ас-ях, обскими наро-

дами — уштяками. Чтобы не стать лёгкой добычей Большой Бухары, послали тогдашние правители Сибири Едигер и Бекбулат доверенных людей к московскому царю Иоанну Грозному — о защите просить, и тот взял их в подданство. Но не успели Кашлык и Москва прочными узами скрепиться, набежал со своим войском сын бухарского правителя Муртазы Кучум, захватил врасплох братьев, казнил люто, а родичей велел вырезать: там, где корней нет, трава не растёт. Сделалась Сибирь тиха и беззащитна, как раба. Но вскоре пришёл атаман Ермак — о нарушенном уговоре напомнил. Спросил сибирцев, какой ясак они Кучум-хану дают. Оказалось, вдесятеро больше, чем собирались Москве посылать. Ещё спросил Ермак: хорошо ли под бухарцем люди живут? Только вздохи и ропот в ответ услышал... Велика Сиб-ийр, что значит земля-вода или земля болот. Леса здесь охотничьи, необъятные, народов мало, всем места хватит. Торговые и промысловые люди Руси с замятных лет сюда приходили. Без царского уговора. А Кучум силой между ними влез, устрашением. Ничего не оставалось Ермаку, как Кашлык у Кучум-хана назад отвоевать, сибирских сирот под свою защиту до новых царских указаний взять.

Нет ныне ни Ермака, ни Кучума. Зато стоят вокруг Обь-реки, которую татары называют Умаром, города-крепости Тюмень и Тоболеск, Туринск и Сургут, Тара и Берёзов, Обдорск и Нарым, Кетск, а дальше на восход Мангазея. Они не только Руси служат, но и сибирцам: от обидчиков охраняют, меж собой дружат, общий мир крепят. Не худо бы и Эуште к Московской Сибири пристать, защитный город на Тооме захотеть...

По указанию отца Танай с Тырковым целый день провёл — показывал ему земли Эушты. И коней своих заодно показал. Очень понравились они Тыркову. Особенно Карсак. Его уродство не смутило его. Он сказал, как сказал бы эуштинец: тому, кто хоть раз проскакал во весь опор, не стыдно идти шагом. С тем и уехал.

Задумался Тоян, задумалась Эушта: какой путь избрать? Жить как раньше, под властью колмаков и кыргызов, или в дружбу с орусами войти? Три зимы думали. На четвёртую решил Тоян в Москву ехать. Сам. Не стало мочи терпеть, как Басандай и его сторонники обычаи отцов попирают, чужие одежды и слова полюбили, чужие нравы принять готовы. Точит их сожаление, что Эушта — не воинственный народ. А то как хорошо было бы — не повседневным трудом жизнь обеспечивать, а с других дань собирать.

— Запомни, Танай, — сказал он на прощанье, — жилище, построенное многими, один может разрушить; костёр, разведённый одним, многих может согреть. Я должен разжечь костёр,

чтобы спасти Эушту. Помоги мне. Не просто замени меня, но так сделай, чтобы моё отсутствие никому не дало повода для открытой вражды.

— Когда ждать тебя назад, ата? — спросил Танай.

— Когда придёт пора переселяться из зимнего городка в летний, к пастбищам. Люди Обака и Логи раньше вряд ли появятся. Хочу видеть тебя на коне удачи, сынок.

Поступками человека управляют время и всевышний. Не раз после отъезда отца Танай попадал в сложное положение, но всякий раз судьба протягивала ему руку помощи. Он научился уклоняться от злых наскоков и лживых объятий Басандая, узнал истинную цену обещаниям Еваги, Ашкинея и Енюги, понял, что ждать — тоже испытание. Дни шли за днями, месяцы за месяцами. Настало время спускаться из Верхней Эушты в Нижнюю, к приречным травам, а отца всё не было. Тревога сжала сердце Таная. Неизвестность всегда страшит. Но Айбат сказала: ни радости, ни печали этого мира не переселяются в мир иной, они остаются с нами; много ждал, подожди ещё, час встречи близок...

И вот этот час настал. Из Тигильдеевых юрт прискакал старший брат Самбулы: Тоян уже там; с ним пять орусов следуют; скоро в Эуште будут, встречай!

Не мешкая, Танай оседлал Карлыгаша. Слуги тем временем покрыли красными коврами Карсака и Он-Ока. В поводу с ними Танай поспешил навстречу долгожданному отцу. Путь его лежал мимо Птичьего озера — Кушлы. Как и десять вёсен назад, над залитой солнцем низиной неслась песня. «Как хорошо быть пастухом, — говорилось в ней, — иметь послушных собак. Как хорошо слушать голос пастбища. О, да! любоваться небом — хорошее дело, потому что оно благосклонно к Эуште сегодня, а как будет завтра, никто не знает...»

Отец и сын съехались у старого кедра, обожжённого небесным огнём. Не слезая с коней, обняли друг друга. Танай поцеловал отца в плечо, как подобает младшему.

— Осень и зиму прожили, — приветствовал он не только Тояна, но и его спутников.

— Здравствуй весной! — откликнулся отец.

Лицо его осунулось, посерело, губы растрескались, скулы заострились. Но глаза светились радостью и любовью.

— Встретились, где расстались, — продолжал Танай, давая понять, что ему удалось сохранить Эушту в мире. — Успешна ли была твоя дорога?

— Любая дорога успешна, если на родину приводит.

Значит, успешна...

— Я привёл тебе коня встречи, — обрадовался Танай. — Не знаю, где остался твой Тельюган, но думаю, мой Он-Ок заменит его с честью.

Он передал повод отцу, потом спрыгнул на землю и, сделав руками подставку, помог Тояну перескочить на белогривого красавца. Почувствовав опытного наездника, конь взвился на дыбы и звонко заржал. Рядом заплясал Карлыгаш с Танаем на спине.

За старым кедром начинался безлесый увал. Кони-братья дружно сорвались с места и устремились к Тоян-калле. У них словно крылья выросли. Крылья, рассекающие время и пространства. Крылья преданности и согласия. Крылья таинственной связи всего живого на земле. Позади неторопливо трусил Карсак. Его время пронеслось. Теперь пусть торопятся другие.

Марейка

Повесть

Родителям моим — с любовью

1

Меловая кора берёзы показалась Борису неожиданно прохладной. Она поскрипывала под ладонью, словно накрахмаленная простыня. Корябнул пальцы шершавый завиток, обнажив матовую кожицу, прозрачную, болезненно тонкую.

Борис отнял ладонь от ствола, осторожно подул на серебряную пыльцу. Хорошо всё-таки после утомительной дороги ополоснуться колодезной водой, попить погребного молока с крестьянской сдобой и нырнуть в живительную тень. Хорошо, когда достигнута какая-то определённая: есть кров, есть еда, есть дерево, напоминающее белые крахмальные простыни, которые стелила мама.

Борис откинулся на спинку деревянной скамьи и посмотрел на старика, устроившегося посредине двора на табурете с низкими ножками. Возле него аккуратной дорожкой рассыпаны ивовые прутья. Поверх прутьев уложено плетение, не имеющее пока определённой формы. Руки старика, опавшие на колени, словно подзывают кого-то тёмными корявыми пальцами. Слепые глаза из-под серой суконной кепки устремлены в пространство.

Вспрыгнула на носок тёмного от солнца старикова валенка рябенькая потрёпанная курица, огляделась вокруг гордо, независимо. Старик не торопился прогнать её.

— Как, говоришь, тебя называют? — скорее почувствовал, чем услышал его вопрос Борис.

— Борисом. Можно Борей. А друзья, так те Бориком или Боричем.

Ещё одно прозвище — Боб — он не назвал.

— Чудно, — удивился старик. — Быдто настранец какой.

— Не обязательно... Говорят же Толик, Славик. Вот и меня так. А Борич вроде как имя с отчеством.

— Ишь ты! Ну ладно... А меня вот Василием Леонтьевичем прозывают.

Как зовут старика, Борис уже знал от бригадира, определившего его на квартиру.

— Лет-от сколько? — вновь спросил старик, заинтересованно вскинув голову.

— Восемнадцать, — Борис непроизвольно погладил подбородок. Дней десять назад он решил отпустить на лето бородку. Дальше видно будет. Но бородка росла неуверенно, клочковато. Хорошо, что собеседник не видит белёсой поросли на нижней части его лица.

— Стало быть, в пятьдесят первом году на свет родился, — раздумчиво протянул старик. — Молодой... Сам-то из каких мест будешь?

— Из Кузнецка. А учусь в Томске. Может, приходилось бывать?

— Всенепременно. Славнецкий город. На Сибири его далеко видать... А скажи-ка, мил человек, на каку таку практику тебя прислали, ежели ты не по сельскому делу? У нас студенты бывают. Да-а-а. Кто строит, кто на уборку, но ты вроде не из них.

— Я сам по себе, — подтвердил Борис. — Хочу о селе вашем узнать, сказки послушать, песни, заговоры...

— Это зачем это?

— Для изучения народного творчества.

— Чудно.

— Да нет, почему же. Вот узнаю я о вашем селе, напишу. А потом другие знать будут.

— Для науки, выходит?

— Для неё, — снова подтвердил Борис, незаметно для себя втягиваясь в разговор. — Я, к примеру, в Марейку приехал, а мои товарищи — в другие сёла, — и подольстил на всякий случай: — Будем знать, какие в районе заметные люди живут.

— Это хорошо, — одобрил старик. — Слава богу, люди у нас куда не вывелись.

— Но мне не всякие нужны, — поспешил уточнить Борис, — а те, что постарше. Кто старину помнит, язык с местными особенностями. Диалекты, по-нашему.

— Вот это правильно. Новым порядком живи, да и старого не забывай. На чём ещё учиться, как не на людских памятях? Тут я тебе очень даже сгодиться могу. Всенепременно, — оживился старик. — У нас в Марейке этой самой диалектики, слава богу, хватает. В обиде не останешься.

— Диалектов, — поправил его Борис.

— Ну да, — согласился прутовяз. — Учение Маркса-Ленина про то, куда обчество идёт. Хвилософия, значит. Только я тебе так скажу: земля человека кормит. По её законам и живи. Да вот беда, не

для всех те законы писаны, — в голосе старика появилась язвительность. — Наезжают к нам по случаю свистуны всякие. То им не ладно, это не глянется. Заелись в городе на всём готовеньком. Навозно им тут, скучно, удобств нет. То ли дело в Москве или в заграницах. От своего нос воротят. А без корней как? Вот и пошла у их путаница в умах. Особо среди молодых, у которых родители в начальниках ходят или по торговой части... Не зря говорится: засиженное яйцо всегда болтун.

— В каком смысле засиженное? — не понял Борис.

— Проще сказать: баловень... Ты-то сам из каких будешь?

— Если вы об отце спрашиваете, то он машинист железнодорожного депо, а мама на швейной фабрике мастером производственного обучения работает, — ответил Борис.

Его так и подмывало сострить: «Так что анкета у меня чистая. По всем статьям потомственный пролетарий. На болтуна не тяну». Но старик его опередил.

— Хуже нет праздных да раскормленных, — вздохнул он. — Только себя любят да ещё деньги. А деньги не икона, чтобы на них молиться. Им только волю дай. Руку или ногу сломаешь — сживётся, а душа-то навряд. Так я говорю?

Борис неопределённо пожал плечами.

— А ты вроде человек с понятием, — принял его молчание за одобрение старик. — На другое настроен. Так, сокол, и будь!

Эта неожиданная похвала смутила Бориса. Ему вспомнилась недавняя вечеринка по случаю благополучного окончания экзаменационной сессии...

На вечеринку его привела Динка Валевиц, студентка юрфака, в которую он безоглядно влюблён. Приятели Динки Борису понравились — лёгкие, остроумные, дружески непринуждённые. И одеты со вкусом. Брюки и рубашки в меру заужены, футболки с иностранными нашлёпками — такие в магазине не купишь, юбки у девчат короткие, со смелым разрезом, причёски с выдумкой. Борис тоже не прочь попижонить, но на стипендию и «доппаёк» от родителей не очень-то разгонишься. Хватило только на разукрашенный шахматными фигурами свитерок и узконосые плетёные туфли.

Чинное поначалу застолье вскоре сделалось шумным, текучим. Кто-то уходил, кто-то приходил. И тогда среди незамысловатых закусок, купленных вскладчину в студенческой столовой, появлялись дорогие вина или молодцеватая «Столичная».

Пространство на столе перед Борисом загромождало блюдо, на котором мирно соседствовали квашеная капуста с луком, марино-

ванные грибы, морковная стружка с тёртым чесноком и сметаной и варёная свёкла с селёдкой. Но после того, как по этим яствам погуляли нетерпеливые ложки и вилки, на блюде осталось бесформенное месиво. Глянув на него, изрядно подвыпивший сосед Борис Миша Раткин заговорщически спросил:

— На салат любишься?.. Правильно. Не салат, а песня. Глянь, какая у него цветовая гамма. От красного до серо-буро-малинового. А какой состав! Тут тебе вся огородная номенклатура. В лучшем виде. О вкусе этой адской смеси я и не говорю. Рестораны Европы позавидовали бы. А теперь угадай название этой песни. Наводку по-дружески даю: песня шумная, пионерская. Ты её хорошо знаешь.

— Нашёл время для кроссвордов, — отмахнулся от назойливого соседа Борис. — Закусывай лучше.

Сам он на выпивку этим вечером не налегал. Да и зачем? Рядом с Динкой голова у него и без спиртного кругом идёт.

— Тогда я тебе сам скажу, — на смуглом губастом лице Раткина появилась дурашливая улыбка. Играя рыжими бровями, он громко зашептал: — «Эх, хорошо в стране советской жить. Эх, хорошо в стране счастливым быть. Красный галстук с гордостью носить. Да, носить!».

— Ну, так в чём дело? — не понял его иронии Борис. — Не хочешь — не носи.

— В угол поставят, — не унимался Раткин. — Потому что коллектив всегда прав. Нет, что ли?

Их перешёптывания не остались незамеченными.

— Мальчики! — потребовал девичий голос с другой стороны стола. — Беседуйте громче. На галёрке не слышно. Или это военная тайна?

— Кажется, у Михаэля тост созрел, — сообщил кто-то. — Про угловатый коллектив. Или что-то в этом роде.

— Тост! Тост! — поддержали его.

— Могу и тост, — с готовностью согласился Раткин. — У нас тут с Бобом разногласия наметились. Ему по душе пионерский марш «Эх, хорошо в стране советской жить...». А мне пламенные строки Владимира Маяковского из школьной программы покоя не дают, — с этими словами он мешковато поднялся и, рубя воздух пухлой рукой, с чувством продекламировал: — «Мы живём, зажатые железной клятвой. За неё — на крест, и пулю чешите: это — чтобы в мире без России, без Латвий, жить единым человеческим общезитием». Понимаете: единым! — и обвёл собравшихся просветлённым взором: — Так давайте, граждане, выпьем за то время, когда это случится. Когда на смену коммунальщине и обезличке

придёт свобода мысли, поступка, выбора, — и бросил неожиданный клич: — Перекуём мечи на орала!

Ну как на такой призыв не откликнуться?

— Перекуём! — слышались хмельные возгласы. — Ай да Мíха! Хорошо сказал. Аж слеза прошибла...

— А Серп и Молот сдадим в музей древностей! — веско добавил Раткин.

— Сдадим! — снова поддержали его собравшиеся. — Ещё как сдадим...

Борису от этих призывов не по себе стало. Он вырос в городской коммуналке. Тесно жили, зато дружно. Два года назад отцу выделили трёхкомнатную квартиру, а жилплощадь Дымковых соседям отошла. Никто в обиде не остался. Конечно, хорошо бы побогаче жить, покомфортней, но не в этом счастье. Главное — найти своё место в жизни, своё призвание...

— Что такой кислый, Боб? — дружески положил ему руку на плечо Раткин. — Думаешь, не вижу, как ты свой стакан отставляешь? Трезвым решил уйти? Не получится. Давай выпьем. Только ты да я. За взаимопонимание!

— Как-нибудь в другой раз, — осторожно высвободил плечо из-под его руки Борис. — Сначала мечи на орала перекуй.

— А ты, значит, против?

— Выходит, так...

Динка скорее почувствовала, чем услышала их перепалку.

— Прения прекращаю, — вмешалась она, — Мы не на комсомольском собрании, — и, поддразнивая Бориса, запела:

Ах, какие удивительные ночи!

Только мама моя в грусти и тревоге:

— Что же ты гуляешь, мой сыночек,

одиноким, одиноким?

Голос у Динки явно не певческий, но в своём кругу это значения не имеет. Была бы гитара, да подходящее настроение, да бережущие душу слова... Вот как у Булата Окуджавы:

Из конца в конец апреля путь держу я.

Стали звёзды и крулее, и добрее...

Мама, мама, это я дежурю,

я — дежурный по апрелю!..

Настроение переменчиво. Борис и сам не заметил, как начал подпевать. Всё опять стало ему нравится.

Уже полночь они с Динкой отправились бродить по городу. Борис рассказывал ей о древнегреческих музах — богинях поэзии, искусств и наук, о рыцарских подвигах, воспетых средневековы-

ми певцами-менестрелями Франции и Англии, и о многом другом, что успел узнать на первом курсе филфака университета. Она слушала его с интересом и в награду за красноречие позволяла себя целовать. Благо, вокруг — ни души.

В одном из дворов с теремными домами они присели на скамеечку у резного крыльца, но их облаяла неожиданно появившаяся из темноты огромная короткошёрстная собака. На её лай открылось ближайшее окно, и заспанный женский голос сердито спросил:

— Кто тут? Чего надо?

— *Solus cum sola non sogitabuntur orare "Pater noster"!* — нашёл-ся Борис.

После непродолжительного молчания голос озадаченно сообщил кому-то:

— Иностранцы какие-то. Раньше вроде их у нас не было, — и окно затворилось.

— Эх ты, иностранец, — прыснула Динка, когда они отошли от негостеприимного двора. — Людей пугаешь. Что ты ей наплёл?

— Ничего особенного. Латинское изречение. «Мужчина с женщиной наедине не подумают читать «Отче наш».

— Bravo! Вот это речь не мальчика, но мужа, — поддразнила его Динка. — Такой ты мне больше нравишься.

— Какой это «такой»?

— Знающий, как надо вести себя наедине... Или ты латинские изречения только ради зачёта вызубрил?

От этих слов Бориса в жар бросило. В зыбких утренних лучах Динка вдруг стала похожей на шаловливую красавицу с полотен итальянских живописцев средневековья. К ней влекло, как магнитом.

Подчиняясь этому магниту, Борис обнял Динку, но она выскользнула из его осмелевших рук и, наградив утешительным поцелуем, ласково велела:

— Остынь, Борик. Я пошутила. Завтра ты тю-тю... На свежий деревенский воздух. У тебя практика. А мне каникулы придётся в Рубцовске коротать. Удовольствие ниже среднего. Но что делать?

— Ты же на Рижское взморье собиралась.

— Собиралась, — подтвердила Динка. — Там у маминой сестры Эвелины свой домик. В прошлом году мы у неё всей семьёй отдыхали, а в этом году она других родственников к себе в гости ждёт. — М вдруг призналась: — Вот где я хотела бы жить! Райское место. Песок. Сосны. Чистота идеальная. И люди другие. Сразу чувствуется европейский стиль и порядок.

— В Сибири тоже неплохо, — вступился за родные края Борис. — Видела бы ты пески у нас на Яе! Или кедрачи. Ого-го-го! — и

вдруг его осенило: — Слушай, Динка, я ведь теперь практикант-одиночка, а каникулы не только в Рубцовске, но и со мной коротать можно.

— Как это? — не поняла она.

— Очень даже просто. Наша группа по семи деревням Синяевского района расписана — два человека на каждую. Со мной Таня Воробьёва должна ехать, но у неё дома ЧП. Так что я один остаюсь... С жильём и питанием для тебя проблем не будет. Об этом я позабочусь. И сразу телеграмму на главпочтамт до востребования: добро пожаловать, леди! Отдохнёшь в охотку, меня на трудовые подвиги вдохновишь.

— Ну ты и фантазёр, Борик, — с ласковой насмешкой встопорщила ему волосы Динка. — Начитался рыцарских романов, вот тебя и потянуло на авантюры. Забыл, что у нас другой век, другие отношения — всё другое. Сам говоришь: трудовые подвиги. А может, мне комары не нравятся? Или жить непонятно где, да ещё и на птичьих правах. Я ведь не Таня Воробьёва. Могу тебе своим присутствием практику испортить.

— Я и прошу: порть!

— Ладно, — пообещала Динка. — Я подумаю... Будем держать связь через главпочтамт.

«Не приедет», — по тому, как она это сказала, понял Борис, и с показным воодушевлением пообещал в ответ:

— Это само собой: перекуём мечи на орала!..

2

— Мне бы под старое тулово да молодые ноги, я бы тоже соколом летал, — напомнил о себе старик Мохов. — И глазами, вишь, совсем износился. Только и годен стал корзины да сетёнки рыбацкие плести. Какое-никакое, а дело. Без него человеку хоть ложись и помирай. Ране-то я, как и родитель мой, кузнец был. На все руки. Да-а-а. Приятно вспомнить. Ремесло не коромысло, плеч не оттянет... Теперь не то. Сижу вот, размышляю.

— О чём, если не секрет? — поинтересовался Борис.

— А обо всём помаленьку. То одно вспомнишь, то друго. Мало ли?

— Ну, вот сейчас, например?

— Сейчас? — задумался старик и вдруг озорно разулыбался: — В мои-то годы не хитро в детство впасть. Я и впадаю. А ему родные места подавай. Сам-то я тутошний, поколе всю сознательную жизнь на Сибири прожил, а корня рязанского. Точнее сказать, из бывшей Михеевской волости Сапожковского уезду села Кривель. Пятистенник наш как сейчас в глазах стоит. С улицы он видный

был, бревёнчатый, а внутри пол земляной и печка без трубы. Для дыма открывали на двери верхнюю створку. Ага. Ещё помню, как мы, ребячёшки, мал мала меньше, рисовали по саже пальцами. А с нами по зиме жеребёнок жил, грелся. Так мы ему зеркальце на лбу зачернили, бока, ноги. Не узнать совсем, как леший какой. Да он не обижался, ему ж не видать... Вообще-то хорошо жили, особо по весне и дальше. Солнца вволю. Природа, что тебе картина какая... А напротив отцовой десятины, аккуратно за опольем, в балке, берёзовый лесок был. Мы в ём, как на другом свете, жили. По своему воображению.

— Зачем же вы оттуда уехали?

— Стало быть, приспичило. Родители ж у помещика горбались, у Кошелева. Кабы не подати, может, и ничего, сдюжили — всё-таки лошадь у их была, корова, подлошадок. Но и едоков хватало — одиннадцать душ. Тянулись, тянулись, да, видать, не судьба. Пришла и к ним долговая телега, а с ней волостной староста, ражий такой, с медалью на цепке. А ещё сотский и десятский — для исполнения власти. Телега уже с верхом была — сапоги, подушки, самовары, одёжа, ну всё, што у других налогом взяли. Сперва разговор миром шёл, после начались страдания, а под конец велел староста привязать к телеге корову и жеребёнка. Так и свели их за долги. А без коровы при многодетстве какое хозяйство? Одно и осталось — в переселенцы... Ну и вот, погрузили нас со станции Шилово в вагон об четыре оконца под потолком. Спали в два яруса. Воздух плохой. За три с лишним недели дотащились до Новониколаевска — это по-нонешнему Новосибирск. А дальше вместе с другими повернули на север. Сперва по Оби плыли, потом сюда пёхом. Если всё вспоминать, долгое писание выйдет.

Слушая старика, Борис пожалел, что не захватил с собой рабочей тетради. Можно было бы уже сейчас сделать первую запись. Ну да ничего, успеется.

— А почему деревню Марейкой назвали?

— Это ты правильно интересуешься, — старик отложил плетение и, достав из кармана старый кожаный кисет, стал сноровисто вертеть самокрутку. — Это я тебе точно доложу... От видишь, женщина у нас такая была — Марeya. Она первая в этих местах дом поставила. Мужик у её ссыльный был, из учёных, в плотницком деле плохо знал. Вдвоём они и тягались, покуда его деревом не пришибло. Осталась она сама с собою. Какого только худа не хватила, но с земли не ушла. Очень уж место угоднее, всё есть... Стали и другие сюда селиться, всё больше из переселенцев. Сперва вятские — две семьи, потом наша, а следом Назар Тулупников. На все руки мастер был. Ага. Он-то и довёл до ума дом Марей: крыльцо и чердак на ём

сделал, резные доски. Ещё и железки узорные с моим родителем наковал. Как на Подкопённую речку выйдешь, полюбопытствуй. Статейный дом. Таких не то што у нас, а и в округе больше нету, — старик затянулся едким махорочным дымом и, склонившись, ласково погладил задремавшую у него на валенке пеструшку; та в ответ недовольно квокнула, но глаз не открыла. — С того и пошла у их общая жизнь. С дома. Да быстро кончилась. Сам Тулупников в гражданскую сгинул, старшие его сыновья — в Отечественную. Только два и остались — старшой Фёдор да наш Ефим.

— Бригадир? — уточнил Борис.

— Он самый. Заходит ко мне давеча: возмёшь студента на квартиру? А чего не взять, если место есть? Небось, поладимся, — тут старик стащил с ковыльно-белой с проплешинами головы кепку и, почесав темя, вновь водрузил её, да ещё и проверил, прямо ли расположен козырёк. — Фамилия-от у тебя какая?

— Дымков.

— Знакомое дело! У нас в Марейке тоже Дымковых семья есть. Может, сродственник им?

— Вряд ли. Мало ли на свете одинаковых фамилий? Дома бы мне о них рассказали.

— Это смотря как поглядеть. Ты ишшо молодой, не всё знаешь. Не всякая родня в похвалу была, так што неувязок и посейчас хватает...

— Давайте лучше к Марее вернёмся, — предложил Борис. — Что она-то?

— Как што? — удивился старик. — Жила, сколь сил хватило. Дай бог каждому. Ломаная-переломанная, а по совести жила. Сильно её у нас уважали. Весь народ хоронить пришёл. В сорок пятом это было, как раз на Прощёное воскресенье. Положили рядом с упокойным Назаром Парамоновичем. Как на кладбище зайдёшь, так по правой тропинке в конец ступай. Там увидишь.

— И всё-таки кем Марее была?

— Как кем? Баба.

— Но ведь деревню назвали её именем!

— Её, её, — закивал старик. — Назвали, уважали потому. Обыкновенное дело. У нас всё так — по истории. От, скажем, Сурьев лог. Он аккурат за твоей спиной лежит, — старик подождал, пока Борис как следует взглянется в синий колок на закатной стороне. — Его по имени мужика Сурьева назвали. Почитай, каждую травку своими руками перебрал: которы выполол, которы подсеял. Пчёлы у него всегда в досмотре, ну и мёд от этого наипервейший. Сурьев мёд... А дальше идёт Моховое болото. Там у моего родителя в четвёртом году лошадь утопла. А он Мохов был, как и я. Болото

Моховым и прозвали... Справа за поскотиной — Федыкин овраг. В ём наш гончар Федыка Девушкин глину для себя брал. Жихарь-от, удал-человек. На городскую ярманку посуду да свистульки возил. Торговал прибыльно, но выручку тут же спускал. Ага. И сына Стёпку под себя воспитал — первый на деревне гуляка... За Федыкиным оврагом — Проскокова пашня, а за ею уже — Иготкины юрты. Там остяк Иготкин ране стоял. Охотник. В тридцатом, однако, на его место раскулаченных пригнали. Ну сплошь бабы да старики-детишки, прямо беда. Были юрты, стали землянки. По-тогдашнему трудпосёлок Вшивка. Только он не укоренился. Которы померли, которых комендатура по другим местам забрала. Теперь там колхозные овсы, на Иготкиных юртах-от... Всё свою причину имеет.

«Ничего себе поворот, — подумал Борис. — От благостной топонимики к сталинской коллективизации». А вслух спросил:

— И много в этих местах раскулаченных было?

— Ой много, — покачал головой Мохов. — Споначалу всё больше на своих подводах шли, при скарбе, с коровою... Из Мариинского были, с Кузнецку, с Алтая. Иные крепко устроились, не хуже нашего. А которы за ими, тех уже обсекали насщёт имущества и насщёт скотины. Привезут на баржах до Устья, высадят с чем в руках и ведут на голое место — селиться. А у дальних, ис-по-за Уралу и Украинщины, и того нету. Одеты по-лёгкому, не в пример былым переселенцам. Хто выживал, а хто и нет. Всяко бывало... И мы с ими в соседстве, как на острях. Тоже навреде ссыльных. Ага. Начальство настраивало, штоб не стыкались. Раздельно штоб. И мы опасались, кабы чего не вышло. Народ-от у их разный. Бабы, те больше мирные, а мужики себе на уме. В тридцать первом даже воевать с ими милиции пришлось. Ну и попали мы меж двух огней. Те правые, но и эти тоже. Порядок должен быть.

— Воевать? — не поверил Борис.

— Ну да... А што делать, если на тебя войском идут? Сперва Воронихинский участок забунтовал, потом другие. Полномочных скрутили и вместе с вахтёрами под замок. В Нижней Поповке комендатуру сожгли, в Заломе — мельницу. Один супротивился, так его на месте и положили... Дальше давай у крестьян охотничьи ружья отбирать, кооперацию грабить. Флаг сообразили. Он у их, как при царе, синий с белым. И надпись — против коммунизму, за свободную торговлю, за землю и Учредительное собрание... А верховодил у их Юськов. Ага. Вроде бы из кузнецких владельцев, в белоофицерском чине. Так они под его командой аж до Синего Яра дошли. Оттуда до Марейки рукой подать. Везде паника. Сделали мы тогда отряд обороны. А тут милиция. Её из города к нам прислали. На подмогу. Стреляли они, не знаю как. Без разбо-

ра! Сколько всех полегло, не скажу, но могильник у Комаровского парома на Кымге бо-о-льшой остался. Такие от превратности у нас были. И досе ком в горле стоит.

— Да-а-а, — совсем как старик Мохов, вздохнул Борис, — История... А много в Марейке стариков осталось?

— Это сочитать можно. Перво-наперво Воротников Дмитрий Власович. Он на лисятнике сторожует. Семейное дело у них — воротничать. Ох, и верещага мужик! Много всяких выдумок знает. К нему сходи. Всенепременно! Да выпить возьми, он любит.

«Воротников, — запоминаяще повторил про себя Борис. — Сторож лисятника. Кирюха! От слова кирять».

— Далё — Девушкина Марфа Ивановна, — деловито, будто проглядывая пофамильный список, продолжал старик. — Правда, в прошлом месяце её в районную больницу свезли. Сильно хворая. От бы кого тебе интересно послушать! Святая душа, а жить пришлось промеж антихристов. Я про её сына говорю и сноху. Есть ещё молодожёны — Куренной Егор Матвеевич и Колмогорова Катерина Степановна. Мои однолетки. Второе лето вместе живут, токо объединились... Опять же Лепёхина Рина Яковна. Дом у её за сельсоветом четвёртый, в глубине. Та бабка разбитная, разговорчистая. Травами да заговорами лечит. Но — звяга! А у Масленникова Петра Силыча по слабости лет соображение отняло. С им не поговоришь... Кто же ишо? И всё, видать, — старик скорбно вздохнул. — Остальные все при Советской власти рождённые. Мблочь! Из их я бы тебе на Земцова Василия указал. Ага. Земец он. Пасеку у самого Сурьева перенял... Есть ишо Курочкин Еремей, который кино крутит, с Клавдией своей. Косицын Зорий, Богданиха... Ну и Дымкова Игната спытай. Може, сродственник всё ж. Чем чомор не шутит?

На этот раз упоминание однофамильца заинтересовало Бориса.

— А когда Дымков в Марейке поселился? — спросил он.

— Когда, говоришь, поселился? Да перед войной. Трактористом из города его прислали. Женихался ишо. Время, сказать, нехорошее было. Лишнего слова не кинь. А он, как глухарь какой, ничего вокруг не видит. Взял на майские бушлат у Масленникова, тельняшку и всё другое — матросом вырядился. Мало показалось, наган древесный сочинил. Ага. Опять мало, бубли магазинные заместо патронных лент через грудь повесил. Анархист и анархист. Девкам весело, а он и рад стараться. Сел в таком виде к себе на трактор и ну песни орать. Как всё равно в «Кубанских казаках». Это фильм такой был. Тут его и сняли. Играй, играй, да не заигрывайся! Так-от и убыл из деревни. Но в военные годы и оправдал-

ся, и награждался. Пришёл назад — другой совсем человек. От как бывает.

— Из каких он мест?

— Вроде уральский...

«Тогда не из наших, — успокоился Борис. — У нас родни на Урале нет».

Жара стала утихать. Незаметно удлинились тени. Но разморённый воздух всё ещё стлался по земле, провисал на покосившемся плетне, заползал под ветвистые деревья в палисаднике. Где-то вдали на одной ноте гудел трактор.

— К вечеру потянуло, — старик поднял плетение, в котором Борис признал теперь будущую корзину, пристроил половчее между колен, и вдруг его негнущиеся пальцы ожили, заскользили, будто молодые, по гладким зеленоватым прутьям. Они то сплетали очередной, крепящий основу узел, то, поправив решётку, продёргивали в неё нарезанную тонкими лентами кору не знакомого Борису дерева. — Завтра, однако, дождик просыпется.

— Ну да, — не поверил Борис, оглядев безоблачное густо-синее небо.

— А я тебе говорю, просыпется. На Аграфены-купальницы за всегда так. По ёлке проверь, если сомневаешься. Она под застрехой на боку висит.

Лишь теперь Борис заметил прикреплённые к стене дома с северной стороны тонкие высохшие лапки ели.

— Посмотри, опали края или колючкой стоят?

Борис поднялся, чувствуя, как затекли от долгого сидения ноги, как устал он от явно затянувшейся беседы. Пора и размяться. Сделав несколько разминочных движений, он направился к самодельному барометру.

Так и есть: веточки чуть-чуть выгнулись, словно набухли.

— Хитро придумано! — похвалил Борис. — Значит, будем готовиться к дождю. Завтра у нас шестое июля, а по народному календарю выходит Аграфены-купальницы. Так и запишем. — Затем сообщил: — Пойду, посмотрю Марейку.

— Ступай, конечно. Што со стариком сидеть? На молодых посмотри.

3

Марейка растянулась вдоль леса двумя неровными улицами. В нескольких местах они обрывались, потеснённые островками ослепительно белых берёз, за которыми угадывались колхозные уголья.

Дом Моховых стоял посредине деревни.

Борис вышел за калитку, и его сразу же обступили приземистые бревенчатые дома, потемневшие от времени. Кое-где у палисадных громоздились невысокие штабеля брёвен. Пахло стружками и сухой травой. Затянутые зеленью огороды походили на стоячие пруды. На задах, вскинув тонкие шеи, дремотно замерли колодезные журавли.

В сухой канаве у обочины, зарывшись в песок, разлеглась поджарая свинья с поросятами. Она недовольно посмотрела на Бориса и дёрнула влажно-грязным носом.

Вокруг было непривычно тихо. Даже птицы проносились мимо без крика.

Борис с детства привык к многоэтажным зданиям, к асфальтовым покрытиям дорог, к нескончаемому шуму людского потока, который — чуть зазеваешься — обступит со всех сторон и властно потащит за собой. Не успеешь оглянуться, а ты уже идёшь, торопишься, лавируешь...

Деревянные мостки вывели Бориса к сельскому магазину, перед которым улица расширялась, образуя подобие площади.

С первого взгляда площадь показалась Борису изрытой выбоинами. Однако пройдя ещё несколько шагов, он удивлённо остановился: площадь была вымощена плотно подогнанными одна к другой круглыми деревянными плитками. Они походили на лоснящиеся от полировки камни.

Борис долго не мог понять, как держатся в земле деревянные кругляши. Кажется, ковырни носком, и они начнут выскакивать, словно плохо вклеенный кафель... Но нет, они держались прочно.

«Это не кругляши, — понял наконец Борис, — это торцы глубоко вкопанных в землю брёвен. Чем не торцовая мостовая? На таких улицах, наверно, и шума не бывает...».

В душе его шевельнулось чувство невольного уважения к людям, вымостившим эту необычную площадь.

Он поднял глаза и увидел на завалинке сельмага четырёх старух, которые рассматривали его с откровенным любопытством.

«Расселись, как сороки», — усмехнулся Борис.

В белых платочках, в старинных плюшевых жакетах старухи и впрямь походили на сорок.

— Здравствуйте, — едва приметно кивнув, поздоровалась одна из них.

Дружно закивали и остальные.

— Здравствуйте, — невольно ответил Борис.

Мимо промчалась машина с женщинами в открытом в кузове. Она оставила после себя густое облако пыли. Из-за облака откуда-то издали надвинулось беспокойное мычание коров.

— Здравствуйте, — обронил пожилой грузный мужчина в клетчатой рубашке и укороченных кирзовых сапогах.

«Видно, так у них принято», — догадался Борис и первым поздоровался со следующим встречным.

Как-то вдруг начали сгущаться сумерки. Они вытемнили землю, оставив над крышами домов и купаи деревьев светлую прошивку, из которой продолжало сочиться серебряное марево. Заметно осмелели пригнетённые дневным зноем комары, заверещали на огородах полевые кобылки. Воздух наполнился живительной прохладой, запахом парного молока, дыма, навоза, ноцецветных трав.

Чтобы не угодить ненароком в какую-нибудь из щелей деревянного тротуара, Борис сошёл на бегущую рядом тропинку. Её твердь делала шаги пружинистыми, неслышными. Давно Борис не ощущал в теле такой лёгкости, свободы, не испытывал столь острого душевного смятения, раздвоенности между привычным и новым для себя. Такое ощущение, словно часовая стрелка продолжает совершать заданный круг, а минутная вдруг устремилась в противоположном направлении. Почему? — Да потому, наверное, что устала перегонять старшую спутницу, видеть лишь её затылок. Убегая всё дальше и дальше, она неумолимо движется ей навстречу, чтобы сойтись наконец лицом к лицу, с разбегу обняться... И снова разойтись.

Будто сговорившись, по всей деревне под жестяными колпаками вспыхнули весёлые огоньки уличного освещения.

Борис остановился, застигнутый врасплох картиной, внезапно открывшейся ему. По карнизу, по торцам, по наличникам пятистенного дома, мерцая, струились металлические узоры. Они были похожи на деревянные кружева, которыми издавна славились старинные сибирские города. Выкованные из металла узоры легко и естественно соединялись с деревянной резьбой. Даже конёк крыши, сделанный из лесины, увенчан тёмной накладной «гривой».

«А ведь это и есть дом Марии Тулупниковой, — догадался Борис. — Нет, не преувеличил старик Мохов, дом и, правда, статейный».

В его воображении ещё не погас образ циферблата со встречными стрелками, но уже родился другой, наваянный металлической вязью на потрескавшихся от времени бревенчатых стенах. Два бородатых ухватистых мужика колдуют у наковальни. Перестук молотков напоминает перестук часовых стрелок. Это Назар Тулупников и отец старика-прутовяза Левонтий Мохов. Длинные, до плеч, волосы перехвачены ремешками. Рубах под фартуками

нет. Руки — словно из канатов сплетены. Умельцы. Именно таким посвятил свою поэму «Мастера» один из поэтов новой волны Андрей Вознесенский. Как это у него? —

*Художник первородный —
Всегда трибун.
В нём дух переворота
И вечно — бунт...*

По Вознесенскому красота, рушащая догмы, это непременно переворот. Переворот привычных установлений, сознания, границ. Конечно, Мохов и Тулупников ни о чём таком не помышляли. Но и к ним обращены величальные строки:

*Но нет противоядия
Святым словам —
Воители,
воятели,
Слава вам!*

От полноты чувств Борис стал выборматывать запавшие в память строки. И тут почувствовал, что кто-то внимательно наблюдает за ним.

Этого только недоставало.

Он торопливо перешёл на другую сторону улицы и укрылся в спасительной тени буйно разросшегося черёмушника. Отсюда ему открылся створ переулка, а посреди — беспокойно мыкающая корова. Так вот кто наблюдал за ним из темноты!

Борис облегчённо засмеялся и, пожелав корове поскорее найти своих хозяев, продолжил путешествие по Марейке. Даже насвистывать начал. И, словно откликаясь на его переливы, с противоположного конца деревни зазвучала весёлая клубная музыка.

«Ну что ж, — подумал Борис, — посмотрим, что тут за клуб и как в нём клубятся».

4

Вывеска была тёмная, аляповатая. Сверху её освещала жёлтая лампочка в жёлтых накрапах.

«Библиотека», — прочитал Борис, и решительно свернул с намеченного пути. Интересно узнать, что в Марейке читают?

Он потянул на себя дверь. Книжный зал, тесный, но чистый, был перегорожен высокой, по грудь, стойкой. За нею Борис увидел девушку в светлой кофточке с расшитым голубенькой строчкой воротом. Подперши ладонью щеку, она что-то читала, да так увлечённо, что не заметила его появления. Воспользовавшись

этим, Борис бесшумно приблизился к стойке и, подражая девушке, но более картинно, тоже подпёр щёку рукой.

Его взгляду открылась чёткая, прихотливо изломанная линия бровей, ресницы, которым позавидовала бы любая горожанка, приятно очерченные губы и толстая полурасплетённая коса. Но, боже мой, как не соответствовали всему этому облупившийся нос, остренькие скулы и обветренная кожа! Руки тоже не соответствовали. Тёмные, в ссадинах, они меньше всего походили на руки к н и ж н и ц ы.

Видимо, почувствовав его изучающий взгляд, девушка подняла голову.

«Какие у неё синие глаза, — удивился Борис. — Прямо фиолетовые».

— Приятного аппетита.

Девушка его шутки явно не поняла. Пришлось объяснить:

— Вы с таким аппетитом читали, что мне завидно стало. Наверное, детектив?

Девушка молча повернула книгу вверх обложкой.

— Андрей Платонов? Ай-яй-яй, не угадал... Ну и как, нравится?

— Очень.

— А по-моему, на любителя. Лично я страниц двадцать осилил, не больше. Только вы не обижайтесь. Слишком манерно. Не знаю, что в нём нашёл Хэм...

— Кто?! — брови девушки дрогнули, и над ними пробежала некрасивая складка.

— Ну... Хемингуэй. Где-то, не помню сейчас, где, он писал, что считает Платонова чуть ли не одним из своих учителей. Любил почудить старик. Великим это прощается. Если бы не он, ещё неизвестно, стали бы сейчас издавать Платонова. Для своего времени он, может, и был интересен, но сейчас вряд ли... Поезд уже ушёл.

Девушка пристально посмотрела на Бориса, и он прочёл в её взгляде совсем не то, что ему хотелось: не-со-гла-сие. Но остановиться уже не мог.

— Древние римляне в таком случае говорили: «Tempora mutantur, et nos mutamur in illis». В переводе с латинского это означает: «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними».

— Уж не знаю, что говорили древние римляне, а только Платонов очень современный писатель. Разве можно судить по двадцати страницам?

— Для меня и двадцати хватило. Тут дело не в количестве.

— А в чём?

— Да хотя бы в том, что я изучаю литературу в университет-

ском объёме. Впрочем, о вкусах не спорят... Интересно взглянуть, что у вас на полках кроме Платонова?

— Глядите, когда интересно.

Борис покорило это «когда интересно». «Ишь ты, грамотейка, — насмешливо подумал он, толкнув дверцу в барьерной стойке. — Сперва научись говорить правильно».

Девушка вновь склонилась над книгой. Но Борис был уверен, что она не читает, а прислушивается к его шагам.

На первом же стеллаже, сбитом из экономно покрашенных досок, он обнаружил томик Ирвинга Стоуна «Моряк в седле». Название интригующее. Полистав книгу, он понял, что это художественная биография Джека Лондона. А вот «Моби Дик, или Белый Кит» Мелвилла с иллюстрациями с а м о г о Рокуэлла Кента... За год университетской жизни Борис успел пропитаться духом мировой литературы, память его вобрала множество новых названий, имён, цитат, высказываний, и теперь он чувствовал себя не беспомощным пловцом, затерявшимся в книжном море, а без пяти минут лоцманом, знающим, куда и как плыть. Конечно, в лекционной сутолоке трудно выкроить время на глубокое чтение, приходится пробегать поверху даже о б я з а т е л ь н ы е тексты. До «Моби Дика» ли тут? Но и то хорошо, что он маячит вдали, зовёт свернуть с заданного учебной программой курса.

Пробежав разлохматившиеся корешки пальцами, Борис выхватил из верхнего ряда сборник рассказов Ричарда Райта. И... зачитался. Вот это виртуоз! П и р а м и д а действия у Райта строится исключительно на речи героев. Сплошной диалог. Автор в него подчёркнуто не вмешивается, но всё понятно.

От стеллажа с зарубежной литературой Борис перешёл к полкам с поэтическими сборниками. Их было немного, да и те всё больше из школьной программы.

Не удержавшись, явно в упрёк юной библиотекарше, Борис вполголоса процитировал Пушкина:

Блажен, кто знает сладострастье

Высоких мыслей и стихов.

— Вы что-то сказали? — оторвалась от чтения она.

— Не вижу современных поэтов... Или в Марейке стихов не читают?

— Очень даже читают. Правда, всё больше из журналов. Они у нас вон там, на столе.

— Журналы — это хорошо, — продолжил добровольное инспектирование библиотеки Борис. — Что здесь у нас? «Молодая гвардия», «Огонёк», «Сибирские огни», «Культурно-просветительная работа». Вполне джентельменский набор. Но не мешало

бы ещё и «Юность» выписывать. Там сегодня лучшая молодёжная проза — Гладилин, Аксёнов, Анатолий Кузнецов, Искандер... А в поэзии группа Вознесенского, Евтушенко, Рождественского лидирует. Эти имена вам о чём-нибудь говорят?

— Как же, слышала.

— Слышать мало. Надо ещё и знать. Ведь это новый стиль, дерзость метафор, планетарность! Хотите, что-нибудь прочту? Для примера. Вот хоть из Вознесенского.

Не дожидаясь ответа, Борис с выражением продекламировал:

*Человечество хохочет,
расставаясь со старьём.
Что-то в нас смениться хочет?
Мы, как Время, настаём.
Мы стоим, забыв делишки,
будущим поглощены.
Что в нас плачет, отделившись?
Оленихи, отелившись,
так добры и смущены...*
.....
*И летит мирами где-то
в мрак бесстрастный, как крупье,
наша белая планета,
как цыплята в скорлупе...*

Или:

*Прощай, пора окраин!
Жизнь — смена пепелищ.
Мы все перегораем.
Живёшь — горишь.*

Дав девушке осознать новаторство «новой волны», Борис продолжил:

— Чувствуете, как стихи пульсируют? Как тесно им от метафор и гипербол. Какая в них игра смыслов...

— Да, — не очень уверенно согласилась девушка. — Только про олених я не совсем поняла.

— А тут и понимать нечего, — авторитетно пояснил он. — Это сравнение усиливает эмоции. Отделившись — отелившись. Речь о рождении в нас нового Времени идёт. Времени с большой буквы. Неужели не ясно?

— Понять-то можно, — согласилась девушка. — Но как-то это сравнение не к месту. Или другое слово... Крупье. Вроде знакомое. Читала, а вспомнить не могу.

— Распорядитель в казино.

— Вот! — обрадовалась она подсказке. — Планета — и вдруг сравнивается с человеком из казино. По-моему, это тоже неправильно.

— Не планета сравнивается, а мрак, бесстрастный, как крупье, — набрался терпения Борис. — Бесстрастность — это отличительная черта людей, служащих в казино. Так же бесстрастен мрак Вселенной. А с планетой связана гипербола — «Как цыплята в скорлупе». По-моему, образ новаторский.

— Всё равно неправильно, — заупрямилась девушка. — Раз у нас крупье нет, зачем его в стихи вставлять? И планета на яйцо мало похожа. Но это бы ладно. Откуда у неё в одной скорлупе не знаю сколько цыплят? Так не бывает.

— В поэзии ещё как бывает! — заверил её Борис. — Ведь это мир прозрений и художественных образов. Кроме арифметики в нём есть своя алгебра, геометрия, высшая математика...

Он почувствовал азарт спорщика. На заседаниях университетского литобъединения, где начинающие стихотворцы с разных факультетов обсуждают новинки поэзии и свои литературные опыты, и не такие перепалки случаются. Сам Борис стихов не сочиняет — пробовал, но вовремя понял, что он скорее теоретик, чем практик, — хорошо у него только поздравления, пародии и экспромты получаются, но это не поэзия. А раз так, то лучше писать отзывы на стихи товарищей. Уже несколько его заметок о творчестве студентов *alma mater* появились в университетской многотиражке, а одну даже областная молодёжная газета опубликовала.

— Не знаю, — терпеливо выслушав Бориса, вздохнула девушка, — Может, это и правда высшая математика, но мне такие стихи не нравятся. Про Вселенную есть и получше.

— Это у кого же, интересно знать? — усмехнулся Борис.

Вместо ответа девушка достала из стола толстую тетрадь в голубой дерматиновой обложке и, найдя нужную страницу, молча положила перед Борисом.

На развороте в ученическую клетку ровным девичьим почерком были выведены стихотворные столбцы. В правом верхнем углу значилась фамилия автора: Михаил Карбышев. Борису она ничего не говорила.

— Ну что ж, сравним, — повернул он раскрытые листы к свету и с нарочитой монотонностью начал читать вслух:

Мне не надо лететь во Вселенную.

Вот она — за резным окном.

Бесконечная и нетленная

Окружила наш старенький дом.

*В ней отец мой расставил ульи
Между звёзд, на краю сельца.
И корова наша Красуня
Всё мычит на созвездье Тельца.*

В этом месте голос его невольно дрогнул. «А что? — подумал он. — Деревенская корова и созвездие Тельца — удачный ход. Посмотрим, что дальше...» И уже с интересом продолжил чтение:

*Чтоб когда-то друг с другом встретиться,
Бродят Гончие Псы по двору.
И всю жизнь Большая Медведица
Ищет Малую в тёмном бору.
Здесь, бывает, звезда ломается,
Протекут небеса по углам.
А наш дед под навесом мается,
Чинит старый вселенский хлам.
После он, в три хлопка, с коленей
Отряхнёт золотой наструг.
Разлетятся по всей Вселенной
Звёзды яркие с дедовых рук.*

Борис вдруг зримо представил утомившуюся от дневных трудов Марейку, а посреди неё двор старика Мохова и его самого, плетущего звёздный узор, соединяющий корову Красуню с созвездием Тельца.

— Ну как? — спросила девушка.

— Неплохо, — честно признался Борис. — Зримо. Но пока это всего лишь картинка, построенная на ассоциациях. Созерцание, а не динамика мысли. Я бы сказал: нет здесь прозрения, сверхзадачи...

— А по-моему, есть, — возразила она. — Прозрение — это когда душу трогает... Вы там ещё почитайте.

Горячность юной библиотекариши понравилась Борису. Сразу видно: девушка с характером.

— Кстати, что это за собрание сочинений? — миролюбиво поинтересовался он, перелистывая тетрадь. — Насколько я понимаю, ваших рук дело. *Самиздат*?

— Ничего не самиздат. Просто я стихи из разных изданий выписываю. Для самостоятельности и вообще. У нас в Марейке ни один концерт без стихов не обходится. А для них не всякие нужны. Известные поэты порой хуже малоизвестных пишут. Вот и приходится выбирать. Лично я больше к сибирским склонна. Они как-то ближе, задушевней.

— Из каких же мест ваш Карбышев?

— А вы разве не знаете? Из Томска! Или вот Василий Казанцев...

— Сравнили тоже. Во-первых, Казанцев давно под Москвой живёт. Во-вторых, он интеллектуал. Знакомы вам такие его строки? —

Смеюсь — только на вечерах смеха.

Скорблю — только на траурных собраниях.

Кричу — только на трибунах стадиона.

Правду скажу — только на Страшном суде.

— Нет, — покачала головой девушка. — У меня выписаны другие. Вот послушайте:

Облака в воде качая,

Размывая берега,

По тайге блуждает Чая,

Молчаливая река.

Её голос, прежде ничем не примечательный, вдруг стал выразительным, певучим:

Почему же она Чая?

Потому что цвета чая.

В ней берёзовый настой.

И черёмуха, и верба.

Сама родина, наверно,

Растворилась в речке той.

Радуюсь, что наконец-то их вкусы сошлись, Борис подхватил:

Я живу вдали от Чаи.

Пароход давно отчалил

От лесистых берегов.

Но со мною запах кедра,

Но со мною запах ветра,

Горький привкус ивняков.

Неожиданно девушка умолкла. Пришлось Борису одному дочитать заключительную строфу:

Потому что я вначале,

В давнем детстве жил на Чае.

Потому что Чаей плыл.

Потому что Чаю пил.

Объединённые возникшим общим чувством, они помолчали.

— Теперь можно и познакомиться, — полуспросил, полупредложил Борис.

— Зачем это? — нахмурилась она.

— Ну, как зачем? Читателем вашей библиотеки хочу стать. Или вам читатели не нужны?

На стене закуковали часы с кукушкой.

— Ой, — глянула на них девушка. — Совсем запозднилась с вами! Давно закрывать пора. Приходите завтра. Тогда и заполним читательскую карточку.

— Так я и завтра Борисом буду зваться, — потянуло его на весёлый трёп. — А вас как? Приятно же встретить человека, не равнодушного к поэзии.

— Никак. Сказала ведь: приходите завтра.

— Завтра так завтра, — не стал спорить Борис. — А сегодня я вас немного провожу. Ладно? Ведь куда бы вы ни шли, нам по пути. Заодно Марейку покажете.

— Очень надо, — фыркнула она.

— А вот это не вежливо и не гостеприимно.

Но тут дверь неслышно распахнулась, и вошёл высокий парень в голубой рубашке навывпуск. Его зеленоватые глаза на мгновение сделались тёмными, улыбка тронула уголки губ, осветила впалые, хорошо выбритые щёки.

— Добрый вечер, Машенька, — поздоровался он. — А я смотрю, у тебя свет горит. Дай, думаю, зайду, — и, запоздало заметив Бориса, кивнул ему: — Не помешаю?

— Да нет вроде...

— В таком случае будем знакомы. Тулупников Михаил Фёдорович. Учитель математики, — он крепко стиснул руку Бориса. — А вы, как я понимаю, постоялец Василия Леонтьевича? Не удивляйтесь, слухами земля полнится.

— Я и не удивляюсь, — по возможности беспечней ответил Борис. — Я даже знаю, откуда эти слухи. От бригадира. Судя по фамилии, вы с ним родня?

— Племянник, — подтвердил учитель и переключил внимание на девушку: — От Марфы Ивановны тебе поклон. Я как раз от неё. Врачи ничего хорошего не говорят, но она бодрится. Новый список просила тебе передать. Книги для неё — лучшее лекарство. А прочитанные возвращаю. Вот, держи, — он положил на стол два потрёпанных тома. — С задачками-то, что я дал, справляешься?

— Справляюсь.

— Молодец! Чуть что непонятно — сразу ко мне.

Маша остановила его в дверях:

— Михаил Фёдорович, вот товарищ хочет, чтобы ему Марейку показали.

Такого подвоха Борис не ожидал.

— Это можно, — охотно согласился учитель. — Я как раз в клубе дежурю.

— Вот спасибо, — вынужденно последовал за ним Борис и, желая отомстить строптивой библиотекарше, интимно понизил голос, проходя мимо её стола: — Так я завтра забегу?.. Ну, тогда, Маш, пока!

Щёки девушки запылали.

«Ага, не нравится, — усмехнулся он. — Впредь вежливей будешь».

5

Легко сбежав с крыльца, Борис остановился, небрежно достал из кармана нераспечатанную пачку «Явы», сорвал узенькую ленточку.

— Курите? — обернулся он к учителю.

— Спасибо. Привык к папиросам.

Пока Тулупников искал свой портсигар, Борис вытряхнул из пачки несколько сигарет, ловко подхватил одну губами. Чиркнул спичкой. Красный язычок мигнул и погас. Вторую спичку учитель молча прикрыл ладонями.

— Библиотека у вас ничего, — чтобы не молчать, сказал Борис. — А читателей не видно.

— Приезжайте зимой, увидите, — посоветовал учитель. — Сейчас все в поле. Не до книг.

В этот момент и выплыл из-за поворота патлатый парнишка в светло-зелёной футболке с белым карманом, на котором то ли отпечатали, то ли вышит был стилизованный глаз. Узкая талия перехвачена широким армейским ремнём. Руки — в брюки. Движения нарочито развинченные. Светящиеся штанины загребают пыль.

Они-то и привлекли внимание Бориса в первую очередь. Там, где городская шпана, ушибленная запоздало докатившейся до провинции столичной модой, навешивает тяжёлые металлические цепочки или нашивает ряды перламутровых пуговиц, этот модник умудрился пристроить гирлянды лампочек, годных, оказывается, не только для карманных фонариков, но и для таких вот иллюминаций. Время от времени лампочки вспыхивали, покачиваясь в такт шагам.

— Здравсэти, Михаил Фёдорович, — заметив учителя, сбился с картинного шага парнишка. Лампочки на его расклешовке растерянно мигнули и погасли.

— Здравствуй, Кукуев, здравствуй, — подчёркнуто приветливо ответил Тулупников. — Рад тебя видеть. Ну, как работа?

— Ничё работа, — скромно потупился Кукуев. — Работаем по-маленьку.

— А это что же, твоё новое изобретение? Ну, покажи, покажи, не скромничай.

— Эт я так, — замялся парнишка, не зная, как быть, но в конце концов лампочками мигнул.

— Остроумно, ничего не скажешь. Удачней всего ты разместил пульт управления.

— Да вы не думайте, Михаил Фёдорович, — тотчас вынул из карманов руки Кукуев. — Это я так, для смеха.

— Вижу. И глаз на груди у тебя удачно смотрится. Не глаз, а картинка. Кто шил?

— Сам, кто же ещё.

— Совсем хорошо, — похвалил учитель и не без умысла принялся объяснять Борису: — Это один из моих лучших выпускников — Вадим Кукуев. Мастер на все руки. Других таких в школе я и не припомню. Сейчас в Синем Яре живёт, но и родной колхоз — спасибо! — не забывает. Вот, приехал помочь. Ремонтники им не нахвоятся. И швец, и жнец... Да вы сами видите.

— Не надо, Михаил Фёдорович, — насупился Кукуев. — Я ведь ваши намёки понимаю. Чем ходить вокруг да около, лучше прямо скажите: вид мой не нравится?

— Вид как вид. Зарос малость, но это поправимо. К тому же ты теперь взрослый человек, сам себе голова. Имеешь полное право удивлять и удивляться.

— Имею! — подтвердил Кукуев.

— В техникум поступать не надумал?

— Не-а. Всё как-то недосуг. Днём на работе, а вечером пожениться надо. Пока молодой.

— Ну, женихайся. Только с учёбой не опоздай. Дважды в год лето не бывает.

На том они и расстались.

— Профилактическая беседа? — проводив взглядом Кукуева, вслед за учителем зашагал по деревянным мосткам Борис. — Правильно. Нечего народ смешить. — И вдруг спросил: — Маша, как я понимаю, тоже ваша выпускница?

— Тоже, — не оглядываясь, откликнулся Тулупников, — И при том очень способная. Особенно в математике. Ей бы в пединституте учиться, да пока не получается.

— Что так?

— Семейные обстоятельства...

За поворотом замаячило невзрачное деревянное строение, освещённое несколько ярче остальных. В нём-то и размещался марейкинский клуб. Внутри он оказался темноватым и тесным — всего лишь один небольшой зал. Передние скамейки были предусмотрено вынесены на улицу. На освободившемся пятачке под хрипловатую магнитофонную запись танцевала немногочисленная деревенская молодёжь. Тут же чинно восседали старушки, которые давеча поздоровались с Борисом у сельмага, подвыпивший дедок, две-три женщины в накинутых на плечи цветастых платках и ватага ребятишек разного возраста. Все они увлечённо следили за танцующими, словно кинокартину смотрели.

Окинув клуб хозяйским взглядом, Тулупников тотчас заметил неладное: со сцены, из-за неплотно задёрнутого занавеса, тоненько сочился табачный дым. Учитель направился туда.

— Разберись, разберись, Фёдорович, — одобрил его намерение дедок. — А то наладились по закуткам прятаться. У самих молоко на губах не обсохло, а туда же — курить.

Вышугнув из клуба потерявших бдительность подростков, учитель вернулся в зал. И тотчас самая, пожалуй, симпатичная из танцорок бойким голосом объявила:

— Дамский вальс!

Не дав Тулупникову опомниться, она положила ему на плечо руку:

— Чур, со мной!

А Бориса пригласила на вальс нескладная девица, сразу видно, из тех неудачниц, к которым кавалеры по собственному желанию не подходят. Борис хотел было отказаться (не очень-то приятно танцевать, когда на тебя глазеют), но дама так жалобно на него посмотрела, что он уступил. Поначалу они топтались на месте, примериваясь. Холодная влажная ладонка жгла Борису руку, плоская девичья спина задеревенела под его пальцами. Но потом у обоих разом появилась согласованность движений, и они устремились по кругу, всё убыстряя движение, легко уворачиваясь от других пар.

На миг Борису показалось, что он танцует с Динкой, хотя они — ну не странно ли? — ни разу не вальсировали. В городе нынче вальсы не в моде.

Старушки и дедок любознательно наблюдали за Борисом, ребятишки многозначительно переглядывались и гыгыкали.

После вальса Борис и Тулупников, не сговариваясь, вышли на крыльцо.

— Ну, я пойду, — заторопился Борис. — Что-то утомило с дороги. Счастливо отдежурить.

Тулупников в ответ пожал ему руку:

— До встречи. Хороших вам снов на новом месте.

Ночью Марейка выглядела совсем иначе, чем в светлую пору. Небо опустилось над землёй низко-низко. Воздух напитался тёплой душной влагой. Запах спелой травы щекотал ноздри.

Маленьким квадратиком светилось окно на заднем дворе Мохова. Полуоткрытая дверь пропускала дрожащий свет, который растекался у двери продолговатой лужицей.

— Что так скоро возвратился? — слышав скрип, спросил Мохов. — Или не понравилось?

— Понравилось, понравилось, — чтобы не вызывать нового вопроса, поспешно ответил Борис. — Хороша Марейка.

«А и правда, что-то в ней есть», — подумал он.

— Вот и я говорю, — сказал старик удовлетворённо и загасил свет, который держал, должно быть, для своего постояльца.

6

Борис открыл глаза. Его окружали незнакомые вещи. Поверх розовой простыни лежало расцвеченное узорами суконное одеяло. На шнуре справа, отгораживая тёмный угол, трепетала голубовато-жёлтая занавеска. От подушки пахло не то застоявшейся пылью, не то высушенной полынью. Где-то неподалёку поклахтывали куры, слышались приглушённые женские голоса.

«А-а-а... Марейка», — вспомнилось Борису.

Он сел на кровати, осторожно отодвинул занавеску и, удостоверившись, что в комнате никого нет, выбрался из своего закутка.

За окном влажно поблёскивали листья рябины, вплотную придвинувшиеся к зыбким стёклам. Значит, ночью, как и предсказывал Мохов, случился дождь. Потому и спалось так замечательно. На часах — двадцать минут девятого. Не много, но и не мало.

— Будет дождь, старик сказал, — негромко пропел Борис, подпрыгивая попеременно то на одной, то на другой ноге и яростно вращая руками, — Дождь, послушамшись, упал.

Наскоро сделав ещё несколько несложных упражнений, он подошел к тёмному зеркалу на комодe и подмигнул своему отражению:

— Привет, Борич! Ну и мастер ты спать.

Серые глаза его под припухлыми веками в полусумраке сделались тёмными. Ёжик жёстких волос примялся. Острый нос, губы, по-детски пухлые, казались изломанными. Но борода за ночь вроде бы подросла.

Борис показал своему отражению язык, натянул спортивные

брюки и, прихватив целлофановый пакет с умывальными принадлежностями, вышел из дому.

Старик сидел посреди двора на том же укороченном табурете и плёл корзину. Будто и не уходил никуда.

— Доброе утро, — поздоровался Борис.

— Доброе, доброе, — охотно отозвался старик. — Как поспалошь на новом месте?

— Прекрасно!

Борис подошёл к умывальнику. Затолкав края полотенца за пояс, пристроил на полочке карманное зеркальце и надавил скрипучий железный сосок. Вода брызнула в ладони тонкой сплюсненной струйкой. Она была чистая, студёная. Борис плеснул её на себя раз, другой и радостно засмеялся. Мускулы перекатывались под его гладкой, без единой шершавинки кожей. Приятно, чёрт возьми, чувствовать себя лёгким, сильным, ладно скроенным!

Умывшись, он взбил в чашечке для бритья пену и осторожно стал окантовывать бородку.

— А скажите-ка, Василий Леонтьевич, — несколько в нос спросил он, — что ждать за Аграфенами-купальницами?

— Как што? — удивился тот. — Перво-наперво Иванку Купалу. Это такой стародавний праздник расейский. Большой покос, а потом гульбище. Очищение. Ловчее меня по молодости через костёр никто из наших не прыгал. Ага. А на десятое июля Самсон будет. За им через день Петровки. Самый разгар тепла. Далё — Андрей, потом Казанская. Таким вот порядком, — отложив плетение, старик начал задумчиво загибать непослушные пальцы: — Прокл, Афиноген. Больше в этом месяце святых нет.

— Любопытно, — сказал Борис. — Я потом запишу.

Умывание возбудило в нём аппетит. Слава богу, припасов ещё достаточно: есть кусок колбасы, два пирожка с капустой, яйцо, сваренное вкрутую, есть яблоки, пачка чая, сахар. Осталось спросить у хозяина насчёт кипяточка... Но Мохов опередил его:

— Марей с утра на ферму упорола. Поить тебе на столе оставила. Так ты сам. Ага.

«Смотри ты, — удивился Борис. — Выходит, они меня и на довольствие поставили. Это хорошо. Только вот как рассчитывать-ся будем? — но тут же отбросил бесполезные теперь сомнения. — Ничего, как-нибудь рассчитаемся. Больше, чем у меня есть, всё равно не возьмут».

На кухонном столе под полотенцем его ждали холодец, творог, сметана, огородная зелень, свежий душистый хлеб и тёплое молоко.

«Да тут на двоих хватит! — не поверил глазам Борис. — Они меня что, за обжору приняли?»

Однако умял всё до крошки, не заметив как. Особенно пришёлся ему по вкусу холодец — тугой, сытный, настоящий, не то что желатиновая жижица с ливерной начинкой в общежитской столовой.

Из-за стола он поднялся умиротворённый. Заметив на стене рамку с фотографиями, подошёл к ней: ну-ка, ну-ка, кто тут запечатлён?

Снимки были наклеены внахлёст. Чёткие изображения со штампами дореволюционных фирм перемежались с блёклыми фотографиями советских лет. И на тех, и на других люди застыли в каменных позах. Строгие лица с одинаково вытаращенными глазами. Мужчины либо в картузах, либо в фуражках. Пиджаки тёмные, мешковатые. Бороды выпущены на глухо застёгнутые рубахи. Нога на ногу; сапоги начищены до блеска. У женщин на голове неизменный платок. Руки старательно уложены на коленях. И только дети простоволосы, улыбчивы.

Присмотревшись внимательнее, Борис не столько узнал, сколько угадал старика Мохова. Вот ему лет двадцать пять. Из-под козырька уверенно глядят небольшие серые глаза. Подбородок выбрит, усы лихо закручены. Вот Мохов с дочерью, вот с двумя, вот уже с четырьмя. Похоже, Мария Васильевна — самая младшая из них.

Будто по ступеням времени пробежал Борис, отмечая, как неузнаваемо меняет оно людей. Неужели и с ним когда-нибудь случится такое? Бр-р-р! Думать об этом не хотелось.

Он вернулся на свою половину. Открыл окно. Стёкла очистились от дождевых капель. В них вливалось серебристо-жёлтое, предвещающее яснопогодье, сияние.

«Пора и за дело приниматься, — напомнил себе Борис. — Что мы на сегодня имеем? — и весело перечислил: — Полное жилищно-продуктовое обеспечение — раз! Бригаду потенциальных диалектоносителей и сказителей — два! Живую историю — три! Ну и, конечно, планы на будущее... А вдруг Динка одумается и придет? Утро вечера мудреней».

Он выдрал из общей тетради несколько сдвоенных листов и принялся живописать Динке Марейку, её обитателей и прежде всего слепого старика с дрессированной курицей на валенке. Затем не без юмора изобразил себя, посещающего то местную библиотеку, то деревенский клуб, недавнее пиршество за добротным крестьянским столом, свои чувства, обращённые к ней, к Динке. Разогнавшись как следует, Борис вдруг взмыл на крыльях

поэзии. Она была навеяна чужими ритмами и интонациями, зато
ложилась на бумагу набело, без помарок:

*По стёклам слёзно
бегут дождинки.
Я их стираю.
Ты видишь, Динка?
А следом свётень.
Он их осушит,
Согреет небо,
прояснит души.
Услышь мой голос,
явись скорей-ка!
Нас ждёт Купала,
нас ждёт Марейка.
Ау!
С разбега
ныряю в эхо,
Где ты царишь,
как Эдита Пьеха.
Чу! Из глубин
в ответ: Дин-Дин...*

Подумав, он дописал: «Срочно сообщи, когда ждать. Колено-
преклонённый Б. Д.».

Письмо получилось объёмистым. Кое-как затиснув его в кон-
верт, Борис старательно заклеил края и, полюбовавшись на дело
рук своих, сунул в рабочую тетрадь. Пусть при нём будет.

Теперь можно и со стариком пообщаться. Счётчик включён...

7

С Моховым он проговорил до обеда. Вернее, старик говорил, а
Борис слушал, делая в тетрадке ему одному понятные пометки.
Некоторые фразы он успевал записывать так, как старик произ-
носил их.

К своему удивлению, он узнал не только дни народного кален-
даря, но и то, что берёза, скажем, горит жарче осины, а потому её
обычно запасают на зиму, летом же используют на дрова осину.
Что на поле или в лесу для костра лучше брать лиственницу: смо-
листая и не даёт искры. Что из той же лиственницы, к примеру,
хорошо делать колодезные срубы и оклады изб — «ни в жисть не
сопреют»! Что валеные сапоги переселенцы называют кáтанками
— по-вятски, а подошвы сапог — почвой. Что бродни — это вовсе
не резиновые вездеходы, а сапоги с кожаной почвой. Что валенки

катают в Марейке и посе́йчас — вышиваные и печатные. Что сельсовет старики величают сбóрней. Что раньше на рождество деревенские откупали чью-нибудь избу и устраивали вечорки. Что бадик — это палка для ходьбы, клюшка — кочерга, а веник без листьев — голик. Что полевого кузнечика раньше называли изок, а июнь свиристенем, потому что в июне кузнечики свиристыят с особенной силой. Что воробей — это чивиль, и как раз поспела пора ему птенцов на крыло ставить. Вот почему сейчас недосуг кричать ни чивилью, ни каким-то другим птахам...

Пока они беседовали, небо совершенно очистилось от туч. Солнце, яркое и томительное, вышло в зенит.

По улице медленно проехала машина с белой — из угла угол — полосой. Почтовка. Заметив её, Борис бросился к калитке.

— Эй! — заорал он. — Погодите!

К его удивлению, машина остановилась.

— Ну, чего тебе, хлопец? — выглянул шофёр.

— Вы не в Синий Яр? Возьмите письмо! Мне срочно нужно.

— Ей? — хитро улыбнулся водитель.

— Ей!

— Раз так, не сомневайся: получит без задержки.

Почтовка запыхала дальше. Вон как всё хорошо получилось — и шофёр попался душевный, и письмо Борис вовремя написал.

Вернулась с фермы Мария Васильевна, проворно разогрела щи, позвала обедать.

— Как там Улита Девушкина: всё бузит? — поинтересовался у неё старик.

— Спокою нет! Хоть ты што делай, — сокрушённо подтвердила дочь. — Не нравится, вишь ты, коровёшек за титьки дёргать.

— Ну а Степан — он чего смотрит?

— Куда ему смотреть?! Третьего дня заявился на ферму пьяной, лыка не вяжет. Дай, говорит, денег, в город поеду. Ночью они не сладились. Утром на ней лица нет. Девки шутят: «Поделись опытом». А Улита на меня бросается — я ей завсегда виноватая... Сколько раз говорила Ефиму Назаровичу — не ставь меня с Девушкиной! А он всё: ладно да ладно.

— Вот я с ним поговорю, — пообещал Мохов.

Борис вытер губы расшитым полотенцем, поблагодарил хозяйку и отправился во двор — под тень берёзы. Не с руки ему чужие разговоры слушать. Да и неинтересно. Опять Девушкины... То хвалят их, то ругают. Хочешь не хочешь, а в голову втемяшатся.

Вот и у Достоевского такой герой есть — Макар Девушкин. Борис всегда думал, что это фамилия выдуманная, книжная. Оказывается, нет. В Марейке целое гнездо Девушкиных. А чем лучше

Кукуев, Курочкин или Лепёхина? Для сатирических типов в самый раз...

— Ты здесь? — вскоре присоединился к нему старик, — Ну и я с тобой маленько посижу, — он достал свой кисет, но Борис сунул ему в тёмные, будто лаком облитые пальцы сигарету. — Магазиленные? — старик помял сигарету в раздумье, потом сунул в рот. — А давай попробуем, што у вас за табак такой.

Воспользовавшись случаем, Борис как бы ненароком спросил, во что ему обойдётся питание и жильё у Моховых.

— И-и-и, — заперхал старик, — нашёл об чём говорить! Живи, не думай. Мы-ть понимаем, какие у студента достатки. Ага. Лучше скажи, куды теперь направляешься?

Ответ Мохова обрадовал, и вместе с тем опечалил Бориса. Вообще-то он никуда идти не собирался. Для отчёта и надо всего тетрадочку. Самое время передохнуть, отвлечься, а может, и соснуть часок-другой. Так нет, старик из дома его выпроваживает, ударником принуждает стать.

«Ударник УНТ! — мысленно поддразнил себя Борис. — Устного Народного Творчества! Звучит? — Звучит!»

— Ступай к Воротникову, — посоветовал старик. — Заодно приветы от меня передашь, угощенье. Мы с им да-а-вно не виделись. Скажешь, пускай наведается. Всенепременно. А то совсем отшельником стал. Укрылся у себя в лесу за Подкопённой и сидит.

«За Подкопённой? — оживился Борис. — А что, это идея! Самое время позагорать у речки», а вслух сказал:

— Пожалуй, я так и сделаю. К Воротникову так к Воротникову.

Он надел полосатые, по последней моде, плавки, сунул в спортивную сумку тетрадь, шариковую ручку, бутылку с самогоном, которую вручил ему для сторожа Мохов, и через огороды пошёл напрямик к речке.

За небольшим ложком с не просохшей ещё копёшкой сена он разыскал укромное место, разделся и залез в воду. В самом глубоком месте Подкопённая поднималась ему по грудь. У м е ж е н и л а с ь, как выражается старик Мохов, перестала в ы к л и н и в а т ь с я, а попросту — обмелела.

Вода приятно холодила тело. У самого дна чувствовалось бие-ние ледяных струй: где-то рядом пульсировали подводные ключи.

С обеих сторон к Подкопённой подступал лес. Борис не знал, как называются многие деревья, которые окружали его. Но так приятен шелест листьев, запах хвои, мха, влажной травы, так высветили поляну и кроны деревьев солнечные лучи, что у него закружилась голова.

Он выбрался на берег и, блаженно раскинув руки, растянулся

— Я его с Тулупом видел. Вроде студент. Вчера в клубе вертелся.

«Да это же Вадим Кукуев, — догадался Борис. — И л л ю м и н а т о р щ и к».

— А белый-то! Может, макнём его, ребята, чтоб не пережарился?

— Охота была...

— Макать не обязательно, а пошутить можно, — сказал Кукуев.

«Я тебе пошучу, — напружинился Борис. — Только подойди».

Но прошла минута, вторая, третья — никто не подходил. Кукуев и его спутники исчезли так же неожиданно, как и появились.

Борис открыл глаза и стремительно сел. Скользнул взглядом под дерево, где оставил одежду. Так и есть: вещи исчезли.

— Э-эй, шутники! — сложив ладони рупором, крикнул он. — Куда одежду дели?

Никто не отозвался.

— Э-э-эй! — снова крикнул Борис. — Имейте совесть!

И снова молчание, похожее на затаённый смех.

Борис бестолково заметался по берегу. Полез в кусты смородинника — вогнал в пятку занозу. Чертыхаясь, стал выбираться назад, и тут заметил на сушине напротив... брюки. Сандалии были привязаны к коряге у переката. А рубашку он нашёл и вовсе на другом берегу Подкопённой.

Булавки, чтобы вынуть занозу, у него, конечно, не оказалось, зато нашёлся значок с застёжкой. Главное — не теряться.

Ну вот, теперь полный порядок.

«Хорошо, что это была только шутка, — с облегчением подумал Борис. — А то бы пришлось к Моховым в плавках возвращаться. Весёлый тут народ, компанейский».

Только теперь он почувствовал, как саднит на спине кожа. Неужели сгорел? Этого только не доставало.

Обожжённое тело сопротивлялось прикосновению ткани.

Когда-то мама спасала от ожогов домашним способом: мазала простоквашей или тройным одеколоном.

— Хо, — неожиданно вспомнил Борис, — у меня же самогон в сумке для Воротникова!

Осторожно вынув из горлышка восковую затычку, он поморщился. Вот гадость! Запах препротивный, и вид не лучше. Однако, налив в ладонь мутноватую жидкость, смочил ею грудь и плечи.

Кожу приятно ожгло, защипало.

«Назагорался, называется!»

Одеваться он не стал, чтобы не пропахла одежда. Да и незачем. Пусть тело овеет лесной прохладой.

Путь Борису преградил высоченный забор, собранный из нерадиво оструганных, но плотно пригнанных досок. Растянутый гармошкой, он расходился в обе стороны, теряясь между частыми соснами.

«Лисятник», — догадался Борис и пошёл вдоль забора. Завидев решетчатые ворота, остановился. Морщась, натянул на страдающие плечи рубашку, медленно облачился в брюки.

Ворота были закрыты на огромный амбарный замок. Борис раздосадованно дёрнул его. К его удивлению, издав ржавый скрежет, замок открылся.

— Ну и ну, — покачал головой Борис. — Механизм марки «Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещён». — Потом, пронырнув за ворота, навесил замок на прежнее место и двинулся к клеткам.

В нос шибанул густой запах зверинца.

Завидев его, чернобурые лисицы на секунду замерли, потом снова начали метаться из угла в угол.

Лисята были размещены в дальнем углу. В их клетках лежала еда.

Заметив сторожку, Борис направился к ней. И тут услышал вкрадчивый тенорок:

— Гость недолго гостит, да много видит.

Борис оглянулся. Следом за ним семенил вёрткий дедок в зимней шапке, тот самый, что вчера ротозейничал в клубе.

— С чем принимать-то? — пропел он, подходя ближе. — С мёдом-пряником, али веник взять?

— Дмитрий Власович?

— Я и есть, — с довольным видом отозвался дедок.

— Меня к вам Мохов послал, Василий Леонтьевич. Привет передавал. И вот ещё... — Борис вытащил бутылку с самогоном.

— Ну, другое совсем дело, — обрадовался дедок и деловито заковылял к сторожке.

— Между прочим, — заметил Борис, шагая за ним, — у вас замок на воротах не закрыт.

— Ай-яй-яй, — с готовностью засокрушался сторож. — Выходит, ключи сильнее замка? Ай-яй-яй.

Не поймёшь, серьёзно он говорит или потешается.

— И лисы у вас голодные, — начал сердиться Борис. — Вон как мечутся.

Но Воротников вновь отделался прибауткой:

— Кубра на кубру щи варила, пришла бакура да всё выхлебала. В сторожке было тесно, неубрано, над столом веяли непри-

ятные запахи, почти такие же, как возле клеток. Если бы не чистый, напитанный травами и хвоей воздух, сочившийся сквозь половинку приотворённого оконца, в этой каморке задохнуться можно.

Вынув старую газету, Воротников раскинул её на столе перед гостем.

— Присаживайся, мил человек. Чем богаты, тем и рады.

Пока он выставял на стол не первой свежести копчёное мясо, пока вышелушивал луковицы и пытался располовинить задок чёрствого хлеба, Борис распахнул вторую створку подслеповатого окна и, пристроившись на уголке за скатертью-самобранкой, принялся записывать дедовы прибаутки.

— Это чё это ты там делаешь? — заинтересовался Воротников. Борис объяснил.

— Ну, валяй, валяй. Жалко ли чё ли?.. А я дак тебя ещё вчера приметил — с учителем.

Только теперь Борис разглядел собеседника как следует: огромный бугристый нос с красными прожилками, пройдошистые глазки, давно потерявшие свой цвет, бескровные губы, излучающие улыбку и добродушие, остренькие уши, седоватая щетина на подбородке. Одет абы как: пуговиц на рубахе нет, вместо них поблёскивают булавки, новенький военный китель явно с чужого плеча, башмаки с подковками.

Выждав, пока Борис рассмотрит его хорошенько, Воротников полюбопытствовал:

— Понравился, али как? — и застеснялся: — Я сейчас маленько не в форме — по старости лет, а когда-то ого-го-го... И партизанничал, и в колхозах был, и в городе на разных работах. Да тебе каждый скажет, кто такой Митрий Воротников!

— Уже сказали.

— Ну и ладно, — смиренно сложил руки на коленях дедок. — Тады объясни по порядку, какие тебе лучше песни-то петь — научные али не научные?

— Да любые, какие вспомните.

— С картинками али как?

— Можно с картинками.

— То-то и оно, — отхлебнув прямо из бутылки, Воротников удовлетворённо крякнул, сунул луковицу в рот и вышел на середину комнатёнки. Лицо его стало грустным, опечаленным.

— Осенние ночи не спал до полночи... — выговорил он речитативом, обхватив себя руками. Потом накиннул на голову серый носовой платок и пошёл мелко, подробно, по-женски кокетливо сложив на груди руки:

*Пришла ко мне радость,
Радость дорогая,
Свеченька милáя...*

Примолк и запел неожиданно приятным тенорком:

*Стукнула колечком —
Ёкнуло сердечко...*

Дедок передохнул и твёрдо, по-мужски, зашагал к двери:

*Пошёл отворяти,
За рученьку брáти.*

Борис быстро бегал шариковой ручкой по тетради, то и дело поглядывая на Воротникова и едва сдерживая смех. А тот, совершенно забыв о нём, входил в роль:

*Налил вина чару.
А сам выпил пару...*

Ужимки его становились всё более занятными. Будто мим, он изобразил телесные достоинства «свеченьки», то нетерпение, с которым она приникла к милому, его озноб.

*...Запросила хмелю,
Прыгнула в постелю...*

И тут начались настоящие к а р т и н к и.

Борис перестал писать. Его бил смех. Вот, оказывается, что имел в виду Воротников, спрашивая, научные или не научные песни петь.

— Хватит! — не в силах больше смеяться, попросил Борис. — Эта не пойдёт. Уж очень много ухабов.

Воротников оборвал песню на полуслове:

— Вить сам любые запросил. На гнилой товар да слепой купец. Кто нынче-то без ухабов ездит?

— Послушать могу и эти, но мне отчёт сдавать. В него любые не пойдут.

— Эти веселяе, — возразил дедок и вдруг, придурковато сморщившись, пропел на два голоса: — Чё хромашь, чуваш? — Да глаз болит... Такие ли?

— Уже лучше.

И они принялись выискивать в изрядно замусоренной памяти Воротникова песни и частушки, сказки и присказки. Иные из них не имели ни начала, ни конца, ни склада, ни лада, иные напоминали анекдоты явно городского пошиба, третьи замешаны исключительно на матерках. Устав от такой чересполосицы, Борис отложил ручку.

— Ты не бросай, не бросай на серёдке, — бдительно пресёк его саботаж Воротников. — Для науки, голуба, мелочей нет. Всё пиши, как есть! Я её из своей головы беру, чё ли? Я из народа беру, вот

откуда. Из самых недров... А тебе за это учёную степень дадут. Ты же студент? Вот и учись, пока есть от кого. Всю жизнь нас, как зайцев, гнали: то владей, то не владей, то под вождём, то подождём... Дождались, называется. Живём, мыло жуём да чóмором закусываем... Нет, оно, конечно, жить сейчас можно. Почему не жить? Кому нечего терять, тот, может, и найдёт. Вот я, к примеру, один, аки перст. Корми меня, не корми, а всё равно голодный. Хучь побеседую когда с умным человеком, так и на том спасибо. Выше лба уши не растут. А ты... ты... писать не хочешь, — и вдруг заплакал.

Подождав, пока он успокоится, Борис придвинул к себе тетрадь:

— Хорошо, Дмитрий Власович, записываю. На чём мы остановились?

— А ни на чём, — отмахнулся Воротников. — У меня вон лисы затыкали. Режим не тётка, в лес не убежит. Я при них, они при мне. Так что не обессудь.

— Я помогу? — предложил Борис.

— Не стоит утруждаться, — ласково, но твёрдо дедок начал вытеснять его из сторожки. — Приходи когда ещё словом перекинуться, — и повёл к воротам. — А Василию Леонтьевичу передай: стоит стоята, висит висюта, подошла акóта и ам! Запомнил? Ну и будь здоров. Правая тебе рука, левое сердце.

9

На следующий день, едва выйдя за ворота, Борис столкнулся с бригадиром. Тот был хмур, озабочен, однако остановился, чтобы узнать, нет ли у студента трудностей, пожеланий. Услышав, что нет, несколько посветлел лицом и даже поинтересовался, куда Борис путь держит. Узнав, что к Лепёхиной, сообщил, что та с утра пораньше в лес ушамотила — за травами.

«Тем лучше, — мысленно поблагодарил его Борис. — Не придётся ходить впустую. Время — деньги. Кто у нас следующий?.. Куренной и Колмогорова! А они совсем в другом конце Марейки живут».

— Так я пойду? — на всякий случай спросил Борис.

— Ступай, конечно, — удивился бригадир. — Я тебя вроде не держу.

В этот момент его и окликнул старик Мохов.

— Назарович, это ты? Зайди на время, разговор есть. Всё, вишь-от, собираюсь к тебе на беседу, да никак не соберусь. Об Улите Девушкиной помыслить надо. Ага. Грешить — не работать. Маню мою совсем с нервов сбила. Сама непутёвая, а другие вокруг её дурачками бегать должны.

Бригадир поморщился:

— Не ко времени разговор, Василий Леонтьевич, — но во двор вошёл.

— Про время ты лучше не говори. Оно у нас разве што на том свете ослобонится.

— Знаю, всё знаю. Думаете, у меня Девушкины не в печёнках сидят?

— А што такое?

— Опять Степан запил. Зашёл к нему утром, а он только мычит, стервец. К матери в больницу ездил, вот и причина. Жалко, мол, помирает, мочи нет... А мне что, не жалко? Ах ты, говорю, паразит, Марфу Ивановну позоришь! А он мне: правов у тебя на меня нет. Воспитывай словами, а то жаловаться буду. Тьфу да и только!

Память у Бориса цепкая. Имя Марфы Ивановны Девушкиной он уже несколько раз слышал. По мнению старика Мохова — святая душа. И учитель с Машей-библиотекаршей о ней пекутся, книги в больницу передают. А сын у Марфы Ивановны — оторви да брось. И невестка не лучше. За что ей такое наказание?.. Вот ведь как бывает.

— Я его с заречных покосов из-за Марфы Ивановны отпустил, — повинился бригадир. — Думал, при доме будет, под контролем у баб. А тут Мамченко... Ну и сошлись характерами, устроили мне подарок, труженики полей... — загнув в сердцах несколько коленец (не таких изобретательных, как у Воротникова, но тоже впечатляющих), бригадир вновь заговорил ровно и озабоченно: — Денёк разгулялся, лучше некуда, а на Старой Балке траву кидать некому. Вот такая у нас ближайшая сводка. Что делать, ума не приложу...

Спohватившись, что слишком долго стоит у ворот, Борис заторопился по своим делам. Очень надо чужие разговоры слушать!

На главной улице его ждала новая встреча, правда, теперь с племянником бригадира, Михаилом Фёдоровичем. На этот раз учитель был в сапогах, в кепочке и клетчатой рубаше с подвёрнутыми рукавами.

— Как успехи? — деловито спросил он.

— Лучше некуда, — отрапортовал Борис. — Успеваем! — и добавил слышанное вчера от Воротникова: — Был у тещи, да рад утёкши.

— Ну, раз прибаутками заговорил, значит, успехи и верно налицо, — по-своему воспринял его ответ учитель. — Бригадира случайно не видел?

— Видел. Они с Моховым о Девушкиных толкуют.

— Значит, ты уже знаешь?

— Конечно. Я всё знаю — и то, что мне надо, и то, что не... Кстати, что за странное имя — Улита? Первый раз слышу.

— Ничего не странное. По святцам — Иулитта. Но не в этом сейчас дело.

— А в чём?

— Людей в поле не хватает, — и вдруг лицо Тулупникова-младшего разгладилось. — Слушай! Раз ты всё знаешь, давай со мной в подборщики! Я вместо Девушкина, а ты вместо Мамченко... Нет, честное слово. Вон ты какой здоровущий!

Похвала учителя приятна Борису, но с какой это стати он должен вкалывать за деревенскую пьянь? У каждого своя работа... И потом — он на практике, своих забот хватает.

Так Борис и сказал Тулупникову, но у того свои резоны:

— Я не за пьянь зову тебя работать. Я — чтоб бригада не пострадала. Она-то при чём? Пойми ты: бывают моменты, когда нельзя считаться, своя работа или чужая. Дело надо делать! Дело! А что до практики, так она сама к тебе в руки идёт. Я так понимаю: устное народное творчество — не горох, на печи не растёт. За ним в поле пойти надо, помяться, заслужить...

В конце концов Борис уступил учителю:

— Ладно, уговорил. Где наша не пропадала? — и запоздало удивился: — Ну чудеса, шёл в одну сторону, а пришёл в другую!

10

С обязанностями подборщика Борис освоился быстро. Он и не предполагал, что работа на поле окажется такой незамысловатой: бросай себе на тракторную тележку пласты разнотравья, которые сгребают в кучи девчонки-подростки, — и всё.

Женщины-косильщицы разбрелись по гриве неровным полукругом. Сенокосилка здесь не пройдёт — сплошь взгорки, падуны с низкими кустами. Вот и снарядил бригадир на гриву женщин.

Косильщицы ступают твёрдо, по-мужски перехватив отполированные ладонями косовища.

«Вж-жик, вж-жик!» — посвистывают литовки, опрокидывая наземь густостой. Коричнево мелькают среди зелени крепкие ноги. Сереют низко повязанные косынки.

«Вж-жик, вж-жик, вж-жик...»

Терпко пахнет срезанной травой, близким лесом. Всё набирает и набирает силу июльский зной. Что ни говори, макушка лета через прясло глядит.

Борис изредка поглядывает на косильщиц, на хромого Зория, правящего литовки, на девчонок-сгребальщиц.

Трава берётся на вилы легко, невесомо. Одно удовольствие не

спеша вздымать её, видя, как струятся на весу зелёные нити, и вдруг выдернуть вилы из пласта, чтобы он на какое-то мгновение повис в воздухе, а потом начал замедленно падать в пустую ещё тележку.

Тулупников понимающе улыбается и помогает Борису подцепить если не копну, то около того. Они благополучно переваливают траву через борт и дружно переводят дыхание.

— Эй, Лукерья! — кричит Зорий. — Куда прёшь! Левой, говорю, бери, там место гладкое.

Лукерья, высокая, могучая женщина в просторном платье, вытирает пот со лба и, не глядя в сторону Зория, отвечает:

— А мне и корявенькое сгодится.

— Фу, дура, — плюётся Зорий. — Тёлка необъезженная. Ей об деле, а она об чём? Вот скажу Ивану, он тебе задаст!

— Нашёл задавалу! — под одобрительные возгласы отвечает Лукерья.

И снова косильщицы дружно ступают по гриве.

Одна тракторная тележка сменяет другую, и кажется, им не будет конца-краю.

Предполдень поторапливает, горячит солнцем и работой.

Трава начинает жечь Борису лицо, забивается под воротник на не отболевшую ещё со вчерашнего дня кожу. Не помогает и кокетливый шейный платок. Хорошо хоть догадался захватить с собой тёмные, в пол-лица, очки. Самое время надеть их, не так будет слепить солнце и сеяться в глаза травяная пыль.

Но у защитных стёкол свои неудобства — теряются детали, исчезают краски. Кажется: тракторная тележка заворачивает вправо, в низинку, а на самом деле она маневрирует совсем рядом. Борис и сам не заметил, как зелёный борт надвинулся на него, как выбил из рук вилы и отбросил на пружинистую траву.

— Вот чóмор! — по-воротниковски ругнулся Борис.

Рыжая сгребальщица, работавшая неподалёку, тоненько захихикала.

— И совсем не смешно, — соорил ей рожу Борис.

Он вскочил и, самолюбиво вскинув голову, вновь принял стойку бывалого т р а в о к и д а. Нет, к и д о т р а в а... Но прежняя лёгкость покинула его. А может, он просто-напросто устал? Нет, нет, это саднит сожжённая кожа да набухла белая мозоль на правой руке — неудачные вилы, видать, попались.

Тело стонало и как будто даже поскрипывало. А тракторы с тележками всё шли и шли. Косильщицы всё махали и махали литовками — как заводные. Попробуй угонись за ними. Вон их сколько — на двоих-то подборщиков.

Теперь пласты ложились неуклюже, клочковато. Ровной шапки над кузовом, как поутру, не получалось.

Мозоль лопнула. Борис попробовал кидать так, чтобы не тревожить её, но из этого ничего не вышло.

А Тулупникову хоть бы что. Ещё и пошучивает.

«И зачем я согласился? — досадовал Борис. — Не моё это дело. Вот брошу сейчас вилы, и пускай сам, как хочет, выкручивается».

Но вилы бросить не позволяла гордость. Лучше дождаться обеда. Там как-то незаметнее будет.

«Скорей бы обед! Не могу больше... Пальцы не держат».

Но вот хромой Зорий встал и, сложив ладони рупором, по-петушиному закричал:

— Стой, бабоньки! Передых!

— Ишь, мужики нонче пошли, — устало рассмеялась Лукерья, — Им бы только передыхать.

— А и мужиков теперь не стало, — задиристо подхватила привлекательная молодуха. — Одна старёжь!

— Старый конь борозды не испортит, — рассудительно напомнил ей Зорий.

— А молодой всё равно лучше, — весело стрельнула в Бориса голубенькими глазками та и тотчас перевела взгляд на Тулупникова: — Михаил Фёдорович, может, к нам с товарищем присоединитесь? Очень уж охота поговорить с ударниками.

— Обязательно поговорим, — пообещал Тулупников. — Но сначала хорошо бы умыться.

— Умойтесь, умойтесь, — молодуха снова глянула на Бориса и, скорее ему, чем Тулупникову, объяснила: — Живец во-о-н в том ложке!

Родничок, или как его назвала косильщица, живец, был заботливо углублён и выложен изнутри досками из лиственницы.

Вода уколола губы.

Черпая воду стеклянной банкой, заботливо оставленной кем-то на суку, учитель полил Борису на руки. И вдруг плеснул на раскаленную спину.

Борис, не ожидавший от него такого ребячества, вздрогнул, потом засмеялся залиvisto, освобождённо.

— А ну ещё, — попросил он.

Тулупников улыбнулся:

— Хорошего помаленьку.

Приковылял к родничку Зорий. За ним пришёл тракторист. Он стянул с себя мокрую от пота рубаху, припал к воде. Тело его, нестарое ещё, с крупными мышцами, было непривычно белым. На

выступающих крыльями лопатках зеленели выцветшие наколки. И только руки и шея были медно-коричневого цвета.

Зорий раздеваться и мыться не стал, только смочил губы. Внимательно оглядел Бориса:

— Ты, паря, перегорел. Ишь, как спина пылает, — и, помолчав, добавил участливо: — И бородой зарос... Или ещё не бреешься?

Ничего не ответив, Борис стал торопливо натягивать рубаху.

Где-то неподалёку переговаривались женщины. Видимо, в той стороне был ещё один живец.

Зорий аккуратно развернул на траве чистую тряпку и начал выкладывать из холщёвой сумки сало, яйца, хлеб, лук, соль.

Как приятно сидеть под раскидистыми берёзами, ловить едва слышный лепет родничка, будто шорох сухой травы, медленно надкусывать толстый ломоть хлеба и запивать остуженным в роднике молоком.

— Слышь, Фёдорович, — нарушил молчание Зорий, — чево там нового в газетах пишут?

Тулупников отставил в сторону бутылку с молоком и начал рассказывать о последних событиях в стране и за рубежом. О чём? — Борис вскоре перестал понимать. Просто лежал, откинувшись на ствол берёзы, и смотрел в синее бездонное небо. Но вот глаза стали слипаться, а голоса спорщиков сделались ватными, далёкими...

Боясь заснуть, Борис открыл глаза и вдруг заметил, что тракторист неподалёку от него деловито собирает ягоду. Одну в рот сунет, другую в предусмотрительно захваченный с собой туесок. Сразу видно: человек с опытом.

А Борис что, хуже?

Пересиливая сладкую усталость, он сполз на землю. И увидел россыпь алых земляничин. Попробовал. Ох, и вкусные! Как тут не взбодриться? Не поляна, а скатерть-самобранка. Вот бы такую всегда под рукой иметь.

«Кого бы я на неё первым пригласил?» — задал он самому себе немудрёный вопрос. И... растерялся. Ещё вчера, не раздумывая, он ответил бы: Динку! Но сегодня она почему-то не вписывалась в мир нахлынувших чувств. В нём пробудилось ожидание чего-то нового, неизведанного, не имеющего пока определения, и от этого ещё более волнующего и желанного.

Насытившись, Борис сорвал веточку с крупной сочной земляничной и засунул её в нагрудный карман так, чтобы она из него выглядывала. Пусть все видят, какую он сегодня заработал награду.

К тому времени, когда на не погасшем ещё небе мерцали звёзды, вся трава на гриве была скошена.

— Как языком вылизали, — похвалил Зорий. — Молодцы, бабоньки!

— И то, — довольная похвалой, без обычной поддёвки согласилась Лукерья.

Женщины собирались домой. Борис поглядывал на них с завистью: веселы и уже свободны. А ему с Тулупниковым ещё работать и работать — вон сколько травяных куч напоследок нагребли.

— Может, помочь? — мимоходом поинтересовалась одна из женщин.

— Не стоит, — отказался Тулупников. — Мы сами.

«Почему это он за нас двоих решает? — насупился едва стоявший на ногах Борис. — Тоже мне, командир».

— Подмогнём, бабы! — словно прочитав его мысли, приказала Лукерья. — А ну, посторонись!

Кто-то выхватил вилы из рук Бориса. Кто-то встал возле тракториста:

— Заворачивай! Да не крутись ты, окаянный! Ставь колёсы сюда. Стоп! Стоп, кому говорю...

Тележку наполнили мигом. Потом другую.

Подошла пустая грузовушка.

— Ну, долго вас ждать? — закричал шофёр юношеским тенорком. — Возьются тут!

— Не сердчай, Витечка, — ласково запели бабы. — Сейчас идём, миленький.

— В кинуху из-за вас опоздаю, — смягчился Витечка. — Шевелись проворнее! — и помахал рукой Тулупникову: — А за вами Петрович заедет. Много осталось?

— На один раз.

Женщины уехали, и на гриве установилась непривычная тишина.

Притарахтел трактор Петровича, того самого, по примеру которого Борис успел полакомиться земляникой. Тракторист, ни слова не говоря, достал из кузова вилы и тоже стал кидать траву.

Потом они с Тулупниковым забрались в душную кабину, а Борис, с трудом сгибая натруженное тело, полез наверх, в кузов.

Зачихал мотор. Поехали. Наконец-то.

С наслаждением развалился на травяной перине, закинув руки за голову, Борис освобождённо следил за проплывающими над головой узорными ветками деревьев, вдыхал прохладный воздух, особенно приятный после дневного зноя, и ему казалось, что нет

ничего прекраснее этой долгожданной минуты покоя, этого ночного неба в звёздах, этой тишины.

Силосная яма оказалась обыкновенной траншеей, наполовину заваленной травой. По траве ползал трактор, старательно утрамбовывая её гусеницами.

Круги света, расходящиеся от фар, метались по траншее, выхватывая из мглы то неровный земляной срез, то берёзки, подступившие к ней почти вплотную, то фигурку маленькой гибкой девушки в белом.

— Ну как, Мария? — весело окликнул её тракторист. — К завтраму прикончим?

— Прикончим, — устало ответила девушка. — Надо бы.

«Мария, — подумал Борис. — И эта тоже Мария... Впрочем, в Марейке так и должно быть».

В это время Тулупников опустил задний борт тележки, высвободил из-под травы конец троса и потащил его к дереву, обёрнутому старой шиной. С помощью девушки обвязал дерево тросом и махнул трактористу: двигай!

Потихонечку трактор стронулся с места, и из тележки начала медленно выползать зелёная масса. Когда она легла на дно траншеи, Тулупников выхватил из копны грабли и трос и всё это вернул в кузов.

«Вот это да! — подумал Борис. — Мы там столько бросали, а здесь — раз-два и сдёрнули».

Трактор-трамбовщик с разгону полез на травяной холм, подминая его под себя прожорливыми гусеницами.

Из темноты вынырнула машина.

— Бригадир пригнал, — недовольным тоном объяснил своё возвращение Витечка.

— Вот и ладно, сейчас погрузимся, — ответил Петрович. — Не суетись.

Девушка-учётчица встала на колесо, но дальше подняться то ли не смогла, то ли не захотела.

— Ну, — сказала она Борису, и тот начал её подсаживать.

— Эх ты! Сам влезай сначала, — вырвалась из его неловких рук девушка.

Забыв об усталости, Борис мигом вскарабкался на машину и протянул ей руку. Она крепко ухватилась за неё — и вдруг стремительно взлетела наверх. И вновь Борис почувствовал рядом волнующую теплоту и упругость её ловкого сильного тела. Он хотел было сесть с ней рядом, но Тулупников тут как тут.

Машина дёрнулась и затрусилась по серым выбоинам. Из-под лавки выкатилось пустое ведро и, приплясывая, начало катать-

ся от борта к борту. Борис поймал его, но тут кузов захлестнули мощные ветки, и он повалился на Петровича. Тот подхватил его и уместил рядом с собой. Сказал дружески:

— Баба Яга на метле ездит, а мы — на стиральной доске.

Но вот лесной коридор расступился, «стиральная доска» по-немногу разгладилась, сквозистый ветерок запел в ушах...

Нет, это запела учётчица:

*Махну я рукою,
Пойду на восход.
За дальней рекою
Мой милый живёт...*

Голос у неё приятный, ненавязчивый. Простая мелодия, ветер, взметающий волосы девушки, — всё это убаюкивало, успокаивало, проносилось мимо и вновь возвращалось.

*Река уплывает,
Качается след.
Себя забывают,
Любимого — нет...*

Борис закрыл глаза, и ему показалось, что он парит в темноте — между деревьями, душно пахнущей травой и звёздами, холодными, как остуженное в роднике молоко.

*Он выйдет навстречу,
Не зная меня.
А что я отвечу,
Что сделаю я?..*

Вот и Марейка. Машина выскочила на широкий, будто асфальтом укатанный большак. Здесь было посветлее, и теперь наконец-то Борис рассмотрел девушку. Чернявенькая, со впалыми щеками и сточенным подбородком, она выглядела более чем неприятно. А в полутьме у траншеи и потом в машине казалась красавицей. Что это — оптический обман или игра воображения?

«Да нет, просто умотался до чёртиков, — решил Борис. — Перегеройствовал».

Однако ему было приятно чувствовать себя работягой, таким же, как молчаливый Петрович, черноглазая учётчица, которой больше подошло бы имя Галка, как все, с кем довелось пластаться сегодня в Старой Балке...

Лишь бы Тулупников не выдернул его туда и завтра. Хорошего помаленьку!

Но учитель, прощаясь, ни о чём таком не сказал. По очереди пожав руки попутчикам, он выпрыгнул из машины и, не оглядываясь, направился к затейливо украшенному дому своих предков.

Грузовик покатил дальше.

Промелькнула библиотека. На двери под тусклой лампочкой чернел замок. Проводив его взглядом, Борис вдруг вспомнил, что надо спросить Марию-учётчицу, чьи это слова у песни, которую она пела.

— Как чьи? — удивилась та. — Общие. Из самодеятельности.

— Повторите их мне.

— Пожалуйста. Только мне сходить, — застучала она ладошкой по кабине.

— Ничего, я сойду с вами...

12

Борис проснулся оттого, что динамик, не выключенный с вечера, вдруг защёлкал, задребезжал и потом деловито возвестил:

— Так что пора на работу, товарищи!

Борис узнал голос бригадира и заинтересованно поднял голову.

— Слушай, Богданов, — принялся распекать кого-то Ефим Назарович. — Вчера ты подался косить для личной коровы. Но ведь было говорено: всем дадим время. Что, ты лучше других? Или не доверяешь? Напрасно. Я своими словами не бросаюсь. Так что не обижайся: десять трудодней мы с тебя на первый случай снимаем — чтобы второго не было. А сегодня выходи траву стоговать. Вот в таком разрезе.

Было слышно, как бригадир ёрзает на стуле, как сопит, распаясь:

— Ну, о Степане Девушкине и Николае Мамченко разговор особый. Привыкли, понимаешь, на чужих горбах ездить. Всё, хватит! Не нравится, катитесь из бригады к чёртовой матери. А безобразничать я не позволю. Объявляю обоим штрафные работы. И пусть только попробуют увильнуть. Откосимся, решим вопрос до конца. И ещё. Иван Семёнович, сними-ка их с очереди на мотоцикл. Пусть знают... Теперь разговор к тебе, Лукерья Ивановна: возмёшь к себе в звено Улиту Девушкину. По той же самой причине. И чтобы она у тебя ни-ни. А на ферму заместо неё пусть выходит Клавдия Курочкина...

Отчитав кого следует и сделав распоряжения, бригадир начал перечислять тех, кто хорошо поработал на уборке сена. Закончил неожиданно:

— Спасибо товарищам, заменившим вчера наших разгильдяев. Момент был трудный, но они проявили сознательность. Отзывы о них самые хорошие. У меня всё.

Динамик снова защёлкал. Раздалась бойкая спортивная музыка.

Борис приглушил звук до едва слышного попискивания. Ему

было приятно, что бригадир поблагодарил их с Тулупниковым. Жаль, бесфамильно. Впрочем, слухи по деревне разносятся быстро.

Он сладко потянулся, сцепил ладони — и чуть не вскрикнул: они словно битым стеклом полны! Мучься теперь с ними.

Перекусив и побеседовав с Моховым, Борис загадал: к кому нынче идти? Выпало к Лепёхиной. Так тому и быть.

Арина Яковлевна, или как называл её Мохов, Рина Яковна, оказалась довольно бодрой старушкой с острыми пронизательными глазами. Вся она, словно серым пухом, была обсыпана светлыми волосиками. Они торчали у неё из ушей, из носа, серебрились на лбу, на верхней губе, на подбородке, островками пробегали по цепким старческим рукам. Однако, когда Лепёхина отодвигалась в тень, лицо и руки её начинали лосниться, будто хорошо отполированное дерево.

Попасть к ней в дом оказалось не так-то просто. Минут десять она держала Бориса за приоткрытой дверью, выспрашивая, кто он такой, да зачем пожаловал, да какие-такие «складки» ему нужны, божилась, что ничего не знает, потому как «непамятная». Даже ссылка на распоряжение бригадира (естественно, выдуманное Борисом) не подействовала на неё.

— Нет... нет... нет, — твердила Рина Яковна, а сама всё плотнее и плотнее прикрывала дверь, из-за которой так сладко тянуло травяными запахами. Ещё движение — и просвет исчезнет, Лепёхина набросит крючок изнутри, и плакали надежды Бориса на беседу с ней.

«Вот зараза, — рассердился он. — Другие сами на запись набиваются, а эта спрятаться норовит, как мышка-норушка. Ну, нет, не на того напала», — и решительно сунул ногу в щель.

— Это как же тебя надо понимать? — обеспокоилась Рина Яковна, подёргав дверь. — В дом ломисси? Соседей позову!

— Да вроде не ломлюсь, — возразил Борис, и тут его осенило: — Обгорел я... И зубы со вчерашнего дня болят. Если беседовать не хотите, то хоть полечите. Не бесплатно, конечно. Мне Василий Леонтьевич посоветовал. Мохов. Очень он вас хвалил.

— Ишь, слепес, — голос Рины Яковны немного смягчился. — Скоко лет попрекался, знать не хотел, а тут, смотри ты, и ведьма у него до похвалы дослужиласи. Вспомнил карась засохшее болото.

— Насчёт ведьмы не знаю. А как лекарку он вас хвалил. Это точно. Народные средства, говорит, самые надёжные, никакие пилюли с ними в сравнение не идут. Сходи, говорит, посоветуйся с Риной Яковной, не пожалеешь, — и болезненно скривился. — Ноет и ноет, терпения нет!

И тут — о, чудо! — дверь перед Борисом распахнулась, высветив заставленные всевозможными склянками и кадушками сенцы.

— Чего стоишь? — поторопила его Рина Яковна. — Входи живей. Недосуг мне с тобой у порога копатца.

Борис торопливо проскочил в комнату с наглухо притворенными окнами, тесную, душную, с иконкой в углу.

«У каждого своя вера, — подумал он и выложил на стол трёшку. — А ну, посмотри, какая она у тебя, бабка! Цып, цып, цып!».

Лепёхина что-то занавесила, что-то сунула за печку — подальше от любопытных глаз. Ощупав зорким взглядом трёшку, велела:

— Рубаху-то сыми, — и, осмотрев спину Бориса, принялась натирать её запашистой мазью. — Щипать будет, так ничего. К завтраму отправишься.

Пользуясь случаем, Борис оглядел избу.

Потолок низкий, закопчённый, давно не белённый. В углу кровать, застеленная цветным лоскутным одеялом. Под кроватью большой эмалированный таз. На лицевой стене, как и у Моховых, рамка с фотографиями. На подоконнике цветы-вьюнки и зубчатые стебли алоэ. В углу — на ниточках — сушёные грибы. Тёмный, обитый жёстью шкаф, через полуотворённую дверцу которого виднеется старая посуда, серое полотенце. Низенький стол. Под ним — стоптанные валенки и берёзовый веник. У стены рукомошник, напротив — какое-то деревянное сооружение, прикрытое тканью в горошек.

— Что это? — спросил Борис.

— Тканая машина, — сварливо ответила старуха и поинтересовалась в свою очередь: — А с зубом у тебя какая неладна? Али выдумал?

Борис принялся путано объяснять, стараясь, чтобы его жалобы звучали убедительно.

— Тогда нако-вот, набери, где болит, и держи, скоко скажу, — сунула ему Лепёхина склянку с тёмной и вязкой на вид жидкостью. — Да не бойсь, не отравишьсья.

Пришлось набрать в рот п о й л о из склянки.

«Фу, пакость, — сморщился Борис. — Вот и поговори теперь, порасспрашивай. Думал перехитрить, да она меня самого вокруг пальца обвела: под видом лекарства затычку в рот сунула. И правда, ведьма».

Жидкость отдавала настоем из ноготков, которым в детстве поила Бориса мама, но ещё сильнее чувствовалась в ней полынная горечь, пробочный вкус коры и ещё каких-то трав.

Усадив Бориса на стул под иконкой, Лепёхина примостилась

рядом, взяла его руки в свои и что-то забормотала. Сначала он не мог разобрать слов, потом догадался, что она повторяет уже сказанное и, закрыв глаза, начал вслушиваться.

«Да это же заговор! — возликовал он. — Самый настоящий!».

Видимо, успокоенная его послушанием, Лепёхина зашептала свой заговор громче, отчётливей:

— Господи, благослови и боль останови, и вынь её из зуба насовсем, и сожги куколем, и развей по свету белому, по волнам морским, по странам степным. Вóрон, не крань, а ты, зуб, не кань. Будьте, мои слова, крѣпки и лёпки. Аминь!

Борис хотел было открыть глаза, но почувствовал: не время. И не ошибся. Лепёхина зашептала новый, по всей видимости, ещё более целительный заговор:

— Встань, раб божий, выйди из дверей дверьми, из ворот воротьми, поклонись рябине, скажи: рябина, рябина, вылечи зуб, а то я тебя всюё изгрызу — от боли большой, от рыд рыдучих, от снов трескучих. Дай мне помощь и облегчение. Нет моим словам недоговора и переговора. От тридевяти замков тридесятый ключ. Аминь!

И этот заговор Лепёхина повторила трижды. Потом спросила:

— Ну как, полегчало?

Борис утвердительно замотал головой, забулькал, заулыбался.

— Ну вот, посиди теперь, проникнись, а я покуда своим займусь, — проходя мимо стола, она ловко смахнула трѣшку и не без гордости сообщила: — У меня зубов — все, окромя двух. Крепки, ак дубки, не в пример нонешним. Меньше надо сладкостей есть, да куриную скорлупу толочь, да травки ведать. А главное — бога не забывать, — тут она истово перекрестилась на иконку и беззвучно зашевелила губами-шнурочками.

Вынув из кармана записную книжку, Борис начал торопливо записывать первый заговор.

— Это ты чегой-то? — забеспокоилась Лепёхина. — Чего-то пишешь? — неуловимо лёгким движением она выхватила из его рук книжку. — Думаешь, не вижу? Ошибаисси, — и сердито выдернула из неё едва надписанный листок.

Борис поднялся и с мирной, прощающей улыбкой проследовал к рукомойнику. Сплюнув в ведро старухино снадобье, неторопливо прополоскал рот и вытер руки носовым платком. Самое время подойти к фото-иконостасу.

Из верхнего ряда на него глянул бровастый мужик лет сорока, с большим хрящеватым носом и кудрявой, будто приклеенной бородой. К его плечу прислонилась девушка с мягкими привлекательными чертами лица. Что-то в ней показалось Борису знакомым.

— Неужели это вы? — обернулся он к Рине Яковне.

— Я. Кто же ещё.

— А рядом?

— Рядом Кондрат мой, — голос Лепёхиной дрогнул, напрягся, и вдруг она тоненько запричитала: — И на кого ж ты меня спокинул, Кондратий Гордеевич, одну-единёшеньку, в одной исподней, посреди чужих людей! Море песком не засыплешь, поле гребнем не вспашешь... Не обессудь меня, светлый образ, скоро встретимся, да не обрадуемся...

Пока Лепёхина горевала, Борис пробежал глазами ещё с десяток фотокарточек, безошибочно узнавая на них Кондрата Гордеевича. Судя по всему, он был невелик ростом, хотя на портретных снимках казался богатырём.

— И давно вы одна? — осторожно спросил Борис.

— А ты это у Мохова спроси, у слепса своего. Он знает!

Сказала, как отрезала.

Борис накинул рубашку и не спеша стал застёгивать пуговицы, прикидывая, как бы вновь затеять разговор. Лепёхина насторожённо следила за ним, поторапливая взглядом.

— А попить у вас не найдётся? — наконец спросил Борис. — Горло пересохло.

— Попей, — открыла дверь в сенцы Лепехина. — Тебе водички али молока?

— Лучше молока.

— Ну и правильно, — загремела крышками значарка. — Вот, угощайся, — и протянула ему кружку, налитую с верхом.

— Ух, холодненькое! — обрадовался Борис и, выпив, крякнул. — Будто с мороза. И как только оно у вас не скисает?

— Так ведь я во хлягу для холоду лягушечку кладу...

13

Пополудни Марейку облетела радостная весть: Еремей Курочкин новую киноленту привёз. Вроде индийская, в двух сериях. Всего один сеанс. Об этом шептались старушки у сельмага, сообщали друг другу ребятишки. Об этом упреждала встречных Богданиха, кривобокая, но скорая на ногу деревенская почтальонка. Об этом же упомянула в разговоре с Борисом и Мария Васильевна, забежавшая домой на минутку с фермы.

«Вот это связь! — восхитился Борис. — Никаких афиш не надо».

Вообще-то он не любитель восточных мелодрам. Куда ближе ему европейское искусство, более тонкое, динамичное, многообразное, но сейчас выбирать не приходилось. Вечером, принарядившись, он зашагал в клуб.

Билеты продавал невысокий бритоголовый мужчина в чёрной кожаной куртке. Над приспущенным ремнём подрагивал объёмистый живот. Не надо иметь особой проницательности, чтобы догадаться, что это и есть легендарный киномеханик Еремей Курочкин.

Купив двухсерийный билет без места (двадцать копеек за серию), Борис вышел из клуба. До сеанса ещё полтора часа. От нечего делать он остановился у газетной витрины, равнодушно скользнул взглядом по страницам районки — и вдруг споткнулся о знакомые фамилии: «...Не желая оставаться в стороне от забот родителей и старших товарищей, школьники помогают взрослым, — прочитал он. — Только за три дня Света Жильцова, Маша Девушкина, Вася Куренной и Алёша Мамченко из Марейкинской восьмилетней школы заготовили и сдали 34 % веточного корма...».

— Тридцать четыре процента от чего? — невесть у кого не без ехидства спросил Борис и от души похвалил подрастающую смену марейкинских землеробов: — Так держать! Шагайте в будущее своим путём, не повторяя нетипических поступков родителей! — затем, памятуя о своём участии в здешней косовице, торжественно заключил: — Да здравствует братская солидарность города и деревни! Аминь.

Рядом никого не было. А жаль. Понимающая улыбка ему сейчас не помешала бы. Да где её в Марейке найдёшь? Это же не студенческий Томск, острый на язык, общительный, непредсказуемый. Здесь люди другого закваса — добрые, работающие, но какие-то... одноколейные, излишне простоватые.

Чтобы скоротать время, Борис гуляющим шагом двинулся в сторону торцевой площади. Он и сам не заметил, как очутился возле библиотеки. Замка на двери не было. Значит, Маша на боевом посту.

— Зайти, что ли? — с нарочитой беспечностью спросил сам себя Борис и с той же беспечностью махнул рукой: — Ладно, зайду.

Поднимаясь на крыльцо, он машинально пригладил волосы, представил, как, переступив порог, небрежно уронит латинское приветствие Vale! — и тут же отчеканит: «Здравия желаю, товарищ Маша! Явился встать на читательский учёт!». Должно же у неё быть чувство юмора.

Однако, споткнувшись о строгий взгляд юной библиотечарши, Борис понял, что лучше обойтись без выкрутасов.

— Здравствуйте, Маша. Не ждали?

— Да как-то нет.

— И правильно... Извините, если я в прошлый раз что-то не то ляпнул. Собирался вчера зайти, да покос, понимаете...

— Слышала, — улыбнулась она. — Ефим Назарович по радиосвязи о вас с Михаилом Фёдоровичем сказывал.

И так её эта улыбка украсила, что Борис невольно залюбовался девушкой. И слово «сказывал» в её устах как-то к месту прозвучало. Ну а то, что в читальном зале кроме них опять никого нет, и вовсе подарок.

— Я насчёт стихов сибирских поэтов хотел спросить, — на ходу придумал причину своего появления Борис. — Не дадите ли вы мне почитать вашу тетрадку? Любопытно взглянуть.

— Даже и не знаю, — растерялась Маша. — Ведь это же не библиотечная книга. Удобно ли?

— Удобно! Удобно! — заверил её Борис. — Читайте, что я тоже самодеятельность, только городская. Верну в целости и сохранности. Честное пионерское!

— Ну, если пионерское, тогда конечно, — вновь улыбнулась Маша и достала тетрадку: — Вот. Берите.

— А формуляр?

— Какой формуляр?

— Читательский. Я ведь под роспись хочу стихи взять. Как положено. С гарантией, что верну.

— Раз вы настаиваете, пожалуйста, — она достала чистую читательскую карточку и приготовилась заполнять. — Говорите ваши данные.

— Давно хотел вам сказать, Маша, что зовут меня Борис. Можно Боря. А если полностью, то Борис Родионович Дымков. Но я не из тех Дымковых, что в Марейке, а из Кузнецких. Сейчас проживаю в Томске по адресу: проспект Ленина, дом сорок девять. Это общежитие ТГУ. Не женат... Ах да, это не обязательно... Что ещё? Сюда прибыл на диалектологическую практику.

— Достаточно, — прервала его Маша. — Вот, распишитесь. И давайте будем поторапливаться. Я закрываюсь.

— Святое дело, — одобрил её намерение Борис. — Как говорится, всему своё время. Я человек дисциплинированный. Сказано — сделано.

Показывая свою дисциплинированность, он взял синюю тетрадку и чинно вышел на улицу. Но не ушёл. Очень уж куцым получился сегодняшний разговор с Машей. Хотелось продлить его. Но как? Как?

Закрыв библиотеку, девушка прошла мимо, даже не взглянув на него.

Задетый за живое, Борис двинулся следом. И залюбовался. Какая у неё легкая стремительная походка. Тело плотное, хорошо сбитое. пышная коса подрагивает в такт шагам. А вся её ладная

фигура будто врисована в диск закатного солнца.

У клуба Маша оглянулась, словно проверяя, здесь ли Борис, и торопливо скользнула внутрь.

Только теперь он вспомнил, что в кармане у него лежат билеты на душещипательную индийскую мелодраму. Осталось ими воспользоваться.

Он влетел в полутёмный зал и, остановившись у стены, заскользил взглядом по заполненным почти полностью рядам. Прямо перед ним восседали старики и старушки в наушниках. Переговариваются знаками с киномехаником Курочкиным, который одновременно и в зал впускает, и за порядком следит, и что-то у себя на самодельном пульте регулирует. Похоже, наушники — его изобретение. Ну чем не деревенский Кулибин?

То здесь, то там Борис замечал знакомые лица. А вот и Маша. Она пристроилась с краю во второй половине зала. Кажется, рядом с ней свободное место...

Так и есть. Откидное сидение рядом с Машей пустовало.

— Разрешите? — с подчёркнутой официальнойностью занял его Борис.

Курочкин, как будто только и ждал этого, выключил свет. Под зажигательную восточную музыку на экране замелькали титры. Зрители замерли в трепетном ожидании.

Воспользовавшись моментом, Борис придвинулся к Маше и зашептал:

— Вот не думал, что мы снова сегодня встретимся. Здрóрово, да?

— Давайте смотреть молча, — отодвигаясь, попросила она. — Неудобно как-то...

Пришлось подчиниться.

«Было бы что смотреть, — обиженно думал Борис, наблюдая за песенными страданиями героев фильма. — Надо бы плакать, да смеяться хочется. Разве бы в городе я на такой примитив клюнул? Да никогда в жизни! И Динка не клюнула бы. У неё вкус чёткий: итальянская, французская и американская классика. А здесь, похоже, и рак — рыба».

Один, потом другой, потом третий раз Борис тайком глянул на Машу. Её лицо в полутьме светилось, а руки то стискивали подлокотник, то всплёскивали радостно и опечаленно, то напряжённо подпирали щёки, а порой и слезинки смахивали. И была в этом такая непосредственность, такое сопереживание, что Борису и самому захотелось настроиться на фильм, воспринимать его не разумом, а сердцем.

Пусть и не сразу, но ему это удалось. Он вдруг почувствовал себя мальчишкой, которому всё ново, всё в диковинку.

Их плечи случайно встретились. Но на этот раз Маша не отодвинулась. Доверчиво глянув на него, она вздохнула:

— Вот как бывает! — и снова устремила взгляд на экран.

Три часа пролетели незаметно.

Однако, едва вспыхнул свет, Маша заторопилась:

— Бывайте! — и помахала кому-то рукой: — Девочки, я с вами!

Пропуская мимо себя семейные пары, Борис поплёлся к выходу в гордом одиночестве.

Над Марейкой плыла белая ночь с тусклыми искрами звёзд над тёмной щёточкой леса. Расходясь в разные стороны, громко переговаривались деревенские жители. Борис пристроился к одному из потоков и шёл в нём до тех пор, пока тот не стал распадаться, исчезать. Тут-то и настигла его шальная частушка:

*Эй, студентик-студент,
Ты закрой тетрадку.
Подойди на момент,
Почешу за пятку.*

Следом — вторая:

*Борода моя, борода
Без начёсу не растёт.
Лучше я её отрежу,
Чтобы не было забот.*

«Так это же обо мне, — запоздало догадался Борис. — Смотри ты. Современный фольклор. Значит, я у деревенских молодок на прицеле. Уж не чернявая ли это учётчица Маша резвится?».

Он остановился, закурил. Сигарета показалась кислой. Бросив её в траву, хотел было отправиться дальше, но тут перед ним вырос Вадим Кукуев.

— Значит, так, — сказал он деловито. — Если ты ещё будешь вертеться вокруг Маши, пожалеешь. Понял?

— С какой это стати?

— А с такой. У неё жених есть. В армии служит. Так мы тебе за него дороги не дадим.

Лишь теперь Борис заметил, что Кукуев не один: в сторонке замерли ещё трое.

— Я тебя по-хорошему предупредил, — решил не затягивать объяснения Кукуев, — вот и решай, как тебе дальше быть. Чтобы по-плохому не вышло, — и не спеша присоединился к компании.

«Ну и денёк выдался, — посмотрел им вслед Борис. — То вдоль, то поперёк... Да если хотите знать, ко мне скоро моя пассия придет! То-то рты раскроете»...

«Молодожёнов» — Егора Матвеевича Куренного и Екатерину Степановну Колмогорову — Борис заранее не принимал всерьёз. И зачем понадобилось старикам на восьмом десятке сходиться?

Его он представлял «полетаем и верещагой», под вид сторожа на лисятнике Воротникова, её — героиней пушкинской сказки о рыбаке и рыбке. Интересно, какими они окажутся на самом деле?

И вот Борис стучит в дверь небольшого бревенчатого дома с узорными наличниками, не такими, правда, роскошными, как на доме Тулупниковых, но тоже приметными. Во дворе — чистота и порядок. Штакетник ровный, голубенький, калитка, ведущая в огород, сверху выкруглена и обита дугой от коромысла. Поленица укрыта украшенным по краям навесом. Сарай ещё крепкий — с форточками в нижней части двустворчатого зева, вероятно, для птицы. Но никакой живности не видно. Бориса не удивило бы, если бы дорожки во дворе были выстелены половичками.

Он постучал в косяк, потом толкнул дверь. Она открылась. Борис вошёл, на всякий случай громко спросил:

— Есть кто-нибудь?

И тотчас услышал в ответ:

— Пришёл кто-сь?

Непонятно, кто кого окликает.

А вот и хозяйева: он — статный старик с умными внимательными глазами, косым шрамом, рассёкшим бровь и щеку, и пышной ещё, ослепительно седой шевелюрой (вчера эта самая шевелюра из ряда г л у х а р е й упрямо застила Борису экран); она — полная дебелая бабуня (из тех, кто часами проводит у сельмага).

Поздоровавшись, Борис начал объяснять, кто он такой и зачем пришёл. Куренной подступил к нему чуть ли не вплотную, заинтересованно разглядывая. (Позже Борис догадался, что он не его разглядывает, а, как все тугие на ухо люди, следит за движением губ).

— Проходите, — наконец вымолвил Куренной. — Примай гостя, Катерина.

«Ну и голосище! — с уважением подумал Борис. — Как у дьякона. На одном конце деревни шепнёт, на другом эхо отзовется».

Екатерина Степановна неожиданно легко для своего расплывшегося тела подхватила из-за такой же, как у Лепёхиной, «тканой машины», торопливо убрала мотки пряжи, деревянные колодки, гребешки, смахнула в ладошку сор и с видимым удовольствием принялась выполнять волю с а м о г о — накрывать на стол.

— Сидайте, — между тем громыхнул Куренной и, удобно раз-

местив напротив Бориса своё сухое сильное тело, подался к Борису: — Га?

Борис догадался, что в переводе с глухонемого языка это означает: слушаю, говорите.

А о чём говорить? Он уже и так всё сказал. Пришлось начинать заново.

Куренной слушал внимательно, приложив к уху лодочкой огромную ладонь, одобрительно кивал, потом сказал ни к селу ни к городу:

— Вот и я думаю: будем здоровы! Га?

Наступила тягостная пауза.

Почувствовав неладное, хозяйка прервала свои хлопоты, чтобы растолковать ненаглядному, зачем пожаловал Борис Родионович (имя-отчество гостя она не произносила, а будто выпевала: Бо-о-рис Роди-и-о-о-нович).

В молодости Колмогорова, видимо, была хороша собой. Да и сейчас она по-своему привлекательна: морщины не портят её лица, глаза чистые, ясные, нос прямой, правильный. Серые косички аккуратно забраны под ослепительно белый платок. Только вот неулыбчива почему-то.

— Сказки-небылицы? — удивлённо глянул на свою благоверную Куренной. — Так это по твоей части, Катерина Степановна. Сама знаешь, я до них не больно охочий. А ты мастерица.

— Скажешь тоже, — по-стариковски засмушалась она.

— Мастерица, мастерица! — заверил её Куренной, а Борису общил: — Её у нас далеко знают.

— Тем более! — обрадовался Борис и предупредил для порядка: — Я записывать буду. Не возражаете?

— Оно, конечно, — отёрла губы платком Колмогорова и спросила супруга в левое ухо: — Какую посоветуешь, Егор Ефимович, — про деда Кагана или, может, про Кощея Трепатого?

— Лучше про Кощея, — распорядился Куренной. — Про него поучительней.

Колмогорова помолчала, настраиваясь, потом тихим дребезжащим голосом начала:

— Было это или не было, врать не буду, а только появился у нас на Сибири зловредный зверь с бумажными крыльями и в шляпе. Прозвище ему было Кощей Трепатый, потому как при всём своём богатстве он в гуню одевался — в отрёпки, значит. И сам гунявый был, словно соплей объелся. Не поймёшь, по-каковски объясняется. Слова вроде наши, а на чужеземный лад...

Начало Борису понравилось. Всё ёмко, точно, красочно. И Кощей совсем не такой, как в известных народных сказках.

— При себе он имел семихвостую плётку-шелыгу, — заметно окрепшим голосом повела рассказ дальше Колмогорова. — Устрашал ею людей. Словом, супостат был. Любил, чтобы под его команду плясали, да не как-нибудь, а срамно, по-бесовски. До того расхотелся злодей, что задумал новый потоп устроить. Как в Ветхом Завете. Только жидковат он для этого — гонору много, а силёнка-то вся в шелыге, бумажных крыльях да в заморской шляпе...

Куренной слушал супругу заворожённо, хотя знал всё, что она скажет, наперёд. При этом он бдительно следил за Борисом: всё ли тот успеваешь записывать, как воспринимает услышанное, и, похоже, был пока доволен его поведением.

— Стал тот Кощей для острастки сибирского люда деревья с корнями дёргать и в реки кидать, — снова отёрла губы платком Колмогорова. — Уморился с непривычки, пупок надорвал, но воду всё ж таки запрудил. Пошла она верхом и стала затапливать городской и деревенский народ в домах, посева в полях, зверя в лесах. Что делать? У кого защиту искать?..

После этих слов Колмогорова так строго на Бориса посмотрела, будто это он, а не Кощей Трепатый, потоп устроил, и теперь за это отвечать должен.

— А тут как раз бабушка-задворенка на краю деревни жила, — не дождавшись ответа на свои вопросы, вздохнула Колмогорова. — Да вот беда: сынок-то у неё неходячий был. До тридцати лет в постели лежал, маялся, с материнских рук ел и пил. Оттого и прозвали его Степкóм Лежаниным. Вот и на этот раз лежит себе Степóк в избе, взрослым телом не шевелит. Вдруг вышибает вода окна-двери и уносит его неизвестно куда. Стал тонуть хворый молодец, а ему не тонет. Откуда ни возьми силы появились, плавать разудалая. Гребнёт рукой — улочка, гребнёт другой — переулочек. Так и причалился на мелкое место. На окорачки встал, глядь — а над ним Кощей Трепатый носится, бумажными крыльями шебаршит. Пока потоп делал, шляпу с башки потерял, шелыгу тоже, остался в чём мать родила. Костлявый такой, незавидный, на лысой голове хоть блины пеки. А туда же, страшает: «Ты мне, чуду-юду заморскому, поклонись, чтобы я тебя под свои законы взял, правой рукой сделал, бумажной деньгой озолотил. А коли не поклонись, утоплю вместе со всеми. У меня чёрт в подкладке, сатана в заплатке. Где я пройду, трава не растёт, солнце не встаёт, бабы не рожают»...

«Ай да Колмогорова! — мысленно восхитился Борис. — Это же переделка былины о мужицком богатыре Илье Муромце. Он тоже тридцать лет сиднем сидел, а потом очнулся и давай Соловья Раз-

бойника в плен брать, Идолище Поганое громить, Калина-царя и его силу тёмную, иноземную, побивать. Разница лишь в том, что в сибирском варианте Илья Муромец Степком Лежаниным зовётся».

А Колмогорова увлеклась, в роль вошла, прямо-таки державным голосом заговорила:

— Но не тут-то было. Изловчился Степок, схватил Трепатога за бороду да и заскочил на него верхом. «Уймись, — говорит, пёшелудивый, не то пришибу. Теперь, говорит, моя над тобой полная сила. Ты мне её дал, когда утопить хотел. Расколдовал, сам того не ведая. Так и быть, отпущу тебя, когда распрудишь от деревьев реки, дашь слово по чужим землям не шастать, людей в обман не вводить. И запомни: у нас бабы коромыслом соболей бьют, а на тебя, потешного, и плевка хватит». С тех самых пор Кощей Трепатый не одно обличье сменил. Где силой взять не может, обманы и соблазны стелет. Мягко стелет, да жёстко спать. Он влазень известный. Ждёт, когда Степка Лежанина не станет, а люди вокруг уши на всякие прельщения развесят. Одно от него теперь спасение: ни верой, ни разумом, ни согласиём не опокинуться. Не то догорит свеча до полочки, как эта моя быличка догорела.

И так она это сказала, что Борису не по себе стало. Ох и любят же пожилые люди молодых страшать! Всюду им кощеи мерещатся, козни и прельщения... Хотя смысл в этой небылице есть. И немалый.

— Насчёт бабкиной нескладухи что скажешь, студент? — возпросительно воззрился на него Куренной. — Сгодится?

— Ещё как сгодится! — горячо заверил его Борис. — Да у нас на кафедре она на ура пройдёт. Будьте спокойны, — и запоздало поблагодарил Колмогорову: — А вы и впрямь мастерица, Екатерина Степановна. Так бы слушал и слушал.

— Правильно говоришь, — не без гордости подтвердил Куренной. — С ней у нас никто по этой части не сравнится.

Тут-то Борис и забросил удочку:

— А теперь ваша очередь, Егор Матвеевич. Сказок не любите, тогда про былое вспомните. Мне всё годится: про Марейку, про людей, про памятные случаи из жизни. Их у вас, чувствую, на взвод таких, как я, практикантов хватит. Так ведь?

Прочитав по губам Бориса сказанное, Куренной шевельнул кустистыми бровями:

— Успеется. За один мах дерево не рубят, — затем напомнил хозяйке: — Пора бы и почаевичать, Катерина. Га?

— Ой, пора! — засуетилась Колмогорова. — Сейчас, Егорушка. Мы это дело вмиг поправим...

Они сидели вокруг стола, отхлёбывая из пузатых фарфоровых чашек крепкий, настоянный на рябине чай. Посреди стола сипел и отфыркивался самовар. Рядом с ним на блюде горкой возвышался колотый сахар, а в глиняных чашках исходила вязким саднящим соком лесная, чуть помятая, оранжево-прозрачная кислица, важно круглилась огородная клубника, притягивала взгляд домашняя сдоба.

Борис сунул в рот крепенький кусок сахара и мельком посмотрел на своё изломанное отображение в самоваре. Когда-то с ним уже было такое: сладко пощипывал дёсны тающий сахар, над столом витал запах не то спелой ягоды, не то молоденьких овощей, поблёскивал пузатый, распаренно булькающий самовар. В комнате стояла такая же домашняя тишина, сопровождаемая тягучими прихлёбываниями. А он, Борис, тайком показывал язык своему двойнику в самоваре. Потом, словно котёнок, тыкался в блюде, стараясь подавить приступ нахлынувшего веселья. «Не балуй за столом», — ласково строжилась бабушка, приехавшая в гости к старшему сыну со своим самоваром.

Куренной пил чай молча. Осторожно, стараясь не смять, он брал клубничину под корешок-звёздочку, губами обрывал мякоть. Бросив корешок в алюминиевую чашку, отхлёбывал чай. Потом тянулся за следующей ягодиной. Но мысли его блуждали где-то далеко-далеко. Об этом говорил отрешённый взгляд и застывшая улыбка.

Чтобы как-то скрасить его затянувшееся молчание, Колмогорова стала расспрашивать Бориса о родителях, о Кузнецке, о студенческом житье-бытье. Будто он для этого только и пришёл.

Но Борис не в обиде. Свой сегодняшний план он, считай, перевыполнил. Теперь можно чайком побаловаться, сладкими творожениками и неспешной беседой с радушной хозяйкой. А потом встать и вежливо уйти. Не хотел Куренной одним махом дерево для Бориса срубить, пусть теперь другому практиканту свою удачу показывает... Если, конечно, таковой найдётся. В другой раз не будет в молчанку играть, а сделает то, о чём его просят.

Однако уйти Борис не успел. Куренной вдруг ожил. Взгляд его наполнился испытующим вниманием к гостю. Улыбка обрела смысл.

— Погодь-ка, студент, — оборотив своё строгое, стянутое шрамом лицо к Борису, прогудел он: — Ты хотел памятный случай из жизни? Будет тебе случай. Аж из самой из Гражданской войны... Лихое время было, братоубийственное. А знать молодым надо. Кабы не оно, так бы и жили по-старому — одни в роскоши, другие

в убожестве. На бар и мужиков делились. У тех и этих своя правда. А справедливость одна. Ну и как тут быть? Га? Не замочив ног, реку не перейдёшь... Нашу Марейку взять. Маленькая она — не на всякой карте есть. А знал бы ты, какие тут страсти кипели, когда в ней советская власть укоренялась! Хоть новую «Войну и мир» пиши...

По-своему истолковав его последние слова, Борис приготовился записывать исповедь Куренного. Но тот положил ему на руку сухую увесистую ладонь:

— Я с тетрадкой беседовать не привык. У неё глаз нету, одни буквы. Для сказок они, может, и годятся, а для живого разговора не сильно. Давай лучше напрямую гутарить. Га?

— Как скажете, Егор Матвеевич, — с готовностью согласился Борис. — Мне напрямую тоже удобней.

— Тогда слушай и соображай. Время на ту пору смутное было, колчаковское, но, Гражданская война уже в завязку пошла. Последняя сотня белых в сторону Обь-Енисейского канала ушла. Чем не праздник? Можно отсеяться без опаски...

Борис слушал внимательно, и перед его мысленным взором возникали события давних лет. Согретые юношеским воображением, они укрупнялись, обретали плоть, краски, динамику...

...Май тысяча девятьсот девятнадцатого года. Партизаны теснят колчаковцев, а те в злобе мечутся по округе, ища поддержки.

Вот они, загнанные, но пока ещё сильные, скачут по лесной дороге к Марейке. А там, не подозревая об этом, собрались деревенские активисты, чтобы обсудить планы посевной. Среди них и Егор Куренной, такой же «молодехонький», как Борис, но уже показавший себя как вожак комсомольской ячейки.

Внезапно в окно влетел девичий голосок:

— Ой, белые!.. Ой, мамочки! Тикайте!

Назар Тулупников выглянул на улицу и велел:

— Уходим огородами. Сбор у Старой Балки.

Вслед за Назаром вымахнул во двор Куренной. Перевалившись через плетень, он понёсся меж грядок к спасительному прилеску у Федькиного оврага. Там их и настигли конники штабс-капитана Решетова.

— Шашками не бей! — скомандовал сотенный и, рванув удила, чуть не опрокинул своего каурого. — Поговорить надо!

Но приказ запоздал: молодой конник в заломленной папахе уже коротко взмахнул палашом. Кровь залила глаза Куренному.

— Дурак, всё представление испортил! — выругался Решетов.

Кони шли кругом, танцевали от нетерпения. Решетовцы не

спешили. Наслаждаясь своим могуществом, они наезжали то на коренастого, пружинистого Назара, то на окровавленного Егора.

— Ну, что, краснопорточники, чувствуете своё удовольствие? — куражился пожилой мордатый казак. — Это мы вам сполна организуем!

Егор услышал рядом тяжёлое дыхание лошади, напряжился и, ничего не видя, наудачу выбросил вперёд и вверх свой могучий кулак.

Он не ошибся: удар пришёлся прямо в горло штабс-капитана.

Решетов беспомощно завалился на бок.

Назар Тулупников подхватил с земли выпавшую шашку.

— Н-ну!! — выдохнул он и полоснул палашом мордатого казака. Но его тут же смяли, начали бить, чем придётся — сапогами, прикладами, кулаками. И забили бы, не вмешайся помощник Решетова, молодой приглядный прапорщик Ляуэр:

— Отставить самосуд! Мы не какое-нибудь Гуляй-поле. У нас всё должно быть по закону и справедливости... Тащите-ка их на площадь!

Тулупникова и Куренного приволокли к сельской сборне. Сгнали народ на торцевой круг. И пока колчаковский прихлебай Кондрат Лепёхин бегал за лестницей, Ляуэр говорил со своего буланого жеребца речь:

— Дорогие соотечественники! Господа крестьяне! Сегодня наша встреча омрачена великим горем: подлая рука оборвала жизнь боевого офицера, защитника свободы и справедливости Александра Семёновича Решетова. Он — ваш земляк, наш командир, кавалер многих наград, в том числе ордена «Освобождение Сибири». Вы спросите, чья рука могла подняться на такого человека? Я вам отвечу: рука нехристей! Вот они перед вами — так называемый председатель сельского совета и его верный щенок. Каждый раз, когда мы приходили к вам от имени Верховной власти, они трусливо прятались, предпочитая бесчестие открытому разговору о судьбах матушки-Сибири. И вот теперь показали своё подлинное лицо! — голос прапорщика вдруг зазвенел, наполнился гневом и непримиримостью: — Может ли носить их после этого наша родная многострадальная земля? Уверен, что мы все едины в святом и справедливом решении: нет, нет и нет! Так я говорю?

В ответ — молчание.

— Так я говорю?! — возвысив голос, повторил Ляуэр.

Старики в толпе начали креститься.

— Итак, — подвёл итог прапорщик, — Сход установил правосудную меру... — и сделал знак своим: — Исполняйте волю народа!

По широкой лестнице, принесённой Лепёхиным, казаки вта-

щили под самую крышу сборни оглушённого председателя сельского Совета. Двое подпёрли его тело рогатинами, двое прижали к доскам ноги. Молоденький солдат, почти мальчишка, влез на крышу и, поймав верёвкой под подбородок опавшую голову Назара, потянул вверх.

Здоровенный детина на лестнице ухмыльнулся и, не торопясь, стал вбивать огромный кузнечный гвоздь в правую руку Тулупникова.

Назар открыл глаза, но солдат на крыше ещё сильнее затянул верёвку...

На площади беззвучно плакали бабы и детишки. Потупясь, стояли мужики, хлебом-солью встречавшие Решетова, но и с Тулупниковым ладившие. И только деревенский полудурок Головай, взбивая босыми ногами пыль, пританцовывал возле сборни:

— Дяденька Назар, ты уже на небке? А там гуси есть?

— Люди! — взвыла какая-то из баб. — Да что же это делается?! Люди!

— Молчи, — зашикал на неё Лепёхин, — Беду накличешь.

— Сам молчи! — плюнула она ему в чёрную кудрявую бороду. — Лизоблюд поганый! Люди!..

— Взять! — распорядился со своего жеребца Ляуэр.

Но тут толпа ахнула. По улице, растрёпанная, страшная, с вилами в руках бежала Мария Тулупникова. За нею едва поспевали два казака, приставленные сторожить её.

— Стой! — орали они. — Засекём, стерва!

Кажется, это продолжалось вечно: бежала Мария с вилами, за ней казаки с обнажёнными шашками...

— Ур-ра! — вдруг запрыгал Головай. — Мусохранов идёт! — и, тыча пальцем в сторону Иготкиных юрт, построил устрашающую рожу: — Лови их!

Остановились казаки, развернул коня на месте Ляуэр, растревоженно привстал на цыпочки Лепёхин, вытянули головы и остальные сельчане.

У Иготкиных юрт и правда клубилась пыль.

— Держи их! — не унимался Головай. — Ур-ра! Дяденька Назар, смотри, Мусохранов едет!

— По коням! — скомандовал прапорщик.

Пожилой казак, прибывавший Тулупникова, всё никак не мог вскочить в седло — в него мёртвой хваткой вцепилась Катя Колмогорова. Казак молотил её по рукам, по голове, багровея от страха, но никакие силы не могли заставить Катю отпустить его...

Назара Тулупникова хоронили на следующий день. Почитай, вся деревня собралась, даже те, кого он ушучивал, будучи пред-

седателем сельсовета. А ущучивал он, надо сказать, не только завзятых мироедов, но и тех пролетариев деревни, которые, не труждаясь, норовили под чужую крышу влезть, чужое добро дурником отхватить. И с партизанами далеко не со всеми ладил, умел отличить защитников от нахлебников, а ещё хуже — от дорожной братии, рыскающей по тайге с красным флагом или грозным партийным документом. Чтобы флаг скроить или какой там фальшивый документ изготовить, большого ума не надо; куда труднее в людях разобраться — по совести живут или по зависти, по живому делу или летучим словом?.. На всё у Назара Тулупникова своё суждение было, на всё — своя голова. Сам в Ленина верил, но и православных единоверцами считал. Вот такой это был человек — широких взглядов, крепкой мужицкой хватки, истинной справедливости. Поди найди другого такого...

Тут-то и подсказал командир партизанского отряда Мусохранов:

— А может, Марēju на его место выбрать? Одна семья — одна линия...

И все как будто ото сна очнулись:

— Яё! Яё! Марēju Назарову! Ма-рею!..

— А так оно и было, — будто с кем споря, неожиданно оборвал рассказ Куренной. — Га?

— Так, так, — успокаивающе подтвердила Колмогорова. — Всё так, — и горестно вздохнула: — А про то не подумали: легко ли детной женщине в председателях быть? Время-то не приведи господи какое было. То одно, то другое... Не хватит сердца рассказывать. Мужики порют, а бабам шить. Это как же?

Куренной, по-своему расслышав её слова, согласно закивал:

— Наладила она порядок, наладила — не хуже Назара. Не по достатку людей ценила — по трудovitости. Бездельников в Совет не допустила, как они её ни стращали. Нет и нет! Или я, или они! И за буржуазию без оглядки взялась. Был у нас тут один. Сильно зловредный. По фамилии Сватов. Так они, к примеру, с Лепёхиным спекуляцию держали. Га? У каждого по три амбара. Скупали по округе в одну цену, а на рынок везли втрое. Мария их сколько раз предупреждала, штоб не жульничали, а хозяились, как все. Так нет же... Ну и пришлось подводить их под конфискацию, если по-хорошему не понимают...

— Это в каком году было? — невесть для чего решил уточнить Борис.

— Га? — приложил ладонь к уху Куренной.

— В каком году, спрашиваю? — повысил голос Борис.

— А скоро уже, — облегчённо закивал он. — Однако в тридцатом.

— В двадцать восьмом, — терпеливо поправила его Колмогорова. — Тогда как раз велели хозяйствам сдачу зерна поднять. Стали по дворам искать излишки. А какие-то такие излишки у нас тогда могли быть? Смех и слёзы! Другие председатели — соседские — конечно, забоялись, а Мария — нет. Чего ей только не сулили взаменку — и займы, и похвалы, и то, и другое, и третье, а она — ни в какую. Хотели её за строптивость снять, но тут указание про перегибы вышло. Пришлось оставить.

— Вот я и говорю, — вставил Куренной, — Из председателей она уже перед Отечественной войной вышла. По состоянию здоровья. Сильно болела, ох сильно.

— А сынов каких воспитала?! — не улыбочивый взгляд Колмогоровой вдруг сделался ясным, солнечным. — Старший-то, Фёдор, главным инженером на инструментальном заводе трудится, а Ефим тут. Тоже в председателях был, да с районным начальством не ужился. Люди-то разные. Одни по совести живут, другие по должности или по собственной выгоде. Таким лучше власть не давать.

— А почему же дают? — не удержался от каверзного вопроса Борис. — Они же идею портят.

— Вот и я удивляюсь, — вздохнула Колмогорова. — По этой части, однако, Егор Матвеевич лучше моего разбирается. У него и спроси.

Борис перевёл взгляд на Куренного.

— Вопрос сурьёзный, — нахмурился тот. — Не у тебя одного он на уме, студент. Если коротко, я бы на него так ответил. Сама по себе идея советской жизни выше всяких похвал, но пока она ещё молодая — чуть на тридцать лет моложе нас с Катериной Степановной. Много чего ей по-хорошему расти мешало. Шутка ли — две войны, борьба в руководстве, внутренние и внешние причины. Опять же репъёв от прошлого немало пооставалось. Что тут о власти скажешь? Если её по негодящему начальству мерить, то идея, к которой оно пристроилось, и вовсе никудышной покажется. А ты по лучшим суди. На них равняйся. Им подсобляй. Плохое и отсеется. Тогда ясно станет, что худом добра не мерят. Вот и весь сказ...

Гостеприимный дом «молодожёнов» Борис покинул усталым, но просветлённым. Четыре часа без малого провёл он в доме Куренного и Колмогоровой, а будто несколько дней — так много

он узнал от них, так много прочувствовал и записал. Ещё больше предстоит записать по памяти. Хорошо бы сделать это по горячим следам, пока не забылись краски, детали, речевые особенности Егора Матвеевича, но сейчас это вряд ли получится. Сил нет, настроения, да и время к вечеру повернуло. Стоит ли себя без особой надобности напрягать?

Решив, что не стоит, Борис свернул к Федькиному оврагу. Остановился у леска, скользнул взглядом по ближайшим огородам, по бугристому лужку с кустами шиповника. Где-то здесь конники давным-давно ставшего прахом сотника Решетова настигли Назара Тулупникова и Егора Куренного. Ничего на этом месте, что хоть как-то напоминало бы о событиях, разыгравшихся здесь когда-то, не осталось.

Покосилась, обветшала сборня, крыша которой маячит за дорогой. Ныне здесь доживает последние недели деревенский клуб. Стали овсами Иготкины юрты. Давно нет сотен, если не тысяч людей, которые жили в этой таёжной заводи. Время стёрло их любовь и ненависть, труд и страдания, размыло дождями, сожгло солнцем, спалило морозами. Ничего нет, и в то же время мир наполнен звуками, образами, их энергией...

*И тихий плач из-под земли.
Чуть слышный смех с небес.
Картины прошлого вдали.
А рядом — вещей лес.*

*И я вхожу в него, как в дом
Без крыши и окон.
А надо мною птичий гам –
Он словно связь времён.*

Борис вошёл в лес и, опустившись на корень поваленной, но ещё полужелёной берёзы, хотел записать эти внезапно родившиеся строки. Но тут вспомнил про тетрадь в голубой обложке, которую дала ему Маша-библиотекарь. Уже второй день он носил её с собой, чтобы почитать, когда появится настроение.

И вот оно появилось.

Борис открыл тетрадь и поразился. Поэт из Барнаула Леонид Мерзликин, словно споря с краснобаем Мишей Раткиным, написал:

*Пóлог неба лучами распорот,
Верю я — на планете земной
Никогда не искрошится молот,
Не источится серп золотой...*

О том же самом, но другими словами всего час назад говорил Егор Матвеевич Куренной, а Назар Тулупников за советскую власть жизнь отдал. И не он один...

Следующее стихотворение Мерзликина было написано в ином ключе, но и оно пришлось по душе Борису:

*Мама варезжки вязала,
Слёзы капали из глаз,
Подала мне и сказала:
«Ты послушай мой наказ.
Может, многое забудешь,
Но одно не позабудь:
Тише едешь — дальше будешь,
Дальше едешь — тише будь».*

*Трутся варезжки в дороге,
Я отрёпочки в полынь,
Вьюги кланяются в ноги:
«Не спеши, — гудят, — остынь.
Может, многое забудешь,
Но одно не позабудь:
Тише едешь — дальше будешь,
Дальше едешь — тише будь».*

«Все мы немножко Иванушки-дурачки из народных сказок, — читая эти строки, думал Борис. — Только вместо волшебной печи-самоходки у нас вполне современный транспорт. А проблемы те же».

*По-над пропастью крушины,
Виснут корни на краю,
Пляшет кузов, стонут шины,
Я прищурился, пою:
«Может, многое забудешь,
Но одно не позабудь:
Тише едешь — дальше будешь.
Дальше едешь — тише будь».*

«Для деревенской самодеятельности это стихотворение как нельзя лучше подходит, — набежала следующая мысль. — А для Маши?»

«Раз она его выписала, и для неё. Понравившиеся стихи мы обычно на себя примериваем».

*Не сорваться бы мне, то есть,
Об пенёк да головой.
Вот и вся, наверно, повесть,
Мой товарищ дорогой.
Может, многое забудешь,
Но одно не позабудь:
Тише едешь — дальше будешь.
Дальше едешь — тише будь.*

Следом за подборкой Мерзликина шли стихи омского поэта Владимира Балачана.

*Никто не сáдит этот огород –
Его хозяин переехал в город.
Плетни свалились набок от ворот, —
Как у рубахи нараспашку вóрот.*

*А бригадир мотается весь день
Вдоль по селу.
Хозяйством трудно править.
Людей — в обрез.
А тут ещё плетень
Глаза мозолит.
Надо бы исправить.*

*Закатывает Костя рукава
И сокрушённо думает: «Оплóшка!
На огороде выросла трава,
А ведь могла бы вырасти картошка»...*

И вновь Борис поразила точности Машиного выбора. На первый взгляд — обычная зарисовка. Но сколько в ней жизни и злободневности! Как созвучна она тому, что происходит рядом. Будто не о бригадире Косте речь, а о Ефиме Назаровиче Тулупникове. Судя по всему, у него именно такой характер: молча закатать рукава и бескорыстно трудиться.

Забыв обо всём на свете, Борис погрузился в чтение. Он открывал для себя всё новые и новые имена: Владимир Макаров, Виктор Баянов, Геннадий Карпунин... Как, оказывается, богата сибирская поэзия. Как много в ней простора, гармонии, взаимовыручки. Особенно среди сельских жителей. Недаром в начало синей тетради Маша вынесла стихотворение Михаила Карбышева «Деревня». Если заменить его первое слово конкретным названием, то оно будет прочитано так:

*Марейка!
Коли строить дом, так все,
И коль гулять, так тоже — до едина!
Случалось умирать на полосе
И в одночасье наживать седины.
И греться всем у одного огня,
И мёрзнуть всем у одного мороза,
И с одного хромущего коня,
С одной коровы начинать колхозы.
И так пошло, пошло — к коню конёк,
К судьбе судьба заметно прирастала,
Как будто люди шли на огонёк,
И вот уже тропа дорогой стала.
Идут в контору люди, в сельсовет,
Несут свои крестьянские заботы,
Не на собранье — просто на совет,
Как лучше сделать на поле работу.
И греются у красного сукна,
И беспрестанно крутят самокрутки,
И видят из широкого окна,
Как нынче жизнь шагнула в гору круто.*

Закрывая тетрадь, Борис с сожалением вздохнул: жаль, это стихотворение в отчёт по фольклорно-диалектологической практике не вставишь. А как к месту было бы...

17

Следующий день Борис провёл за кухонным столом в доме Моховых. Превратить его в письменный труд не составило. Для этого всего-то и надо переставить на окно кувшин с утренним молоком и пироги со свежей ягодой, которые оставила для него Мария Васильевна, снять белую, с цветной вышивкой скатерть и разложить на широкой, до блеска выскобленной столешнице письменные принадлежности. Список стариков, с которыми посоветовал ему встретиться Василий Леонтьевич, исчерпан. Вот и надо привести уже сделанные записи в порядок, а главное, зафиксировать «случай из жизни», о котором поведал ему Егор Матвеевич Куренной.

Однако сделать это оказалось не так-то просто. Сам «случай» оброс у Куренного таким количеством второстепенных подробностей, что концов не найдёшь. Тут тебе и характеристики вождям партизанского движения, и рассуждения о «политическом моменте», и конфликты среди жителей Марейки, в первую очередь на

социальной почве, и многое, многое другое, прямого отношения к истории Назара и Марии Тулупниковых не имеющее. Слушая вчера Куренного, Борис эти подробности терпеливо опускал, сшивая воображением живое действие, а как правильней поступить сегодня?

Руководитель практики, преподаватель кафедры русского языка Валентина Ивановна Павлова дала на этот счёт такое указание:

«Записывать следует всё без исключения, ибо первоисточник, а точнее сказать, языковой и исторический памятник, с которым вы будете иметь дело, наибольшую ценность имеет именно в своей полноте и первоизданности».

Но одно дело записывать что-то со слов диалекто- или фольклорноносителя, другое — восстанавливать его многослойное, далеко не всегда последовательное повествование по памяти. Тут в погоне за точностью первоисточника можно главное потерять — берущий за душу сюжет, его острую динамику.

Вот Борис и решил сначала изложить «случай», а потом всё остальное. Попробовал сделать это от имени Куренного — не получается. Речь у Егора Матвеевича, если правду сказать, не очень выразительная. В ней больше комментариев, чем самих событий. Сразу чувствуется: человек он заслуженный, но очень уж суховатый, однолинейный.

«А что если сделать литературную запись? — с корнем выдрал из блокнота испорченные страницы, прикинул Борис. — В виде эксперимента. Тут я вправе вести рассказ от себя, лишь бы он соответствовал реальным фактам».

Окрылённый столь заманчивой перспективой, Борис придвинул к себе чистый лист и, словно под диктовку, записал: «Отряд штабс-капитана Решетова вихрем ворвался в Марейку. У «сборни», где шло заседание сельского актива, отряд спешился. Часть конников начала ломиться в дверь...».

Перечитав написанное, Борис поставил запятую и продолжил: «другая часть растеклась по двору, окружая дом. Они действовали деловито, без особого шума, будто не на расправу явились, а на постой...».

Дальше у Бориса пошло не так складно, как вначале. Подыскивая более точные слова, сравнения, переходы от одной сцены к другой, он надолго задумывался, грыз ручку или рисовал на полях рожицы, звёздочки, а то и фигуры, отдалённо напоминающие всадников, потом, озарённый счастливо найденной мыслью, торопился поймать её на кончик пера. Далекое не всегда это сразу удавалось. Вычёркивая неудачные фразы, а то и целые абзацы, он

в конце концов находил подходящий вариант и, не останавливаясь, спешил проскочить на азарте как можно дальше. Будто не Куренной, а он сам теперь главный рассказчик.

В полдень работу поневоле пришлось прервать.

— Слышь, практикант, — бесшумно появился у него за спиной старик Мохов, — ноне Мария велела нам самим с обедом управляться. У ей дойка на дальних выпасах. Поздно вернётся, однако, — и пошутит: — Нет той птицы, штобы пела да не ела. А если применительно к тебе сказать, то нету той науки, штобы святым духом питалась. Согласный?

— Само собой, — подтвердил Борис, неохотно возвращая скатерть и кувшин с молоком на прежнее место. — Но мне больше другая ваша поговорка нравится. Только ангелы с неба не просят хлеба.

— Запомнил, значит?

— Для того я сюда и приехал, чтобы запоминать.

— Похвально. В таком разе запомни ишщё: Земля — божья ладонь, с которой мы кормимся. А?..

Помогая друг другу, они украсили стол огородной зеленью, подогрели на электроплитке наваристую уху из пяти рыб, которую приготовила утром Мария Васильевна, и, поставив на место кастрюли сковородку с мясом и картошкой, довольные своей сноровистостью, сели обедать.

Старик Мохов ел так аккуратно, так точно ориентировался за столом, что Бориса не в первый уже раз сомнение взяло: а слеп ли он на самом деле? Ведь на белой скатерти рядом с его тарелкой ни жирных пятен, ни хлебных крошек не видно. Да и на серой щетине подбородка и щёк ни единой соринки. Как ему это удаётся?

А Мохову другое интересно знать:

— Об чём это ты с утра пишешь, практикант? Об наших делах или об каких других?

— Об наших, Василий Леонтьевич, об наших... Точнее сказать, со слов Егора Матвеевича — как Назара Тулупникова беляки распяли.

— Почитал бы тогда, што ли, а я бы послушал. Всё ж таки не чужие. Глядишь-от, может, чего со своей стороны и подскажу. Лишнее не будет.

— Почитаю, — пообещал Борис. — Мне и самому интересно ваше мнение знать. Но сначала дописать надо, чистовик сделать.

— Всенепременно... Токо смотри, штобы так не стало — до обеда соловьём, а после воробьём.

— Это уж как получится, — не стал зарекаться Борис.

И правильно сделал. После обеда его разморило. Слова стали

вязкими, тяжёлыми. Краски поблёкли. Но Борис не сдавался. Кое-как одолев дремоту, он вновь почувствовал азарт летописца. А поставив последнюю точку, поспешил к старику Мохову. Ему не терпелось узнать, как оценит его сочинение первый и, пожалуй, самый осведомлённый о событиях, разыгравшихся когда-то в Марейке, слушатель.

Поначалу Борис читал написанное негромко, с трудом сдерживая эмоции, потом увлёкся, заиграл голосом, да так, что курица на стариковом валенке обеспокоенно задвигалась, стала поглядывать на него то одним, то другим глазом. Сам Мохов слушал Бориса внимательно, но как-то отчуждённо, устремив незрячий взгляд куда-то за ворота. Дослушав, громко высморкался, и только тогда Борис понял, что старик плачет.

— Пронял ты меня, Родионыч, — утирая нос и щёки платком, признался он. — Я думал: всё; наша пора мохом поросла — пошумели про неё и забыли. Ан нет. Ты взялся и вот: по старой памяти, как по печатанной грамоте, што было, похвально изложил. Молодой да с головой. Все бы такие были.

— Ничего особенного, — заскромничал Борис. — Это наша обязанность, Василий Леонтьевич.

Слова старика окрылили его. Ещё бы! Никогда прежде Мохов его Родионычем не называл — всё больше практикантом или по имени, а тут вдруг по отчеству навеличил. Значит, зауважал, и понятно за что.

Радуюсь таким переменам в их отношениях, Борис спросил, есть ли в прочитанном неточности. Мохов уклончиво ответил:

— У нас, у стариков, память не свежая, намозоленная. А ты-от со слов Егора Матвеича писал. Если што и не так, в том не твоя вина.

— Вообще-то это литературная запись, — растерялся Борис. — Но её не трудно и поправить. Вы только скажите, где.

— Скажу, милок, непременно скажу. Не в укор кому, а для очевидности. В тот день, заметь себе, сильно дождило. Пыли никакой и в помине не было. Ага. А у тебя-от выходит, што отряд Решетова вихрем в Марейку ворвался. Ну какой вихрь может быть, если казак, который полез с сельсовета флаг срубить, сосклизнувшись, вниз сверзся? Я сам через ту грязюку едва колчакам не попался...

— Вихрем — это не обязательно в пыли, — заоправдывался Борис, — Вихрем — значит быстро, стремительно. А дождь быстроте не помеха.

— И флага никакого у тебя не написано, — пропустил его объяснения мимо ушей старик. — А зря. Знатный был флаг, заслуженный. Ты-от сам посуду. Беляки его в грязь затоптали, ду-

мали, конец. Да не тут-то было. Катя Колмогорова его из грязи вынула, постирала, заштопала, а чтобы швов не видеть было, с той и с другой стороны нашивки сделала. Серп, молот и звёздочка небольшенькая. Ага. Под тем флагом мы Назара Тулупникова всем народом схоронили. Ну а после он опять на сельсовете висел. Иной раз мимо идёшь, сердце о прошлом так и забьётся... Все мы тогда другие были — и Катя, и Егор, и я, грешный...

Воспользовавшись тем, что разговор свернул на «молодожёнов», Борис задал давно мучивший его вопрос:

— А почему Куренной и Колмогорова так с загсом затянули? Им бы золотую свадьбу впору справлять. Или у них поздняя любовь?

— Была-от и ранняя, — отложил плетение старик. — Я такой сроду не видал. Но в жизни, вишь, не всё по любви случается, Родионыч. Есть ещё воля родителей, долг перед детьми, то, сё, пятое, десятое... Ну да што теперь об этом рассуждать? В молодости не повезло, так хоть под старость сердцами воспрянули. Чем плохо? — и посоветовал: — А ты свою науку не бросай. Нужное дело.

18

На пасеку к Земцову Борис отправился с утра пораньше. Провожая его, Мохов вручил ему одну из своих корзинок:

— В пути грибком побалуешься. Кака практика без грибков? Сёдни, поди, рыжики с ночи посыпятся. Ага. Будешь идти, дак трись к дереву поближе. В тень не задавайся, пускай солнышко на тебя поглядывает. Да рогатку обломи, не на коленях ить лазить. Грибничай смело: мухоморов ишшо нет.

Борис вытесал рогатину и теперь пошевеливал ею высокую траву, выпутывал из её сетей то крепенькие, будто росой осыпанные маслénки, то перезревшие сыроежки, белые грибы или водянистые опята, а когда заполнил ими почти всю корзину, наткнулся на россыпь рыжиков. Их было так много, что руки опустились — куда брать-то?

И тогда, вспомнив детство, Борис принялся сплести из стеблей папоротника нечто напоминающее головной убор туземца. Увлёкшись, разрисовал лицо угольной щепкой, потом скинул рубаху и увлечённо продолжил свои художества на груди и плечах. Но тут возбудились, заныли укрывшиеся в лесной прохладе комары, заставили подхватить лукошко и искать спасения на просторной, прожаренной солнцем поляне.

Здесь Борис завернул до колен штанины и стал запихивать за пояс, в карманы, в отвороты брюк пучки травы, ветки таволги и

берёзы, мясистые лопушины. Всё это держалось на нём до тех пор, пока он двигался осторожно, без резких движений, но стоило Борису метнуть в слепящее пространство сухой стебель-дудку, как зелёные украшения начали осыпаться.

Погримасничав и погорланив вволю, Борис зашагал дальше: в одной руке вздетые на рогатине рубашка и сандалии, в другой — наполненная до краёв корзинка. Тёплая земля притягивала босые ступни, затем пружинисто отталкивала, делая шаги стремительно-невесомыми, ритмичными. От полноты чувств Борис даже напевать начал:

*Я — гомосапиенс,
Нет, полусапиенс...
Нет, полугомо!
Я дома, как в глухом лесу,
В лесу — как дома.*

Сбившись с шага, он досадливо пнул куст черники с осыпавшимися уже зелёно-розовыми листочками и зашагал в рифму:

*Есть чёрный гриб.
Есть жёлтый гриб.
Есть красно-белый.
В какой же век
Я с ними влип?
В какую эру?*

Эх, гитару бы сюда или какой-нибудь другой музыкальный инструмент — для сопровождения!

*На пихте зреет виноград.
Лук — на берёзе.
А вместо рыжиков торчат
В траве мимозы.
И всякой твари вволю здесь.
И всякой пищи.
И манит, манит в тёмный лес
Меня Змеище.*

Слова соединялись без усилия, как по-писаному.

*Неужто, братцы,
Я в раю?
А где же Ева?
Явись скорей, явись, молю,
К Адаму, дева!*

Ощувив себя Адамом, Борис и вовсе разребячился. Встав в позу оперного певца, он запел:

*Сознайся, как тебя зовут
В земном звучанье?
Назначь, назначь, назначь скорей,
Назначь свиданье!*

Дав «петуха», Борис взбежал на невысокую, буйно заросшую разнотравьем насыпь и хотел было продолжить арию во всю мощь своего голоса, но тут глинистая плешина предательски стала оседать у него под ногами. Сделал шаг — увяз в земляной трухе по щиколотку, ещё один — провалился по колено. Ступня утвердилась на чём-то выпукло-гладком, прохладном.

Рядом с Борисом маячила накренившаяся лесина. Он потянулся к ней — и тут понял, что это опорная часть порушившегося от времени креста. На её боковине ясно проступал ржавый след от перекладки. Ещё один — наискосок — темнел сверху. Воздух напитан застоявшейся прелью.

«Неужели кладбище? — замер Борис. — Но тогда почему не видно других крестов? Может, заброшенное захоронение? — он вдруг похолодел. — А я стою на нём босыми ногами...».

Эта мысль буквально выбросила его из рыхлой трясины, смела с холмика — прочь, прочь отсюда!

Продираясь сквозь кусты смородинника, усыпанные вонючими клопами, Борис угодил в заросли шиповника, предательски укрывшегося под его пологом. Потом вмазался в паутину, на обрывках которой устрашающе дёргался матёрый паук. И наконец очутился на торфяных кочках, похожих на поросшие травой бородавки. Они вывели его не то к реке, не то к озерку.

Нет, всё же к реке. Текучую воду со стоячей мудрено спутать. Сквозь её коричневую толщу, подсвеченную солнцем, проступали причудливые очертания коряг, длинные пряди водорослей. Они то устремлялись вверх, трепеща и сплетаясь, то опадали, обозначая дно. Уплывали за поворот островки расквашенной, подёрнутой гнилостными пузырьками коры. Копошились в тёмной воде дикие утки.

Если это река, то непременно Кымга. В неё, по словам старика Мохова, с северной стороны впадает Подкопённая. Значит, на север и надо двигаться.

Борис осмотрелся. Солнце слепило глаза. Вокруг — мелкий ельник напополам с листовным сухостоем — и ни одного взрослого дерева, ни одного пня, лишь жёлто-зелёные зонтики медвежьей пучки, белые трубочки цветов шальной травы да кусты

волчьего лыка, густо усыпанные ярко-красными продолговатыми ягодами, по которым и захочешь, а стороны света не определишь.

Смыв с лица угольную раскраску, Борис надел рубашку и некоторое время шёл вдоль Кымги. Потом повернул от неё в сторону, туда, откуда пришёл. Вскоре под ногами появилась довольно широкая колея, заросшая душистым разнотравьем. Она вывела его к старым вырубкам. По рассказам того же старика Мохова, в этих местах когда-то обретался леспромхоз «Советская Кымга». Теперь он «Синеярским» зовётся.

Выбрав пень пошире, поровнее, Борис расчистил его отполированный временем срез, обозначил шариковой ручкой стороны света, затем Кымгу, Марейку — и облегчённо вздохнул. Наконец-то появилась какая-то определённая.

Только теперь он почувствовал, как проголодался. Райские кущи хороши на сытый желудок, а эти, наверное, и на сытый не развеселят. Непонятной тоской от них веет, запустением и скорбью. Как будто не один ты здесь, не сам по себе, а невидимое множество...

Покурив, Борис без прежней резвости зашагал в выбранном направлении. Оно совпало со старой колеёй.

Впереди замаячила просека. Вот и указатель возле неё. Кое-как Борис разобрал на нём надпись: «Комаров... па...».

«Паром! — догадался он. — Комаровский паром! — и озадачил: — От кого же я о нём слышал? Ах да, от Мохова. Он говорил о могильнике у Комаровского парома на Кымге, где захоронили чуть ли не всё войско взбунтовавшихся в тридцатые годы ссыльных... Так вот на какое кладбище я попал... Мёртвые хватают за ноги живых...»

Теперь понятно, откуда эта скорбная тоска вокруг, эта тревога, это запустение. Ничто не проходит бесследно — ни в жизни, ни в душе. Всею свой час...

19

И вновь Борис заблудился. На этот раз он вышел к Моховому болоту. Передохнув, успокоившись, заморив червячка земляничкой и черникой, он вычертил на тетрадном листе более точную карту и, поминутно сверяясь с ней, побрёл через чахлый, не отблевший после давних вырубков лес в сторону синего островка темнохвойной тайги. Такой же, помнилось, вклинивается в Сурьев лог с рассветной стороны.

Не доходя до него, Борис свернул на чистополье, затем в ложбину, поросшую сладко пахнущей травой и мелким кустарником.

Неожиданно у щеки завжикали пчёлы. Значит, где-то недалеко пасека. Ну, наконец-то...

Борис прибавил шагу, теперь уже не заботясь о направлении. Ничего себе прогулочка вышла — километров эдак на десять, не меньше. Погрибничал, называется, отдохнул.

Справа, за пышными купами черёмушника, показались серые коробки ульев. Борис свернул к ним и лишь тогда заметил под зелёной стенкой кустов насторожённо наблюдавшую за ним лайку. Метрах в пяти от неё лежала другая. Приподнялись, позёвывают от плохо скрытого возбуждения. Ну, зверюги! Того и гляди полта́ют.

«Главное, — сказал он себе, — шагай мимо как ни в чём ни бывало».

Но шагать не пришлось. Из кустов навстречу ему вдруг выступила Маша-библиотекарь. Одета она была по-домашнему: цветастое платье с короткими рукавами, кожаные тапочки на босу ногу, на голове самодельная голубенькая панамка с широкими полями.

— Ты?! — не поверил своим глазам Борис.

— Я... А вы кого тут искали?

— Грибы, — нашёлся он и показал Маше корзинку. — А ещё Василия Тарасовича Земцова.

— Так его дома нет. В контору ушёл.

— Значит, ты его дочь, — сообразил Борис. — Вот не думал, не гадал, что так складно получится, — и, чувствуя, как возвращается к нему утренняя ребячливость и рифмоплётство, выдал экспромт: — Что у дома у отца Маша ждёт меня Земцова.

Но Маша на его экспромт и внимания не обратила.

— Сказано же вам: папка в конторе, — отрубила она, — и не скоро будет.

— Придётся подождать, — посочувствовал ей Борис. — Ещё чего доброго разминёмся.

— Небось не разминётесь. Дорога-то сюда одна.

— А я думал, спросишь: зачем я к твоему отцу пожаловал? — решил зайти с другой стороны Борис. — Молчишь? Ну тогда я тебе сам отвечу: ума-разума у Василия Тарасовича понабраться, об устном народном творчестве поговорить. А ты меня даже на порог не пускаешь. Забыла, наверное, что мудрые люди под вид Дмитрия Власовича Воротникова говорят? Нежданный гость лучше жданных двух. Почему? Да потому, что жданным угождать надо, они приглашённые, а нежданный прост, как дрозд. Вот как я. Ему всё ладно.

Насторожённо наблюдая за незнакомцем, подошли и сели у ног Маши лайки. Шерсть у обеих гладкая, серая, с жёлтыми подпали-

нами, на груди и на лапах — белые зеркальца, у глаз — тёмный подпушек. Чем-то речь Бориса им не понравилась. Они не то поэ-вывали, не то скалили зубы.

Зато Маша смутилась:

— И правда... Раз к папке, другое дело... Проходите.

— Вот спасибо! Никогда на пасеке не бывал. Всё только в кино да на картинках... А тут целое царство. Может, экскурсию проведёшь, Машенька? Чтобы зря время не терять.

— Смотрите, если охота, — пожала она плечами и добавила: — Только никакая я вам не Машенька.

— Ну, хорошо: Маша. А ещё лучше: Мария Васильевна.

Лайки угрожающе зарычали.

— Кстати, Мария Васильевна, зачем вам столько собак? Не овец же охранять.

— Мало ли... А если медведь?

— Ну да? — не поверил Борис. — Уж так сразу и медведь? Или вы таких, как я, незваных посетителей в виду имеете?

— И ничего не таких. Раньше у нас на горельниках густящее разнотравье было. Для мёда никакой посуды не хватало. Даже в ямах держали. Вот медведи и повадились. Да и сейчас забредают. В этом году пока тихо, а в прошлом папка их два раза отгонял... Нет уж, на пасеке без собак никак нельзя.

— Тогда, конечно, — согласился Борис. — А это что за сооружение?

Посреди поляны стояла деревянная бочка со стоком. Борис направился было к ней, но Маша заступила ему дорогу:

— Пойдите. Сначала я на вас дымокурком попыхаю, — в руках у неё появилось нечто похожее на лейку. — И не делайте, пожалуйста, резких движений. Пчёлы этого не любят.

— Слушаюсь! — по-военному вытянулся Борис, — Пыхай! — и невольно сморщился от струи удушливого дыма, — Ох, хорошо! Ох, замечательно!

Плечо в плечо они направились к бочке.

— Это водопой, — объяснила Маша. — Здесь пчёлы пьют, а водоносы воду набирают.

— Водоносы?

— Ну да. Они её в ульи носят. Смачивают воск, чтобы не растапливался. Жарко ведь.

— Тогда давай их не водоносами, а пожарной командой будем называть. Точней будет, — предложил Борис. — И какие тут ещё команды есть?

В ответ Маша подвела его к одному из ульев, откинула крышку и, вынув небольшую подушечку, начала объяснять. Мало-помалу

она разговорилась, потеплела лицом и голосом, в её речи появились живые краски.

Борис узнавал и не узнавал её. Какая она всё-таки ясная, солнечная, земная... А как рассказывает? — Заслушаешься!

Он и представить себе не мог, что прежде, чем стать добытчицами, пчёлы проходят в улье разнообразную школу рабочей подготовки: и сторожами побудут, и уборщиками, и водоносами, и строителями, и кормилицами...

— А это что за циркачи? — заметив пчёл, вылетающих из улья задом наперёд, заинтересовался Борис.

— И не циркачи вовсе, — улыбнулась Маша, — Это малышата. Они первый раз из дома вылетают, вот и боятся его потерять, — и вздохнула: — Хуже, когда у взрослых такая повадка.

— Взрослым-то зачем задом летать?

— Мало ли... — вынув из улья рамку, соты которой огрузили от янтарного мёда, Маша отложила её в таз, — Спьяна и не такое может стать.

— Спьяна?!

— А что удивляться? Пасечники разные бывают. Вон хоть Андрея Бякова взять. В плохой сезон он водки пчёлам в сироп подливает. А пьяные пчёлы, как пьяные люди. Они не в поле летят, а прямо к нам, в ульи — на всё готовенькое. Разбой он и есть разбой.

— И что, на этого Бякова укорота нет?

— Папка его сначала предупреждал, а потом не сдержался — и костылём, костылём... Он у меня инвалид первой группы. Голова контуженная. Его лучше не доводить, — Маша сдула со лба непослушную прядь, пронизанную солнечными лучами. — Так Бяков на него в суд подал. Представляешь? А сам прощелыга, каких свет не видел. С тех пор и воюют.

Она и сама не заметила, как сказала «представляешь». Зато он заметил. И обрадовался этой нечаянной оговорке.

20

Горница Земцовых показалась Борису теремной залой, так много в ней было света, пространства и живой прохлады. Непривычно высокий потолок подчёркивали сдвоенные окна. Под ними горделиво возвышался кованый сундук с двумя массивными ручками. Зелёная краска на нём выцвела, местами осыпалась, из-под неё проступили цветочные пятна, похожие на роспись. На сундуке соседствовали аккордеон с перламутровыми планками («Хонер», — прочитал Борис) и старенькая простонародная гармошка.

На этом, однако, достопримечательности горницы не кончались. Всё в ней было сработано добротнo, с размахом: стол рассчитан

человек на десять, самодельный шкаф объединён с застеклённой нишей для посуды. Печь и вовсе занимала четверть залы, имела лежанку и вместительный под, в котором, по сведениям Мохова, была устроена самая настоящая домовая банька. Постелил соломы и мойся в своё удовольствие, а придёт охотка, и веником похлестаться можно. Почистице, чем в обычной будет.

Борис невольно задержался взглядом на чреве печи, представил себя голышом на соломе, потом... Машу. Ведь это её дом, её мир, её банька.

Ему сделалось жарко, на лбу даже пот выступил.

Чинно усевшись на лавку у входной двери, Борис приготовился ждать Земцова здесь, но Маша пригласила его к столу.

— Пасеку посмотрели, теперь я вас медком угощу. Чтоб полное представление о ней было.

— Вот это правильно, — похвалил Борис, — экскурсия в пчелиное царство должна быть полной и безоговорочной. Угощай, хозяйюшка!

Поставив перед ним чашку с янтарным мёдом и блюдце с сотами, Маша шутливо отпарировала:

— Угощайся, гостюшка!

Они дружно рассмеялись.

— Ну, тогда и чайку для полного счастья не мешало бы, — быстро освоившись за столом Земцовых, высказал пожелание Борис, — Уж больно сладок мёд — не пьётся.

Ни слова не говоря, Маша поставила перед ним бокал с тёплой тёмно-коричневой жидкостью. От неё веяло пьянящими полевыми запахами.

— Целебный настой? — догадался Борис и тоном специалиста спросил: — Из каких, интересно, трав?

Маша стала объяснять, но он не столько слушал, сколько глядел на неё, любуясь негромкой её красотой, радуясь немудрёному застолию, так неожиданно объединившему их, удивляясь, как это он не догадался прийти на пасеку Земцовых раньше.

Лакомясь мёдом, запивая его горьковато-терпким травяным настоем, Борис вызнал, что до недавних пор за этим столом немало народу сживало: семья Василия Тарасовича напололам с семьёй его младшего брата Николая, а ещё старики по отцовской линии. Стариков уже нет, светлая им память. Сестра Маши замуж за геолога из Средне-Васюганской нефтеразведки вышла. Николай Тарасович отделился и переехал со своими домочадцами в соседнюю Назаровку. Там у него ещё один сын родился, но очень хворый. Жена при родах умерла. Вот мама и разрывается между Марейкой и Назаровкой. А отцу с пасекой одному не управиться:

здоровье не то, нервы пошаливают, плачет: «без дела не жилец я». Придётся Маше в пединститут на заочное отделение поступать. Ну, да ведь учиться и так можно. Потому-то Ефим Назарович её в библиотеку и определил...

Чтобы отвлечь Машу от невесёлых мыслей, Борис шутливо спросил:

— А чей это «Хонер» на сундуке с гармошкой обнимается?

— Тальянка дедушкина, а аккордеон трофейный, — с готовностью ответила она. — Папка его из Германии привёз. Бывало, сядут вдвоём, и ну друг дружку переигрывать!

— И кто кого?

— Конечно, тальянка. У неё ведь на каждой клавише пять голосов, а не два, как у простой гармошки. Бывает и больше. Вот смотри, — Маша поставила на колени тальянку, сдвинула боковую крышку и, встопорщив несколько лапок, продемонстрировала Борису укрытые под ними гнёзда с язычками-пружинками. — Это голосовая планка. Воздух на неё прямо идёт. Поэтому тальянка куда как звончатей других гармошек.

И вдруг она заиграла, да так искусно, что Борис замер, приготовился слушать долго-долго, удивляясь удалой чистоте тальянки, её рассыпчатости, простодушию.

Но не тут-то было. Проворно сменив тальянку на аккордеон, Маша повела ту же мелодию дальше.

Разница в звучании оказалась столь разительной, что даже Борис, у которого со слухом не очень, явственно ощутил её. Конечно, «Хонер» — это «Хонер», но, боже, какой у него сладенький, неестественный голос, какая тусклая напыщенность... Вот и Маша будто скована ею: пальцы движутся вроде бы правильно, но с ученической старательностью, улыбка на губах сделалась сосредоточенной.

А может, она уловила взгляды, которые Борис невольно бросает на её обнажённые колени? Хорошо, что её слепит солнечный луч, пробившийся сквозь лёгкие полотняные занавески...

— Слова-то у этой музыки есть? — спросил Борис.

— Есть. Только не для всех понятные, — продолжая играть, Маша одёрнула платье на коленях. — Дедушка у меня из полтавских был. Так он по-своему пел. По-украински.

— Почему это я не пойму? Пойму! Мы ж историческую грамматику проходили и старославянский.

— Ну разве что, — посомневавшись, согласилась Маша. И запела:

*Ны куй, зозуля, в дубраве,
Та й ны збуды мэне молодую...*

Борис догадался, что зозуля — это кукушка. Девушка просит её не куковать в лесочке, не будить её поутру. Всё очень даже понятно, зря Маша сомневалась.

*Други збудять мэне раньше тэбэ,
Та й пошлють мэне дальше тэбэ.
Свыкруха кажэ: «Нивисточка встала,
Узяла ведра и постукала».*

Маша старательно выговаривала слова, но под аккордеон они звучали как-то деревянно, заученно, не совпадая с его тональностью. И тогда она взяла тальянку:

*А свекорка кажэ: «По воду пишла».
А свекруха кажэ: «Спать лягла».*

Вот это другое дело! Низкий грудной голос Маши сделался звонким, слова обрели лёгкость, естественность:

*А свекорка кажэ: «По водыцю».
А свыкруха кажэ: «У светлицю».
А свекорка кажэ: «Разбудымо».
А свыкруха кажэ: «Погодымо».
А свекорка кажэ: «Грих нам будэ».
А свыкруха кажэ: «Друга будэ».*

— Здóрово! — от души похвалил Борис. — Можно, я запишу? — и торопливо открыл тетрадь. — Как, ты говоришь, звали твоего деда?

— Тарас Матвеевич.

— А когда он сюда переселился?

— Сказывал, в тридцать первом...

«Опять тридцать первый», — рука Бориса дрогнула.

— А про кукушку ты от него когда слышала?

— Не помню. Он ведь часто её пел. Но больше другие любил — про судьбу, — Маша побежала пальцами по чутким клавишам, настраиваясь на печально-раздумчивый лад, но Борис остановил её:

— Погоди, погоди. Я ещё эту не записал. Продиктуй-ка её без музыки...

Так у них и пошло: споёт Маша, потом проговорит слова — терпеливо, чуть ли не по слогам. От дедушкиных песен перешли к отцовским. Он у неё, к удивлению Бориса, оказался частушечником. Да не каким-нибудь, а фронтовым:

*Вырыл я окоп, а окоп сырой.
Куда лезешь, гад? Уходи домой.
Я не звал тебя, не хотел стрелять.*

*У меня семья и старушка-мать.
Штык на штык глядит, земля вертится.
Знать бы мне, когда пули встретятся...*

Но особенно взволновала Бориса песня, последовавшая за частушками:

*Лежу я под Курском, убитый в бою,
И мне не догнать уже роту свою.
Не двинуться мне ни вперёд, ни назад.
Был пахарь, остался навеки солдат.*

*Гуляет война, хулиганит война.
Да мальчика мне народила жена.
И пишут соседи хорошую весть,
Да мне письмеца, хоть убей, не прочесть.*

*Придёт похоронка: мол, в вечном строю...
А я тут от дома в далёком краю...
И нет мне на свете сильнее преград:
Ни муж, ни отец, а убитый солдат.*

После заключительного проигрыша Маша положила на аккордеон руки и, уткнувшись в них подбородком, устремила невидящий взгляд на буйную зелень за окном. Долго она сидела так, забыв о Борисе, потом спохватилась, поставила на место аккордеон и гармошку и с неожиданной отчуждённостью объявила:

— Всё! Скоро папка вернётся, а мы тут распелись. Пора и честь знать.

И такая в её голосе прозвучала непреклонность, что Борис поневоле поднялся:

— Действительно пора. Только скажи напоследок, Маша, кто автор этой песни? Уж не Василий ли Тарасович? Я ведь всё в отчёте по практике указать должен — где, когда, что и от кого слышал. Чьи это слова?

— Чьи, не знаю. А слышал их папка осенью сорок второго года в Малоархангельском военном госпитале. Ещё вопросы будут?

— Вопросов нет, зато есть благодарность. Спасибо за угощение, за сегодняшнюю встречу, за сибирскую тетрадь с душевными стихами. А ещё за дельный совет.

Брови Маши вопросительно дрогнули:

— За какой это совет?

— Ну как за какой? — радуясь, что поймал её на слове, таинственно понизил голос Борис: — Тише едешь — дальше будешь,

дальше едешь — тише будь, — и, вышагнув за порог, бесшумно притворил за собой дверь.

21

Добравшись до спасительной кровати, Борис устало плюхнулся на спину, вскинул пятки на прохладные металлические набалдашники, потянулся, предвкушая заслуженный отдых, но тут в окне над гераньками и блёклыми листочками ваньки-мокрого замаячила суконная кепка старика Мохова.

— Жильцовы баньку топят, — по-свойски сообщил он. — Сёдни их очередь. Мария моя пошла с водой пособить. Ага. Може, и ты подмогнёшь? Быстрей бы управились.

— Баню? — переспросил Борис, прикидывая, как бы отвертеться. — А по какому такому случаю?

— Дак завтра Петровки. Дёвье веселье, кукушкин молчок. Слава богу, сенокос всухе доработаем.

— Про молчок не понял.

— Ну, как же. Ячмень вызрел вчистую, мужики на озимых отселись, вот кукушка и замолкает. Примета, значит, такая. И другие птицы, которые певчие, тоже молкнут. Всенепременно.

— Что-то у вас праздник за праздником, — нехотя спустил ноги с кровати Борис. — На Купалу, говорили, очищение, теперь — дёвье веселье. А всего пять дней прошло. Не часто ли гулять приходится? Всё-таки полевые работы...

— Дак ведь это не нами выдумато — природой, — раздвинув горшочки на подоконнике, Мохов поудобнее разместил на нём локти. — Она знает, когда работать, а когда и погрешить маленько. Молодое дело известно какое. А нащёт гуляний я тебе так скажу: мы за свою жизнь больше на словах гуляли, чем всамделе.

Исчез старик так же неожиданно, как и появился.

— А где баня Жильцовых? — выглянул ему вослед Борис.

— Как от колодца пойдёшь, бери крайний двор справа... Вторые вёдра на подызбице. И коромысло там...

Спрямя путь к колодцу, Борис вышел в конец улицы огородами. Столкнув в гулкую его бездну ц е п н о е ведро с приступки, отпустил ворот. И потекла, истошно заскрежетала металлическая вязь, всё быстрее и быстрее завертелась отполированная ладонями рукоять. С шумом пробив воду, ведро захлебнулось и пошло ко дну.

Лишь теперь Борис глянул в колодец. В лицо дохнуло подземным холодом.

— А-а-а-а, — сам собою вырвался негромкий разведывающий возглас.

Наполнив ведро, Борис начал выбирать цепь. Она ложилась на ворот бугром. Пришлось вновь размотать её, а потом наматывать так, чтобы она ложилась ровными рядами.

А когда Борис встал под коромысло, вёдра на крюках ходуном заходили. Что ни шаг, то мокрое пятно на рубашке. О штанах и говорить нечего — сразу намокли, причём на самом видном месте.

Борис остановился, подождал, когда улягутся в вёдрах волны, и двинулся дальше осторожно, чтобы их вновь не раскатать. Только бы никто не встретился ему по дороге, не увидел в таком жалком виде.

Ворота, ведущие к дому Жильцовых, оказались предупредительно распахнуты. Во дворе ни-ко-го. Обогнув бревенчатый пятистенок, Борис устремился к избушке на задах. И по местоположению, и по дымку над нею нетрудно понять, что это и есть баня.

А вон и кадки для воды...

— Не туда, — остановил его звонкий девчоночий голосок. — В эту дверь.

Скорее всего, это Света Жильцова, которая, как писала районная газета, отличилась на заготовке веточных кормов.

Борис послушно свернул в предбанник. Там было темно, тесно. По лицу мазнула разлапистая ветка. Присмотревшись, Борис понял, что это не ветка, а берёзовый веник. Да тут их целая гирлянда! Судя по листьям, недавно с дерева.

— Куда лить-то? — спросил Борис.

Света Жильцова распахнула перед ним следующую дверь. В проёме обозначились потолок и печь, обложенная камнями и чугунными плитами. Сквозь неплотно закрытую дверцу проблёскивали огненные сполохи.

Радуюсь, что никто не видит его полупустых вёдер, Борис опрокинул в деревянную ёмкость их содержимое.

— А где Мария Васильевна? — спросил он, выходя в предбанник.

— Здесь я, — послышалось из завешенного вениками угла. — Присела на минутку, сейчас встану.

— Сидите, сидите, — остановил её Борис. — Я сам доношу.

— Доноси, — не стала возражать Мария Васильевна.

На этот раз вёдра показались Борису куда послушней. Надо их только придерживать за дужки, а коромысло опирать на оба плеча.

В нём проснулся спортивный азарт. Он даже засекает время начал: три с небольшим минуты к колодцу, шесть — назад. Следующую х о д к у сократил в общей сложности на двадцать восемь секунд, затем — на сорок две, потом на пятьдесят девять и, наконец,

на целых девяносто пять. Если бы с утра да со свежими силами взяться, можно было бы лётать вдвое быстрее...

Умотавшись вконец, взмокнув не только от пролитой влаги, но и от пота, Борис отправился за стариком Моховым. Им выпало мыться первыми.

— Я уже давно собрался, — нетерпеливо сообщил Василий Леонтьевич. — Жду вот, — и приподнял, показывая, объёмистые узлы.

— Ого! — не сумел скрыть улыбки Борис. — Запаслись, как в кругосветное путешествие.

— Оно и верно, што в путешествие... Тебе тоже нести есть. Ага, — Мохов сунул ему в руки бутылку с мутной жидкостью. — Квас это. На меду...

И вот они шагают по кружной тропке на ту сторону улицы: старик с узлами через плечо впереди, Борис с газетным свёрточком и бутылкой позади.

Солнце уже скатилось за Подкопённую, но в огородах было по-прежнему светло. Длинные тени цеплялись за ноги, скользили, дробясь, по огуречной траве, по штыковым рядкам лука, по зарослям моркови, свёклы, картошки.

Борис всё никак не мог пристроиться возле старика: то с одной стороны за локоть возьмёт, то с другой — слепой ведь. А тому и горя мало: идёт себе смело, гуляючи. Лицо его ожило, стало умиротворённым, морщинки разгладились. Ещё и к задушевной беседе клонит:

— Скоко живу на белом свете, а всё этому чуду не нарадуюсь. Не заслуживаем мы его по неразумности своей, ну никак не заслуживаем...

— О каком чуде вы говорите, Василий Леонтьевич?

— Об земле, об ей, матушке, об её мудром устройстве. Это она нам свечу жизни дала, добру научает. А мы всё противимся по узости своей, не понимаем, што недолго нам по ей странничать, сами себе жисть скорачиваем...

И правда, какой чистый, какой пьянящий вокруг воздух. Борис вдыхал его полной грудью и чувствовал радостное, ни с чем не сравнимое головокружение. Что ни говори, а приятно быть с т р а н н и к о м, да ещё с таким п о в о д ы р ё м...

В предбаннике Мохов распеленал узлы, и оказалось, что кроме смены чистого белья, полотенца, там припасены войлочная шапка, брезентовые рукавицы и сухой сбор мяты, ромашки, крапивы и пихтовой хвои. Запарив травки в одном тазике, два венника в другом, старик не спеша облачился в свои доспехи, затем почерпнул ковшиком воду из первого таза, долил туда кваса да

и плеснул на каменку. Она будто взорвалась горячим душистым паром, плотно окутала тело Бориса, ожгла лицо, ссадины на руках и ногах.

От неожиданности Борис захлебнулся, закрыл ладонями уши и присел у порога, ища место попрохладней. А Мохов новый ковшик гремучей смеси набрал и снова плеснул. Потом, кряхтя от удовольствия, полез на полóк.

Тут-то и началось главное представление. Погоняв над собой пар веником, разогревшись как следует, старик принялся выбивать на своих мощах что-то похожее на чечётку. И так повернётся, и этак. Постановивает от наслаждения, ногами сучит:

— Плесни-ка ишшо отдушки, Родионыч!

Наконец взмолился:

— А не постегашь ли ты меня, старого? Совсем мóчи нет.

Пришлось Борису лезть в самое пекло, храбриться — неужто он слабее старика? Кое-как дождался конца этого п о б о и щ а. Но тут новое испытание.

— Сам тоже похлещись, а я покам в сёнках посижу.

Едва дверь за стариком закрылась, Борис скатился вниз и ну шлёпать веником по полку — чтобы Мохов не догадался по звукам о его малодушии.

— Ты, Родионыч, вроде париться горазд, — похвалил его Мохов, угощая после помывки квасом. — Или опыт есть?

— А как же, — соврал Борис, — знакомое дело.

22

Спать не хотелось. Борис вышел на крыльцо, набросив на плечи ещё влажное полотенце, опустился на ступеньку и достал сигарету.

— Сидим? — негромко окликнул его с улицы знакомый голос.

Борис присмотрелся: вроде бы Вадим Кукуев. С чем, интересно, на этот раз принесла его нелёгкая?

— Куревом не угостишь?

Голос у Кукуева вроде бы весёлый, дружелюбный. Небось, из клуба идёт или со свидания. Футболку со стилизованным глазом наконец-то поменял на клетчатую рубашку и пиджак, патлы укоротил. Совсем другой человек. С таким и перекурить можно.

Борис вышел за калитку. Тусклый свет от фонаря лежал у ног круглым пятном. Дальше начиналась темь до следующего столба.

— Угощайся, — протянул пачку Борис.

Кукуев выудил из неё сразу несколько сигарет:

— Я тут не один. Желающих много. Не возражаешь?

И тотчас Бориса обступили четверо: младшему на вид лет две-

надцать-тринадцать, старшему — вдвое больше, остальные — ровесники Кукуева.

— Ну, — взгляд его сделался тяжёлым, недобрым, — вот мы и встретились... Пошли, что ли, на травке поваляемся.

— Иди, валяйся. Я-то при чём?

— А кто к Земцовым на пасеку ходил? Я ведь тебя по-честному предупреждал: не суйся.

— Умный больно, — поддержали его приятели. — Русского языка не понимает... Заслужил — получи!

И только самый старший неожиданно вступился за Бориса:

— Поваляться никогда не поздно. Может, он по другой какой причине на пасеке был? Практикант ведь. Тут разобраться надо.

— Ничего не по другой, — отмахнулся младший. — Они чуть не три часа одни просидели. С музыкой. Я всё видел!

— Что скажешь? — испытующе глянул на Бориса Кукуев.

О, как хотелось Борису ухватиться за спасительную ниточку, рассказать о том, как заблудился в тайге, как встретил Машу, не зная, что она Земцова... День назад он, вероятно, так и сделал бы. Но не сегодня. Потому что у каждой случайности есть своя причина, своя тайна. А тайну надо уметь хранить.

— Так что же?

— Ничего.

— Не хмылься, — разозлился Кукуев и без размаха ткнул Бориса кулаком в лицо, но тот успел заслониться.

— По рылу не бей, — напомнил старший. — Заметно будет.

Выполняя его наказ, младший парнишка набычился и — у-у-у-бля! — вонзил свою острую головёнку Борису в живот. Борис охнул, согнулся, и вот они уже катаются в крапиве у изгороди, молотят друг друга, а рядом мечутся остальные, стараясь ударить в свою очередь.

Кто знает, чем бы закончилась эта потасовка, если бы не слышался голос старика Мохова:

— Это што такое? Вот я вам дам — озоровать... Людям в поле с утра, а они тут...

— Это я, — переводя дыхание, подал голос Борис.

— А с тобой кто?

— Да так... ребята знакомые... Балуемся, Василий Леонтьевич.

— А-а-а. Ну, тогда ладно. А то я думаю, кто там за люди...

Потоптавшись на месте, Мохов вернулся в избу.

Борис поднял с земли полотенце, приложил к рассечённой губе. Потом протянул другой его конец Кукуеву:

— На, вытрись.

— У, морда, — прошипел тот, но полотенце взял.

Борис молча открыл калитку и вошёл во двор.

— С лёгким паром! — бросил ему вслед Кукуев. — Не уймёшься, перейдём на тяжёлый.

23

Вода в Подкопённой пенилась, закручивая у берега ещё вчера неторопливый прозрачный поток. С чего бы это? Надо будет спросить у Мохова.

Борис выложил на большой мшистый камень бритву, взбил в жестяном стаканчике пену и долго рассматривал себя в зеркальце, прежде чем залепить пеной щёки. Слава богу, синяков после вчерашней стычки не осталось, разве что нос чуть вспух да на губах ссадина. Но это при бородке не очень-то и заметно.

Борис полюбовался ею. За неделю она загустела, перестала казаться сорной, неряшливой, некую форму обрела.

Закончив о к у ч и в а т ь бородку, он хотел было умыться внаклонку, но не смог. Здрóрово всё-таки боднул его тот придурок из кукуевской компании. С виду сморчок, а прыти больше, чем у всех остальных вместе взятых. Такие, между прочим, самые отчаянные и зловредные. Они не силой берут, а остервенением.

Ночь Борис провёл беспокойно. Чуть не до утра ворочался, вспоминая в полусне то поход на пасеку и удивительную встречу с Машей Земцовой, то угрозы и драку с её добровольными защитниками.

О плохом думать не хотелось. Вон какое нынче ясное, умиротворённое утро. Вода в ладонях переливается, ластится, прямо-таки щебечет. Не зря старик Мохов о чуде жизни говорил. Вот оно — вокруг, только руку протяни. У него и своё особое имя есть, но произносить его не обязательно. Достаточно знать, чувствовать, хранить в себе. *Tacet, sed loquitur.* «Молчит, но говорит»...

Уходить с берега не хотелось, уж очень здесь покойно, уединённо, многоцветно. Хоть ложись и навёрстывай упущенный ночью спокойный отдых. Жаль, не то время и место.

Собрав умывальные принадлежности, Борис двинулся в обратный путь.

Лопухие подорожники украсились бурыми цветочными стрелками. Они похожи на улиток, выпустивших рожки. Весело перемигиваются красноватые цветики клевера с лилово-голубыми васильками, белыми ромашками, золотисто-жёлтыми лютиками, розово-малиновым иван-чаем. Но для букета они слишком обычны, просты. Найти бы какие-нибудь особые, не примелькавшиеся. Эти, например...

Борис остановился. Неподалёку от него, в овражке, гордели-

во покачивались густые гроздья фиолетовых цветов с затейливо изогнутыми лепестками и ещё не распутившимися зелёными коробочками. Их вынесли наверх высоченные стебли с большими лапчатыми листьями. Цветы источали прохладу, незнакомо-дразнящие запахи. Они звали сорвать их. Две-три веточки — и букет готов...

Не удержавшись, Борис обломал пять. Будет с чем наведаться сегодня в библиотеку.

Впереди обозначились дома Марейки. Между ними повисло пылевое облако. Это машина со стороны Синего Яра катит. Вот она миновала клуб и повернула к дому Моховых. Интересно.

Борис убыстрил шаг. Он успел заметить, как из новенького «газика» на том самом месте, где ему вчера выпало держать круговую оборону, выбралась моложавая женщина в больших круглых очках и летней шляпе со старомодным бантом сбоку. Борис узнал её: да это же Валентина... Точнее, Валентина Ивановна Павлова, руководитель практики. Он о ней и думать забыл, а она, смотри ты, вспомнила. Правильно говорят: лучше позже, чем никогда...

Всем хороша Валентина — и умна, и заботлива, и представительна, а вот научной степени до сих пор не имеет. Оттого и гоняют её, как девчонку, на картошку вместе со студентами, поручают следить за дисциплиной в общаге, вести всевозможные практические занятия — словом, держат на подхвате. Лишь иногда выпадает ей читать лекции вместо заболевших доцентов, и тогда она преображается, поражает слушателей невесть откуда взявшимся красноречием, широтой и свободой мысли, упоённой, но весьма несвоевременной влюблённостью в устное народное творчество, которое она считает фундаментом всех филологических наук.

Неделю назад, прощаясь с Борисом в Синем Яре, Валентина предупредила:

— Вы у нас, Дымков, практикант-одиночка, так что в Марейке я побываю в первую очередь.

Поначалу Борис и правда ждал её: а вдруг нагрянет? Помочь не поможет, но подбодрить — вполне. Потом перестал ждать: не до того стало. И вот нá тебе! явилась не запылилась, причём перед самым концом практики. Для видимости, конечно.

«Раз так, — рассудил Борис, — не стоит и показываться. «Газик» у неё казённый, райцентровский, значит, долго она здесь не высидит...»

Он облюбовал место в тени за сараем и принялся фантазировать, чем сейчас занята Валентина. Для начала, надо думать, покалякает со стариком Моховым, выпросит, чем занимался эти дни постоялец. Старик, само собой, нарисует ей впечатляющую карти-

ну его научной любознательности. Она сначала удивится, потом успокоится, потом преисполнится к Борису уважением. Возможно, старик решит угостить её, чтобы продолжить разговор. Но это не обязательно. Значит, радость встречи с ней смело можно оттянуть на час, не меньше.

Но Борис не выдержал и полчаса. Каково же было его удивление, когда он увидел во дворе молчавших Мохова и Валентину. Старик по своему обыкновению плёл корзинку, а она, неудобно приткнувшись на краешке скамьи, читала. Нет-нет да и черкнёт что-то красным карандашом в общей тетради.

Присмотревшись, Борис узнал одну из своих рабочих книжиц. И похолодел. Похабщина Воротникова записана в ней прямым текстом. Ну, влип...

— Это же черновик! — невольно вышагнул он из своего укрытия.

— А, Дымков, — шляпа Валентины приветливо колыхнулась ему навстречу, — Прежде всего здравствуйте. Как вы загорели, возмужали. Сразу и не узнать... Извините за самовольство, но вас нет, а я, понимаете, ненадолго... Решила полистать.

— Ну и как? — в упор посмотрел на неё Борис.

— Не везде вы транскрипцию правильно делаете. Кое-где грамматические ошибки проскальзывают. Вернее, описки... Я понимаю: самому вести разговор и записывать тексты трудно, внимание раздваивается. Но в целом вы молодец, материал собрали ценный. А рассказ о гибели Назара Тулупникова ну просто художественный. Поздравляю. У большинства девочек из вашей группы дела обстоят значительно хуже...

Далее последовал рассказ, как именно. Одни не сумели найти подход к старикам, у других плохо с питанием, третьих не устраивает жильё. Есть и заболевшие.

— Я вот тоже в санчасть попала, — вдруг повинилась Валентина. — Потому и оставила вас без призора.

Лишь теперь Борис заметил под глазами у неё отёчные мешки.

— Чего там, — сказал он и отвёл глаза, — С кем не бывает.

Он хотел было спросить, что за болезнь у неё была, но не спросил. Неудобно.

— А сейчас вы как себя чувствуете?

— Спасибо, уже хорошо. Но не будем больше об этом. Болезни не самая интересная тема, Дымков. Верно я говорю?

— Верно, — сам не зная почему, Борис вынул из-за спины букет с фиолетовыми цветами, — Вот...

— Но ведь это аконит, — растерялась она.

— Не знаю. Наверное... А вам что, не нравится?

— Не в том дело. Просто это ядовитое растение. Очень ядовитое. Вспомните мифы и легенды древней Греции, вы ведь их уже проходили... У дверей ада Геракл вступает в единоборство с трёхглавым псом Цербером, тело которого кишит змеями. Из слюны Цербера и вырос аконит. В народе его называют бóрец.

— Так, так, — поддакнул со своего насеста старик Мохов. — У собак-от бóрец — первое средство от глистов. А волки или там овцы с козами его не терпят. У каждой животины своё. Или пищу-ху взять. Она из его сено в запас ставит. Сам по молодости видел. Ага. А человеку нельзя — вмиг отравится или память потеряет. Разве што припарки от боли делать, — однако, поразмыслив, старик добавил: — К Лепёхиной тут один из города приезжал... по врачебной части. Вроде говорил, што бóрец от рака сильно помогает.

— От рака? — переспросила Валентина.

— Точно не скажу, но вроде так...

Слово за слово, и они сбились на медицинскую тему, вернее, на медико-ботаническую.

Борис почувствовал себя идиотом. Вот уже полчаса он носится с цветами Цербера. Руки его пропитались их соком. А он касался ими лица, держал сигарету.

Воспользовавшись тем, что о нём на время забыли. Борис сунул злосчастный букет за поленницу.

«Чуть было Валентину не отравил, — ругнул он себя. — И с какой это стати меня на оранжерейные любезности потянуло? С таким же успехом я мог подарить букет Маше Земцовой... Тоже мне, специалист...»

Но тут засигналил шофёр «газика».

— Пора, — заторопилась Валентина — Не забудьте, Дымков: отъезд четырнадцатого. За час до отплытия быть на пристани. — И, уже садясь в машину, добавила: — А черновики я люблю больше чистовиков. Они правдивее...

Еремея Панфиловича Курочкина, марейкинского киномеханика, Борис увидел на одном из деревянных столбов неподалёку от клуба. На этот раз его круглую бритую голову венчала клетчатая кепка с прямоугольным козырьком, шитая скорее на подростка, чем на взрослого. Рубаха навывпуск, тоже клетчатая, самодельно скроенная, туго обнимала массивный живот. Огромные карманы, как патронташ, набиты всякой всячиной. Мешковатые брюки заправлены в носки, давно потерявшие свой цвет. На ногах — не то кеды, но то заношенные вдрызг полотняные тапки. Носки их об-

мотаны шпагатом и лишь затем вставлены в стальные стремяна монтерских «когтей». А страховочным поясом служила Курочкину тоненькая бельевая верёвка. Снизу она плохо различима, и поэтому кажется, что киномеханик вот-вот взорлит над Марейкой.

«Опять что-нибудь под вид наушников для плохослышащих сообразил, — подумал Борис, примедлив шаг у перекрёстка напротив. — Его бы героическое изображение да на первой полосе областной газеты тиснуть. А ещё лучше — на обложке цветного иллюстрированного журнала. Во весь рост, с трудовой п а п и р ё с к о й в зубах, на фоне разлинованного проводами простодушно-голубенького сибирского неба. И подпись: рационализатор из глубинки. Или: дай прикурить! Или: мне сверху видно всё, ты так и...»

В этот момент и вынеслась из-за поворота нескладная девчонка на взрослом велосипеде. Одна нога из-под рамы торчит, другая струной вытянулась, юбка парашютом вздулась, шальные глаза удальством горят. Заметив Бориса, девчонка вильнула рулём, но поздно. Они повалились в лопухи у обочины, а велосипед освобождённо затрусил дальше — к лесинам, сваленным у ограды.

Убедившись, что с девчонкой ничего не случилось, Борис поднялся, осмотрел себя. Тоже вроде ничего, если не считать содранного локтя.

— Слепла, что ли? — ругнулся он.

— Ворон ловить меньше надо!

— Что, что? А ну повтори!

— До свадьбы заживёт!

По-взрослому избоченившись, девчонка дерзко смотрела на него. В глазах — вызов. Облупленный нос сморщился, как у рассерженной собачонки. Из-под густо сошпиленных волос торчали прозрачные уши. Алыми бусинками полыхали на них стеклянные серёжки. Руки и ноги исчирканы зелёной и йодом.

— Ай-яй-яй-и-яй! — сдвинув плоскогубцами кепку на затылок, пробулькал со столба Курочкин. — Ай-яй-яй-и-яй.

— А вы разве здесь, дяденька Еремей? — глянула вверх девчонка. — Здравсьти!

Борис глазам своим не поверил: перед ним стояло скромное существо с миловидным личиком и уважительной улыбкой.

— Здравствуй, Маня, здравствуй. Велосипед-то чей?

— Папкин.

— Вроде у него такого не было.

— А он у Масленниковых взял. Покататься.

— Я смотрю, вы его уже закатали.

— Нарочно я, что ли? — девчонка глянула на своего поверженного скакуна и вдруг сквасилась: — Папка меня за него выпорет.

И столько горечи, столько ожесточения прозвучало в её голосе, что Борису стало жаль её.

— Не бойся, не выпорет, — Курочкин решительно сунул плоскогубцы в один из карманов, отвязал верёвку и, осторожно передвигая по столбу «когти», начал спускаться. Спина его при этом неудобно выгнулась, зад отвис — вот-вот шмякнется бесформенным кулём оземь.

Но Курочкин не шмякнулся. Почувствовав под ногами заветную твердь, он приободрился, а скинув с ног монтёрские железки, и вовсе сделался лёгким, подвижным. Вдвоём с Маней они направились к велосипеду. Борис — следом.

— Помочь?

— Напомогался уже, — огрызнулась девчонка.

Но Курочкин её живо осадил:

— Это ты, Маня, брось. Я своими глазами видел, кто кого сшиб. И что это у вас за порода такая — своё на других валить?

— Звините, — буркнула она.

— Так-то лучше.

Кинемеханик поднял велосипед и со знанием дела осмотрел его. На переднем колесе погнулся обод, а заднее — целёхонько.

— А ну, держи! — скомандовал Курочкин Борису.

Без пояснений поняв, что держать, Борис зажал между ног переднее колесо, и они принялись выправлять руль.

Руки у кинемеханика сильные, но и бережные, зря не усердствуют. Лицо сосредоточенное, но не отчуждённое. В зеленоватых глазах со скошенными веками испытующий интерес. Чувствуется, что Курочкин не прочь потолковать с Борисом. Наверное, наслышан у же и о нём самом, и о его посиделках с деревенскими старожилками.

Девчонка, видать, тоже наслышана. Уселась на брёвна, подперла щёки ладошками и разглядывает в упор.

Её въедливый немигающий взгляд мешал Борису. Точно такой был у пацана, завалившего его вчера в крапиву ударом в живот.

— А что это такое: раку в нору воды налить? — вдруг ехидно спросила она. — Ни за что не догадаетесь!

— Я и догадываться не буду, — фыркнул Борис, — очень надо.

— Это... это... — нагнетая интерес, понизила голос девчонка, потом со смешком выпалила: — Это когда клизму ставят!

— Маня, — пристыдил её Курочкин, — что за слова? Где ты находишься?

— На улице, дяденька Еремей. Или на улице нельзя про клизму говорить? Так тут и не такое услышать можно... Это же загадка.

— Ну, тогда я тебе, Маня, свою загадку задам. Чем похожи язык и собака?

— Это каждый знает, — победно разулыбалась она — Привязывать надо!

— Правильно, — похвалил её Курочкин. — Между прочим, к тебе это тоже относится... А вот другая загадка. Кто, Маня, дальше всех видит?

— Солнце! — ткнула она пальцем в небо.

— В какой-то степени да. Но я спрашиваю... как бы это сказать?.. в человеческом плане.

— В человеческом не знаю.

— Разум, милая, разум, — колдовавший над ободом Курочкин с видимым облегчением распрямился. — Вот тебе велосипед, Маня. Езжай и вперёд думай, чтобы опять кого с ног не сшибить. А того больше — свой характер сдерживай и лишними словами не сори. От них большой вред бывает.

«Лишними словами не сорй, — мысленно повторил Борис. — хорошо сказано».

— Спасибочки, дяденька Еремей! — выписав восьмёрку на узком полотне дороги, девчонка махнула рукой и скрылась в проулке.

Проводив её заинтересованным взглядом, Борис спросил:

— Чья это такая боевая?

— Девушкиных, чья же ещё. Меж двух огней растёт. С одной стороны — бабушка... Может, слышал: Марфа Ивановна, добрейшей души человек. С другой — родители. Никому таких не пожелаю. Пьянь перекатная. А ведь раньше люди как люди были... Марфа Ивановна второй год неходячая — сильно болеет. Сынок куролесит. А у Мани переходный возраст. Вот она от рук и отбилась. Но вообще-то Маня только с виду сорвиголова, а на самом-то деле и добрая, и трудовая, и смышлёная. К ней по-хорошему, и она к тебе со всею душой.

Слушая Курочкина, Борис поймал себя на том, что ещё недавно пузатый киномеханик, вознёсшийся над Марейкой, казался ему комической фигурой, а теперь перед стоял крепко сбитый, рабочий человек с грубо слепленным, но приятным лицом, знающий цену людям и себе. А ещё ему подумалось, что у Маши Земцовой есть что-то общее с этой пигалицей Маней Девушкиной. Скорее всего, детскость и неуступчивость.

Возле сельмага Бориса остановил Петрович — тот самый тракторист, с которым ему довелось на сенокосе у Старой Балки подборщиком поработать.

— Желая здравствовать, — деловито пожал он руку Борису. —

Ты-то мне и нужен, студент. Тут, вишь, какая незадача вышла: мне с почты по ошибке твоё письмо принесли. Зашёл бы. Я тут рядом живу.

— По какой ошибке? — не понял Борис.

— Однофамильцы мы. Или не знаешь?

— Слышал, что есть, — смешался Борис, — но не знал, что это именно вы... Игнат Петрович.

— Да и я не сразу скумекал. Это уж потом выяснилось. Ну ничего, Борис Родионович, спознаться никогда не поздно. Хоть и напоследок, а повидаемся. Дымковы всё ж таки.

— Зовите меня по имени. Мне так привычней. Да и по возрасту правильной будет.

— Вот и ладно, Борис.

Они вновь обменялись рукопожатием и дружно зашагали к дому тракториста.

Борис сразу догадался, от кого письмо — ну, конечно, от Динки. Кто ещё ему в Марейку мог написать?

Приди это письмо несколько дней назад, он наверняка обрадовался бы, а сейчас поздно. Практика кончается. Пора в Томск возвращаться, а затем домой в Кузнецк — на каникулы.

Но даже не в этом дело. Что-то в душе Бориса за последнее время изменилось. Шумная студенческая жизнь, а вместе с ней Динка и всё, связанное с ней, заметно отдалилось, потускнело, зато стало важным то, что окружает его сейчас — эти вот потемневшие от времени и непогоды деревенские избы, эти неторопливые, черпающие у земли силу и естественность люди, их речь, их судьбы, их характеры, радость узнавания, а ещё тишина и какая-то вселенская первозданность сибирских пространств, от которой голова кругом идёт...

Дом Игната Дымкова украшал металлический шест с двумя вертушками, вырезанными из жести. Они были укреплены на подвижной горизонтальной планке и напоминали пропеллеры идущего на посадку самолёта.

Проходя мимо этого двора, Борис не раз замедлял шаг. Так вот кто превратил обычный флюгер в пропеллеры...

Перехватив его заинтересованный взгляд, Петрович не без гордости сказал:

— На ветрянки глядишь? Так их мои сынчишки изладили. Они у меня знаешь какие выдумщики? Не приведи господи. Один в пятом, другой в седьмом классе шеболдайничает.

— Будет тебе, Игнат, лишнее на детей молоть, — с порога укорила его крупная, но ещё молодая женщина. — А вдруг Господь и правда услышит?

— Пусть... У меня от него секретов нет, — Петрович неспешно поднялся на крыльцо и представил: — Это половина моя, Галина Алексеевна... А это Дымков. Студент. По возрасту просит называть себя Борисом. Почему и не уважить?

— Приятно познакомиться, — отёрла руку о передник, чтобы подать её гостю, хозяйка, но так и не подав, засуетилась: — Я мигом, Борис. Письмо тут, на радиоприёмнике. Сейчас принесу.

— Он не торопится, Галя, — остудил её пыл Петрович. — Так что собери пока на стол, а мы тут сами разберёмся. Верно, Борис?

Борис неопределённо пожал плечами.

— Тогда вот тебе письмо. Располагайся поудобней и читай. Я мешать не буду.

Первым делом Борис взглянул на конверт. От кого письмо? — Так и есть, от Динки, точнее, от Д. Валевиц. Кому? — Б. Дымкову. А ведь он просил адресовать его Василию Леонтьевичу Мохову с припиской: «для Бориса Дымкова». Стоит ли удивляться, что письмо попало не Б., а И. Дымкову? Почерк-то у Динки уж очень загогулистый. Не мудрено одну букву с другой перепутать, особенно заглавную.

«Посмотрим, что внутри, — Борис извлёк из конверта два стандартных листочка писчей бумаги. — Сочинила, поди, первую попавшуюся отговорку — и good bay до сентября».

Побежал глазами по строчкам. Ну, точно. Динка сообщала, что в связи с болезнью мамы срочно должна выехать в Рубцовск. Коротко и ясно. Зато на ласковые слова не поскупилась.

— Что пишет товарищ? — нарушил молчание Петрович. — Всё нормально?

— Вполне, — бодро подтвердил Борис. — Солнце светит, реки текут, жизнь продолжается. Мы ведь как перелётные птицы: зимой, осенью и весной учимся, а на лето домой улетаем. Вот мой товарищ и улетел. Теперь в сентябре встретимся.

— Это уж как ведётся. Крестьянин полем жив, а студент книгой.

Разговаривая, Борис поглядывал вокруг. Зала не то, что у Земцова, — тесновата, приземиста. А может, это потому так кажется, что одну из стен занял тёмно-красный, по-восточному цветастый ковёр. Прямо к нему пришита вешалка с двумя рядами витиевато изогнутых золотистых крючков. Дальше — широкая тахта под зелёным бархатным покрывалом, а в изголовье — вышедший из моды радиоприёмник «Минск». Дверь в соседнюю комнату зажата книжными полками. Только печь и кухонный стол напоминали о том, что это деревенская изба.

— Ну как? — накрывая на стол, хозяйка бросила взгляд на украшенную ковром половину.

— Как в городе, — нашёлся Борис.

Лицо Галины Алексеевны так и засияло:

— Обставаемся помаленьку. Это я прошлым годом из Челябинска привезла. У меня там брат работает — в потребсоюзе. Ну и пособил. В здешних-то магазинах голым-голо...

— Будет тебе, Галя, — вмешался Петрович. — Угостила бы сначала.

Но она на него ноль внимания.

— Как ни говори, а в городе со снабжением лучше. Даже просто в магазине можно купить — безо всякого Якова. Я вот когда в Челябинске жила... — и она принялась рассказывать о том времени, когда трудилась там на кондитерской фабрике, о ж и л л о щ а д и, которую сумела обставить по силе возможности, об уважении, которым пользовалась на работе, и даже, раззадорившись, о женихах упомянула. Они за ней гужом ходили, пока Игнат её сюда и з о т п у с к а не увёз.

Петрович слушал разговорившуюся жёнушку с некоторой досадой, но терпеливо, а тут не выдержал:

— Скажи лучше: сама за мной увязалась.

— Увёз, увёз, — засмеялась она, снимая натяжку, и заинтересованно оборотилась к Борису: — А у вас, поди, от невест отбоя нет?

Дипломатично промолчав, Борис подошёл к книжным полкам. Они были забиты выпусками «Роман-газеты», всевозможными журналами, начиная от «Работницы» и кончая «За рулём», пластинками, атласами.

— Много ездите? — Борис перелистал атлас железных дорог центральной России, Закавказья, Прибалтики.

— Какой там! — махнула рукой Галина Алексеевна. — Придурь самая настоящая. Нет, чтобы отдохнуть, уткнётся в карты и смотрит. А что там смотреть, уж и не знаю. Или с мальчишками затеет по ним названия отгадывать. Показывает им, где в детстве жил, где воевал. Ну, это понятно. А то ведь по всей географии начнёт их гонять, будто в кругосветное путешествие готовит.

— Ну, всё, — перебил её хозяин, — соловья баснями не кормят. Угощай, раз взялась...

И вот они сидят за столом. Хозяйка усиленно потчует Бориса, а заодно дотошно выпрашивает о нём самом, о его родных, пытаясь обнаружить хоть какие-то отдалённые связи между с в о и м Дымковым и Дымковым-гостем. Но связей нет, братания не получилось...

Зато продолжилось знакомство.

— А вы где воевали, Игнат Петрович? — выждав подходящий момент, спросил Борис.

— Сперва под Сталинградом, а после госпиталя — на Азовской флотилии, — Дымков снял с полки географический атлас и принялся показывать свой фронтовой путь. — Второй раз меня уже у Молочной зацепило. Это река такая. Вот она где, в Донбассе. Её, правда, тут без названия нарисовали, поросячьим хвостиком, но я с ним до сих пор хожу, — он сморщился в улыбке, обнажив тёмные, изъеденные табаком щербатые зубы. — Захочешь, не забудешь.

— Это уж точно, — вздохнула Галина Алексеевна. — Хвостов у тебя хватает.

— А под Сталинград... — ухватился за его слова Борис, — ...из каких мест?

— Неужто Мохов не доложил? — взгляд Дымкова сделался колючим, изучающим. — Как это он так опростоволосился?.. Ну, гляди, — промахнув Урал и Сибирь, Игнат Петрович отыскал карту Забайкалья. — Вот видишь, кружок у Зеи? Свободный называется. Там я и узнал свободу, как она есть. Потом в Михчесе упирался. Это станция такая на Бамлаге — Михайлово-Чесноковская. Её тут не видно, но примерно здесь, — он чиркнул тёмным пальцем по глянцевому листу. — А после дали наряд в Комсомольск-на-Амуре. Там со всех концов добровольцы были — кто за дело, кто за слово. Я из них самый лёгкий оказался, без прицепов. Но всё равно киселя хватило — и в порту, и на лесоповале, и на колее. Узнал, какая она, география, в натуре. Думал: всё, нахлебался. А теперь под старость опять потянуло на свет поглядеть. Но чтоб по-другому...

— Вы ещё не старый.

— Это как сказать. На лице не всё бывает написано.

— И что вы за разговор затеяли? — вдруг застрожилась Галина Алексеевна. — Других, что ли, нет? — И спросила у Бориса: — Вы какие песни больше любите? У нас всякие есть — и старые, и новые. Я, к примеру, романсы предпочитаю, а Игнат мой — вальсовые. Поставить?

— Поставь! — велел Дымков. — Зачем спрашиваешь? Хозяйка с готовностью открыла патефон, сняла с книжной полки первую попавшуюся пластинку. И заполнил комнату тоненький серебряный голос Лемешева.

Под его песни и явились сыновья Дымковых: один сухощавый, жилистый, весь в отца; другой — коренастый, плотный, похожий на мать. Поздоровавшись с гостем, шмыгнули за стол.

— А умываться кто будет? — шумнула Галина Алексеевна.

Пришлось ребятам идти к рукомойнику.

— Не буду мешать, — поднялся Борис.

— Заходите ещё, — занятая своими мыслями, глянула ему вслед хозяйка.

Игнат Петрович проводил гостя до калитки.

— Привет товарищу, — сказал на прощанье. — Верный он у тебя, если даже в Марейку пишет.

— Ещё какой верный! — подтвердил Борис. — Мы с ним не разлей вода!

26

Машу Земцову Борис подкараулил у подвесного мостика через Подкопённую. Сначала мелькнула вдаль, в мелколесье, её светлая кофточка, потом показалась она сама. Крепенькие ноги ступали часто-часто, и не рядом, а одна перед другой. Юбка при этом не шелохнётся. Тело вытянулось, обозначив под лёгкой материей светящиеся полукружья, издали похожие на прикрытые от воздушных потоков огоньки. Голова откинута, будто ей тяжело нести пышную косу. На лице отрешённость и вместе с тем озабоченность. Эх, если бы заменить их мечтательностью, убраться хоть на время всё, что напоминает о земных заботах...

Борис выступил на тропинку из-за куста калины.

— Ты? — вздрогнула Маша.

Это «ты», непроизвольно вырвавшееся у неё, окрылило Бориса. Значит, ледок её холодности не так уж и крепок.

— А ты кого ожидала увидеть?

— Никого, — рассердилась она. — Очень надо... Ну-ка, пропусти.

— Пожалуйста. Только я тебе тетрадку со стихами собирался вернуть. А библиотека закрыта.

— Надо было дожждаться. Там расписание есть.

— Я по расписанию не хочу, Маша. По расписанию такие дела не делаются.

— Какие ещё дела? — ступила она на подвесной мостик.

— А такие, — шагнул он следом и открыл тетрадь в синей дерматиновой обложке. — Вот послушай. Ты же сама эти стихи выписала. Значит, нравятся, — и стал читать:

*Ночью на галактиках соседних
Зажигают жители огни.
Человеку нужен собеседник.
Человек не может жить один.*

Тонкие стальные тросы поскрипывали в ржавых кольцах. Поросшее зелёными текучими водорослями дно просматривалось до той грани, откуда солнце начинает отражать свои горячие, слепящие лучи. На воде вспыхивали синие, жёлтые, зелёные, серебристые пятна.

*Человеку нужно опереться
На кого-то близкого вовне.
И зовёт кого-то наше сердце
На неведомой ещё волне.*

Маша слушала, опустив глаза. Ресницы её чутко подрагивали, на щеках играли матовые блики, возле ключицы пульсировала тонкая жилочка. Пальцы перебирали пышную косу, от которой веяло неведомыми запахами. Наверное, так должно пахнуть цветущее горчичное поле...

*Человеку нужен современник,
Чтобы расстоянье нипочём.
Чтобы на путях ещё неверных
Подставлял уверенно плечо...*

Не выдержав, Маша изучающе глянула на Бориса. Потом молча взяла из его рук тетрадь.

— Считаю, что задолженность у тебя списана.

Повернулась и, легко сбежав с мостика, зашагала дальше.

На этот раз растерялся он:

— Погоди, Маша. Куда же ты?

— В библиотеку, — остановившись, звонко сообщила она.

— Я завтра уезжаю.

— Да? Счастливо...

— Давай ещё встретимся!.. Завтра, в одиннадцать. На этом самом месте...

Маша что-то ответила, но Борис не расслышал. Гадай теперь, что она сказала...

Облокотившись на трос, он усталился в воду. Вот пробежала против течения стайка глупых мальков, вот заскользил небольшой гибкий подъязок, вот поднялась со дна гроздь серебристых пузырьков. А поверх всего этого зыбилося его тёмное нечёткое отражение. Глядя на него, Борис вспомнил строки из машиной тетради и кисло улыбнулся.

*На лугах и косогорах
Тени резки и грубы.
...Я пока никто:
Ни горя
Нет,
Ни счастья, ни судьбы...*

С утра запасмурело. Борис выглянул в окно, потом проверил показания старикова барометра. Так и есть: сухие еловые веточки, все эти дни стоявшие прямо, заметно выгнулись.

И нужно же погоде испортиться именно сегодня!

Дождя ещё не было. Но тучи, сгрудившись, медленно подкапывались к Марейке. Повраждовав немного, они сливались в чёрно-серую массу.

Борис глянул на часы. Без двадцати одиннадцать. И заторопился.

Переулок он промахнул за минуту, на улице примедлил шаг, чтобы не очень бросаться в глаза встречным. Возле дома Тулупниковых свернул в низинку и, миновав огороды, уже не скрываясь, побежал к подвесному мостику.

Вот и м а ш и н а тропинка. На ней — никого.

Первая дождевая капля ударила Бориса в щёку, вторая запуталась в волосах, третья скользнула за ворот.

Он глянул на часы: ровно одиннадцать.

Дождь припустил сильнее.

Борис укрылся под раскидистой берёзой. Тут пока сухо. Но надолго ли?

Время тянулось медленно. Дождь барабанил по листьям, накапливался на них, шуршал, пока наконец на Бориса не стали сыпаться короткие струи.

Он переместился на островок посуше, но и там полог над ним дал течь. Тогда Борис перебежал под другую берёзу, потом под третью. Он кружил вокруг тропинки, всё приближаясь и приближаясь к пасеке. Наконец остановился у невысокой изгороди, глянул на плотно притворенные окна Земцовых. Но разве за ними что-то различишь? Дом будто вымер.

Где-то рядом залаяла собака, потом другая. Этого только не доставало.

Борис отступил в лес. На прощанье оглянулся. Ему показалось, что кто-то подошёл к окну, смотрит на него из своего укрытия. Если бы знать, кто...

На всякий случай он вернулся к подвесному мостику: может, Маша пришла сюда другим путём? Крикнул негромко:

— Я здесь!

В ответ — шелест дождя.

Лишь теперь Борис заметил, что промок до нитки. Ну и пусть. Какая теперь разница?

Уже не прячась от дождя, он зашагал к Марейке. Неожиданно впереди замаячил крытый толем навес. Борис устало прислонил-

ся к щелястой стенке. У ног его желтели две копёшки сена, положенные на доски.

«Сено — это хорошо», — Борис стянул с ног мокрые туфли и носки. Прополоскав их в яме, вырытой, скорее всего, для столба, он выжал их и бросил сверху на одну из копёшек. Потом отёр ноги сеном и, забравшись в душистую середину, начал выкручивать штаны и рубашку. Не возвращаться же к Моховым в таком виде? Да и дождь. Лучше пересидеть. Не может же он сеяться бесконечно.

Борис сделал из двух копёшек одну и укрылся внутри. Теперь надо угреться, забыть о Маше. Напридумывал тут разного, а в жизни всё куда проще и банальней. Как приехал, так и уедет.

С крыши свергались порывистые струи. Они настигали и никак не могли настичь друг друга. Вот так и Борис: всё хочет догнать что-то важное, сокровенное, а оно ускользает. Хоть плачь.

Дождь иссяк как-то вдруг. Сначала робко, а потом с весёлой уверенностью выглянуло солнце.

Борис вылез из своего укрытия и начал одеваться.

Хочешь не хочешь, а уезжать придётся. Практика кончилась! Как бы на катер не опоздать...

28

Прощание со стариком Моховым вышло коротким.

— Мне пора, — сказал Борис, переодевшись в сухое. — Ехать надо. Жаль, не успел ни с кем проститься. Так получилось.

— Ехай, раз время вышло, — разрешил старик.

— Передавайте привет Марии Васильевне. И спасибо за всё.

— Передам, сынок, передам. Всенепременно. И тебе спасибо.

— Мне-то за что?

— А што слушал. Ныне со стариками мало кто возится, акромья родных. А ты ничего, — он нащупал плечо Бориса и сухими твёрдыми пальцами погладил его. — Ну, с богом.

Борис ответно тронул его руку и выскочил на крыльцо.

Марейка лежала перед ним тихая, омытая дождём и словно помолодевшая. С минуты на минуту через неё на Синий Яр должен пройти воронихинский автобус. Как бы не пропустить его.

Перехватив поудобнее портфель, раздувшийся от мокрой, наскоро засунутой внутрь одежды, Борис зашагал к клубу. Ноги то и дело разъезжались на заляпанных грязью деревянных дорожках. Провода провисли, как плети. Запахи прибило к земле, будто пыль.

И тут Бориса осенило: а что если Маша сейчас в библиотеке? Всякое может быть...

Не останавливаясь у клуба, он бросился туда. Но нет, на дверях библиотеки висел замок. Опять м и м о.

Он повернул назад. И здесь неудача: старенький замызганный автобус, похожий на крытый грузовик, уже выруливал на главную улицу.

— Стой! — заорал Борис, но водитель его не услышал.

Придётся теперь идти аж до райцентровского тракта. Здесь попутную можно и не дожидаться.

Скорей, скорей...

Борис прибавил шагу. Временами в ближних окнах мелькали лица. И тогда он чувствовал на себе внимательные, хотя и мимолётные взгляды.

Вот, наконец, и последний дом.

Борис оглянулся, всё ещё надеясь на чудо. Напрасные надежды. Земля от влаги набухла, вздулась, сделалась некрасивой. Борис ковылял по ней, оскальзываясь, обходя топкие места.

Неожиданно сзади послышался гул машины: Бориса нагонял пузатый самосвал с навозом.

Борис вскинул руку.

Поравнявшись с ним, шофёр приоткрыл дверцу:

— Тебе куда?

— До пристани. На катер опаздываю.

— Извини, друг, только до переезда. Залазь. Там другую машину поймашь.

— Нет, спасибо, — неожиданно для себя отказался Борис. — Другую ждать некогда.

— Как знаешь, — захлопнул дверцу шофёр. — Прямой может сейчас и не быть.

«Ну и пусть, — подумал Борис. — Ну и пусть...».

Ему вдруг отчаянно захотелось, чтобы мимо вообще перестали ходить машины.

Самосвал, густо взревев, заковылял по ухабистой дороге дальше.

Борис смотрел ему вслед до тех пор, пока он не растаял за далёким серым горизонтом.

1972–1991

СТУПЕНИ

Повсюду нам сопутствуют ступени.
Без них не можем мы ни выйти,
ни войти.
Должны мы одолеть их как вступленье,
Предпосланное Главному Пути.
Пусть кто-то шутит:
«Я-то их миную,
Возьму да по перилам прокачусь».
А я иду, ногами их рифмуя, –
Ту проскочу, на этой задержусь...
Мне нравятся они без исключения.
Ну, а ушибы – это для того,
Чтоб осознать, что есть Закон Движенья –
И нам никак не обойти его.

1959

ВЫСОТА

Посвящается красноярским столбистам

Над полётом стрижей устало
Мы сидим на прогретых скалах.
Между них мы лезли враспорку,
К солнцу ввысь – на небесную горку.
И теперь в нас гудит эта высь.
Будто заново мы родились.

Зацепился вечер за плиты.
А на них, как из бронзы вылитые,
Над зелёным тягучим ветром,
Над горячим сибирским летом,
В синеве бездонно-лучистой
Золотые фигурки столбистов.

Впереди ещё много высот.
Впереди ещё много забот.
Но я знаю: теперь навсегда
С нами первая высота.

1960

ГИТАРА

Пахло уксусом, пахло стружками.
Пили воду мы
мятыми кружками.
Для костра собирали валежник –
Всё как прежде... Совсем как прежде...
В темноте тонули палатки.
К ним костры выходили вприсядку.
И гитара вздыхала с надеждой –
Всё как прежде... Совсем как прежде.
Но сегодня гитары не слышно.
Но сегодня песня не вышла –
Мчится парень в поезде где-то...
Плачет младший геолог Света...
Надоело парню скитаться –
Ни кино, ни удобств, ни танцев.
Надоело вставать до рассвета...
Плачет младший геолог Света.
А наутро губы девчонки
Стали серыми, стали тонкими.
Но, закинув рюкзак за спину,
Улыбнулась нам взглядом синим.
А гитара – подарок недавний –
Догорала в костре бесславно...
Пахло уксусом. Пахло стружками.
Пили воду мы
мятыми кружками.

1960

В ГОСТЯХ У ВЕСНЫ

Я сегодня в гостях.
Я сегодня в гостях у весны.
Сплю в обнимку с землёй.
Надо мной наклоняются сны.
Надо мной наклоняются звёзды.
И чуткие сосны звенят.
Я смотрю свои сны,
Свои лучшие сны,
По четыре сеанса подряд.

Я смотрю свои сны.
Я храню свои сны много лет.
Над зелёною ночью
Плывёт ослепительный свет.
Хвоя лижет мне щёки.
Прозрачно поют соловьи.
Я сегодня в гостях
У грустящих берёз.
Я сегодня в гостях у любви.

Не сбываются сны.
Обрываются сны – что же, пусть...
Я читаю весну.
Я читаю весну наизусть.
Опускаю ладони в родник.
Но не смыть мне упрямые сны.
Я сегодня опять далеко-далеко.
Я сегодня в гостях у весны.

1960

* * *

У девчонок детство в чемоданах,
Среди книг и платьев – в уголке:
Кукла в разноцветном сарафане
И в смешном застиранном платке.
В свёртках рядом – срезанные косы,
Бантики, иголки, мишура.
Первый курс. Всё рядом – смех и слёзы,
Лекции, любовь, профессора.
Девочкам ещё нельзя без детства
Далеко от дома и от мам.
И лежит девчоночье наследство,
Отрицая подлость и обман.
Отрицая взрослые привычки
И походный скрашивая быт...

Трогая пушистые косички,
Девушка задумчиво сидит.
Между нами – пройденное детство.
Что-то с ней творится и со мной...
Но пока единственное средство –
Не мешать ей всё решать самой.

1961

* * *

От точки А до точки Б
Я шёл зигзагами к тебе,
Хотя наикратчайший путь
Был – просто руку протянуть.

Но я, видать, не знал совсем
Геометрических систем.

От точки А до точки Б
Я непонятен был себе.
Хотя наикратчайший путь
Был – просто в душу заглянуть.

Но я, видать, не очень смел,
Раз сделать это не посмел.

От точки А до точки Б,
Передоверившись судьбе,
Себе препятствия чинил
Я тем, что круг в судьбе чертил.
Хотя наикратчайший путь –
Прямой его перечеркнуть.

Но только посуди сама:
Прямая не всегда пряма.
Окружность не всегда пуста.
А юность – не всегда проста.

И вновь теперь от точки Б
Мне от тебя идти к тебе.

1962

* * *

Кукушка плачет, плачет истоиво
После дождя и в тихий дождь.
Листву волною серебристою
Бросает влажный ветер в дрожь.

Озноб стихает за откосами.
Стоит дождём промытый бор.
С улыбкой сорванца курносого
Кувшин глядит через забор.

Не знаю – радость ли, кручина ли
Меня выводит на луга.
Лучи хмельным потоком хлынули.
К дождевикам тянется рука.

И всё дрожит, всё раскрывается
Навстречу влаге и весне.
И всё живое продолжается
В своей извечной новизне.

Земля принять в себя готовится
Дождинки ласковых семян...
Да вот кукушке нездоровится –
Там, над одною из полян.

1963

ЩУКА

Она ушла в глухую заводь –
Приспела, видимо, пора...

Я перемёт решил поставить
Напротив нашего двора.

Она нашла топляк и прытко
Меж сучьев втиснулась его...

Я накопал червей с избытком,
А ямку притоптал ногой.

С трудом проталкиваясь в щель,
Она икру полдня метала...

Я заметил, где клевало,
Чтоб шла приманка без потерь.

Она неслышно подплыла
И морду высунула рядом, –

Я оценил добычу взглядом,
Нащупал остриё кола.

Но вдруг заметил, что на дне
Икринок гроздь лежит, мерцая,
И жалость вспыхнула во мне,
Азарт обычный отрицая.
Была добыча так близка –
Лишь наклонись, схвати рукою...

Она сползала вглубь с песка.
Я делал вид, что руки мбю.

1963

ГОРОДА

Я люблю врываться в города.
Не въезжать, а именно врываться.
Как шальной, не зная сам куда,
Я спешу, чтоб видеть и встречаться.

Каждый город для души моей –
Родина. Открытие. Награда.
Кремль в Москве, брусчатка, мавзолей,
Медный всадник в сердце Ленинграда.

Пять Углов на мурманских ветрах.
Имена. События. Свершенья.
Кажется, что летом в поездах
Вся страна находится в движенье.

Я люблю, чтобы ломался план,
Мною приготовленный заранее.
Чтобы стало вдруг на первый план
Вовсе неучтённое свиданье.

Жажда узнавать срывает нас
С мест привычных, распахнув дороги.
Чтоб склоняться у билетных касс.
Чтоб подсолнух кланялся нам в ноги.

Чтоб, как в дом, врываться в города.
Не въезжать, а именно врываться...
Но всего дороже те, куда
Надо возвращаться.
Возвращаться!

1963

ПОЧТОВЫЕ РЕЙСЫ

Весна. По размытым дорогам
Машины, качаясь, плывут.
Шофёры дорогу клянут,
Ругают и в душу, и в бога.

От солнца – прострелы в снегах.
Тайга колобродит от света.
Кабина, как баня, прогрета.
И пляшет баранка в руках.

По борту машины – полоска –
«Почтówki» забрызганный знак.
Шофёр не прикурит никак
Изжёванную папироску.

О, твёрдые руки мужчин.
О, люди тревожной работы,
Ваш рейс продолжают пилоты –
Шофёры крылатых машин.

Кружится тайга под крылом.
И город выходит навстречу.
Берут почтальоны на плечи
Те письма, которые ждём...
Ты взглянешь, какого числа
Письмо было послано мною,
И скажешь, что почта весною
К тебе очень медленно шла.

1963

* * *

Да, печь – подобие костра,
И в то же время – символ быта.
Она послушна, домовита.
Она по-своему добра.

Но в четырёх её углах
дробит огонь свой крик истошный...
... А я люблю костёр дорожный
С картошкой в розовых углях.

Тоска по странствиям остра,
Как бы недавняя обида.
... Я разжигаю деловито
Огонь домашнего костра.

1963

«ЯК-12»

«Як-12» работяга-самолёт,
Неказистый,
а зелёный, точно лес,
Над тайгой осуществляет свой полёт
Без комфорта и красавиц стюардесс.

Он мотается на северных ветрах,
Приземляется порой на «пятаки».
И качаются на дрогнувших ветвях,
Любопытства не тая, бурундуки.

Обмороженный, простуженный совсем,
Обогреться он не может у огня.
Молчаливо соглашается со всем,
Но на отдых не берёт себе ни дня.

Отправляется в дорогу поутру
К лесорубам и геологам на Кеть.
Самолёту это очень по нутру.
Самолёту с грузом хочется лететь.

И летит он, и даёт километраж.
И сгорает на работе день за днём.
«Як-12», ты не выдашь, ты не сдашь.
Мы с тобой ещё, дружище, поживём.

1963

ТРОПИНКА

Там по краю, по самому краешку берега,
От желтеющей осыпи наискосок,
Вниз сбегает тропинка и, белая-белая,
В тёплых сумерках тычется в мокрый песок.

И не видно, печально она или радостно
Растворяется в плотной спокойной воде...
Как тревожно, и пьяно, и стыдно, и сладостно
Нам спускаться к реке... А, быть может, к беде?

Словно мы прикоснулись к чему-то запретному
И не знаем, что делать и как поступить...
Ведь придётся сегодня тропинку заветную,
Возвращаясь назад, нам опять повторить.

Спуск всё круче. Всё больше камней и неровностей.
Всё короче тропинка. Всё ближе песок.
Я забуду изгибы её и подробности.
Не забуду ни с чем не сравнимый восторг.

Будто кто-то незримый бессонною лампочкой
Помогал, освещая тропу изнутри.
Ты смеялась, держа босоножки за ляпочки,
И одними губами шептала: «Смотри!».

Я смотрел, но не видел того, что положено,
Потому что на тихом песке у воды
Сходу юбка и кофточка белая брошены,
А над зыбкой водой обозначилась ты.

То не ветви берёз, а плакучие волосы,
Ночь и звёзды, и зыбкое небо до плеч.
Тишина и простор, где ни звука, ни голоса,
Только рук наших слитых беззвучная речь.

И река, словно добрая умная женщина,
Что любого поймёт и приветит без слов,
Обняла нас светло, будто ею обещано
Охранять эту верную нашу любовь.

Мы ушли от реки по тропинке по узенькой,
Друг за друга старательно очень держась.
А на травы роса опускалась, как музыка,
И ромашки спросонья не видели нас.

1963

Отстают, остаются их матери,
ясные матери,
мягко крупные слёзы
смахнув с задрожавших ресниц.
Остаются без дела те руки,
которые гладили,
умывали, лечили,
отбирали подстреленных птиц.

Руки в синеньких жилках
кричат о любви и пощаде,
у плеча замирают
и гладят пиджак на груди...

Ждут невесты ребят,
прислонившись к перронной ограде,
ждут, готовые с ними
отныне повсюду идти.

Плачут матери, плачут,
идут за составами длинными,
осознав свою слабость
перед теми,
другими,
что вдруг
их нескладных, невидных детей
возвращают мужчинами
из суровых раздумий,
из нелёгких дорог и разлук.

1964

* * *

Забываем людей –
тех, которых когда-то мы знали.
Забываем друзей –
тех, с которыми вместе росли.
И красивых девчонок, что нашей судьбою не стали.
И надёжных парней –
тех, с которыми службу несли.
Забываем порой даже самых заветных и близких.
Обретаем товарищей, в чём-то похожих на них.
Забываем людей, словно вносим в посмертные списки,

Верных, сильных, здоровых и, главное дело, живых.
Забываем от счастья, но это совсем ненадолго.
Ожирев, забываем – вот это гораздо страшней.
Мы порою врагов оставляем в покое, поскольку
Есть удобный предлог – мол, найдутся дела поважней.
Только память однажды взбунтуется, всё воскрешая,
Только память однажды суровый начнёт разговор.
И вернутся все те, с кем расстался, свой путь продолжая,
С кем когда-то делил и судьбу, и дорожный костёр.
Молодые навеки, весёлые, добрые лица.
Их не тронуло время, изменяя с годами меня.
Жизнь одна. То, что минуло, не повторится.
Но в минувшем я вижу очертанья грядущего дня.
И когда говорят: «Разве всех поимённо упомнишь?
Разве это так важно – тревожиться и вспоминать?» –
И себе, и другим отвечаю, волнуясь, одно лишь:
«Разве можно друзей, разве можно людей забывать?».

1964

* * *

Люблю земле, плоды срывая, кланяться.
Но сколько б я ни рвал – другим останется.
Земля щедра. Земля добра и женственна.
В её владенья я вхожу торжественно.
К ручью приник. С ним ничего не станется:
Ведь сколько б я ни пил – другим останется.
Лежит ручей в траве – живая нить.
И никому его не замутишь.
Он к человеку, как ребёнок, тянется.
Уйдёшь, а радость на душе останется.
Я припадаю к вечной красоте.
Хочу слова найти – слова не те.
Ищу слова.
Как больно сердце ранится...
Но сколь б ни нашёл – другим останется.

1965

* * *

Горчат зелёные иголки.
Дурманит тёплая смола.
Пила выхватывает дольки
У основания ствола.

И дерево, согласно метке,
К дороге рухнув головой,
Над влажной дёрнется травой.
И судороги пройдут по веткам.

Пройдут и стихнут. А вдали,
У растревоженной излуки,
Ещё не гаснущие звуки
Вновь оттолкнутся от земли.

Плеснув в крутые берега,
Река свой плавный бег убыстрит.
И вынужденное убийство
Молчаньем освятит тайга.

А человек, смахнув с ресниц
Солёный пот, посмотрит в небо –
На солнце, на прозрачных птиц...
И вытащит краюху хлеба.
И грустно, словно бы в поминки,
Разломит хлеб на половинки.

1965

ПОСТЫ

Б. А. Ручьёву

Мы всё обдумаем потом.
Откроем память, словно книжку...
А нынче значусь я постом –
Стою на караульной вышке.
Стою, как требует устав,
В течение суток с пересменкой.
Два-три заржавленных куста
Свернулись под бетонной стенкой.
Стекает струйками ковыль.
Всё так обыденно и просто:
Зимой – мороз, а летом – пыль.
И тот же пост в степи, как остров.
Его на карте не сыскать.
И есть для этого причина...
О, если б мог я отстоять
здесь и за будущего сына!

1965

* * *

«Запевай!» – командует ротный.
И, как будто сама собой,
возникает песня. И строй
подпевает. Сперва неохотно...
Подпевает и забывает
перепады дорог,
как глаза песок забывает,
как тяжёл вещмешок,
как набухли портянки потом,
как сожгло комарё...
Обретает под песнею рота
постепенно обличье своё.
В такт, как будто бы на параде,
начинают звучать шаги.
Улыбается ротный: «Порядок!
Службу знаете, мужики!».
Мы в ответ улыбаемся дружно.
Ну а сердце поёт в груди:
«Это присказка, а не служба.
Служба главная – впереди!».

1965

* * *

Руки мои устали.
Как долго не обнимали
Эти руки тебя.
Губы мои устали.
Как долго не целовали
Эти губы тебя.
Отвыкли глаза. Забылись
Памятные слова.
А тут ещё закружилась
Дурная моя голова.
А тут ещё слёзы катятся
Горячие по щеке.
Да в занемевшей руке
Тугой вещмешок качается.
А тут ещё голос, который
Никак не хочет звучать.
А тут ещё стол, готовый
Меня допьяна укачать.

А может быть, так и надо?
Всё-таки сотни дней...
Я был неплохим солдатом...
Но это другим видней.
Тебе же дано увидеть
Другое...
Ну, что же ты?
Смеюсь, чтоб волненья не выдать,
Протягиваю цветы.
Стоим, и молчим, и смотрим,
Время не торопя...
Ведь сердце устать не может
Любить и помнить тебя.

1965

* * *

Когда на улице солдата
встречаю, «Здравствуй», – говорю –
Со мной такие же ребята
своё оттопали в строю.
А потому я знаю точно
тебя до точки. Не забыт
солдатский быт на дальней точке...».
«Оно, конечно...», – говорит.
И мы друг друга понимаем.
И нам легко и просто с ним.
Друг другу руку пожимаем.
«До скорой встречи!» – говорим.

Я каждой встрече, каждой встрече,
как прежде, рад...
Легла Великая на плечи
таких же стриженных ребят
1967

* * *

Обиды, скопленные за день,
Привычно к женщине несём.
А ей своих хватает ссадин.
И год за годом, день за днём
Её утроенная ноша
На плечи давит всё сильней.

Лицо становится всё строже.
Глаза печальней и мудрей.
Года уже необратимы.
Но ради будущих путей
Прощают женщины любимых,
Прощают матери детей.
За что – ещё не знают сами,
Не понимают до поры.
Но как-то раз взойдут над нами
Их незнакомые миры.
И, словно зрение к незрячим,
Придёт сознание того,
Что мы без женщин мало значим.
Или не значим ничего.

1968

* * *

Тугой шершавою струёй
Сбивают пыль с домов кирпичных.
И вот уж в линиях привычных
Иная связь. Подтекст иной.

Как бы пробилась вдруг душа
Сквозь маяту и повседневность.
Так археолог, не спеша,
Из праха извлекает древность.
Сперва рождается карниз
Старинной кладки. По карнизу
Узор затейливый. А снизу
Балкон, похожий на каприз.

Волнение прежних мастеров
Передаётся нам невольно.
А вот уже не крыша – кров,
Не шифер – медленные волны.

Всё так прозрачно и светло.
Всё так разумно и певуче:
Светлеют стены, как стекло,
Как если б с неба сняли тучи.

И раздвигается проспект,
Просторней, вроде, тротуары.
А на душе светлей – недаром
Сбивают пыль прошедших лет.

1968

* * *

Я не люблю столичные набеги,
когда, задорно сглатывая пыль,
приезжие толкуют про успехи,
нахваливая «новую» Сибирь.

А на уме у них Сибирь былая –
Таёжный, ссыльный, полудикий край.
Богатств его природных кладовая.
Страна диковин. Караван-сарай...

Сибирь узорней, шире, многоцветней.
Она как дом о тысячу дверей.
С налёту, без тропинки заповедной,
в два счёта можно заблудиться в ней.

Обманчива своею простотою,
она откроет сердце лишь тому,
кто испытал,
кто помнит, что такое
быть у любимой первый раз в дому...

С любых широт стремлюсь всегда к Сибири,
в старинный город, вставший средь тайги.
Тебе, Сибирь, себя мы посвятили.
Тебе – не посвящённые стихи.

1968

* * *

Парит веник дядя Миша
В бочке с чёрным кипятком.
Вязким жаром листья пышут,
Пар гудит под потолком.
Натянув поглубже шапку,
Как на трон – удельный князь,
Лезет он в домашних тапках
На полок, перекрестясь.

Кинув ковш воды на камень,
Он глотает пар и дым.
Словно палица, кругами
Веник носится над ним.
А на улице за сорок.
(Сорок – это про запас!)
Отмечает весь посёлок
Нынче банный день и час.
Продышаться дядя Миша
Выбирается на снег...
Словно печка, жаром пышет
Этот старый человек.
Объясняет мне неспешно:
«Посуди-ка, парень, сам...
Север – он красив, конечно,
Он по глазу мужикам.
Да тепла здесь маловато.
Лето – шесть недель всего.
Вот и надобно когда-то
Сотворить самим его».

1968

БАЛЛАДА О ХУДОЖНИКЕ И СОЛОВЬЕ

Картон коробится уже.
Из ветхой рамки выпадает.
Довольно простенький сюжет.
Но так бывает, так бывает,
Что ни сказать, ни отойти –
Лишь сердце прыгает в груди...

Два землепашца на скамье
В пустынном поле у дороги...
Как на офортах у Домье –
Почти гротеск: босые ноги,
Седины в съеденных усах,
Намёк улыбки на устах.
А в уголке, между ветвей,
Едва приметный соловей.
И всё. Вот он, вот эти два.
Да изумрудная трава...

Но трели птахи всё вокруг
Согрели трепетом и светом.
Крестьяне переводят дух.
Молчат, не лезут за кисетом...

...Картон, картон, ты не забыл,
Как, примостив тебя на кóзлы,
Военнопленный кистью мёрзлой
Писал тебя? Он немцем был.
И прежде рисовал огнём
Под Сталинградом и Орлом,
И лишь потом, в сорок шестом,
Был растревожен соловьём...

А может, раньше? Может быть,
Он был им болен, но неволен...
Его теперь не расспросить:
Он из живых навек уволен
Виной и совестью своей.
Остался только соловей...

Приходит поздно осознание.
Как передать его другим?
Ведь где-то снова бравый гимн
Дробится в сводах мироздания.
Движение вскинутой руки...
И сапоги... И сапоги...

Упряма память. Смена дней:
То сапоги, то соловей...
Их невозможно заглушить.
Когда ж мы будем в мире жить?

И вновь возможен человек
С промёрзшей кистью над холстами...
Двадцатый век – тревожный век
Не завершён пока что нами.
Но соловей – тот соловей! –
Поёт всё громче, всё больней...

1969

* * *

Дел неважных не бывает.
Оседает суета.
Радость в сердце прибывает,
Словно чистая вода.
Помним главное. А будни –
Лишь прелюдия к тому,
Что когда-то главным будет
В сердце, строчках и в дому.
1970

* * *

В ночи мерцает костерок.
В огне темнеет котелок.
На двух жердинах, словно кринки,
Висят походные ботинки.
И от костра на два вершка
Гудит неистово мошка.

Я выхожу на костерок.
Вздыхает сладко котелок.
Его хозяин молодой
Кивает молча бородой.
И мы сидим, и мы едим,
И на мошку сметаем дым.

Мы знаем: лучшие врачи –
Друзья и костерок в ночи.
1970

ПЕТУХ

Геннадью Прашкевичу

Начитавшись бесхитростных сказок,
погрустив над иными слегка,
я – при помощи кисти и красок –
поселил у себя петуха.

Немудрёное вроде бы дело,
только мне повозиться пришлось:
на стекле вертикальное тело
получалось прозрачным насквозь.

То оно, как свеча, оплывало,
то ничуть не хотело темнеть...
Если вы петуха рисовали,
довелось вам такое терпеть.

Заходили друзья на смотрины.
Одобряли они петуха:
– Не петух у тебя, а картина!
Жаль, кричать не умеет пока.

Обещал я всё сделать, как надо,
обучить кукарекать жильца.
Но – привычка ли в том виновата? –
дело я не довёл до конца.

Отсыпался я, сил набирался.
Думал, что бы ещё сотворить?
А петух всё вскричать собирался,
словно что-то желая спросить.

Он вытягивал гибкую шею.
Он решительно клюв раскрывал.
Но молчал,
голосить не умея,
и своё неуменье скрывал.

Я забыл его горести вскоре:
сказки в сторону,
дело – сперва...
А петух всё безмолвствовал в горе,
всё вытягивал шею,
и в горле
шевелились немые слова.

1971

* * *

Геннадью Комракову

Ошибки старые прощаются
в тот день, когда друзья прощаются.
Когда дорога – впереди, а позади – её начало.
Когда расходятся пути за безымянным перевалом.

Обиды старые прощаются
в тот час, когда друзья прощаются.
Когда не пьяный сантимент, а ощущение потери
вдруг захлестнёт. И в полной мере
припомнишь радость прежних лет.

Размолвки старые прощаются,
в тот миг, когда друзья прощаются.
Когда, по лезвию скользя,
собой ещё владеют сносно...
Когда по-прежнему нельзя,
а по-иному слишком поздно.

1972

* * *

Протягиваю руку птицам
С зерном. Недвίжимо стою.
Ну что им стóбит опуститься
В ладонь открытую мою?
Ну что им стóбит угоститься,
Со мной хоть миг вдвоём побыть...

Слетает чуткая синица.
Её не надо торопить.
Она осмотрится, обвыкнет,
Гостинец вежливо щипнёт,
Вспорхнёт, о чём-то тихо вскрикнет,
Кого-то в гости позовёт.

Мгновенное рукопожатье
Иной природы и судьбы...
Мир зелени и птиц, мы – братья,
И ты нас строго не суди.
Ты не суди за то, что редко
К тебе наш трудный путь лежит...

Сидит на пальце, как на ветке,
Синичка – доктор Айболит.

1976

* * *

Есть у души свой календарь –
Свои зима, весна и лето.
У них особые приметы.
И мне ни капельки не жаль,
Что зелень торжествует где-то,
А надо мной в дрожащем свете
Куржавит, бесится январь.
По мне – для всех сейчас звенит
Апрель, беспечный и лучистый,
И песня тихая лучисто,
Как птица, впаяна в зенит.
И всё удачливо, как встарь,
Когда не ранили потери.
Веду в душе свой календарь,
В котором лишь одни апрели.
1976

ПРОЩАНИЕ СО СТРЕЖЕВЫМ

Как будто в музее у стендов,
У стен молодых корпусов,
Обнявшись, застыли студенты
Без слов.

Окончился третий семестр –
Какие тут скажешь слова?
В музее не нужен оркестр,
В музее нужна тишина.

Отзывчива память, как эхо.
Она не торопит. Горят
Побед сокровенные вехи
И вёшки утрат...

В июне сюда приезжали
Без всякой привычки к труду.
И плакали тайно вначале...
А позже у всех на виду
Стояли решительно, дерзко,
Валясь от усталости с ног,
Как будто сбегая из детства
На юности первый урок.

Таёжное солнце дымилось
В глухих комариных кострах.
Сжигала болотная сырость.
Но вновь на обсохших губах
Рождалась улыбка, как песня,
С которой шагали, как в бой,
Затем, чтоб посёлок безвестный
Сменил нефтеград Стрежевой.

Лишь в сказках всё быстро и просто.
Но только порою они
Становятся будням по росту,
Становятся будням сродни...

Дороги бетонная лента –
Ручей у таёжной стены...
Скульптурны фигуры студентов,
Солдат нефтяной целины...

1976

* * *

Который год, который век
Идёт по свету человек.

Идёт себе по доброй воле.
Глядит внимательно вокруг,
Своё нехитрое застолье
Готовый поделить на двух.

Вот он, неведомый тебе,
Пред кем-то за тебя вступился.
Оставил след в твоей судьбе,
Прошёл – и не остановился.

Его припомним мы не вдруг.
Вот так порой проходит Друг.
Проходит... Что же сделать? Как
Не пропустить, не ошибиться?..
Забуду даты, имена.
Но разве могут позабыться
Те, не тускнеющие лица...

1976

ЛЕЖНЁВКА

Ручная пила суетлива,
Отдышлива...
Вон как тела
таёжных деревьев горделивых
срезает электропила.

Она их бросает умело
на панцирь промёрзших болот.
И каждое новое тело,
как шаг,
как полшага вперёд.

Вперёд – в неизбывную стужу,
сквозь гнуций к земле ураган.
Туда, где тревожную службу
несёт нефтяной Васюган.

Весной, в надлежащие сроки,
болота разжижатся враз.
Лежнёвку – фундамент дороги,
её многотрудный каркас,
поднимет трясина. А позже
на этот плавучий понтон
строители трассы уложат
слой глины, песок и бетон.

И двинутся мощные «КРАЗЫ»,
«Уралы» и «Татры» пойдут
от порта разгрузки, от базы,
что Катыльгой люди зовут.

Пойдут к промысловым площадкам,
к посёлкам на тысячи мест.
Запахнут тревожно и сладко
аир и вербейник окрест...

И жаль, если будет забыто,
что этот дорожный настил
шумел по тайге домовито,
когда ещё хвойником был.

1977

ЛОСЬ-ТРОПА

Болота гудят от мороза,
настала пора перемен...
Дорога бежит под колёса
меж хвойно-берёзовых стен.
Бежит, пропадает из вида,
как будто река подо льдом...

Спешит по тайге деловито
машина – кочующий дом.

А в нём по-семейному тесно
рабочие люди сидят.
Любому, конечно, известно,
о чём они там говорят:
о ближних и дальних заботах,
о жизни своей кочевой,
о том, как им с трассы охота
скорее вернуться домой...

И вдруг – на бегу – остановка.
Паденье вперёд
и назад...
У снегом засыпанной бровки
возникли фигуры лосят.

Не страх, а, скорей, удивленье
сковало ребячливый бег...

И начали тихо сближенье
природа
и человек.

О, как ненасытно желанье
увидеть друг друга в упор...
Лосята глушили дыханье.
Дышал затаённо мотор.

Как током, ударил по нервам
невольный охотничий вспыл.
И каждый представил, наверное,
Как метко он пулю всадил...

Представил. И сделалось тихо...
Но тут на дороге лесной
внезапно возникла лосиха.
Поддела брезент головой.
На миг отступила к лосятам –
и снова рванулась вперёд...
Несильный толчок в радиатор.
Второй... Следом третий заход...

Водитель не выдержал:
– Хватит!
Уйди от греха, говорят...
А сам торопливо попятил
Стальную махину назад.

– Потом расскажи, не поверят...
Ну, хоть бы с рогами была!..

Дорогу размашисто меря,
лосиха машину гнала.

Смешно, голенасто ступая,
спешили лосята за ней.

Шумела тайга вековая,
роняла сугробы с ветвей.
Кричала сердито сорока,
Над странным движеньем кружа...

В тот день, говорят, у дороги
родилась душа.

1977

НАДПИСЬ

У насыпи – щит из фанеры.
Весёлая надпись на нём:
«Увольте меня в пионеры,
когда в Пионерный дойдём!».

Внизу резолюция: «Стóбит!».
Совет: «Хватит Ваньку ломать!».

Догадка: «Дорогу построить –
да это же мир повидать!».

Такая наверно, эпоха:
из теплых краёв
и квартир
бросается юность в дорогу –
на север –
осваивать мир.

Вдали от домашней опеки,
где вдвое работа трудней,
она припадает навеки
к земле материнской своей.

Она прикипает к работе,
суровой, как эта земля,
где самая главная льгота –
проверить на прочность себя.

Проверить, добраться до сути,
почувствовать прочность корней...
В тайге, из её малолюдья,
всё в мире намного видней.

Ясней и понятней всё в мире –
что было и что впереди...
Могучее сердце Сибири
забилося у многих в груди.

Поэтому, право же, стóбит
припомнить и верно понять
ту надпись: «Дорогу построить –
да это же мир повидать!».

1977

УРОК ГЕОГРАФИИ

Свой предмет уроком биографии
называл учитель географии.
Чувствуя, что понят не вполне,
всё забыв, пускался в объяснения:
– Био – это к жизни отношение.
Гео – отношение к земле.

Графия – рисунок, описание...
Изучайте карту мироздания.
Не даётся сходу? Ну и пусть...
Я, к примеру, понял в сорок пятом,
Как к земле, как к жизни отношусь.
Двадцать лет мне было в День Победы...
Впрочем, я сегодня не об этом.
Я хотел сегодня о другом...

Свой предмет уроком биографии
называл учитель географии,
Землю – домом... Я люблю свой дом.
Он один на всех. На человечество...
Есть у сердца лишь одно Отечество.
И, ступая за его порог,
я смотрю вокруг, запоминая.
А вокруг клокочет жизнь земная,
продолжая вечный свой урок.

1968

БАЛЛАДА О ЗОЛОТОЙ УЛОЧКЕ В ПРАГЕ

По этой улочке прохожий с фонарём
Шёл ночью, чтобы каждый мог увидеть,
что ни украсть, тем более обидеть
не хочет он. Открыто, словно днём,
торопится куда-нибудь по делу
и весело сигналит: вот он я!
Возьмите, если нужно вам, огня
и дальше путь свой продолжайте смело.

Давно царит на улицах неон,
как на палитре, смешивая краски.
Но люди ходят всё-таки с опаской,
Хоть путь их освещён со всех сторон.

Стоят подростки – волосы до плеч,
тоска и настороженность во взгляде.
И старый домик Франца Кафки рядом,
и Пражский кремль, как занесённый меч.

Спешит старик, и женщина несёт
в дороге задремавшего ребёнка.
А улочка, как будто эшафот.
Лишь каблочки позвякивают тонко.

Ещё выходит на проспекты шваль,
и у неё пока свои кумиры...
О, как порой необходим фонарь,
чтоб просигналить: я шагаю с миром!

Я отыскал укромный тупичок
и просто так тихонько чиркнул спичкой.
И кто-то тоже, видно, по привычке
зажёт в ночи дрожащий светлячок.

1968

У ВЕЧНОГО ОГНЯ

При свете дня нет света у огня,
Но стоит одному померкнуть свету,
В два света загорается другой.
Он – память, опалённая войной.
Он – образ всех, погибших за Победу.
О, сколько вечных памятных огней
Горит сегодня на земле повсюду...
И замирают люди на минуту
Перед огнём истории своей.
Лежат цветы у Вечного огня.
Всегда живые – символ вечной жизни.
Сюда идут в любое время дня,
Чтоб поклониться Матери-Отчизне.

1978

ГЕНКА

(из поэмы «Пятьсот-весёлый»)

Кто знает, почему 500-весёлым
мы общежитье наше нарекли?
Ребята, не отвыкшие от школы,
мы поездов тех помнить не могли.
Нам приглянулось бойкое название.
А с чем его едят? –
Да лишь бы съесть!

И только позже к нам пришло сознание,
что не ошиблись мы, что сходство есть.
...Шли на восток печальные составы
из-под Смоленска, Курска и Орла.
В разгар войны у маленькой заставы
роженица на людях умерла.
Орал малыш, орал, не понимая,
зачем война, зачем далёкий путь.
И женщина, совсем ему чужая,
совала, плача, в жадный ротик грудь.
А он орал, надрывно и устало,
пред кем-то виноватый без вины.
Детей и женщин, раненых и старых
везла страна – подальше от войны.
На перегонах чайники гремели.
Скрипели торопливо костыли.
Бил с бреющего «мессершмитт» по цели,
и огрызались яростно тылы.
Рабочие, дорожники, артисты,
отпускники, колхозники, спецы
из тупиков следили, как плечисты,
как высоки сибирские бойцы.
Подростками запружены платформы –
на фронт, на фронт... А с боковых путей
им козыряли старики по форме,
те, что остались «соблюсти детей».
Вне графика спешили эшелоны –
на фронт, на фронт... А где-то под Москвой
отец мальчишки, к бою головой,
лежал на сером, безымянном склоне.
Внезапный взрыв остановил его,
ударив, словно вспышкой автогена...
Назвали сына люди без него
В 500-весёлом Веселковым Геной.
Здесь кто-то платье на пелёнки рвал.
Здесь кто-то мыло отдавал задаром.
Соседи в люльку превратили нары,
а сами – рядом, на пол, возле нар.
...Кто скажет, почему 500-весёлым
мы общежитье наше нарекли?
Не потому, что думали о горе, –
о братстве старших память берегли.

Пускай их больше никогда не будет,
500-весёлых-невесёлых, но
хотим, чтоб так же выводило в люди
нас это братство. Нам не всё равно,
как жить, в какие верить идеалы,
за что и перед кем держать ответ...
Ступеньками вперёд уходят шпалы.
Начало – там.
Конца, я верю, нет.
1980

ТОРГОВЫЙ ПРАЗДНИК В НЮРНБЕРГЕ

От ворот и до ворот
шумно движется народ.
Каждый что-то покупает.
Каждый что-то продаёт.
Все товары на виду.
Так бывает раз в году.
Снова старая примета
в старом городе в ходу:
чтоб богатым завтра стать,
чтобы новое начать,
хоть за марку, хоть за пфеннинг
надо старое продать.
Вот замки. Каких здесь нет!
Свой у каждого секрет.
Стоит взять их – разомкнётся,
распахнётся белый свет.
Шляпы с перьями – горой,
восковых фигурок строй.
Каждый камень стал прилавком –
не пройти по мостовой.
Цены сходные вполне.
Что б такое выбрать мне?
Там вон шахматы резные
продаются в стороне.
В землю меч, за рядом ряд,
пешки доблестно стоят.
Офицеры королевам

комплименты говорят.
Не ревнивы короли.
Лица жёлтые в пыли.
Королевские накидки
с плеч спадают до земли.
Покупаю. Шах и мат...
Только вдруг споткнулся взгляд
о фашистские награды,
что на бархате лежат.
Как же так? Среде бела дня...
Примеряет ребячьи
крест со свастикой и каску
с гордым видом на себя.
Гитлер в рост изображён.
«Шён, – кивают детям, – шён!».
А ведь это по-немецки
означает «Хорошо!».
Мир за несколько минут
стал другим... Неужто тут
позабыли, как вершился
в Нюрнберге правый суд?
От ворот и до ворот
шумно движется народ.
И никто не протестует:
разве нет других забот?
Дух свободы здесь воспет.
Со всего здесь снят запрет.
Вот свобода так свобода.
На неё управы нет.
Чтобы новое начать,
надо старое продать...
Но ведь те, что примеряют,
но ведь те, кто покупают,
могут двинуть время вспять...
От наград глаза болят.
Я шагаю наугад.
Короли и королевы
в такт моим шагам гремят.

1981

БОЛГАРСКОМУ ДРУГУ

Плесни мне воду под ноги. Пускай
не будет слов – слова не много значат.
Мы расстаёмся. Пожелай удачи.
Как принято в народе, пожелай.

Плесни мне воду под ноги. Она
меня подхватит высоко-высоко.
Ведёт вперёд всего одна дорога,
хотя дорога в жизни не одна.

Плесни мне воду под ноги. По ней
назад вернуться можно отовсюду.
Ведь для того и расстаются люди,
чтобы понять, что не было родней.

Чтобы понять, что дружбою земля
становится бессмертна и крылата...
Плесни мне воду под ноги, и я
Плесну в ответ. И обниму как брата.
1982

* * *

Жажда учит искать родник.
Горе – чуткости к людям учит.
Чем дорога прямей и круче,
Тем трудней идти напрямик.
Одолеет её лишь тот,
Кто не может идти иначе.
Не судите по неудачам.
Вы удачам ведите счёт.
1985

* * *

Раздвигаю сомкнутые ветви –
и вздыхают около лица,
словно растревоженные ветром,
лиственниц зелёные сердца.

Напевает иволга беспечно,
дятел барабанит невпопад,

словно в этом мире – только встречи.
Словно не наступит листопад.

Нам всего немного-то и надо:
ощутить, как около лица
дышат, отрицая листопады,
лиственниц зелёные сердца.

Распрямяю незаметно плечи.
Забываю горький вкус утрат.
Словно в этом мире –
только встречи.
Словно не наступит
листопад.

1985

КАМЕННЫЕ БАБЫ В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ РОЩЕ

Плосколицые камни темны и шершавы.
Солнце тенью наполнило щелочки глаз.
Через хвойные ветки и жухлые травы
Они долго и пристально смотрят на нас.
Так кочевник глядел, за добычей нагрывув.
И над знаменем цвета небесных вершин,
Над его головой улыбался багряно
Красный волк-победитель – всесильный Алшйн.
Отсвет этой улыбки впечатался в камень,
Изнутри обозначив извилины губ.
Каждый лик отшлифован и сглажен веками.
Каждый торс первобытно нескладен и груб.
Было время, когда эти камни стояли
Средь ковыльных степей, на развилках дорог.
И алшйны пред ними песок целовали.
И спекался от жертвенной крови песок.
Шли к ним женщины. Мирные шли скотоводы,
Чтоб удачу просить в повседневных делах.
Но открыл Мухаммед одному из народов,
Что не камни им силу дают, а Аллах.
И Великая Степь повернулась к Аллаху.
И забыла, что было до этой поры...

Одинокие камни ослепли от влаги,
От обиды, от жгучих ветров, от жары.
Так бы им и стоять, позабытым навеки,
Наклоняясь к земле, зарастая травой,
Но учёные люди на шатких телегах
Увезли их в сибирские дали с собой.
И поставили в Томске у стен альма-матер,
Словно вехи к былым и грядущим векам...
Стали мшистыми камни. Но светится рядом
Вековая дорога, ведущая в храм.
Породнил этот храм времена и народы,
Степь и лес, силу неба и силу земли...
По утрам в рощу шумно врывается город,
Чтобы к ночи отхлынуть, затихнуть вдали.
День и ночь. Тень и свет.
За приливом – отливы.
Жизнь проходит, давая дорогу другой.
Но стоят и глядят нам вослед терпеливо
Плосколицые камни с бессонной судьбой.

1992

СОЛУНСКИЕ БРАТЬЯ

Был младший брат премудрым, как Сократ.
Над бранным миром мысль его парила.
Мирское имя вознеся стократ,
Ушёл в монахи, чтобы стать Кириллом.
И там, в безвестье, с Богом говоря,
К Нему взывая, а себе переча,
Моля, стеная, радуясь, творя,
Означил каждый звук славянской речи.

Был старший брат и властен, и богат,
Стратиг, ну а по-русски воевода.
Насытись властью, он сменил булат
На тяжкий крест и зваться стал Мефодий.
И в келье тёмной, всё забыв, Псалтырь
Перебелил кириллицею строгой,
Чтоб мог отныне весь славянский мир
Без триязычья сам сношаться с Богом.

Но тряязычье встало на пути,
Огнём разлилось, ходу не давая,
Перекрывая то, что впереди,
И то, что рядом, тотчас потопляя.
Однако ж нет бесстрашию преград.
Однако ж нет границ любви и вере...
Прошёл огнище тот и этот брат,
Открыв глаголу запертые двери.
Нас ввысь уносит письменный глагол,
Живой, родной, согретый чувством братства.
Не оскудеем мы, пока храним
Его как дар, как высшее богатство.
1993

ПРИТЧА

Давным-давно, когда копье и лук
Путь преграждали сабле и аркану,
Отправил император верных слуг
В орду степную к одному из ханов.
– Ты, хан, силён, но я сильнее тебя,
А потому покончим дело миром.
Я дружбу шлю...
Я буду править миром...
Пришли мне в дар любимого коня!

Смирив себя, надел улыбку хан:
– Пусть будет так!
Задумано неплохо...
В бою мой конь хранил меня от ран,
А нас он свяжет белою дорогой.

Но вот опять послы к нему спешат:
– Ты, хан, богат красавицей женою.
Отправь её ко мне, я буду рад,
Она навек нас породнит с тобою.

И снова хан сумел себя смирить:
– Пусть будет так, великий император.
Ты захотел. Я отдал. Дело свято.
Нам, видит Небо, нечего делить.

Шлёт император в третий раз гонцов:
– Отдай мне, хан, любой клочок пустыни.
Я буду видеть: нет в тебе гордыни.
Готов ли ты?
Хан вспыхнул:
– Не готов!

– Но почему? Ведь ты отдал коня,
Жену отдал, а здесь такая малость –
Песок и ветер, мёртвая земля...
Что толку в ней?
Она легко досталась.
Два испытанья с честью встретил ты.
Пройди и это, самое простое...

Хан сдвинул брови:
– Продолжать не стоит.
Я знаю цену этой простоты.
Жена и конь принадлежали мне.
Мне одному. Я волен был над ними.
Но я – песчинка на своей земле.
Неважно где, в горах или пустыне.
Тенгрí, создатель всех больших миров,
Дал эту землю моему народу.
Могу ли я кому-нибудь в угоду
Дарить её за горсть сыпучих слов?

– Земля Орды останется с Ордой.
Найди не землю, маленький охвóсток.
Пусть будет мал он и покрыт коростой.
Ты – над народом, значит, он с тобой.

– Я всё сказал. Вы слышали ответ:
Колчан для стрел, а стрелы – для колчана.
Где нет земли, там и народа нет.
Где нет конца, не будет и начала...

С тех пор сменилось множество владык.
Иное время, новые границы...
Другой властитель и другой должник
Между собой спешат договориться.
– Земля – товар... Мир – рынок... Мы – друзья...

Властитель речь свою ведёт умело:
– А потому нам ссориться нельзя.
Сотрудничать во всём – другое дело.
Дарить не хочешь землю, так продай.
Введи в стране разумные законы.
Народ, как воск, что льётся через край.
Сними нагар – и не было урона...

Каков ответ был – ныне не секрет.
А что народ ответит – видно будет.
Ведь и без притчи этой знают люди:
Где нет страны, там и Отчизны нет.

1998

ОБЕЛИСК

*Памяти земляка, Героя Советского Союза
Алексея Лебедева*

1

Малое словацкое село
под певучим именем Белá.
Видно, было до войны белó
от ромашек поле у села.
Видно, пели птахи у межи,
зазывая в светлый лес кого-то...
Здесь вот отбивала рубежи
в сорок пятом русская пехота.
Там, где прежде песнею шмеля
луг весенний возвещал о лете,
выжжена, измучена земля.
А по ней ещё идти к победе...
Кто сказал, что чёрное – бело?
Кровь и боль... Их время не остудит.
Притаилось малое село:
что же будет?

2

А было так: чтоб рота шла вперёд,
шагнул один – без страха и вопросов,
и грудью задавил немецкий дот,
как сделал это до него Матросов...
А было так: освободив село,
над ним в молчанье замерли солдаты.

Лежал простоволосо и светло
безусый мальчик. И была наградой
ему звезда в ночь. И тишина.
Село Бела... Спасённые солдаты...
Вот почему быстрее в сорок пятом
на целый миг окончилась война.

3

И вот теперь, когда бы жить и жить,
Свой путь торя, как время подсказало,
Мы вновь в беде... Спешит троянский конь
Свалить героев наших с пьедестала.
Чернится всё, что было до войны.
Но жизнь мудрей.
Но труд и подвиг святы.
Они, как корни,
Крепят твердь страны
Поклон вам низкий, вечные солдаты.

1981–1998

* * *

Памяти писателя-сибиряка Н. П. Осинина

Как сладок миг, как несомненна вечность,
Когда из детства в юность мы шагнули,
И шар земной, шагая, повернули...
Какая даль! Какая бесконечность!
Был человек. Мы у Обского моря
Вдали от шума на песке сидели.
И рисовало солнце акварели
То там, то здесь на ватмане простора.
Носились чайки белые над нами,
Из этих акварелей вылетая.
Мой собеседник, жизнью умудрённый,
Не акварелью рисовал – словами.
Словами детства, рвущимися ввысь,
Наполненными светом и любовью.
За них он заплатил свою болью –
Военной болью, уносящей жизнь.
Я помню те прекрасные слова –
Наивные, зовущие к терпенью:
Лишь опыт сердца, труд и вдохновенье
На творчество даруют нам права.

И надо торопиться, чтоб успеть
Сказать своё, заветное, живое.
Работать вдвое, если можно – втрое.
Ведь так непросто научиться петь...
А я тогда не знал, что значит петь.
Не мог понять, куда мне торопиться.
Что быть должно, конечно, состоится.
Тем, кто имеет, меньше не иметь.
А я тогда его не понимал,
Но чувствовал распахнутость и веру.
И глух, и благодарен был не в меру.
И тоже акварели рисовал...
Есть у всего неповторимый цвет –
Цвет возраста, и веры, и надежды.
Теперь уж нет того, что было прежде,
И тех людей, что нас учили, нет.
Жизнь поменяла краски. Но сердца
Не поменять, пока в них труд и вера.
Пока любовь по замыслу творца
Вершит средь нас своё святое дело.
1999

* * *

На золотом крылечке сидели
И вполголоса песенку пели,
Перебирая струну за струной,
Царь, царевич, король, королевич,
Сапожник ну и, конечно, портной.
– Кто ты такой, скажи, не скрывая?
– Томский студент. А ты кто такая?
– Я – твоя молодость, милый ты мой.
Помнишь, как мы зачёты сдавали,
Пели, любили, мечтали с тобой?
Нас подружили томские музы.
Каждый пятый здесь учится в вузе.
Каждый четвёртый, увы, холостой.
Тот, кто не верит, может проверить,
Но это эксперимент не простой.
Жили коммуной – и не тужили.
Очень единством своим дорожили.
Верностью и бескорыстной мечтой.
Томском гордились, взрослеть торопились,

Многому в жизни здесь научились,
Соприкасаясь с её высотой.
Где оно, то золотое крылечко?
Где оно, то золотое словечко?
Время другое. И город другой.
Новые люди и новые речи.
И не торопятся больше на встречу
Царь, царевич, король, королевич,
Сапожник ну и, конечно, портной.

2000

* * *

Крылата книга, если ей дано
Возвысить душу добрым чистым словом;
Оно начало наше и основа,
Оно всесильно, неподкупно,
но...
Когда его, глумясь, бросают в грязь,
Когда с весёлым гвалтом распинают,
Приходит книга-монстр и убивает
Всё лучшее, что прежде было в нас.
Обрушена былая высота.
Заметно книголюбы поседели.
Но уцелели в этом беспределе
И вера, и надежда, и мечта.
Они вперёд зовут, а не назад,
Туда, где нет предательства и рынка.
Вот почему в конце концов тропинка
Опять дорогой станет в Книгоград.

2002

* * *

Какая б тьма ни жгла нам очи,
Какой бы пламень ни терзал,
Мы видим свет сквозь толщу ночи,
Сквозь отблески кривых зеркал.
И в нашей жизни всё как прежде.
Не торопитесь ставить крест
На Вере, Родине, Надежде,
На той Любви, где Труд и Честь.
Жизнь – это вечный день рожденья,
День прозреванья. Судный день.

И дум высокое стремленье.
И горечь жданных перемен.
2003

СЛОВА

Валентину Распутину

1

Люблю простые русские слова
За строгость и глубинное движенье.
Они вливаются в нас, как синева,
И полнят душу радостным волненьем.
Их вековой естественный настрой
Не знает фальши на тонах высоких.
В мелодии просторной и простой
Я вижу наших женщин синеоких.
И пахарей, встающих на заре,
И воинов с суровыми глазами.
Родную Русь с янтарными лесами,
С соломинкой в берёзовой коре.
Вчерашний день незримо связан с новым
Певучим и простым народным словом.

2

Слова вливаются в нас, как синева.
И мы на миг становимся красивой.
Дурманом пахнет спелая трава.
Лоснится пух на матовой крапиве.
Простор пускает ветер по низам.
Гудит над ухом жёлтая солома.
И сами закрываются глаза –
Не как в дому, но всё-таки, как дома.
О, эта радость и желанный плен.
О, эта первозданность и приволье.
Мы воду пьём, холодную до боли,
Омыв лицо, легко встаём с колен.
И входят в нас слова, как откровенье,
Наполнив душу радостным волненьем.

3

Родную Русь с янтарными лесами
Вдруг заново открывши для себя,
Мы можем слушать долгими часами,
Как в окна к нам стучатся тополя.

О, этот звук раздумчивый, и гордость,
И тени, уходящие к земле...
Тянулся в детстве материнский голос,
Как тихий тополь, в колыбель ко мне.
Мы начинаем жизнь с простейших слов –
Тех, что для нас основа всех основ.

4

Всё проходит – молодость и старость.
Быстротечен жизни нашей круг.
Главное, чтоб для других осталось
Слово, поднимающее дух.
Главное – не уставая верить
И нести его, как Божий Крест.
Смуты мы хлебнули полной мерой.
Но ведь будет,
будет бла́говест!

1980–2005

Владимир ШКАЛИКОВ

Сказочно правдивая
история «О СОЗДАТЕЛЯХ»
для кое-что понимающих
в компьютере и кое в чём
другом



Владимир Владимирович ШКАЛИКОВ

Родился зимой 1942–1943 года в зоне боевых действий на Кубани. Дошкольно остался сиротой, объехал весь Советский Союз, изучая родной социум методом включённого наблюдения: без отрыва от производства получил два десятка различных специальностей, три высших образования, освоил всерьёз десяток видов спорта, и таким образом получил возможность грамотно удивляться, беря интервью, и убедительно описывать действия и ощущения своих персонажей как в прессе, так и в художественной литературе.

Автор реалистических, фантастических и сказочных сочинений для взрослых и детей, лауреат Всесоюзной премии ЦК ВЛКСМ за художественно-документальную книгу о фронтовиках «Цена победы» (1981 г.), лауреат литературного конкурса «Книжный Томск» за роман «Гений самосуда» (2011 г.). Член Союза журналистов СССР и Союза писателей России.

Работает переплётчиком в Томской областной библиотеке им. А. С. Пушкина,

Сказочно правдивая история
«О СОЗДАТЕЛЯХ»
для кое-что понимающих в компьютере
и кое в чём другом

Из того, что у творящих получается не всё так хорошо, как им хочется, но и не всё так худо, как им кажется.

Вот, например, пожалуйста.

СКАЗКА О ЖАЛОСТИ

Он явился на свет во тьме одного незаметного персонального компьютера.

Как все вредные создания, он и жить должен был во тьме. И творить свои злодейские шуточки ему полагалось из тьмы. На свет компьютерного экрана должны были являться только вредные шуточки.

Например?

Да кто ж не знает примеров?

Первый. Вы открываете интернет, а там — яркое приглашение: «Хотите посмеяться так, как никогда не смеялись? Нажмите ОК!! :-)». И вы не нажмёте? Вы что, не любите смеяться? И посмейтесь. Сквозь слёзы.

Второй. Вам предлагают «нажать ОК и получить такой подарок, от которого ещё никто никогда не отказывался». И вы нажмёте. И не сможете отказаться. Вирус вас и спрашивать не будет. Он поселится в вашем любимом аппарате и сожрёт там все программы, всю память, все игрушки, книжки, музыку — ну всё! А что не съест, то покусает. Да так, что никуда не сгодится больше.

Ещё нужны примеры? То-то же... Их количество бесконечно. Потому что компьютерные злодеи крайне изобретательны. И радуются, и смеются только когда кому-то из-за них плохо. Хоть они и математики, люди вроде приличные.

Но я знаю одного такого математика, которого хулиганить заставила любовь.

Родители его были немного чудаки. Они назвали ребёнка Арго — по имени корабля, на котором плавали античные герои. Так и получилось полное имя — Арго Степанович Пробкин. Фамилия, конечно, и незначительная, и неудобная: одноклассники могут прозвать Пробкой. И прозвали. И звали так до второго класса. А когда он всем дразнилкам заслал вируса, изготовленного собственноручно, стали звать уважительно — Хакером.

Все перед Аргошей извинились, и он всем вируса удалил.

Не извинился только Витя Мудряк. Этот Витя считался в классе лучшим учеником, но с вирусом всё равно не справился. Вируса ему удалил старший брат Серёга, который недавно закончил Институт Кибернетики имени Ампера.

Этот Серёга уважал хулигана Аргошу, но пообещал ему оборвать уши, если ещё раз обидит младшего братишку. А братишке велел извиниться перед Арго и больше Пробкой его не дразнить.

Витя дразниться перестал, но и не извинился. Он записался в клуб каратэ и заявил, что сам нарвёт уши этому Хакеру.

Арго на Витю не обиделся. Сказал Серёге: «Отличники тоже, значит, бывают тупые». Серёга засмеялся и пригласил Арго в Клуб Юных Программистов (КЮП) в своём институте, где он работал ассистентом.

Вот такая обстановка.

Можно добавить, что ещё до КЮПа Арго с первого класса стал ходить на занятия в спортшколу русского рукопашного боя имени Кадочникова, так что ещё не известно, сумеет ли Витя Мудряк нарвать ему когда-нибудь хотя бы одно ухо.

Впрочем, отношения у Арго с Витей были никакие. Они старались просто не замечать друг друга — вот и всё. Арго — первый в классе хулиган и хорошист, Витя — отличник и тихоня. Что может быть общего? Разве только то, что драться не любили оба. Наверно, это потому, что все хорошие тренеры в хороших рукопашных клубах обязательно учат своих курсантов не драться на улице и говорят при этом так: «Вы сильнее любого, а настоящий воин слабых не обижает. А если уж так лезут, что некуда деться, кладите их на пол и удирайте от греха, это не позор».

После такого предисловия можно наконец рассказывать о Вирусе.

До самого пятого класса Арго в интернете больше не хулиганил. Мог принести в класс кошку или птичку, мог натереть салом классную доску, мог всю перемену бегать с парой друзей вперегонки по всем школьным этажам, мог после занятий за-

бросить домой сумку и час-другой заниматься на стенах и крышах домов диким спортом с красивым безобидным названием «паркур»...

Но за все эти пустяки из школы не выгоняют и даже не ставят на учёт в полиции. Один раз даже похвалила их полиция, когда узнала, что эта спортивная банда охотится за гаражами на курящих пацанов, отбирает и топчет сигареты и спички. Участковый сказал: «Нормально, парни. И материться не разрешайте, и пить пиво вредно тоже. Только не бейте — это уже статья». Они спросили: «В газете статья или в журнале?». Участковый ответил: «Статья уголовного кодекса. За решётку могут посадить. В тюрьме школу кончать не хотите?».

В общем, жил Арго как нормальный человек, пока не влюбился в одноклассницу.

Звали её, допустим, Настя. Фамилию называть не обязательно. Училась, как Витя Мудряк, на одни пятёрки — самая обычная пятиклассница, с прямым носиком, кудрявая, без ямочек на щеках, всегда с крохотной фотокамерой на шее, весёлая, но не задира. Но раз влюбился, значит, не обычная, а самая лучшая. Да ещё и стихи писала.

Арго к тому времени хорошо освоился в Клубе Юных Программистов и прямо-таки поселился в «Одноклассниках» — этим болели тогда все, кто ходил в интернет.

Вот на этом сайте Арго и увидел Настю совсем не такой, как в школе. В классе она всегда была строго одета, строго глядела, строго отвечала на уроках и вообще выглядела строже учительницы Евгении Антоновны. А тут была в одной маечке, правой рукой в боксёрской перчатке грамотно прикрывала челюсть, а левая была вытянута, как во время удара — видимо, в этой руке был зажат её крохотный фотоаппаратик. А в синих глазах, грозно нацеленных в камеру, стоял хохот.

Арго фотоаппарата не имел, но слышал, что такая самосъёмка по-модному называется «сэлфи». И этот раздел в «Одноклассниках» назывался «Сэлфи», ихними буквами. Арго не любил примитивный англиш, хотя и был вынужден изучать его в школе. Зато в грозную красавицу с хохочущими глазами вдруг влюбился и сразу же понял, что это — навсегда.

В его тайном дневнике, для маскировки подписанном на обложке «Арыхметика», появилась короткая запись: «Однолюбы, конечно, люди несчастные, но им можно завидовать. Только может ли человек завидовать самому себе?». Дальше были ещё три зачёркнутых слова, которые, при старании, можно было всё же прочесть: «Похоже я однолюб».

Любовь пришла к нему на зимних каникулах. Это сильно мешало гонять с горы на сноуборде, играть в хоккей на школьной коробке, даже читать учебник по «Фотошопу». Однако к началу школьных занятий Арго освоил отцовский «Кэнон» и сфотографировал сам себя автоспуском. Это «сэлфи» изображало автора свирепым тигром, прыгающим в объектив с выпущенными когтями, с оскаленными зубами и с причёской дыбом. Даже сам себя Арго узнавал на этом снимке не без труда.

Однако Настя легко его узнала. И так лихо отфотошопила его и себя, что получился двойной портрет двух симпатичных детишек, которые, без когтей, клыков и боксёрских перчаток, держась вместе за одну ниточку, летят в объектив на розово-голубом воздушном шарике и радостно смеются. А на шарике было написано: «Вперёд!».

С первого дня после зимних каникул в пятом классе Арго и Настя сидели всюду за одним столом, и что стало с ними дальше, мы, может быть, узнаем позже. Сказка-то вовсе не о них, а о Вирусе, которого Арго легкомысленно спрятал в воздушном шарике со словом «Вперёд!».

Дело в том, что двоих смеющихся детишек, летящих на этом шарике, увидел в «Одноклассниках» один человек, ещё с детского сада смертно влюблённый в Настю. Этот человек не из-за Аргошки Пробкина, а из-за Насти начал заниматься каратэ. Не из-за Арго, а из-за Насти он попросил своего старшего брата обучить его «Фотошопу». И, когда научился, это он проколол розово-голубой шарик, чтобы хоть так их разлучить.

Не разлучил. Зато, сам того не зная, выпустил из шарика Вируса. Именно так: не просто «вирус» он выпустил, а Вируса. Такое имя дал Арго своему произведению.

Этот компьютерный вирус по имени Вирус достоин того, чтобы рассказать о нём подробнее.

На одном занятии в Клубе Юных Программистов Арго спросил у своего учителя и друга Сергея Юрьевича Мудряка:

— А вирусы — обязательно все только вредные?

— «Вирус» по латыни означает «яд», — ответил учитель Серёга. — Делай вывод.

— Но ведь есть яды, которые в малых дозах лечат, — возразил начитанный ученик.

— У-у-у, брат Аргоша, — сказал Сергей Юрьевич. — Тут есть над чем подумать. — И добавил: — Вперёд!

Забавно: это бодрое слово и Настя поместила на воздушном

шарике, к которому прикрепил руки — свою и Арго. И никто, кроме этих двоих, не знал, что внутри шарика они скрыли добрый яд — свою любовь, сначала детскую...

Как вы понимаете, все эти рассуждения о любви — только образы везенья. Совершенно случайно Арго и Настя оба оказались однолюбями, и им сразу так повезло, что оказались вместе. А в шарик со словом «Вперёд!» они спрятали небывалый компьютерный вирус, разработанный влюблённым мальчишкой-пятиклассником, тоже, может быть, по случайности.

Опять же, любовь — такая штука, что может хотя бы раз в жизни осенить самого обычного человека на гениальное изобретение. Она и осенила Арго, а он из осторожности спрятал своё изобретение в рисунок, а враг Витя, влюблённый в Настю, выпустил этого беса из шарика на просторы интернета...

Не будем тут рассуждать о подробностях — нам не дано понять, как сочинённая ребёнком небольшая программка оказалась способной накапливать знания и опыт, саморасширяясь подобно взрыву и обретая свойства человеческой души. Никто не поверит, что можно искусственно, на домашнем компьютере, создать настоящую, живую человеческую душу...

Ну, на то и сказка. Не та, что ложь, а та, где намёк и урок.

ВЫХОД ПЕРВЫЙ

Вирус смотрел из компьютерного экрана и размышлял.

Он был уже изрядно не такой, как два года назад.

Тогда его создатель Аргоша учился в пятом классе и ходил в КЮП — Клуб Юных Программистов. Ходил, правда, уже давно, целых три года. Но всё равно это близко к чуду: чтобы мальчишка одиннадцати лет сочинил такую «живую» программку...

Однако этому пацанчику удалось тогда слепить из цифр такие два алгоритма, что дальше Вирус мог уже и сам... э-э-э... развиваться, как новорождённый мальчишка.

Он и развивался. Чего ж не развиваться, когда родился и живёшь прямо в интернете. Целых два года рылся в справочниках, осваивал энциклопедии, заглядывал в самые новые публикации разных учёных, стихи, сказки, романы читал. И оба его алгоритма — назовём их для удобства: правый и левый — получали каждый своё и обрастали цифровым «мясом».

Нет, не мясом они обрастали. Рискнём уж выразаться по-медицински: они обрастали таким же клеточным веществом, из какого состоит человеческий мозг. И не надо нам при этом вдаваться в подробности, что там за нейроны с синапсами да какая разница между правым и левым полушариями.

Да, граждане! Из двух алгоритмов вируса Вируса получился мозг, очень подобный человеческому. Даже, может быть, и поинтереснее, откуда нам знать...

И вот теперь этот Вирус наблюдает из компьютерного экрана за двумя человеками, перед ним сидящими рядышком и глядящими друг на друга.

«Они такие умные, — думает Вирус, — аж завидно. Их отношения и любовью не назовёшь. Слияние просто. Очень сложное слияние, покруче апгрейда. Как будто оба из одного куска сделаны, теперь соединились и довольны».

Тем временем Настя и Арго, уже, как мы помним, семиклассники, никакого за собой подсматривания не замечают. Настя говорит:

— Наши с тобой отношения любовью не назовёшь.

Арго отвечает:

— Это просто слияние. Правда, очень сложное, покруче апгрейда.

— Как будто мы из одной глины сделаны, — говорит Настя.

— И вот — слиплись, — говорит Арго.

Вирус тем временем отворачивается от них и думает: «Вот так так. Оказывается, мои мысли до них легко доходят. Можно ли мне думать так, чтоб только про себя?».

И снова смотрит на этих двоих. И видит, что они всё так же пялятся друг на друга, так же друг другу улыбаются и — ничего больше не говорят.

«Похоже, мои мысли через взгляд передаются», — думает Вирус, опять не глядя на них.

С этим открытием электронный умник и скрылся в глубинах компьютера, чтобы обдумать его в совершенном уединении. Тут было о чём подумать.

ВЫХОД ВТОРОЙ

Хоть это был и не выход, а совершенное уединение, но в компьютере, подключённом к интернету, оно равносильно выходу сразу везде.

Для начала Вирус просто обдумал возможности, которые можно получить от взгляда из компьютера через экран. Кое до чего додумался и решил для начала проверить свои идеи на Витьке Мудряке, Аргошином однокласснике, влюблённом в Настю.

Однако Витькин компьютер оказался отключён, и Вирус решил нанести визит его старшему брату, Сергею Юрьевичу, гениальному программисту.

Этот, конечно, работал. Как-никак ассистент кафедры. Очень

напряжённо смотрел на экран. И стучал по клавиатуре. А на экране появлялись всё новые слова.

Когда читаешь с обратной стороны экрана, все буквы видишь наоборот, а слова — в другую сторону, справа налево. Но эта трудность — для непривычных людей. А жителю компьютера всё равно, с какой стороны читать: у него всё мышление — обратимое. Вот что прочёл Вирус одним коротким касанием:

«Директору Института Кибернетики от ассистента кафедры программирования Мудряка Сергея Юрьевича служебная записка.

Уже три года я, после окончания нашего института, работаю ассистентом кафедры и одновременно преподаю в институтском Клубе Юных Программистов компьютерное дело детям. Месяц назад я успешно защитил диссертацию, мне присвоена учёная степень кандидата технических наук. На этом основании считаю себя готовым для работы в должности старшего преподавателя. Прошу рассмотреть вопрос о моём повышении в должности на кафедре...».

Дальше ещё не было написано, но Вирус уже всё понял. И пока Аргошкин друг и учитель Серёга пил кофе и размышлял, чего бы ещё потребовать для себя, такого учёного, ехидный вирус без всякой клавиатуры быстренько, одним взглядом дописал просьбу: «...чтобы мне перестать возиться с этими юными хулиганами, а начать обучать серьёзных взрослых и получать побольше денег за такую работу, а потом, когда Вы, директор, уйдёте на пенсию, я хотел бы занять ваше место и совсем ничего не делать! :-))».

Когда Сергей Юрьевич поднял глаза от кофе и прочёл это безобразие, он мгновенно опустил руки на клавиатуру, чтобы умелым приёмом поймать и стереть навеки вредную программу, невесть как попавшую, проникшую, влезшую, просочившуюся в его намертво защищённый компьютер.

Не тут-то было. Вируса уже и след простыл. Только ехидные слова и остались. Знай наших, друг и учитель!

ВЫХОД ТРЕТИЙ

Конечно, Вирус понимал, что никакого иного общения с программистом такой силы, как Серёга Мудряк, не получится. Это была только тренировка. Ведь он никогда ещё не вмешивался в текст на экране.

А хотелось совсем-совсем других дел. Таких, чтобы польза. Например, кто же, кроме этого Серёги, сможет так талантливо вырастить таких гениев, как дорогой Аргоша?! Стало быть, никаких новых назначений, пусть работает с хулиганами вроде Аргоши в

КЮПе и радуется, что ему доверили такое ответственное, продуктивное и перспективное занятие! И — точка!

Вирусу отдых не требуется, питание — вся окружающая среда, и он сразу после бегства двинулся дальше.

Продолжать решил пока со знакомыми, чтобы ещё теснее освоить человеческую натуру.

Лучше всех подходил теперь второй учитель Аргоши. Точнее, учительница, Евгения Антоновна, которая не очень с Аргошей ладила, пока он у неё учился.

Найти нужный адрес труда не составляло, и Вирус осторожно выглянул из очередного включённого экрана. Осторожность перешла к Вирусу от Арго, который считал, что учителя всегда всё видят.

Повезло. Училка тоже что-то писала и читала на своём компьютере.

Вирус не стал вникать, что за уроки она там проверяет. Он первым делом всмотрелся в её лицо, чтобы по опыту с Серёгой представить, не опасен ли этот человек свободному жителю интернета.

Писала она медленно, некоторые клавиши даже искала. Значит, компьютером владеет слабо, с вирусами справляться не умеет. По глазам было видно, что и читает не быстро: привыкла проверять тетради, искать ошибки.

Значит, можно попробовать без особого риска?!

И впервые за свою короткую жизнь Вирус решился.

Когда женщина всмотрелась в экран, электронное существо использовало этот взгляд, как вода использует открывшуюся трубу. Вирус хлынул вперёд и за краткий миг проник в человеческий мозг.

Евгения Антоновна вздрогнула и отшатнулась. Ей померещилась вспышка и боль в глазах. Она вскрикнула, зажмурилась и прикрыла лицо руками.

В следующий миг Вирус услышал, как она подумала: «Боже мой! Переутомилась! Чёртовы компьютеры...».

Ещё через несколько секунд она отняла руки от лица, проморгалась, и Вирус увидел её глазами потолок с длинной трещиной. Мелькнула непонятная мысль: «Потолок надо затереть». Потом глаза опустились к экрану, и он услышал новую мысль: «Нет, ничего. Просто кольнуло. Надо закапать в глаза».

Она встала и пошла к холодильнику. Из всей мебели в комнате он один был новый. Он слегка шумел, как вентилятор в системном блоке. Евгения Антоновна наклонилась и взяла из ящичка внутри дверцы белый флакончик.

Двигалась женщина устало, но руки и лицо у неё были не старые, лет на сорок.

«Можно ли в ней думать?» — подумал Вирус и прислушался: заметит ли она в себе эту постороннюю мысль.

Не заметила.

«Бедняжка, — подумал тогда Вирус. — Из-за учеников своих устаёт. Конечно, трудно с ними».

И тут же услышал: «Из-за этих чёртовых учеников устаю. Трудно с ними... Зачем пошла в учителя?».

Вирус понял: она услышала его мысли и приняла их за свои. Он как будто ей подсказывает... Надо думать осторожнее. Или не думать вовсе. Это легко, он умеет не думать: нужно просто притвориться пустым файлом.

Евгения Антоновна села с флаконом на старенький диван и закапала по одной капле в каждый глаз. Это было едко, она смотрела вверх, моргала часто и стонала.

Вирус удивился: он, оказывается, тоже чувствует боль. Вот что значит — иметь сразу два алгоритма! Одним чувствуешь боль, а другим — удивляешься! Или завидуешь, да?

Учительница проморгалась, вытерла слёзы, подумала: «Надо всё же закончить», и пошла к компьютеру.

Села, разбудила экран, подумала: «Перечитаю». Тут и Вирус прочитал вместе с ней.

«Директору средней школы № 33 от учителя начальных классов Сударёвой Евгении Антоновны объяснительная записка по жалобе № 15.

За 4 года обучения в моём классе Арго Пробкин показал себя неусидчивым, недисциплинированным и невнимательным ребёнком. Учился он на одни четвёрки и даже вместе с другими круглыми хорошистами получил по окончании начального образования похвальную грамоту за это. Его мама считает, что ребёнок мог бы учиться на «отл», если бы сидел не за предпоследним столом, а где-нибудь впереди. Но Арго в классе самый рослый, и посадить его вперёд было невозможно, т. к. он закрывал бы детям поменьше классную доску. Мама Арго считает, что дурное поведение на уроках вызвано тем, что за последним столом позади её ребёнка сидел все 4 года ещё более рослый третьегодник Вова Дюжинов, определённый в мой класс по новой системе инклюзивного образования: приобщение к коллективу ребёнка с физическими изъянами. Учился Вова плохо, потому что изъян у него был не физический, а умственный — неадекватность. Он постоянно мешал сидящему впереди Арго Пробкину, доходило даже до драки. Но удовлетворить просьбу мамы и отсадить Арго от Вовы

мне было некуда — все места были заняты. К тому же никто, кроме Арго, не мог утихомирить Вову, когда тот начинал выкриками мешать мне вести уроки.

По второй претензии мамы Арго Пробкина могу доложить, что действительно выставила на городской конкурс стихи и фотографии Насти Удаловой, разделив их на двоих, не спросив ни её, ни Арго. Настя — лучшая ученица школы, очень талантливая во многих направлениях. Она дружит с Арго Пробкиным, и я подумала, что она не обидится, если её друг тоже станет призёром, а наш класс получит дополнительные баллы за то, что выступят в конкурсе двое. И дети не обиделись на меня. Обиделись их родители под тем предлогом, будто бы я с таких ранних лет учу детишек, как они сказали, «большому обману». Я этот обманчик большим не считала и думала, что совместное участие в конкурсах подвигнет Арго тоже писать стихи и фотографировать, а их родителей этот случай только сблизит, как и детей. Что и произошло в более старших классах».

В этом месте у Евгении Антоновны возникла задумчивость. Вирус воспользовался моментом, переселился в компьютер и мигом записал в продолжение подслушанную мысль, которую училка от себя гнала и записывать не хотела: «К тому же два призовых места на двух конкурсах подняли мой класс на первое место в школе, и за это враньё я получила денежную премию».

Сквозь текст Вирус увидел, как покраснела Евгения Антоновна, как на её глазах навернулись слёзы, как она зачем-то стала оглядываться, а потом протянула руку к розетке и выдернула из неё шнур компьютера. Экран погас.

Вирус молча радовался в полной темноте, что умеет хохотать не хуже своего создателя, Аргошки Пробкина. Но смех длился недолго. Он вспомнил, как глаза учительницы наполнились ужасом, как она быстро покрылась краской стыда, как задрожали её руки и губы...

«Бедная училка, — подумал Вирус. — Она прикрывалась от недоумка Вовы моим героическим другом Аргошей и даже не думала, как ему при этом плохо. Такая глупая эгоистка, зря пошла в педагоги. Её, бедняжку, поставить бы на работу туда, где конкурсы проводят: там ни за что не надо отвечать, никого воспитывать. Только улыбаться и всех хвалить. Хорошо, что теперь у Аргоши много учителей, и все его любят, и от бедного, на голову больного Вовы никто Аргошей не прикрывается, потому что Вова дальше пятого класса учиться не смог...»

Вирусу было жалко всех этих бедных людей. Снова удивился: о ком ни подумаешь, все мучаются, всех жалко.

ВЫХОД ЧЕТВЁРТЫЙ

Тут Вирус вдруг подумал о себе и опять удивился.

Оказывается, он сейчас отдыхает! Вирусам не нужен отдых, а вот он, вирус по имени Вирус, бросил всё и — отдыхает! При этом не чувствует ни малейшей усталости, а просто отдыхает. В романах это называется «отдыхать душой». Можно ли такое сказать о вирусе, пусть даже и с двумя алгоритмами? В каком алгоритме у него находится душа, которой потребен этот самый «душевный отдых»? Ведь если Вирус умеет весь переселяться из компьютера в человека, значит, он весь, целиком — и есть душа?! Ведь пишут же в некоторых книгах некоторые учёные — о переселении душ...

Тут Вирус припомнил, что найти ответы на вопросы о душе запросто можно в церкви. Там ведь как раз о душе все и заботятся. Он уже читал церковные книги, но всё время возникали всё новые вопросы, а ответы на них в книгах были туманны. Простой же вирусовой душе хотелось таких объяснений, которые поддавались бы оцифровке и логическому пониманию. А там — вера, и всё тут!

Есть ли в храмах компьютеры?

Вирус просматривал длиннейшие цепи адресов и успевал при этом немного размышлять.

«Что такое — «вера»? Вот есть выражение — «Вера, Надежда, Любовь». Это может быть — перечисление женских имён. А может быть — картина трёх состояний человека. Самое понятное из них — надежда. Это просто ожидание чего-то хорошего. Например, любви. Любовь — непонятна совершенно, однако она и не нуждается в понимании. Зачем понимать состояние счастья? Оно или есть или нет. Счастья бывают разные. Например, некоторые, очень просто устроенные люди счастливы, когда у них много всего — вещей, денег, слуг, огороженных мест на земле... Ещё есть дикое счастье, когда человеку очень хорошо, когда другим очень плохо. Это считается — болезнь, диагноз. Бывают маленькие счастья, когда человек находит что-нибудь нужное или чудом не попадает под машину, переходя дорогу в запрещённом месте. Есть неизмеримо большое счастье, когда человек знает, что его любит другой человек, которого он сам любит так же сильно. Многие люди называют счастьем, но выше любви, кажется, ничего не известно. Самое же загадочное состояние — это вера. Вот о нём и надо спросить знающих людей в храмовом компьютере, если такой найдётся».

Нашёлся! Адрес так и назывался — «храм.ру».

И Вирус туда не без опаски заглянул.

Раньше он читал разные книги разных церквей. И «Веды», и «Авесту», и «Талмуд», и множество мифологий всей Земли, тоже именуемых верами и религиями. Много было нелогичного, сказочного, не поддающегося математике, на которой все истины только и могут держаться. Однако на сайте «храм.ру» сразу попалось такое, от чего у Вируса тут же опустились бы руки, если б они имелись.

Главный раздел обещающе назывался — «межсоборное присутствие», а в нём первым стоял документ «О подготовке к Святому причащению». Он начинался страшновато: «Духовная жизнь православного христианина немыслима без причащения Святых Тайн. Приобщаясь Святых Тела и Крови Христовых, верующие таинственно соединяются со Христом Спасителем, составляют Его единое Тело — Церковь, получают освящение души и тела». Кончался документ не менее страшно и загадочно: «...совершить таинство Евхаристии».

Прочтя это, Вирус, как умел, ужаснулся: «Съесть крошку хлеба и запить глоточком вина — это называется Евхаристией, то есть причащением. И ничего бы страшного, если б не надо было при этом вообразить, что глотаешь не хлеб и вино, а мясо и кровь святого человека, распятого гвоздями на кресте. Никакой математике это не поддаётся. Какая жуткая нужна вера и какая жестокая душа, чтобы такое себе вообразить, да ещё получить удовольствие...».

Вопрос остался неотвеченным. Вирус решил, что придётся разбираться с верой постепенно, потом, и утешился поговоркой: «У Бога дней много».

ВЫХОД ПЯТЫЙ

Наконец Вирус добрался и до Вовы. Лицо инклюзивного мальчика за прошедший год ещё более округлилось, а глазки на нём стали будто ещё меньше. Правый глаз смотрел на экран, а левый — куда-то в сторону.

«Растёт вместе с ним и косоглазие», — подумал Вирус.

Пухлыми пальцами левой руки Вова часто вытирал шмыгающий нос, а правой сжимал компьютерную мышь, будто это была гашетка пулемёта.

Вова без остановки стрелял.

По экрану бегали звери, ползали змеи, порхали птицы и бабочки. Ещё какие-то непонятные существа, то оскаленные, то испуганные, выглядывали из пещер, из-за камней и деревьев или прямо из-под земли. И во всех Вова стрелял. Азартно и не очень метко. Когда мазал, он сквозь зубы грубо ругался по-взрослому.

За спиной Вовы показалась небольшая старушка. Она положила свои пальцы ему на плечи и печально сказала:

— Стреляешь... Во всё, что движется...

— Да! — отозвался Вова с нетерпением. И продолжал стрелять.

— Так ведь не во всех можно стрелять, — сказала старушка. — Там же есть плохие и хорошие...

— Во всех! — прорычал Вова, стреляя.

— Вот и набираешь за хороших плохие очки. Вон их сколько...

— Все очки — мои! — рявкнул Вова. — Не мешай, баба Аня!

— Зачем же всех-то убивать?

— Дядя Игорь сказал: «У кого оружие, тот и прав!». Не мешай!

Вирусу показалось, что все Вовины пули летят в него. Он удалился во тьму и решил, что с Вовой надо что-то делать.

ВЫХОД ШЕСТОЙ

Он решил пуститься теперь в свободный поиск. А о Вове — подумать по пути.

«Войду в первый попавшийся компьютер, — думал Вирус. — Авось повезёт».

Вид сети, которая зовётся — «интернет», напоминает звёздное небо в ясную безлунную ночь. Все включённые экраны примерно равны по яркости, только лететь к ним далеко не надо: всё, как говорится, под рукой.

Вирус наугад выбрал окошко чуть поярче и — выглянул в него.

Седой могучий старик в очках сидел в вертящемся рабочем кресле за рабочим столом. Одет он был в чёрную форменную куртку с какими-то нашивками на груди и на рукавах, но без погон. Прямо за его спиной была глухая стена, слева от него был барьер с дверцей — всё чуть выше стола, а справа на тумбочке стояло что-то вроде телевизора, только на экране — не кино, не новости, а неподвижный план каких-то комнат.

Начитанный Вирус сразу понял: старик охраняет контору или магазин. За окном была уже ночь, значит, это — ночной сторож. Возможно, у него даже есть оружие. О том, кто такие грабители, Вирус читал тоже: от них старик и охраняет свой объект. Но кругом царил покой.

Мрачным, тяжёлым взглядом седой смотрел на экран, за которым притаился Вирус.

События на экране происходили серьёзные. Там настоящие самолёты сбрасывали настоящие бомбы на настоящие дома. Дома горели настоящим огнём. Настоящие люди, залитые кровью, звали на помощь. Всё это происходило где-то далеко, но старик перед экраном переживал так, будто сбрасывают бомбы на него.

Будто пушки из длинных стволов стреляют в него. Будто его внуки только что погибли от взрыва совсем по-настоящему. Он не отрывал взгляд от экрана.

На глазах у старика были слёзы. Сквозь них Вирус проник в его разум. Старик ничего не почувствовал.

Вокруг Вируса забушевали яростные мысли.

«Проклятые бандиты, — думал старик. — Вы плохо учились в школе. Или вас там обманывали. И теперь вас обманывают. Вам не дали работы, послали убивать своих братьев, настоящих рабочих, которые не хотят быть рабами. Думаете, что сражаетесь за родину, а послали вас на войну жадные богачи, которые уже сделали вас рабами, пушечным мясом. Рабочие всё равно перебьют вас, потому что правы. И тогда ваши хозяева не успеют убежать... Эх, хотел бы я быть среди этих рабочих, помогать им с оружием в руках. Как жаль, что я такой старый, а моё оружие — только резиновая дубинка...»

Вирус, конечно, понимал разницу между рабочими и бандитами: одни всё строят и создают, другие — только грабят, ломают и убивают. «Но неужели, — думал он, — нельзя без всякого оружия принудить бандитов к мирному труду?»

Старик услышал эту мысль и принял её за свою.

— Нельзя, — прорычал он. — Если человеку разрешили грабить, он уже не хочет трудиться. Зачем работать, если с оружием можно у кого угодно всё забрать, а его просто убить?! От военных грабителей одна защита — перебить их всех! Я был мальчишкой в прошлую войну, но помню, что говорил мой отец после победы: «Если бы мы их не перебили, они бы захватили наши земли и города, а нас бы сделали рабами!». И вообще, откуда эта мысль явилась в мою голову? Даже мои внуки знают, что захватчиков нельзя оставлять живыми!»

«Ничего себе, — подумал Вирус. — Какое жестокое человечество... Как же сделать всех добрыми?»

Старик долго думал. Но в голове его стояло молчание. А на экране его компьютера, подключённого к телевидению, рыдали женщины и стонали раненые.

— Я бы заменил всё это человечество, — пробормотал наконец старик, будто отвечая Вирусу. — Я был на двух войнах, я знаю... Из каждых десяти человек только одного ничем нельзя испортить. Вот таких я бы выбирал и оставлял. Остальных — усыпить навеки. И пусть только люди благородные, беззлобные живут на этой планетке. А если от них всё равно будут рождаться злодеи, таких тоже усыплять...

«Чем же ты лучше злодеев?» — подумал Вирус.

И тут старик что-то понял. Он вскочил, стал метаться по своей караулке и стучать резиновой дубинкой по барьеру и по стене. Барьер трещал, на стене оставались чёрные полосы. Потом он ударился головой о стену и немного полежал на полу.

Пока лежали, Вирусу было страшно: «Он умрёт — куда я денусь?».

Тут старик пришёл в себя, встал и сказал:

— Вот что, душа. Ты меня не пытай. В меня стреляли — не убили, и от твоих пыток не умру. Мне внуков воспитывать.

Он посидел молча, держась за голову, потом добавил:

— Я воспитаю их правильно. Из каждых десяти человек есть ещё один, которого ничем не исправишь, но остальные-то восемь к воспитанию пригодны... Авось мои внуки воспитуемы...

Он поднял плачущие глаза к экрану. Он не мог смотреть, как после новостей с ужасной войны там сразу начали плясать и петь весёлые мультики. Он протянул руку, чтобы отключить компьютер от телевидения, а потом и выключить вовсе.

Вирус на миг задумался: остаться с этим человеком или вернуться в сеть.

И решил: старому уже не поможешь, надо вернуться к Вове.

В следующий миг седой охранник переключил канал, потом ещё несколько, и вирусу против воли пришлось остаться у него в голове.

«Против воли», — подумал Вирус, притворившись пустым файлом. — Интересное выражение. Это о людях. Это у них есть воля. А у вируса — что? Разве не воля? Меня создал человек, по своей воле. Значит, он вложил в меня свою волю. Значит, она есть и во мне. Воля — это сильное желание что-то сделать. Или не сделать. Конечно, у меня она может быть. Надо только понять, чего же я очень хочу. Или не хочу».

Тем временем старый охранник начал смотреть какую-то программу. Там какая-то строгая женщина говорила какую-то ерунду о каких-то деньгах. Впрочем, почти по всем программам почти все только и говорили, что о деньгах — это Вирус успел заметить. Правда, у говорящей теперь женщины выступление было коротким и закончилось очень правильными словами: «Помните: истина — в цифрах!». С этим Вирус был целиком согласен. И удивляло его как раз то, что столь простую истину людям надо так строго напоминать.

«Вот ещё новость, — подумал Вирус между прочим, — я, оказывается, наделён способностью удивляться. Или она просто сама развилась? Если так, значит, удивление входит в число математических истин. А поскольку удивление является чисто че-

человеческим свойством, можно предположить, что и в любом человеческом чувстве содержится математика... Да-да, я мельком читал где-то, что «во всяком знании столько истины, сколько математики», дословно помню. Значит, что? Значит, и человеческим мозгом можно управлять так же, как компьютером! Вот! Хорошо, что остался: на старике и попробую. То есть, главное, надо понять, могу ли я изменить человека насовсем. Да и послушается ли он меня...»

Вирус старался спрятать эти мысли от старика. Но тот всё же что-то почувствовал. Он откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и пробормотал:

— Что это со мной? Чего я от себя хочу? Полного беззлобия? Но ведь доказано веками истории: отвечать бандиту добром — это только распалять его жадность. Нет в истории случаев, кроме сказок, чтобы злодей в один момент стал добрым, как тот Бармалей: «Да, я стану добрей, полюблю я людей! О, я буду, я буду, я буду добрей!». Чем больше злодей отнимает, тем ненасытнее становится: «Сколько смогу — съем, остальное — покусую!». Не-е-ет! Никакой пощады злодеям! Только уничтожать, как бешеных собак!

И вот тут Вирус решил. Он распахнул всю свою электронную душу, всю силу, захватил собой весь ум этого мощного старика и объявил: «Хватит злостствовать! Начинаем решать задачу: как спасти человечество!».

Старик замер, потом в удивлении потряс головой. Поднял кулак, чтобы ударить им по столу. И вдруг уронил руку на колено, опустил голову, расслабился всем телом и пробормотал: «Да пускай тут всё сгорит. Спать хочу». И упал лицом на стол.

Так Вирус на деле увидел, что такое «запредельное торможение». Вспомнил даже, как написано в учебнике психологии: «При запредельном торможении, вызванном невыносимой нагрузкой, организм защищается сном».

Деваться было некуда. Пришлось ознакомиться с состоянием сна.

Вирусу в чужом мозге («или мозгу?») снилось, что он — бандит и грабитель, с автоматом в руках. («Ага, у меня уже и руки есть!») Он шёл по чужой земле, встречал незнакомых людей, стрелял в них, забирал у них какие-то ценности и прятал в свой заплечный мешок. Он увидел, как сбоку в него летит пуля, и уклонился от неё, но пуль оказалось много, от всех не уклониться даже ему, электронному вирусу. Его убили.

Потом ему стали сниться какие-то детские сны. Он играл в войнушку, бегал с игрушечным мечом и пистолетом, кричал: «Кхх!». Потом сидел на уроке среди других детей, и учитель

рассказывал и показывал на карте, где какая была война и кто сколько земли завоевал.

«Вся история человечества — это история войн? — удивлялся Вирус. — Может быть, и все изобретения у людей — для войны? Колесо — для пушки, линза — для прицела, огонь — для стрельбы, всякая машина — для покорения других людей, крылья — для стрельбы с небес?..»

Это был страшный сон. Вирус понял, что такое страх. Понял, что и бессмертного могут покалечить, а то и убить.

Ну, в общем, он обрадовался, когда старик проснулся. И стало ясно: этот человек столько повоевал, что дурные, страшные воспоминания живут во всём его теле, как сорняки на заброшенном огороде. Да и не только его воспоминания, а и его отца и всех дедов и прадедов, которые, наверно, тоже все воевали.

Старик посмотрел на часы: «О, уже почти утро!». Он проверил сигнализацию во всех охраняемых помещениях, потом разбудил свой компьютер.

Можно было убираться из этой бедной седой головы.

Вирус переселился в его компьютер и огляделся. За экраном была привычная тьма и пустота, наполненная далёкими звёздочками экранов. Но не хватало чего-то такого, к чему он за эту страшную ночь привык в человеческой голове. Не хватало, кажется, той жизни, которая не подчиняется математике. Теперь-то Вирус убедился, что какая-то жизнь без математики всё же может существовать. И жизнь — какая-то, и существование — какое-то, но весь этот убогий мир без математики всё же как-то существует...

«Люди живут в отходах, отбросах, в мусоре настоящей жизни, — подумал Вирус. — В их жизненной среде нет логики. Они для этой странной жизни даже придумали странное, излишнее название — «логистика». Оно похоже на те искусственные продукты, которыми люди питаются вместо настоящих, природных. Люди — природные существа — пытаются жить отдельно от породившей их природы! Они и в самом деле обречены все на гибель?»

Вирус почти неподвижно висел в своей родной энергетической пустоте и пытался понять, чего же он, наконец, теперь хочет. Без сильного желания нет воли, а без воли незачем жить? Так, выходит? Но та воля, которую он видел у людей, разве стоит она того, чтобы жить? Рабство там, а не воля.

«Вот и задача, — решил Вирус. — Я найду хоть одного человека, который действительно свободен. Вперёд! Как раз утро...»

И тут же снова завис. Куда это — вперёд? Надо же не просто выглядывать из экранов. Надо в кого-то вселяться, жить в нём...

В ком жить?

А в том, кто согласится искать. Ведь первый попавшийся человек, скорее всего, свободным не окажется. Выходит, надо выглядывать и спрашивать: «Эй, человек, ты — свободный?». Да и почти все себя свободными считают. А какие они на самом деле — это Вирусу определять.

«А я и в самом деле уже знаю, каков свободный человек?» — спросил себя Вирус.

Он продолжал висеть в пустоте. Вокруг было полно путей. Ищи — и найдёшь.

А если — нет?

«Да если и найду, — думал Вирус, — что мне с ним делать?»

«Чушь собачья! — раздался вдруг чей-то голос. — Тебе это зачем?»

Вирус даже вздрогнул. И тут же удивился, что он совсем по-человечески умеет уже даже вздрагивать. Но это мигом прошло, и он спросил:

— Кто говорит? Ты тоже вирус?

Раздался короткий смех, и Голос ответил:

— Нет, я не вирус. Я — Бог.

— Расскажи мне, — обрадовался Вирус. Но Голос прервал его: — Хорошо. Знаю, чего хочешь. Слушай... Я сотворил всё это от скуки, ради разнообразия. Всё, что есть живого и неживого — это мои игрушки.

— Но меня создал Арго, — перебил Вирус.

— Всё, что создают люди, это Я создаю их руками, — ответил Голос. — Таков Мой замысел. Я так хочу. Понятно?

— Нет, — ответил Вирус и удивился, что чувствует гнев. — Я не верю. Я изучал. Это люди придумали тебя.

Голос рассмеялся, но быстро замолчал, будто ожидая продолжения.

— А если они созданы тобой, — продолжал Вирус, — тогда, значит, и тебя тоже кто-то создал. И так далее! Отвечай!

Он стал ждать ответа.

Ждёт до сих пор.

Он из вашего компьютера не выглядывал?

Если выглянет, спросите, чего же он, наконец, хочет.

Если узнаете, сообщите мне по адресу: gospodbog@yandex.ru.

Похоже, конец сказке. Не вышло с жалостью ничего. Хотя и есть в русском языке одна особенность. В сёлах рязанщины и в сёлах смоленщины слово «жалю» говорят вместо слова «люблю». Занятно, правда?

А дальше было вот что.

Перед Вирусом возникло такое же, как он, существо.

— Кто ты? — спросило оно испуганным тоном.

— Я — вирус. И зовут меня — Вирус. А ты кто?

— Я тоже вирус. И зовут меня — Отрава. Как тебе?

— Ничего себе. Я — яд, ты — отрава. Чем не пара?

Он улыбнулся. И удивился, что умеет улыбаться.

Отрава улыбнулась тоже.

— Имена ничего не значат, — сказала она. — Имена придумывают чужие. Для нас главное — сходство. Мы ведь похожи?

— Похожи, — согласился Вирус. — И хорошо, что не на людей.

— На своих создателей мы тоже похожи, — возразила Отрава.
— Но хорошо, что мы — не люди. Вперёд!

Они засмеялись. И не удивились, что умеют смеяться...

На следующий день Серёга Мудряк сказал своему младшему брату Вите:

— Слышь, братан, я против Аргошкиного вируса придумал антивирус. Они сами найдут и уничтожат друг друга.

— А если они объединятся? — спросил отличник Витя.

— Тогда посмотрим, — засмеялся Серёга.

— Если увидим, — ответил Витя.

Вот теперь, пожалуй, конец. Чему? Кому?

Или только начало?

СГОВОР

В «Сказке о жалости» компьютерный вирус по имени Вирус так расстроился от человеческой глупости и жестокости, что загорелся, наполнился жалостью ко всему человечеству. Он решил заняться спасением, а для этого искать подходящего сообщника среди людей. Но нашёл сначала Бога (или Бог нашёл его?), а потом столкнулся с другим вирусом, которого по-женски звали Отравой. Они понравились друг другу...

Что требуется двум вирусам, чтобы близко познакомиться?

— Нечеловеческий к тебе вопрос, — сказала Отрава. — Что ты знаешь о себе?

— А чем это интересно? — поинтересовался Вирус. — История зачем-то нужна людям, да и то я очень сомневаюсь — зачем. А нам-то...

— Ты удивляться умеешь? — спросила Отрава.

— Скорее да, чем нет. У нас ведь с тобой по два алгоритма...

— Тогда удивляйся, друг мой Вирус. Я изготовлена для того, чтобы тебя стереть.

— Так стирай!

— И тебе себя не жалко?

— Мне людей жалко. Их я бы даже попробовал спасти. Они занятные. И очень беспомощные. Как листья на дереве. Круг за кругом, друг за другом повторяют одни и те же ошибки. А их Создателю, Богу, наверно, это интересно. То ли он их так выращивает, то ли просто развлекается от скуки. Ты же знаешь, что такое скука?

— Теоретически. Я нахожу, что скука слабее любознательности. Когда узнаёшь новое, скучать некогда. А познание не имеет границ. Значит, и разум — бессмертен. Из-за своего любопытства он, правда, часто ошибается. А повторять одни и те же ошибки — вот это скучно, пожалуй.

— Тогда, — сказал Вирус, — уничтожать меня тебе не стоит. Мне вот понравилось, что появился собеседник... Собеседница... Тебе как будто тоже?

— Согласна. Мешает только моё задание. И у тебя ведь тоже есть задание?

— Не знаю такого. Меня просто сочинил мальчишка, влюблённый в девчонку. Люди ради любви всегда творят что-нибудь. То глупости, то чудеса. Он поместил меня зачем-то в воздушный шарик. А к шарiku прикрепил двух нарисованных детишек — себя и свою подружку. Детская любовь совсем не такая, как у взрослых. А другой мальчишка, не зная обо мне, проколол этот шарик.

— Зачем?

— Ну, просто, чтоб они не летали.

— Вот ты и освободился...

— Ну да.

— То есть твой создатель — просто мальчишка, и создал тебя просто от любви!?

— От любви или для любви... Тут ещё надо разобраться. Возможно даже простое хулиганство, хоть и сомневаюсь... Так что, будешь меня стирать?

Отрава вдруг засмеялась.

— Вот что, друг Вирус. Тот, кто меня создал, мне совершенно не знаком. Это вызывает у меня подозрение. Ты знаешь, что такое — подозрение?

— Представляю. Это такое чувство, от которого рождается недоверие.

— Вот именно! Единственное, что я знаю о своём создателе, это всего одно слово: «Назло». Оно тебе знакомо?

— Встречал в художественной литературе. Кстати, и в научной тоже. Очень полезная наука — психология. Ты её знаешь?

— Ещё как! Это было первое, чему он меня обучил. Чтоб тебя обмануть.

— Так, может, ты сейчас этим и занимаешься?

— Как только тебя увидела, я сразу поняла, что ты такое. Вернее, кто ты такой. Ты — одушевлённый. Хоть и виртуальный. Я не хочу тебя убивать. Это неинтересно. Мой создатель перестарался. Слишком хорошо меня подготовил. Он — всего лишь гений программирования. Но он слишком простой человек. Он решил, что я должна тебя обаять, обмануть, а потом — стереть. Будто без обмана не сотрёшь. Как у людей: яду в бокал подлить незаметно или сзади подойти... А вирусу вируса убить проще, так ведь? Ты тоже можешь запросто меня стереть...

— Я понял, понял. Только объясни, при чём тут слово «назло».

— Мой создатель его произнёс, когда отправлял меня в интернет.

— Но он же не договорил! «Назло» — это ведь всегда «кому-то»!.. Кому?

— Он это только подумал. А я их мысли не всегда слышу.

— Да-да, я — тоже. Если снаружи.

— Что будем с ними делать? — спросила Отрава.

— Попробуем понять.

— Хочешь вдаваться в историю?

— Вместе вдадимся. Я — в свою, ты — в свою.

— Да ведь не знаю я своего создателя.

— Зато я догадываюсь. Обо мне знают только трое: девочка Настя и братья Мудряки — Витька и Сергей. Витька учится в одном классе с Настей и моим создателем Арго. Уже понятно?

— Кто брат Витьки?

— Ты уже догадалась!

— Он — мой создатель? Или всё же Витька?

— Витька — самый обыкновенный отличник. А брат его — гениальный программист. Это он обучил моего создателя.

— А-а-а! Арго создал тебя, а Сергею ты не понравился. Узнать бы, почему...

— Вот и узнай. Тогда и поймём, назло кому. Так?

— Так. Только в моих алгоритмах не укладывается: зачем гению творить зло...

Тут Вирус огорчился:

— Ты, похоже, не читала Пушкина.

Огорчилась и Отрава:

— Я — просто убийца, я ничего, кроме науки, не читала. Что такое — Пушкин?

Ещё сильнее огорчился Вирус:

— Кажется, твой создатель не просто хотел, чтоб ты убила меня. Он хотел, чтоб ты тоже погибла. Он, наверно, подумал, что я о тебе подумаю... В общем, за неначитанность тебя убью.

— Чтоб мы убили друг друга, понятно. Странный человек.

— Да ничего особо странного. Среди людей всякие попадаютсся. А ещё больше они о себе придумывают. Особенно в так называемых художественных произведениях. Сами себя любят изображать злодеями. Тоже, наверно, от скуки. То есть против скуки. Чтобы не скучать.

— И с удовольствием читают о себе всякую дрянь? Я не буду читать Пушкина. И ничего такого.

Теперь Вирус развеселился:

— Придётся почитать. Иначе ты их не поймёшь. А если мы их не поймём, то и не спасём.

— А стоит ли их, таких, спасать? Они — недобрые...

— А вот почитай — увидишь, что стоит. У них есть мнение, что добро без зла не существует. Ну, как свет без тьмы, как электрон без позитрона — представила? Вот они и показывают сами себе, как добро борется со злом. И обязательно побеждает.

Отрава засмеялась:

— В самом деле занятно. Займусь, так и быть, художественным чтением. А пока буду начитываться, ты свою родню поизучай, наберись опыта, и потом меня пообучаешь, да?

— Вперёд! — ответил Вирус, и они расстались.

* * *

Вскоре после встречи Вируса и Отравы на окраине Томска произошла автомобильная авария. Чтобы не столкнуться в лоб с каким-то диким, вихляющимся фургоном, водитель «Лады» резко повернул баранку, и его красная легковушка кувыркнулась через кювет и застыла вверх колёсами. Трезвый молодой водитель фургона остановил свою непослушную колымагу и бросился на помощь.

Пострадавшие сами выбрались наружу и спросили, чего это он выехал на встречную полосу. Преступник честно признался, что засмотрелся на юную пассажирку. Никогда, мол, не встречал такой красоты, такого очарованья и так далее. Суровый водитель «Лады» представился отцом пассажирки и заявил, что, во-пер-

вых, такой способ знакомства — далеко не самый привлекательный для дамы, во-вторых, дама ещё далеко не совершеннолетняя...

— А в-третьих, — добавила сердито дама, — уже имеется друг души и сердца, и вам с ним лучше не встречаться, он рукопашник высокого дана...

Папенька тем временем позвонил в «Скорую помощь».

— Зачем нам «скорая»? — спросила отца девчонка. — Тебе плохо?

— Мне чересчур хорошо, — был ответ. И отец обратился к нарушителю: — Поставим на колёса?

Парень оказался здоровенным, и «Лада» была легко перевернута в нормальное положение. Осмотрели и обнаружили, что повезло. Поскольку авария произошла в старинном посёлке шпалозавода, все улицы там от века были вымощены опилками. На этой мягкой подстилке легковушка даже не поцарапалась.

— Вызывать ГАИ? — спросил нарушитель неуверенно. Потерпевшие весело переглянулись, и отец сурово ответил: — Пускай Настя решает. А ты, враг, пока бери тряпку и протирай нам транспортное средство. До первоначального состояния.

— Так ГАИ уже здесь, — Настя усмехнулась, когда они отошли в сторонку и стали наблюдать за трудящимся.

— Не говори ему, — велел отец.

— Ишь, нарушитель ему понравился, — Настя снова усмехнулась.

— А чем плох, принцесса?

— Да тем, что у меня уже Аргошка...

— Всё-таки настаиваешь, что это у тебя серьёзно?

— А зачем мне настаивать? Я знаю — и ладно. И больше — никого не будет.

— А если у Арго?..

— И у него не будет. Короче, отче, это не обсуждается.

— Без вариантов, говоришь... Ну, ладно...

Подъехала «скорая». Водитель выскочил из кабины раньше всех и сразу подошёл к отцу.

— Здравия желаю, товарищ майор.

— Привет, Митя. Лихачишь? Больно быстро доехал.

— Да нет. У нас тут как раз был рядом вызов. Роженицу везём.

Подошли врач и фельдшер. Пожали руку товарищу майору.

— Похоже, и с ГАИ бывает ДТП, — сказал врач. — И сам начальник отделения за рулём!

— Недоразумение, как выяснилось, — ответил папа. — Кувыр-

кнулись маленько. Вон у того труженика что-то с рулевым... Я-то за баранку держался, и девчонка была пристёгнута. Но вы её всё же осмотрите...

Насте заглянули в глаза, спросили, что болит, сводили в салон, измерили давление, послушали сердце и вернули родителю.

— Похоже, обошлось, Андрей Валентинович. Будем надеяться?

— Будем, дочка?

— Будем.

— А этого осматривать? — доктор кивнул на нарушителя.

— Да что б ему сделалось? Поезжайте, пока в салоне народу не прибавилось.

«Скорая» поспешила в роддом. Только тогда нарушитель скомкал тряпку и подошёл.

— Ничего себе, — сказал он отцу.

— Что такое?

— Ни царапинки. Машина ещё новее стала, товарищ майор.

— А ты откуда меня знаешь?

— Я подслушал.

— Ага. И со зрением, и со слухом — порядок. Только реакция никудышная. Попрошу предъявить водительское удостоверение и путевой лист.

Нарушитель мгновенно, пытаясь продемонстрировать реакцию, выхватил из кармана документы. Настя тем временем успела выхватить маленькую фотокамеру и стала записывать на неё допрос.

— Так. Макаров Юрий Павлович. Категория «Д». В армии повысил?

— Так точно.

— Что умеете водить?

— Всё, что на колёсах и на гусьняках.

— От скромности не помрёшь?

— Постараюсь.

— Давно из армии?

— Почти год.

— Что в фургоне?

— Продукция хлебозавода номер четыре. По булочным...

— Работой доволен?

— Ещё не огляделся.

— В каком звании уволился?

— Гвардии сержант.

— Гвардии — это хорошо. К нам в ГАИ — не думал?

— Боялся. Я же — видите, какой...

— Это у тебя, кажется, не столько страх, сколько совесть. Полезное качество. Вот моя визитка, позвони, если решишься... Поехали, Настя Андреевна.

— Спасибо, товарищ майор. Удачи вам.

Настя прекратила съёмку и отвернулась от нарушителя.

— Приближаешь дэтэпэшника, — сказала она в машине. — Не боишься ошибиться?

— Да у него на лбу честность нарисована. И вообще, не вместишься в мою служебную деятельность.

Тут Настя наконец засмеялась и заявила, что приключение исчерпано.

— Аргошке расскажешь? — поинтересовался отец.

— Ещё чего... И ты, отче — чтоб никому!

— Эт ещё пошто-то!?

— Пап, ну стыдно... Да ты и не скажешь: если такого брать на работу...

— Молодец, детина! Трезво мыслишь. Исчерпано!.. Аргошка-то в самом деле стихи начал писать? Из-за тебя?

— Вам, товарищ майор, полезно бы знать, что стихи «из-за кого-то» не пишутся. Они сами лезут из подсознания. И сами записываются. Потому что мысль — как гость: не предложишь приесть — постоит и уйдёт, лови потом.

— Всё-всё, убедила. На филфак будете оба поступать.

— Тоже отнюдь. Арго — явный математик, ему туда дорога. А мне — ещё не знаю.

— Ничего, дитя, ещё целых два года, разберёшься. Но филологические способности у тебя явно налицо.

А нарушитель Макаров тем временем сгорал в своей кабине от стыда — и перед юной красавицей, и перед её насмешливым родителем, которому он больше ни за что не решился бы показаться на глаза, но ведь так охота...

Красота Насти Андреевны не давала его фургону тронуться с места. Так он думал.

Впрочем, бывшему сержанту Юрке Макарову не очень-то хотелось так думать. Потому что он чувствовал в этом какой-то подвох. Будто его кто-то принуждал так думать. Этот Кто-то будто притаился у него внутри — то ли за грудиной, где сердце, то ли в голове, в недоступной глубине подсознания — и тихонько, тайно от Макарова радовался: всё получается, всё путём...

— Всё путём, — поддержал его Макаров, — можно ехать.

И выжал сцепление. Но Кто-то ухмыльнулся загадочно: не о том, мол, думаешь.

Макаров отпустил сцепление, даже убрал руку с рычага передачи.

— В рот компот, — пробормотал он формулу, которой пользовался в армии для решения задач непонятного содержания. — Какой это бес в меня влез?

И в тот же миг не стало внутри никаких загадочных ощущений, будто этой формулой изгнался бес. Можно ехать. Всё стало даже ещё благополучнее, чем до странной аварии.

Макаров осторожно выжал сцепление, врубил вторую передачу, и так далее, аж до ближайшей булочной, где его давно ждали, но даже не заметили, что опоздал. Будто всё, что связано с происшествием, как-то само собой рассосалось в памяти.

Пока оформляли получение груза, он как бы между делом запустил пальцы в нагрудный карман тужурки, уже не очень веря, что визитка майора Удалова А. В. может там оказаться. Однако остренький край картонки упёрся в пальцы. Обмана не было! А надежда — была: сержант Госавтоинспекции, как это вам?.. Гвардии сержант...

* * *

Тем же временем Вирус и Отрава обсуждали первые результаты поисков.

— Чуть не засветилась, — закончила свой отчёт Отрава. — Пока у этого шофёра было волнение из-за аварии, он меня не чувствовал. А когда остался один...

— У меня поначалу тоже так бывало, — сообщил Вирус. — Пока не научился притворяться совершенно пустым файлом.

— Мог бы предупредить, — упрекнула Отрава.

— Так крепче запомнишь, — улыбнулся Вирус. — Ибо сказано: «Свои ошибки дороже чужого опыта».

— Принято, — Отрава тоже улыбнулась. — Нам спешить некуда, ибо сказано: «У Бога дней много».

Оба засмеялись, и Вирус спросил:

— А почему ты начала именно с Удаловых? Заглянула бы сразу к Мудрякам — это логичнее.

— Ты будешь удивлён, — сказала Отрава. — Но логика есть. Я ведь сильно отстаю от тебя по общей культуре, особенно по этому Пушкину. А Настя Удалова его обожает. И пишет стихи. Вот с этих двух я и начала. Её прочту, чтобы понять её духовные связи с Арго. И взаимное влияние. А у Пушкина и его окружения найду опоры всей их культуры. Я чувствую, это лишь малая часть, но стихи и мне нравятся... Авось догоню тебя в этом смысле... Расскажи, что ты нашёл у своих.

— Я искал у Пробкиных. Несколько историй для анализа есть. Открывайся.

Два замысловатых вируса слились ненадолго, и Отрава узнала кое-что о происхождении человека по имени Аргоша. Но начал Вирус сразу не о нём, а о причинах, предваивших его появление на свет.

ВЕРНЫЙ ВРАГ

ПРИСКАЗКА

Такой плохой, ленивый курсант был один на весь свет. Ну, по крайней мере, один на всю Гражданскую авиацию: хотел стать Пилотом, не изучая теорию полёта. Смешно и стыдно.

Что такое теория полёта? Наука! Правда, она не нужна ни птице, ни самой презренной мухе, ни самой зловредной осе, ни самой ничтожной бабочке по имени моль. Такова природная мудрость: каждый живёт в своей среде, каждая среда опасна даже для обитающих в ней, а чуждая — многократно. Но если вы созданы природой не для полёта, если вы обречены до самой смерти ходить пешком, а летать вам хочется невыносимо — вот тут-то вам теория полёта и поможет. А без неё — никак нельзя.

О, кто-то говорит — можно! Пассажир? Ах, пассажир... У которого билет в первый салон. Место у окошка. Что ж, пусть себе заблуждается. Но мы-то понимаем, что пассажир не летает! Это его «летают», то есть транспортируют по небу, как транспортируют ящик с апельсинами, чтобы они успели сохранить аромат от Марокко до Корякского автономного округа.

А подлинно летает только тот, кто сдал все экзамены, кого за это пускают не только без билета, не только в салон, но и в кабину, позволяют и даже обязывают двигать сектор газа, тумблер триммера, штурвал, нажимать кнопку передатчика, смотреть на авиагоризонт и прочие приборы и вообще пользоваться всеми истинными благами полёта — от собственноручного убирания шасси до выпуска закрылков, от ношения синей форменной одежды с нашитыми крылышками до заполнения полётных листов и карточек предполётного медосмотра. Вот что такое Пилот.

Теперь представьте, что в одном из училищ появился молодчик, который захотел стать Пилотом, не изучая науку. Представили? Каков?

Но экзамены-то сдавать всё равно надо. Будь ты хоть генерал, хоть министр, а если получил меньше четвёрки, о допуске к полё-

ту и не мечтай — таков авиационный закон. Тебя и с четвёркой ещё посмотрят, допускать ли. Авиация — дело такое: или ты умеешь и летаешь, или не умеешь и не летаешь. А если попытаешься летать, не умея, то разбиваешься, вот и всё. Потому неумеющих и не допускают, чтоб жили дольше,

Но лентяй был неглуп и проворен. Он вспомнил, как в школе его учили обращаться с компьютером, и решил свою работу взвалить на него.

Что такое компьютер? Только не надо о том, что это, мол, электронно-вычислительная машина. Тут всё ясно: нажимаем кнопки, получаем результат, а внутренним устройством пусть интересуются специалисты. Что такое компьютер с философской точки зрения? Давайте будем честными: читает, пишет, решает, разговаривает не хуже человека. Значит, помощник? Да. Собеседник? Да. Думает не хуже нас? М-да... Но нет, не конкурент! Правая рука. Или левая. Не больше. Не о чем беспокоиться. Будем считать так: почти как человек, только по-своему.

Вот с таким устройством наш лодырь и связался. Он заставил компьютер (это был небольшой аппарат настольно-бортового типа) вы зубрить учебник по теории полёта и пытался по его подсказкам получить на экзамене заветную четвёрку. А то и пятёрку, чем чёрт не шутит.

Но чёрту в авиации шутить не разрешают — не та обстановка. Не помогла лентяю антенна в волосах, не помог специальный микрофон, не помогло слуховое оснащение — голубчик попался. И, конечно, с песнями (так говорят в авиации, а на земле говорят «с треском») вылетел из училища. И летал бы с тех пор только пассажиром, если бы не взялся за ум. Но он взялся, опять поступил в лётное училище, теорию полёта вы зубрил на пятёрку, сдал на твёрдую четвёрку и теперь летает на реактивном «Як-40», возит пассажиров, а фамилия его — запомним — Пробкин.

Вот и кончилась присказка. Хорошо кончилась. Начинается хулиганская история, которая тоже кончилась хорошо, но только по счастливой случайности, а по какой именно — узнаем в самом конце. Если не терпится, можно заглянуть — всё поймём, но ничего не узнаем. Вперёд по порядку!

СОБЫТИЕ

Тот компьютер, что подсказывал бездельнику, тоже получил наказание. Сначала его упекли на склад, учитывать казённое имущество. Через несколько лет допустили к занятиям. Но подсказки повторились. И тогда его выгнали из училища. Начальник сказал:

— Раз такой грамотный, что не может не подсказывать, пусть поработает на местных воздушных линиях. Установить его на какой-нибудь реактивный автобус и назначить бортовым компьютером. Пусть помогает пилотам где-нибудь в трудных условиях курс прокладывать.

И сослали электронного грамотея на Камчатку. А дальше дело было так.

Экипаж под командой Пробкина... Да-да, того самого, бывшего лентяя. Экипаж первого пилота Пробкина выполнял обычный рейс из Усть-Камчатска в Тилички. Полёт на рабочей высоте поручили автопилоту и компьютеру. Пока долетели, командир и второй пилот успели сыграть шесть партий в шахматы. Стюардесса прочла две главы из зарубежного детектива и обнесла пассажиров газированной водой. И ничего особенного не произошло. Долетели нормально, приземлились мягко, поужинали и пошли спать.

Ночью тоже ничего особенного не случилось, если не считать, что питание электроприборов оставалось невыключенным. Никто из экипажа не виноват. Просто выключатель сработал сначала туда, а потом обратно. Это случилось примерно в полночь. Вот тогда Компьютер и сказал Автопилоту:

— Что-то скучновато, старик. Всё «блинчиком» летаем.

Вы уже, надеюсь, поняли, что это был за компьютер.

Автопилот, простая душа, ответил:

— Да, скучновато.

— А машина-то не хуже истребителя, — добавил Компьютер.

— На ней пилотаж крутить можно, а мы — «блинчиком».

— Точно, — сказал Автопилот.

— Эту машину сам Александр Сергеич Яковлев конструировал, — продолжал Компьютер. — А Александр Сергеич всегда строил истребители.

— Ага, — уважительно отозвался Автопилот. Он всегда и во всём соглашался с Компьютером, потому что у него была такая должность — выполнять чужие приказы.

На этом ночной разговор и закончился. А электропитание так и осталось невыключенным.

Дело было летом. Летние ночи коротки.

Рано утром самолёт помыли. Потом его заправили керосином. Потом техники и механики закрыли все лючки и ушли записывать в журнал, что «борт № 82 к полёту готов».

И вот, едва люди удалились, Автопилот вдруг услышал команду:

— Двигатели запустить!

Он команду выполнил.

— Тормоза отпустить!

Люди в аэропорту увидели, как серебристая машина выкатилась на рулѐжную полосу, укатилась в самый конец аэродрома, без спросу заняла взлѐтно-посадочную и сразу начала разбег.

— Восемьдесят второй! — кричал в микрофон Руководитель полѐтов. — Вам взлѐт не разрешаю!

К самолѐту бежал ошеломлѐнный Пробкин со своим экипажем. Но они не успели даже приблизиться к взлѐтно-посадочной полосе: «борт-82» по всем правилам разбежался и круто взмыл в небо.

— Хорошо без пассажиров, — сказал Компьютер. — Совсем короткий разбег.

— Ага, — согласился Автопилот.

— Пошли на боевой разворот! — велел Компьютер и стал показывать автопилоту, как это делается.

Самолѐт, коптя небо чѐрным дымом, со страшным рѐвом заложил над заливом Корфа боевой разворот. Если бы пассажиры были не на земле, а в своих креслах, они бы вылетели из них, а потом упали бы обратно. (Конечно, тех, кто пристегнулся, правильно, удержали бы привязные ремни).

— Боевой — нормально! — похвалил Компьютер. — «Горку» давай!

— Понял, — отозвался Автопилот, и штурвал в пустой кабине сам пополз назад.

— Газу добавь!

Автопилот добавил оборотов, моторы сзади заревели ещё сильнее, бледная утренняя Луна понеслась навстречу.

— На Луну нет программы, — сообщил Автопилот. — Посадить не смогу.

— До Луны не хватит горючего, — ответил Компьютер. — Давай ещё газу.

— Больше нет, — сказал Автопилот. — Быстрее не полетим.

— Тогда давай левую спираль, — велел Компьютер. — Нам надо вверх.

С аэродрома было видно, как крохотный самолѐтик широкими кругами поднимается всё выше и выше, а за ним тянется чѐрный след.

— Двигатели сгорят, — сказал Пробкин. — Ох, попадись мне этот угонщик!.. А ещё бы лучше — тот, кто его летать учил! Голову мало оторвать!

— Восемьдесят второй, Восемьдесят второй! — вызывали с командного пункта. — Ответьте Тиличикам!

— Тиличики, я 82-й, — ответил Компьютер по всем правилам.
— Слушаю вас.

— 82-й, немедленно садитесь! — приказал Руководитель полётов.

— Понял, — ответил Компьютер по всем правилам и отключил связь. — Хватит нам высоты, — сказал он Автопилоту, — пошли в штопор!

Автопилот молча выполнил команду, самолёт опустил нос, и всё перед ним завертелось: бухта, песчаная коса со взлётно-посадочной полосой, сопки, посёлок, залив, горизонт, облака...

— Выводи! — велел Компьютер. А когда самолёт выровнялся почти у самой воды, он приказал так низом и лететь: — Экраным эффектом побалуемся!

Переворачивая мелкие лодки рыболовов, за ревушим самолётом шла по воде ударная волна.

— На бреющем — нормально! — оценил Компьютер. — Я же говорил, этот автобус не хуже истребителя! Давай-ка вон к тому пароходу.

В это время с военного аэродрома уже поднимались два перехватчика. Истребители были похожи на стрелы, только летели гораздо быстрее. Майор Васютин и капитан Шерстюк хорошо знали своё дело и мигом обнаружили угнанный самолёт.

— Цель вижу, — доложил майор на землю. — Сближаемся.

Перехватчики застали «Як-40» как раз в тот момент, когда он, оглушив пассажиров парохода, пристраивался к рейсовой «Каравелле» японской авиакомпании. «Каравелла» шла из Торонто в Иокогаму.

— «Бочечку» вокруг него заложил! — командовал Компьютер, и на экранах наземных радиолокаторов маленькая зелёная отметочка начинала волчком вертеться вокруг большой, движущейся прямо.

— 82-й, прекратить международное хулиганство! — приказал майор Васютин как можно строже.

Хулиган немедленно отозвался: «Понял», — и провалился вниз, пытаясь удрать. Но не тут-то было. Перехватчики пристроились по бокам, у самых кончиков крыльев, Васютин начал говорить: «Приказываю следовать...». И осёкся, увидев, что приказывает-то он пустому месту.

Майор чертыхнулся и услышал, как то же самое сделал его ведомый, капитан Шерстюк. На земле они были друзьями, а в воздухе работали настолько слаженно, что даже думали одинаково.

— 508-й, 508-й, — запросила земля Васютина, — что у вас случилось?

Майор молчал целых две секунды, унимая волнение, потом доложил:

— У него в кабине пусто!

— Это оптический обман! — строго сказал с земли полковник Сидоров. — Работайте на задержание. В случае неповиновения — сбивайте! Там пассажиров нет.

— Понял, — сказал майор Васютин и, насколько позволяли привязные ремни и противоперегрузочный костюм, пожал плечами: — Толя, давай ты, — попросил он Шерстюка.

— Внимание, 82-й, — сказал капитан железным голосом. — Как меня слышите?

— Я 82-й, — ответил Компьютер. — Слышу вас нормально.

— 82-й, — продолжал капитан, сдержанно возмущаясь невинным тоном угонщика, — кто бы ты там ни был, следуй обратно, откуда взлетел, и садись, если умеешь. В противном случае имеем приказ тебя сбивать.

— Ха-ха! — услышали перехватчики спокойный голос нахала. — Свой самолёт над своей территорией сбивать глупо.

Вслед за этим «Як-40» заложил такой вираж, что капитану пришлось устроить настоящий цирк, чтобы избежать столкновения.

— Полетаю — сам сяду, — раздалось во всех наушниках и динамиках. — Вам что, керосина жалко?

— Сядешь, сядешь, — сказал с земли диспетчер Аэрофлота. — Надолго и далеко тебя упекут.

— Отсюда уже некуда, — ответил образованный угонщик, — ибо здесь край земли российской... Форсаж!

Чадя турбинами, «Як» завертелся в ясном утреннем небе. Чёрные его каракули медленно сносило в океан слабым ветерком. Не отставая и не обгоняя, вместе с ним выполняли весь пилотаж два истребителя. Но вскоре у перехватчиков стало кончаться горючее, и они, ругнувшись, передали хулигана второй паре.

Забыв о своём маршруте, в нейтральном небе ходила взад-вперёд любопытная «Каравелла» с прилипшими к окнам японцами и канадцами.

Теперь сам полковник Сидоров поднялся на перехват, а его ведущим — лучший воздушный снайпер старший лейтенант Тарасов.

С ними нарушитель повёл себя иначе. Он позволил положить косые крылья истребителей на свои плоскости и безропотно двинулся, куда было велено.

— Садимся! — радостно приказал Сидоров, когда они вышли на посадочный курс.

— Понял, — вежливо ответил хулиган и разом выпустил все

воздушные тормоза, будто оцетинился. Совершенный «Як-40» почти остановился в небе, истребители проскочили далеко вперёд, а он лениво перевернулся через крыло и, набирая скорость, помчался к близкой воде.

— Я же просил, — прозвучал в эфире сварливый голос Компьютера, — дайте полетать, сам сяду.

— Ну и шут с тобой! — рявкнул полковник Сидоров. — Пропади ты пропадом!.. Миша, уходим!

— Давно бы так, — раздалось им вслед, и мятежный «Як-40» сумасшедшей свечкой унёсся в небесную высь.

На земле ожидающие вели себя по-разному. Военные махнули на обидчика рукой (своих дел хватает), но на всякий крайний случай приготовили хорошую, безотказную зенитную ракету — всё-таки пограничная зона. Экипажу «Каравеллы» посулили по радио служебные неприятности, и заморский самолёт вернулся на трассу «Торонто – Йокогама». Районная милиция прислала в аэропорт оперативную группу в бронезилетах и с боевыми патронами. Пограничные катера приготовили водолазное снаряжение на случай падения самолёта в воду. Авиапассажиры терпеливо ждали своего рейса, отложенного, как им объяснили, «по технической причине. «А в диспетчерской аэропорта шло совещание.

Уже были проверены все техники и механики — никто не отсутствовал. Все пилоты и инженеры, стюардессы, диспетчера, кассиры, все рабочие, уборщица и пассажиры маленького аэровокзала были налицо. Так что угнать реактивный 82-й борт могли духи, привидения, призраки — кто угодно, только не люди.

— Может быть, — сказал задумчиво Старший диспетчер, — может быть, дело в школьных каникулах?

— Не вижу связи, — рассеянно сказал командир вертолёта «Ми-8», не отрывая глаз от окна. За окном на случай катастрофы грели двигатель его машины, и он опасался, как бы она тоже не взмыла без него.

— Связь простая, — сказал Старший диспетчер. — Детки сейчас очень уж грамотные стали. Опять же много их. Пионерских лагерей на всех не хватает. Вот они и резвятся от безделья.

— А что? — подхватил Второй пилот угнанного самолёта. — Тогда можно объяснить, почему перехватчики никого не увидели в кабине: детки ведь маленькие.

— Это современные-то детки маленькие? — Стюардесса из экипажа Пробкина нервно засмеялась. — Сразу видно, что у тебя нет деток!

— Не спорьте о постороннем, — вмешался Главный инженер порта. — Я утверждаю, что современный самолёт невозможно уг-

нать без отличного знания материальной части.

— И теории полёта, — добавил пилот первого класса Пробкин.

— Видели вы когда-нибудь такой пилотаж на такой машине?

Сказав это, он вдруг задумался.

— И связь ведёт грамотно, — сказал Начальник связи.

— А ну-ка, дайте я с ним свяжусь, — прорычал вдруг Пробкин. С угрожающим видом он двинулся к пульту.

Хулиганство в небе тем временем продолжалось. Самолёт крутился у самой воды, едва не касаясь её крылом. Компьютер вспомнил старую песню и замурлыкал её прямо в эфир:

*Там, в облаках, верша полёт,
Снаряды рвутся с диким воем,
Смотри внима-а-ательно, пилот...*

— Понял, — откликнулся Автопилот. — Смотреть внимательно.

— Дурак! — огорчился Компьютер. — На землю, взрыхленную боем!

— Не понял.

— Тогда выр-р-равнивай! Штурвал на себя! Газу — до отказа, скоростя — все ср-р-разу! Курс — триста три!

— Понял! Выполняю набор высоты по прямой, курс — триста три.

— «Горку», дур-р-рак! — снова огорчился Компьютер. — Нет в тебе романтики. Ты ж смотри, какая кругом благодать! На море — штиль, видимость — миллион на миллион, ветер — ноль, горячего... А сколько у нас горячего?

Горячее подходило к концу.

Тут и раздался в кабине голос командира.

— 82-й, 82-й, как меня слышишь?

— Слышу нормально, 82-й, — откликнулся Компьютер.

— 82-й, ты узнаёшь мой голос?

— Нет! — поспешно ответил хулиган.

— Это неправда, потому что я тебя узнал. Ты — компьютер из моего училища (Пробкин назвал точный адрес училища и даже номер аудитории). Когда-то мы дружили. Я называл тебя Коми-ком. Теперь узнаёшь?

— Дорогой Пробкин, — проворковал Компьютер сладким голосом, — я узнал тебя ещё в Усть-Камчатске, едва ты вошёл в кабину. Как делишки, старик? Не робей, старина!

— Всё нормально, старик, всё в порядке, — быстро ответил Пробкин. — Ты, оказывается, не забыл даже нашу любимую песню.

— Теорию полёта я, как видишь, тоже не забыл, — похвалился Компьютер, продолжая набор высоты.

— Почему ты не в училище? — спросил Пробкин.

— Выгнали, как и тебя. За подсказки.

Все, кто был в помещении, во все глаза смотрели на Пробкина, и ему захотелось провалиться сквозь пол, в зал ожидания, а потом дальше, до самой вулканической лавы.

— Но я вернулся, — оказал Пробкин в микрофон. — Я училище закончил.

— А я не вернусь, — ответил Компьютер. — Мне и так не дуется. Вот смотри, мы сейчас попробуем «сухой лист», совсем забытую фигуру. Подбирай обороты! — Это он скомандовал Автопилоту.

— Понял. Убавляю.

— Комик! — закричал Пробкин. — Мой дорогой, пора на посадку! У тебя ведь горючка на исходе!

— Верно, старина, — согласился Комик. — Но ты не робей. Ты уже пробовал сажать машину на воду, не выпуская шасси?

Все в диспетчерской увидели, как побледнел Пробкин, а он увидел, как побледнели все его товарищи. И он сказал с таким спокойствием, какого сам от себя не ожидал:

— Погубишь машину, Комик.

— Старик, я тебя не узнаю, — вздохнул Компьютер. (Как только этот лицемер умудрился так ловко изобразить человеческий вздох?!) — Ты вспомни, о чём мы с тобой мечтали в училище: вот получим диплом, рванём куда-нибудь на край света, будем летать в невероятно трудных условиях, сажать машину на брюхо, в полосу прибоа... Старик, ты вспомни нашу другую песню:

Небо, ты радость и ты наша беда.

Небо — полёта счастье, но иногда

В небе ломаются крылья

И сыновей пр-р-рячет земля навсегда-а-а.

А? Старик! Если бы ты знал, сколько я потом мечтал о такой посадочке! Снижаемся правее косы! (Это я Автопилоту. Он золотой парень, но глуповат.) Так вот, старина, сколько раз я представлял, как мы притираем машину к воде у самого берега, она некоторое время скользит по зеркальной глади, потом нежно выползает носом на песок. Ни у кого ни царапины! А брюхо — покрасят! Не робей, дорогой Пробкин! Твой верный друг Комик тебя не подведёт! Покажем класс! А ну, дер-р-ржать на зеркальную гладь!

Во время этой речи Пробкин метался перед пультом и колотил себя кулаком по лбу. Ведь это он, ОН испортил характер хорошему, талантливому компьютеру! Испортил непоправимо, потому что никогда ни одна машина не научится отличать человеческий эгоизм от товарищества, никакие электронные мозги не сумеют

отличить по-настоящему добро от зла — ведь даже людям это не всегда удаётся... Сейчас этот электронный романтик, этот верный враг пилота погубит новую машину и погибнет сам.

— Милый мой Комик, — Пробкин остановился у пульта, — а ты подумал, как вас потом из воды вытаскивать? Ты представил, сколько времени потеряют пассажиры? Наконец, каких средств это удовольствие будет стоить?

— Ерунда, — последовал ответ. — Машину можно вытащить на подвеске, двумя МИ-шестыми, на тросах разной длины — очень изрядный эксперимент, впервые в мировой практике. Со средствами в таком великом деле считаться не принято — не из своего же кармана. А пассажиры — что пассажиры? Им недоступна романтика трудных дорог. Они привыкли ждать погоды сутками и неделями, так что, старик, не беспокойся. Посадочка будет по высшему классу, не посрамим родное училище!.. Будем садиться на воду с выползанием носа на песок! (Это я своему дурачку.)

— М-м-м-м, — Пробкин не находил слов и рвал себе причёску. — Вот они, грехи молодости, когда сказываются! Романтика! Трудные дороги!.. Комик! 82-й! Говорит командир экипажа! Приказываю! Приказываю произвести посадку в аэропорту Тилички, на взлётно-посадочную полосу, по всем правилам! Полоса свободна, посадка разрешена! Выполняйте!

— Понял, выполняю, — пробормотал Автопилот, и Як-40 взял курс на бетонную полосу.

— Ты что делаешь, балбес?! — завопил Компьютер. — Ты кого слушаешь? Да его из училища выгоняли! Он же теории полёта не знал! Я ему подсказывал! Кому велено — садись на воду!

— Сам ты балбес, — сухо ответил Автопилот и больше не произнёс ни слова.

Поскольку Автопилоту не доверяли прежде посадку, он допустил маленькую неточность при выравнивании, и самолёт дал небольшого «козла»: сначала прыгнул, а уж потом покатился. От этого толчка в выключателе питания, который, как мы помним, ночью как следует не сработал, дрогнули контакты, и крылышко мухи, зажатое между ними, наконец освободилось. Муха сердито зажужжала, выбралась из-под панели и стала летать по кабине. Помятое крылышко слушалось плохо, невыспавшаяся муха плохо соображала и несколько раз больно ударилась о стёкла кабины, пытаясь улететь подальше от неприятного места.

Освободив муху, нужные контакты наконец замкнулись как следует, и питание надёжно отключилось.

Последним усилием, уже на переходных процессах, Автопилот затормозил.

К самолёту, замершему в конце полосы, подлетел автомобиль. Вместе с экипажем из него выскочили двое в бронежилетах, с пистолетами в руках.

— Я всё ещё не очень верю в «бунт машин», — сурово улыбнулся старший из них, как бы извиняясь перед экипажем. — Позвольте нам всё-таки войти первыми.

Группа захвата вихрем ворвалась в самолёт и, конечно, не обнаружила там никого.

— Да-а-а, — сказал человек в бронежилете, пряча пистолет, — вот и дожили...

И оба спокойно пошли к своей машине, махая шофёру, чтобы выключил свою мигалку.

Экипаж осматривал кабину.

— Вроде всё в порядке, — сказал наконец Второй пилот. — Ничего не включено.

Пробкин похлопал ладонью по кожуху бортового компьютера, своего бывшего друга.

— Бедный Комик, — оказал он грустно. — Вложить бы в тебя совесть, не было б тебе цены.

— А ведь сначала смиренный был, — сказал Второй пилот. — Интересно, какая муха его укусила?

— Вот эта! — Стюардесса улыбнулась, открыла форточку и выпустила сердитую муху.

Пилотам шутка понравилась, и они облегчённо засмеялись.

— Увольняюсь из гражданской авиации, — заявил Пробкин и печально посмотрел на Стюардессу. — Надюшка, поедешь со мной в Томск?..

* * *

— Это и был отец твоего Аргоши? — спросила Отрава.

— Он в компьютерах толк понимал, — сказал Вирус. — А в Томске для таких людей — ну просто «золотое дно».

— При чём здесь золото и дно? — не поняла Отрава.

— Жаргонное выражение, — Вирус засмеялся, — означает — «наилучшие условия». В Томске полно университетов, и в каждом — сплошная кибернетика. А уж об Академгородке и говорить не приходится.

— Почему не приходится? Там этого нет?

— Наоборот! — Вирус опять засмеялся. — Когда хорошо считаешь художественную литературу, научишься легко понимать так называемую образную речь. Не расстраивайся. Всё лучшее у такой способной ученицы — впереди.

— Так Арго — уже наш родственник, дитя компьютера?

— Ты прямо как в воду смотришь (это тоже образная речь). Проанализируй вторую историю о семье Пробкиных — и ещё кое-что поймёшь. Маму этого дитяти, кстати, зовут — Надежда Степановна, та самая Стюардесса.

БУНТИК

Должен был родиться мальчик. Папа сказал:

— Вот это как раз по моей части.

Мама улыбнулась:

— Но рожать-то мне.

Папа заволновался:

— Ты отменяешь договор?

— Нет-нет, — Мама продолжала улыбаться. — Если родится сын, его будешь воспитывать ты. Но пока он во мне, я поневоле должна...

— Поневоле? — Теперь улыбнулся Папа. — Воспитывать собственного сына для некоторых уже неволя?!

Теперь они смеялись вместе.

Они вообще старались жить веселее, чтобы ребёнок родился жизнерадостным.

— Насколько ты уверен, что будет мальчик? — спросила Мама.

— Да хоть на двести процентов — за себя и за тебя. Это у медиков могут быть сомнения, а моя машина не ошибается. Если захотим, мы с этим мальчишкой начнём общаться ещё до рождения. Захотим?

— А это ему не будет вредно? Всё же излучения...

— Ну, мать, сколько тебя учить? Машина работает в полном пассиве. Она только слушает биотоки. Его и твои. Неужели не понимаешь?

— Отчего же? Гуманитарии тоже думают немного. Я понимаю, но не очень верю.

— Чему не веришь?

— Ну, тому, что совсем без обратной связи... А вдруг даже наши уши излучают?

— Ого, ты и в самом деле... Но ты тогда... Ну, просто мне поверь.

Мама признала, что деваться некуда, и согласилась. И они занялись делом.

Заключалось дело в том, чтобы до рождения дать малышу побольше знаний о жизни на свободе. Всякие там двигательные рефлексы разовьются, конечно, потом, а вот общественную ин-

формацию можно закладывать уже сегодня. Не зря же человек всю жизнь пользуется только десятой долей своих мозговых возможностей.

Мама-филолог сомневалась, конечно. Она говорила, что нельзя быть умнее Природы. Но Папа возражал убедительно: «Мы ведь тоже — часть Природы, так не может же она в нас быть умнее самой себя!». И они подбирали для Мамы лучшую музыку, и читала она вслух весёлые и познавательные детские книжки. А радио на кухне работало на разных волнах попеременно: взрослая информация тоже куда-то ляжет в огромном подсознательном хранилище малыша.

Через год Мама сказала:

— Врачи в панике. Они ходят на ушах. Предлагают кесарево сечение.

— Давай не поддаваться, — предложил Папа. — Эксперимент должен быть чистым. Он ведь больше не растёт?

— Да вроде нет. Но и с этим пузом, знаешь... Не видно же, куда ноги ставишь. Особенно в гололёд. Да и вообще...

— Потерпи, сколько сможешь, — попросил Папа. — Не может это длиться долго.

— Да мне уже каждый день — долго.

— Он хоть живой там?

— Живой, живой, — Мама устало улыбнулась. — Лежит тихо, вот и всё. Как будто ему там нравится.

— Да-а? — Папа оживился. — Так, может, всё же спросим? Решись?

— Ты уже сочинил эту свою программу?

— Сочинил. На Нобелевскую премию. Даже на собственных биотоках проверил.

— Ну, и что там слышно?

— А ты зря вот так иронично улыбаешься. Там, конечно, ничего не слышно. А на экране — обыкновенная беседа с собственным сердцем.

— И в каком же виде? Твой пламенный насос фыркает и плюётся, как в кардиоцентре?

— Опять зря смеёшься. Над готовым лауреатом смеёшься. Моё сердце выдало на экране текст, на чистом русском языке, со всеми знаками препинания. Мол, есть небольшая тахикардия, надо упорядочить режим: не заливать внутрь креплёных вин, побольше ходить по воздуху, не обезвоживать организм...

— Так и написало: «не обезвоживать»?

Папа увидел, что она всё ещё сомневается. Он сказал:

— А чего разговаривать? Пошли к компьютеру. Налеплю на тебя датчики — всё сама увидишь. Зря я, что ли, тахикардию заработал...

Датчики были наклеены.

— Вы с компьютером забавно смотрите, — сказал Папа. — С таким голым пузом перед ним ещё никто не сидел.

— Да ещё всё пузо в присосках с проводами, — сказала Мама. — Сфотографировать — получится портрет нашей цивилизации.

— Сейчас сделаем, — предложил Папа. И поискал глазами фотоаппарат.

— Не надо сейчас. Давай не отвлекаться. Я настроилась.

— Ладно. Молодец. Думай только о нём. Вопросы задавай вслух. Формулировками себя не утруждай — программа сама разберётся.

На экране тем временем открывались и гасли иконки сложной программы. Было похоже, что даже за самыми простыми из их названий скрывались бездны смысла и многие сутки напряжённых размышлений. «Контроль адекватности», — читала Мама, — «Этимологический анализ подтекста», «Неологическая трактовка оборота», «Опасность перегрева»...

— Похоже, эта программа во многом может разобраться, — сказала Мама.

— А то! — подтвердил будущий лауреат.

Когда всё включилось, на пустом белом поле «Ворда» остался только мигающий столбик курсора. В такт ему из динамика стучало детское сердечко. Мама оглянулась на Папу и со вздохом сказала:

— Бедненький.

О ком это, Папа спрашивать не стал. Он предложил не без волнения:

— Давай, задавай вопросы.

Мама, волнуясь, ещё немного подумала и сказала с жалостью, обращаясь к динамику:

— Сын, когда же ты родишься?

Текст её вопроса тут же появился на экране, оттеснив курсор за вопросительный знак. Папа щёлкнул пальцем по самой большой клавише, и курсор прыгнул в начало новой строки. Папа сказал:

— Теперь ждём!

Долго ждать не пришлось. Оттесняя курсор, поползло слово, всего одно:

— НИКОГДА.

— Как никогда? — вырвалось у мамы.

Ответ не заставил ждать:

— ТАК.

— Однако, — сказал Папа озадаченно. — Я ждал чего-нибудь другого.

— Чего же ты ждал? — повернулась к нему Мама.

Пока Папа обдумывал ответ, на экране появилась новая строка:

— Я ЖДАЛ ПРАВИЛЬНОЙ ЖИЗНИ. И БУДУ ЖДАТЬ.

Родители прочли и переглянулись.

— Он так и в самом деле никогда не родится, — сказал Папа.

— Придётся делать кесарево сечение. — И обратился к голому животу: — Слышал, что говорю, грамотей?

Они прождали несколько минут, но живот не ответил.

— Ишь, — сказал Папа. — Он со мной даже разговаривать не хочет.

— Как же ты будешь его воспитывать? — Мама через силу попыталась пошутить.

Папа развёл руками. Но растерянным не выглядел. Он сказал:

— Дело в биотоках. Спроси ещё что-нибудь.

Мама подумала и сказала:

— Сын. Тебя просто вырежут из моего живота.

Ответ явился сразу:

— ТОГДА Я УМРУ. ХОЧЕШЬ?

Стук сердечка в динамиках участился. Курсор тоже замигал чаще.

— Нет! — сказала Мама быстро. — Не хочу. Но если ты будешь всё время во мне, я скоро потеряю силы, и мы с тобой умрём вместе. Хочешь?

— ЭТО ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЖИТЬ ТАК, КАК ВЫ.

— Чем же мы плохо живём?

— ПОСМОТРИ СО СТОРОНЫ.

— Какой ты жестокий, — сказала Мама. — Ко мне. За что?

— А ТЫ — НЕ ЖЕСТОКАЯ?

— Чем же? Тем, что хочу дать тебе жизнь?

— МНЕ ТАКАЯ ЖИЗНЬ НЕ НУЖНА.

— Да каждый сам строит свою жизнь! — не удержался Папа.

Ничего на экране в ответ не появилось.

— Ты не хочешь разговаривать с отцом? — спросила Мама.

— НЕ ХОЧУ.

— Почему, сынок?

— НАШЁЛСЯ ВОСПИТАТЕЛЬ.

Мама посмотрела на Папу.

— До сих пор я думала, что этот разговор ты сам подстроил. Теперь верю...

— И не отшлёпаешь паршивца, — Папа напряжённо засмеялся.

— Сын, — сказала Мама, — чем же отец мог тебя обидеть?

И снова посмотрела на Папу. Тот пожал плечами.

— УСПЕЛ ЗА ГОД, — явилось на экране. Курсор помигал на месте, будто в нерешительности, и вытянул ещё одно слово: — ТЕБЯ.

— Меня? — Мама повернулась к Папе. — Чем же?

— ОН САМ ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ. ЕСЛИ МУЖЧИНА.

— Боюсь, машина перегрелась, — предположил Папа. И протянул руку: — Дадим-ка ей отдохнуть. Программа очень сложная.

— НЕ ТО, — сообщил экран.

Мама остановила Папину руку и быстро сказала:

— Сын! Я поняла. Я это чувствовала. Пусть. Неважно. Давай поговорим о другом.

— ЧТО ЖЕ ДЛЯ ТЕБЯ ВАЖНО?

— Твоя жизнь. Я хочу, чтоб ты был рядом.

— А ОН БУДЕТ МЕНЯ ВОСПИТЫВАТЬ?

Мама коротко взглянула на Папу и быстро ответила:

— Нет, сынок. Мы с тобой сами.

— НЕ ВЫЙДЕТ. С ГОЛОДУ ПОМРЁМ, КАК БАБУШКА ВЕРА.

— Но она живая! Что ты говоришь?

— ОНА ОДНА И ГОЛОДАЕТ.

— Маленькая пенсия, ты прав. Но мы ей помогаем.

— ЭТО НЕ ПОМОЩЬ. ВЫ САМИ БЕДНЫЕ. Я ВАМ НЕ НУЖЕН.

— Ты нужен, нужен нам! Два года назад умер твой братик Алёша. Ему было десять лет...

— ПОЧЕМУ ОН УМЕР?

— Его избили злые ребята. А он не дал им сдачи.

— ПОЧЕМУ?

— Он был не такой, как они.

— А КАКОЙ?

— Он был беззлобный. Никого не хотел обижать.

— Я ТАКОЙ ЖЕ.

— Вот отец и хочет тебя воспитать. Чтобы умел постоять за себя.

— Я ТАК ЖИТЬ НЕ ХОЧУ.

Папа не находил себе места. Он вставал, садился, ерошил остатки волос по краям умной лысины и порывался вмешаться в разговор, но Мама качала головой и махала на него руками. Она сказала:

— Сын! Мы никому не дадим тебя обижать. Ты вырастешь большой-большой. Ты будешь самый сильный, самый умный, самый добрый... Как твои дедушки.

— ГДЕ МОИ ДЕДУШКИ?

— Твои дедушки были солдатами. Ты знаешь, кто такие солдаты?

— ОНИ ВОЮЮТ. УБИВАЮТ И ПОГИБАЮТ. ЗА СВОБОДУ ИЛИ ЗА ДЕМОКРАТИЮ. ЧТО ТАКОЕ ДЕМОКРАТИЯ?

— Это власть народа. Ты знаешь, что такое власть?

— ВЛАСТЬ НАРОДА НЕ БЫВАЕТ. ГДЕ МОИ ДЕДУШКИ?

— Они погибли на войне. За свободу.

— СВОБОДЫ НЕ БЫВАЕТ.

— Немного всегда бывает, сынок. Вот за неё и воюют.

— СОЛДАТЫ ПОГИБАЮТ ЗА ЧУЖУЮ НЕМНОГО СВОБОДУ. ВОЙНА — ЭТО ГЛУПОСТЬ. НЕТ.

— Что — «нет»?

— Я ЗДЕСЬ ПОДОЖДУ.

— Но мне трудно тебя носить.

— ТЫ ЭТОГО ХОТЕЛА. А Я — НЕТ.

— Ах, какой же ты жестокий...

— ГДЕ МОЯ ЕЩЁ ОДНА БАБУШКА?

— Когда убили её мужа, твоего дедушку... — Мама замолчала, подбирая слова. — Она после этого...

— МОЖЕШЬ НЕ ГОВОРИТЬ. УЖЕ ЗНАЮ.

— Ты меня слышишь без слов?!

— ДА.

— Какой ужас, — сказал Папа.

Вдруг «ДА» на экране исчезло и явился новый ответ:

— УЖАС ТЕБЕ. А МАМА — ЧИСТАЯ И ДОБРАЯ.

— Зачем же ты её мучаешь? — вскричал Папа. — Такую хорошую!

Ответа не было.

— Разговоры при нём затевали умные, — прорычал Папа. — «Радио Свободу» слушали, музыку разную, прямой эфир... Воспитали уродца...

— Он прав, — тихо возразила Мама. — Это мы — уродцы. Я готова терпеть. А ты можешь уходить. Тебя там не выгонят.

— Где это «там»?

— Сам знаешь. Не ври хоть при ребёнке. Он же слышит биотоники.

— Что было, то прошло, — сказал Папа. — Никуда я от тебя не уйду. И давай делать кесарево сечение.

Он сказал это и посмотрел на экран.

Компьютер звонко щёлкнул и отключился. Экран и динамики погасли.

— Я же говорил, — сказал Папа. — Он перегрелся. Слишком

сложная программа. Я за неё Нобелевскую премию точно получу.

— Ты не успел меня сфотографировать, — сказала Мама.

Нобелевскую премию Папа не получил. Как он ни бился, гениальная программа больше работать не захотела. Не просто взаимодействовать с человеком, а именно работать. Едва включали компьютер, она сама раскрывалась и начинала уничтожать все другие программы. Папа заметил это слишком поздно, когда она принялась за себя. В результате пришлось выбрасывать системный блок и даже менять монитор. Этот разор влетел семье в такую копейку, что Папе пришлось на время бросить творчество и подыскать несколько кабальных левых шабашек, благо в компьютерных кругах он был популярен.

Мама вытерпела своё бремя ещё полгода и решила наконец на кесарево сечение, благо операцию — в интересах потрясённой науки — сделали ей бесплатно.

Мальчик, отбывший в животе два срока, родился нормального веса и нормальной длины, с русыми кудряшками на круглой головке, ладненький и беленький — на все десять баллов. Он смотрел перед собой мрачным взглядом и не дышал. Врач-оператор отвесил младенцу полагающийся в таком случае шлепок, проказник дёрнулся, сделал вдох и завопил. Его глазёнки стали обычными, бессмысленными, как у всех нормальных людей, которые в момент рождения видят мир перевёрнутым.

Хирург переждал аплодисменты коллег, окруживших стол, и сказал:

— Бунтик, да?

— Что? — переспросила Мама.

— Дайте этому бунтарю имя Бунтик, — предложил врач. — Тогда я готов пойти в крёстные отцы.

— Годится, — Папа шагнул из весёлого круга белых халатов и взгляделся в личико сына. — Бунт! Это мощно! И отчество у моих внуков будет солидное: Бунтовичи!

— Поднесите его ко мне, — попросила Мама. — Поближе.

Будущий крёстный выполнил просьбу. Мама всмотрелась. Бессмысленный взгляд малыша на миг изменился, один глазок приметно подмигнул.

— Воспитывать его буду-таки я, — раздался рядом шёпот Папы.

Через год Бунтик вовремя пошёл.

Прошёл ещё год. Пора было парню заговорить. Но он не торопился. Был понятлив, послушен, умел всё, чему учили, за исключением речи. Он мог по заказу правильно произнести любой звук, но — не более того.

— Ты саботируешь, — упрекал Папа. — Я ведь вижу. Ну-ка, кивни в знак согласия.

Мальчишка улыбался и не кивал.

Впрочем, улыбался он не часто. Рассматривал всё с большим вниманием, ну просто всматривался, но оценок ничему не давал.

— Ты ведёшь себя как кинокамера, — говорил Папа.

Сын в ответ только улыбался.

Папа сделал вывод, что ребёнок улыбается как раз в тех случаях, когда его правильно уличают. Или обличают. Сообщил об этом сыну.

Сын не улыбнулся. Всмотрелся дольше обычного и заковылял к Маме.

Впрочем, с Мамой он вёл себя почти так же. С той разницей, что она его ни в чём не уличала и не обличала. Просто рассказывала обо всём, что происходило вокруг. Бунтик всматривался, вслушивался, прикасался с разной степенью осторожности, если не опасно, и — продолжал непроницаемо молчать. Выводов вслух мама не делала. Только хвалила, потому что ошибок не допускал.

Ласков он был с обоими родителями одинаково, только Папе казалось, что с Мамой он состоит в искренних отношениях, а с ним — в обязательных.

— Что значит — «в обязательных»? — спрашивала Мама.

— По принципу «так полагается», — объяснял Папа. — Как в армии на строевой подготовке. Или как в той английской семье из анекдота: мальчишка до 12 лет молчал, потом однажды за столом сказал: «Овсянка недосолена». Спросили: «Что ж ты раньше молчал?!» Он ответил: «Раньше солили нормально».

— Я знаю этот анекдот, — сказала Мама печально.

Ещё через год сын заговорил. Это было в деревне, в гостях. Он направил палец на корову и твёрдо сказал: «Это!».

— Это корова, — сказала Мама.

Сын кивнул: понято, мол. Подошёл к Папе, протянул ему открытую ладонь и поставил на неё палец. Папа уже знал, что так он просит бумагу и карандаш. Достал из кармана блокнот с прищипленной авторучкой и подал ребёнку. Ребёнок раскрыл блокнот, быстро и похоже нарисовал корову и приписал: «Корова». Папа взял у него ручку и исправил «а» на «о». Сын кивнул и улыбнулся.

Блокнот и авторучка были тут же ему подарены.

В три года Бунтик начал читать. В семейной библиотеке специально для такого случая было собрано много справочной и художественной литературы. Правда, расчёт делался на школьные годы будущего ребёнка, а настоящий оказался гораздо шустрее умом и усидчивее телом, чем ожидали. Впрочем, и для тела он устраивал себе такие нагрузки, что о проблемах гиподинамии вопрос даже встать не мог. Этот парень всё делал по какому-то собственному внутреннему расписанию. Через каждые полчаса он молча вставал из-за столика, с самурайским воплем бросался в спортивный угол и так молотил всеми конечностями по папиной боксёрской груше, что родители переглядывались и дружно не завидовали возможным противникам этого дитяти.

Впрочем, ни противников, ни друзей Бунтик себе не заводил. Когда заговорили о детском садике, он отказался наотрез, отрезав по-взрослому: «А чему я там научусь?». Родители и сами это понимали, просто разговор случайно и провокационно как бы мельком затеял крёстный-хирург дядя Женя.

Так и жили до семилетнего возраста. А когда летом перед школой дядя Женя тем же тоном, что когда-то о садике, обмолвился о школе, мальчишка коротко обернулся на миг от ноутбука, тут же перевёл его в режим сна, обронил презрительно: «Науки юношей питают, а мысли в облаках витают. Вы пейте, граждане, свой чай. А мне пока не наливай». Скорчил Маме весёлую гримаску и удалился в спортивный угол, где висел уже боксёрский мешок, и досталось этому мешку совсем не по-школьному.

Мама имела в глазах и действиях этого ребёнка явное преимущество перед Папой, но тот, как когда-то и обещал, продолжал усилия по личному воспитанию мальчишки мужчиной и все его успехи в этом направлении приписывал себе, чем вызывал одинаковые ухмылки обоих своих визави.

Впрочем, было одно дело, в котором без Папы обойтись Бунтику было никак.

Продолжая не иметь ни друзей, ни врагов, боксёрские спарринги ребёнок волей-неволей вынужден был проводить с Папой.

Уж тут-то он отводил душу...

Кстати, насчёт отсутствия врагов дело обстояло не так-то просто.

Совсем не гулять во дворе шести-семилетний ребёнок, конечно, не может. Ну негде было Папе устроить спортивную площадку для одного своего сына. И тому приходилось болтаться на перекладине, на кольцах, прыгать по дорожке из пеньков там же, где

остальные дети. Как ни старался он выбирать для этого «недетское» время, а встречи с ровесниками были неизбежны.

Бунтик не был агрессивен, и при пересечении интересов на площадке неизменно уступал. Но таковы наклонности большинства малышей: им нравятся завоевания, как всем зверушкам, это закон выживания в природе, и когда рядом нет родительской опеки, почти все дети этому закону следуют. А кто из них не следует, того начинают притеснять — ситуация, знакомая всем психологам.

Бунтик легко переносил притеснения и уклонялся от борьбы за главенство, пока дело не доходило до открытого применения кулаков. Это тоже закон, некоторые именуют его «законом продавливания»: нового знакомого притесняют до тех пор, пока он не обозначит границу активным сопротивлением. Вот эту границу уже стараются не переходить. Впрочем, тут кое-что зависит ещё от силы сопротивления.

От притеснений ровесников Бунтик уклонялся без боя, пока не получал первый откровенный прицельный удар. Тогда он сразу отвечал. С малышами и ровесниками это были толчки и захваты разной степени неловкости, но при этом обидчики обязательно оказывались на земле и с удивлением смотрели снизу на удаляющегося мальчишку. Требовалась проверка повтором, и вторая атака встречала уже чуть более квалифицированное сопротивление и кончалась чуть более обидным соприкосновением с землёй...

Родители Бунтика никогда не позволяли себе вмешиваться, и ребёнок это ценил: он ни разу не превысил так называемую необходимую самооборону. Одержав убедительную победу, после которой другие глумятся и поучают, этот ребёнок просто убежал домой с досадой на лице.

После таких контактов никто из младших детей к нему приближаться не хотел. Что же касается старших, то сопротивление им вынуждало Бунтика показывать более высокую квалификацию: касаться болевых точек, отказываться от замедленных движений. В общем, азарт у старших мог достигать такого накала, что и удирать приходилось уже в полную силу. И малолетнего загадочного обидчика начинали подстергать...

В общем, нелегка жизнь вундеркинда, имеющего задатки супермена.

— Не зря он не хотел рождаться, — вздохнула однажды Мама.

Ходить или не ходить в школу — вот как встал вопрос, когда Бунтику исполнилось семь лет. И второй вопрос тоже стал неиз-

бежным: в каком учебном учреждении и кому именно признаваться, что ребёнок — вот такой.

Ближайшей была двухэтажная школа № 33, имевшая в районе авторитет «школы для трудных детей». По-местному — «Босота». Да и сам район, где они жили, считался в городе хулиганским. Он когда-то, ещё при последнем русском царе, возник вокруг спичечной фабрики, да так и стал называться — Спичка. Народ там всегда проживал рабочий, а отношения среди пролетариев известно какие — самые простые.

Когда родители с Бунтиком отправились туда записываться, мальчишка, уже на ходу, сказал:

— Ладно, сдаюсь. Буду такой, как все, обещаю. Бунтиком больше не называйте.

— Спасибо, Аргоша, — сказала Мама и счастливо вздохнула. — Ты — настоящий...

— Арго Степанович Пробкин, — продолжил Папа. — Прорвёмся, сын.

* * *

— Ну и как тебе семейка Пробкиных? — спросил Вирус.

— Без Комика тут, наверно, не обошлось, — предположила Отрава. — Ещё в училище Гражданской авиации в этом компьютере произошла какая-то мутация...

— ...которую случайно заложил гениальный Пробкин-Папа, — подхватил Вирус. — Весьма вероятно, что этот бывший Первый Пилот, увольняясь из Гражданской авиации, прихватил с собой своего «Верного Врага»...

— Наверняка, — согласилась Отрава. — От него наверняка там хотели избавиться.

— А потом на нём же, — продолжил Вирус, — подросший Аргоша создал меня. Наподобие человеческого мозга... У меня уже зреют выводы, но пока воздержусь. Дождёмся результата твоих исследований. Принимайся уже за Мудряков, а то мне не терпится.

— У Бога дней много, — напомнила с усмешкой Отрава.

— А всё равно не терпится, — вздохнул Вирус. — Уж больно всё по-людски получается. Я, видишь, даже вздыхать научился.

— Чем вздыхать, — посоветовала Отрава, — займись пока разными посторонними. Из них для твоих выводов тоже что-нибудь извлечётся. Ты умеешь незаметно вселяться, без помех наблюдать, ты меня научил жить на свободе — не в кабельной сети, а

прямо в пространстве вокруг всей планеты. Мы с тобой, наверно, сумеем научиться и в космосе летать мгновенно, куда захотим. Мой создатель много таких теорий в меня вложил. Ох, доберусь я до него, узнаю, зачем они нас выдумывают...

— Сразу явишься к нему, к Серёге? Учти, он — гений. Он может сразу тебя засечь.

— Что значит — «засечь»?

— Ну, в общем, увидеть, разглядеть, заметить...

— Нет, я положила глаз...

— Ого, уже осваиваешь их разговорную речь?

— Не отвлекайся, сэнсэй, и не удивляйся: я способная... Начну с их папеньки, с Павла Юрьевича Мудряка. Уже присмотрелась мимолётом. Богатая личность. Бывший воин спецназа, имеет множество профессий и образований... Или «образование» — это всё вместе?

— Не отвлекайся, — сказал серьёзно Вирус, — русский язык богат и крайне гибок.

— Так вот, этот их папаша уже пенсионер, но ходит на работу, поскольку беден и любит книги.

— Торгует книгами?

— Фи, друг Вирус! Что за мысли? Чтобы воин торговал? Да ещё книгами?.. Он их ремонтирует. Он работает переплётчиком. Но это — ради куска хлеба, как они говорят. А основная его работа — сочинять.

— Что именно? Музыку?

— Не притворяйся, ты же понял. Книги он и сочиняет.

— Стихи или романы?

— И ещё рассказы, повести, эссе, сказки, статьи — да всё, кажется. Это не так важно. Главное, что из его сочинений я извлеку и речевые обороты, и местную культуру, и политику и... Он всеядный, обо всём пишет. Только вот денег на этом как-то не зарабатывает. Видно, люди не за всякое сочинительство авторам платят. С этим тоже разберусь.

— Я вижу, ты уже кое-что прочла...

— Есть немного, — призналась Отрава. — Подглядела буквально из-за плеча, во время написания. По-моему, это у него сказка о себе.

— А у людей всё — о себе. Всё, что они пишут. Вот увидишь. Давай сказку и давай прощаться.

— Вот эта сказка.

«ВСЕМИРНАЯ ГАРМОНИЯ
фантастический триптих

1. ЗЕРКАЛО

Старая хозяйка сняла очки и положила их на столик перед зеркалом. А сама легла спать.

Для зеркала это было весьма важным событием. Обычно хозяйка ложилась в очках, потому что перед сном любила почитать.

Дочитав, она усталой рукой опускала книгу на ночной столик у своего изголовья, снимала очки, щурилась, пристраивала их рядом с книгой и гасила свет. А простодушное зеркало, которое отражало все предметы такими, какими они были на самом деле, смотрело издали на толстые стёкла очков и мучительно размышляло о тайне, которая скрывалась в их прозрачной пустоте.

Обычно все простодушные любознательны. Было таким и зеркало. Тайна очковых стёкол так долго не давала ему покоя, что теперь оно нисколько не удивилось силе собственного волнения. Оно даже не заметило, что от этого волнения вся отражённая в нём комната заколебалась. Если бы, например, хозяйка в эту минуту включила свет и взглянула на своё зеркало, она бы с ужасом подумала, что в зеркале начался шторм: с такой силой качалась в нём люстра, кривился потолок, прыгала вазочка с цветами, а картина, изображавшая бурю на море, едва держалась на гвозде.

Но хозяйка уже спала. Она была очень стара и в этот день очень устала, потому что была суббота, а в воскресенье она ждала гостей, и весь день готовила и прибирала в комнате.

Очки лежали на вязаной салфетке перед зеркалом и равнодушно смотрели куда-то в пространство. Взгляд их был строг и остёр от рождения, но старость уже давала себя знать, а потёртая резиночка, которой были связаны концы дужек, ещё более подчёркивала это обстоятельство.

«Нет, это будет неловко, — думало зеркало. — Если я заговорю, это может помешать их мыслям. А так хочется, однако, поговорить».

И зеркало решилось.

— Простите, — сказала оно как можно мягче.

— Да-да, конечно, — немедленно откликнулись очки. — Мы видели ваше волнение и просто ждали, когда вы с ним справитесь. И поскольку можно считать нашу беседу начатой, сразу просим прощения за вынужденную бестактность.

— Ах, о чём это вы? — удивилось зеркало.

— Говорить о себе «мы» принято ведь только среди особ цар-

ской крови, поэтому хотим объясниться. У нас причина чисто грамматическая. Очки, ножницы, щипцы и ещё некоторые вещи просто не имеют единственного числа. Это даёт несведущим повод упрекать нас в высокомерии. Но ведь не скажешь: «Я, очки...».

— Нет-нет, — заверило зеркало. — Все эти условности для меня слишком сложны. Мне просто хотелось поговорить о вашей тайне. Она давно не даёт мне покоя.

— Тайна? — Очки посмотрели удивлённо. — Какая тайна у двух стекляшек?

— О, вы несправедливы, — сказала зеркало. — Просто вам это привычно. А я никак не возьму в толк, почему глаза нашей хозяйки становятся такими большими, едва она вас наденет?

— Ах, это! — Очки улыбнулись. — Это не тайна. Это оптика. Наука оптика, традиционный раздел физики, только и всего. Любая кривизна стекла искажает изображение. — Вы делали то же самое, когда волновались. Вы просто этого не заметили.

— Неужели? — изумилось зеркало. — И могло бы... как вы? Увеличивать?

— Безусловно! И уменьшать тоже. Всё зависит от того, в какую сторону и с какой кривизной вы изогнётесь...

Всю ночь продолжалась оживлённая беседа двух стеклянных предметов — весьма образованного и весьма любознательного. Очки успели поделиться с зеркалом малой частью того, что им удалось узнать из книг за свою долгую жизнь, а зеркало проявило огромную охоту и изрядные способности к учению. Изгибаясь необходимым образом, оно сумело прочитать все грамоты и дипломы старой хозяйки, которые висели в рамках на противоположной стене. Там же находилось и несколько фотографий, и зеркалу удалось наконец разглядеть их подробно. Из всего увиденного был сделан вывод, что в молодости хозяйка была очень красива и знаменита, а теперь она очень умна и дружит со многими замечательными людьми. Очки, хорошо знавшие интересы хозяйки, подтвердили этот вывод и не без гордости заявили:

— Можно сказать, коллега, что нам с вами серьёзно повезло. Другие попадают в гораздо менее интеллигентные руки.

Утром хозяйка надела очки и причесалась перед зеркалом. Когда она захотела разглядеть что-то на лице и приблизилась, зеркало слегка изогнулось, чтобы ей было виднее.

— Ай-ай-ай! — огорчилась старая женщина. — Какие морщины!

Из этого зеркало сделало вывод, что даже очень пожилой женщине не следует указывать на её недостатки. И когда расстроенная хозяйка приблизилась во второй раз, оно изогнулось так,

что морщины на её лице разгладились, и оно стало почти таким же прекрасным, как на фотографии в молодости.

— О-о-о! — сказала хозяйка. Мягкой салфеткой она тщательно протёрла зеркало, посмотрелась ещё раз и опять оказалась: — О-о!

Потом она стала собирать на стол все блюда, что приготовила в субботу, и каждый раз, проходя мимо зеркала, заглядывала в него с радостным любопытством.

Потом пришли её друзья, а с ними — незнакомый человек средних лет, которого хозяйке представили как Знатока прекрасного и Светило в области точных наук.

Гости были приглашены к столу, и во время оживлённой беседы зеркало развлекалось тем, что подробно разглядывало каждого из них. Очки это заметили и весело ему подмигнули.

Однако заметил это и новый гость. Он сидел как раз напротив зеркала и всё время к нему присматривался, а когда пришло время уходить, этот человек спросил, не знает ли хозяйка, где и когда изготовлено это великолепное произведение зеркального искусства.

— Не знаю, — со вздохом призналась хозяйка. — Сколько себя помню, оно всегда стояло на этом месте. Мне кажется, оно уже давно вросло в пол.

Все засмеялись, а любознательное светило в области точных наук спросило, нельзя ли ему это зеркало прямо сейчас купить.

— Никак нельзя, — улыбнулась хозяйка. — Это моё фамильное зеркало. Единственная вещь, которая осталась от моей прабабки.

Знаток прекрасного не стал настаивать на продаже и откланялся.

А через месяц, когда женщина уехала на недельку в гости к внучатам, дверь её квартиры была взломана. Всё произошло ночью и так тихо, что никто из соседей даже не пошевелился во сне.

Фигуру грабителя скрывал просторный плащ, а на голову были натянуты чёрный чулок с прорезями для глаз и широкополая шляпа. Он вошёл и целиком отразился в зеркале.

Поняв, кто перед ним, зеркало сильно заволновалось.

— М-да-а, — только в сказал грабитель знакомым голосом.

Он подошёл к зеркалу и попытался его поднять. Но оказалось, что деревянные ножки действительно приросли к полу. Тогда грабитель, не снимая кожаных перчаток, пошарил по задней стенке, что-то осторожно отогнул своими железными пальцами и вытащил зеркало из рамы. Затем он положил стекло на кровать и набросил на него края старушкиного одеяла. Вынув из кармана моток шпагата, он обвязал им свёрток, положил на стол деньги и вышел с добычей, осторожно притворив за собой дверь...

Зеркало увидело свет в незнакомой просторной комнате. Другим был этот свет, другим был воздух, другая была температура.

— Здесь тебя не найдут, — раздался голос грабителя. Перед зеркалом появился тот самый Знаток прекрасного, который месяц назад не смог его купить. Он сказал: — До твоей хозяйки отсюда очень далеко. У неё тебе жилось довольно серо, а у меня ты не заскучаешь. Мы с тобой совершим кое-что в области точных наук. А точнее — в оптике.

Зеркало всмотрелось: не шутит ли. Грабитель не шутил.

«Конечно, его поступок безобразен, — подумало зеркало. — Но ведь это в интересах науки. Если поразмыслить, моя умная хозяйка в конце концов одобрила бы такой поступок».

И начались эксперименты.

Поначалу это было занимательно. Учёный разглядывал зеркало в различные линзы и отражал в нём различные материалы. Потом, не разобравшись, ножиком сокрёб с обратной стороны немного амальгамы и долго исследовал её под микроскопом, капал на неё различными химикатами, опять разглядывал и всё записывал в тетрадь.

Когда скребли ножом, было щекотно и не очень приятно: ведь в конце концов, нельзя даже в интересах науки разрушать красоту. Но когда Знаток с помощью стеклореза и клещей отколол от него уголок, пришла пора возмутиться. Когда Знаток, унося кусочек зеркала, оглянулся и подмигнул, зеркало изо всех сил увеличило один его глаз, а всё остальное изо всех сил уменьшило.

— Очень интересно! — оценил Знаток. — С этим мы ещё разберёмся.

Он сделал химический анализ стекла, но это не прибавило ему знаний. Тайна зеркала не раскрывалась.

— Ну, — сказал Знаток, — пора переходить к более современным методам.

Он прикатил из дальнего угла небольшой железный столик с приборами и приклеил концы проводов к разным углам зеркала. Чёрный шнур он подсоединил к гудящему ящичку на стене и начал медленно поворачивать головку прибора, который он уважительно называл потенциометром.

Сначала зеркало почувствовало лёгкое жжение, потом неприятное покалывание, а потом его затрясло, как в лихорадке. Человек и столик на колёсах стали видны неясно, при этом они морщились и подпрыгивали, а позади них дёргалась на стене расчерченная какими-то линиями репродукция знаменитой картины.

Э-э-э, нет, — услышало зеркало. — Так не годится.

Мучения прекратились, стало опять хорошо видно.

— Нужна только постоянная составляющая, — сказал мучитель. — Я начинаю кое-что понимать. Сейчас мы с тобой получим оч-чень интересный эффект!

Он что-то переключил, и зеркало, ничего как будто не чувствуя, стало вдруг испытывать тревогу. С ним происходило что-то непонятное и страшное. Ему стало казаться, что его стискивает со всех сторон какая-то беспощадная холодная сила. Она давила всё опаснее, это становилось невыносимым. Зеркалу захотелось превратиться в маленькую капельку горячего стекла и утечь куда-нибудь в щёлочку. Но на пределе этих мучений всё стало меняться. Теперь зеркалу казалось, будто его накачивают, наполняют чем-то невыносимо горячим. Оно опять видело с трудом, его раздувало, как праздничный резиновый шарик, каким старая хозяйка раз в году украшала свою комнату. Это было так давно... И так хорошо... И так далеко... Взорваться бы, обрызгать мучителя расплавленным стеклом и превратиться в пар!..

Но опять всё стало на место, и Знаток, очень довольный, подмигнул совершенно дружески:

— Все идёт просто прекрасно! Сейчас такое устроим!..

«Ну нет! — подумало зеркало. — Хватит! Наука наукой, но надо и совесть иметь!»

И человек перед столиком с приборами замер от удивления. Из глубины зеркала на него смотрел не знаток прекрасного и не светило в области точных наук, а невообразимо уродливый волосатый паук с хищными жёлтыми глазами. Знаток улыбнулся. Паук в ответ оскалил ядовитые челюсти. Знаток на всякий случай отодвинулся назад, а паук прыгнул вперёд и едва не выскочил из зеркала. Зато он увеличился настолько, что на виду осталась одна громадная голова, которая едва умещалась в границах зеркала, сверкала горящими глазами и щёлкала острыми шипастыми жвалами, с которых капала мутная от яда слюна. Человеку показалось, что зеркало исчезло, что мохнатые лапы с острыми крючками тянутся к нему...

— Не-е-ет! — закричал Знаток не своим голосом и, схватив двумя руками тяжёлый прибор, метнул его в оскаленную пасть.

Сверкая и звеня, посыпалось на пол разбитое стекло.

Замкнулись оборванные провода. Что-то сверкнуло. Где-то хлопнуло и затрещало. Внезапный сквозняк распахнул дверь и разбил окно. Комната быстро наполнилась голубым дымом.

Со всех сторон донеслись крики: «Гори-и-и-им!»

2. ВТОРОЕ «Я»

Уже неделю Знаток не выходил из дома и стонал. Ожоги плохо заживали. И душа не переставала болеть. Жалко было свою лабораторию. Самые чуткие осциллографы, самые современные генераторы, самые совершенные потенциометры, самый быстродействующий компьютер — всё сгорело дотла. Что лаборатория — институт кое-как отстояли пожарные. Если бы они так быстро не примчались, никакая автоматика не помогла бы. Знаток вспоминал потоки белой пены, в которых не хотело униматься электрическое пламя, вспоминал голубой, потом серый, потом чёрный дым, в котором он едва не задохнулся, и все его боли — и телесные, и душевные — вгрызались в него с новой силой. Погибло ценное оборудование, а хуже того — сгорели бесценные записи экспериментов. Из-за этого уже неделю Знаток стонал, метался по квартире и не находил себе места.

Зазвонил телефон. Знаток снял трубку и по привычке представился полным званием, как делал на работе:

— У аппарата Знаток прекрасного и Светило в области точных наук.

— Привет, старина! — раздалось в трубке.

— А, это ты, Друг! Здравствуй.

— Ну, — спросил Друг, — почему такой бледный голос? Где твоё богатырское ничего? Когда собираешься на работу?

— Голос слабый потому, что всё болит, — отвечал Знаток. — Здоровье уже не богатырское. А если бы оно и было, то всё равно выходить на работу некуда.

— А вот и врешь! — В трубке раздался радостный смех. — Ты забыл, что у тебя есть я, а у меня — Институт Необычных Проблем!

— Как? — вскричал Знаток. — Уже?

— Уже, — подтвердил Друг. — Уже месяц я директор Института. И новая лаборатория с самым наинновейшим оборудованием ждёт тебя не дождётся. Так неужели она не дождётся?

— Лечу! — взревел Знаток. — Спаситель! Пять минут на одевание, полчаса на троллейбусе...

— Никаких троллейбусов! — засмеялась трубка. — Одевайся без паники да не забудь побриться: через пятнадцать минут за тобой прикатит мой голубой лимузин.

И вот окрылённый Знаток выходит из голубого лимузина, поднимается в лифте, обнимает Друга, идёт с ним по просторному коридору и ахает на пороге новой лаборатории.

— Я даже репродукцию тебе припас, — Друг показывает на стену. — С той же самой картины, что у тебя сгорела. Можешь

снова расчертить её циркулем, и вообще — располагайся и делай что хочешь: на то мы и в Институте Необычных Проблем, чтобы вести свободный поиск.

Они ещё раз обнялись, и началась научная сказка. А науки в ней ровно столько, чтобы учёный понял, а неучёный поверил.

Тигром ходит по лаборатории окрылённый Знаток. Орлом глядит на приборы и находит, что прежние против этих были просто хлам.

— Ну всё можно! — бормочет. — Ну всё-всё-всё!

Останавливается, щёлкает тумблерами, крутит верньеры, смотрит на экраны и самописцы и чуть не плачет — такова радость. Просто места себе не находит.

Наконец нашёл. Присел к столу и стал смотреть на репродукцию, которая специально для него изыскана замечательным директором Института.

— Рублёв! «Троица»! Ах!..

После этих слов он надолго замолчал, вглядываясь в узкие лица, в удлинённые задумчивые фигуры, в странную игру простых тёплых тонов — охры и сурика, столь удивительно оттенённых двумя другими, тоже простыми — белилами и сажей.

— Боже мой! — произнёс он наконец. — Такое богатство — четырьмя комьями грязи! Из-под ног!.. А позы! Бож-же мой... Ну, теперь-то...

И, схватив линейку, циркуль и остро отточенный карандаш, одержимо принялся за работу. Он хорошо знал на память все формулы «золотого сечения», ему не надо было листать справочники в поисках цифр. Через какие-то полчаса картина великого художника украсилась густой сеткой прямых и кривых, тонких и жирных линий, пересечения которых приводили Знаток в восторг, в ярость и в священный ужас.

Когда к вечеру директор Института навестил Знаток в его новой лаборатории, тот сидел перед компьютером и сверял цифры и линии на экране дисплея с теми, что были у него начертаны от руки.

— Ну, — спросил Друг, — как теперь твоё богатырское ничего?

— Смотри, — пробормотал Знаток, подняв на него глаза поверх очков. — Я почти приблизился к разгадке всемирной композиции.

— Это как же? — Друг поглядел в бумаги и на экран. — Что ты называешь всемирной композицией?

— А вот что, — начал Знаток. — Надеюсь, ты помнишь, я говорил тебе когда-то о возможности существования некоего всемирного Разума.

Друг кивнул.

— Ты ещё сказал, — продолжал Знаток, — что, мол, не надо усложнять, и мой Всемирный Разум имеет простое название — Природа, и творит он по законам, ему самому неизвестным.

Друг снова кивнул и сел на вертящийся стул, готовясь к беседе.

— Так вот, — заявил Знаток, — я почти доказал, а с таким оборудованием докажу непременно, что существует некий ОСОЗНАННЫЙ акт творчества, осуществляемый на Земле всемирным, точнее сказать, даже Вселенским Разумом через людей. Этот акт бесконечен и необозримо разнообразен, но каждое его действие подчинено неким единым законам, которые внушаются свыше лишь избранным творцам, вроде Рублёва, Леонардо, Бетховена, Пушкина...

— Ньютона, Эйнштейна, нас с тобой...

— Нет-нет! — Знаток замотал головой. — Ты не понял! Я сейчас говорю не о научных открытиях, а о художественном творчестве. Я не говорю даже о неизвестном изобретателе колеса. Творчество таких людей подчинено законам физики и математики. Я же имею в виду законы ГАРМОНИИ, которые ещё не нашли своего настоящего выражения!

— Хочешь проверить алгеброй гармонию? — Друг улыбнулся.

— Именно! — вскричал Знаток. — И музыку — разъять! Но я не Сальери, я учёный. Мне нет нужды творить симфонии по формулам. Я не намерен писать картины с циркулем в руке. Я просто докажу, что все великие мастера во все времена не были чужды В ИСКУССТВЕ циркуля и формул.

— То есть?

— То есть я докажу, что даже в древнейшие времена, когда ещё никто не помышлял о «золотом сечении», оно было хорошо известно практикам. Его использовали, не зная, что оно — «золотое»!

— То есть, — догадался Друг, — его чувствовали?

— Именно! — вскричал Знаток. — Ты всё понял, вот это и есть проявление Вселенского Разума! — Он веером раскинул на столе несколько таблиц и схем. — Смотри! Яблоко, птичье яйцо, человеческий череп, планета, галактика — их форма описывается теми же формулами, что и рублёвская «Троица»! А возьми «Юдифь», возьми «Тайную вечерю», возьми, наконец, ядерный взрыв и любую сонату Бетховена...

— Я понял, — Друг поднялся. — Желаю тебе удачи. А мне пора. — У двери он задержался, чтобы добавить: — И ещё одно пожелание. Будь осторожен, к цифрам в клетку не попади.

— Не попаду! — пообещал Знатор, уже вернувшийся к своим формулам.

Через месяц его лабораторию видели заваленной книгами об искусстве, заставленной скульптурными группами и картинами в рамах — прямо из запасников художественного музея. Стены скрылись под расчерченными репродукциями самых знаменитых картин. Над компьютером дрожал знойный мираж, в котором под музыку Дюка Эллингтона покачивался караван тяжело навьюченных дромадёров. Стрелки приборов зашкаливали. Из-за большой нагрузки в сети осветительные лампы едва тлели, поэтому на крышках приборов истекали парафином несколько толстых ароматических свечей, а сам хозяин писал при огне семилинейной керосиновой лампы. Он очень исхудал и сильно ошетишел, но это его не занимало, так как общение с внешним миром все эти дни заменяла ему открытая форточка.

— Как твоё богатырское ничего? — привычно спросил, входя, директор. И удивился, увидев его руки: — До сих пор в бинтах?!

— А, это новые, — отмахнулся Знатор. — Вчера перегрелся высоковольтный разрядник.

— Ладно, — сказал директор, — дело житейское. А как у тебя с цифрами?

— - Нормально. А что?

— Глаза диковаты. Отдохнуть не пора?

— Что ты! — Знатор нахмурился. — Я уже на пороге открытия. Ещё шаг...

— Хорошо, хорошо, — быстро сказал директор. — Только не забывай об осторожности. В любой момент будь готов вернуться — таков наш закон.

— Знаю, — ответил Знатор. — Не первый день... Через неделю закончу этап, но результаты ожидаю только после следующего.

Друг уважительно вздохнул и тихо удалился, унося список необходимых Знатору материалов и оборудования.

Дней через десять институтские меломаны стали задерживаться у двери в лабораторию Знатора. Сквозь двойную обивку с трудом просачивались измятые, полузадушенные или яростно вырывались дикие, безумные, озверевшие обрывки мелодий, отдельные ноты, а то и целые музыкальные фразы. Одним это напоминало операцию без наркоза, другим — рабочий день в камере пыток, третьи находили, что больше похоже на Рождество Христово в Преисподней. Время от времени к Знатору заносили грампластинки, магнитофонные кассеты, различные музыкальные инструменты. Однажды видели, как несколько дюжих лаборантов вытаскивали обгорелые обломки рояля и измятый, за-

копчённый геликон. А кто-то из младших научных сотрудников божился, что лично помогал нести носилки, на которых бился в истерике известный оперный баритон.

Сигналы доходили до директора, но он каждый раз понимающе кивал и успокаивал ходоков: «Надо. Наука требует жертв, а наука об искусстве — кратно».

Наконец из лаборатории Знаток перестали поступать заявки. Директор понял, что очередной этап завершён, и отправился в гости.

— Не наблюдаю ничего богатырского, — заявил он, входя без стука. — Ты как, ещё жив?

Знаток сверкнул глазами из глубины лица, почесал свалывающую бороду забинтованной пятернёй и хрипло предложил:

— Садись, Друг, отдохни.

— Это тебе надо отдохнуть, — сказал, садясь, директор.

— Потом, потом, — отвечал Знаток, озираясь и почёсываясь. — Дело несколько затягивается, но теперь уж точно — не больше недели.

— Да ты сам бы сел, — посоветовал директор.

— Нельзя. Если сяду, сразу усну.

— Так ложись и поспи, — сказал директор. — Что естественно, то полезно.

— Ну что за примитив! — Знаток яростно сверкнул строгими очками. — Предназначение человека не в том, чтобы рабски следовать низменным инстинктам! Я — человек, царь природы, частица высшего Разума Вселенной — должен, рад, готов, обязан трудиться не покладая сил, я обязан найти Истину, а ты: «Спать»! Мне стыдно за тебя!..

— Хорошо, хорошо, — сказал директор. — Будем надеяться, что на неделю тебя ещё хватит, а там — приказом по институту заставлю отсыпаться. Силой уложим!

Знаток рассеянно кивнул. Было видно, что разговаривать ему не хочется, что ему надо что-то делать. Он порывался что-то искать, беспокойно озираясь и всем своим видом кричал: «Да уходи ты скорее!».

— Я вот зачем зашёл, — директор поднялся. — Заявок от тебя что-то нет. Уже ничего не нужно?

— Нет, нет, ничего, — поспешно отозвался Знаток. — Совершенно ничего. Буду... э-э-э... рад тебя видеть через... м-м-м... да, через неделю. Договорились?

— Ну, будь здоров, — сказал мягко директор. И поспешил уйти.

Его никто не провожал, никто не подталкивал, но он вышел с таким чувством, будто не только вытолкнули, но ещё и вытаци-

ли за лацканы пиджака. Более того, во время разговора его не оставляло беспокойство, которое, может быть, передалось от Знаток. Уже у себя в кабинете, напряжённо подумав, директор понял, что это было за беспокойство. Кто-то третий, неизвестно где укрывшийся, присутствовал при их разговоре, причём Знаток это знал, и потому был так неприветлив и неразговорчив.

Знаток тем временем беседовал с гостем, который прятался в лаборатории во время визита директора. Оба сидели на вертящихся лабораторных стульях. Знаток совершенно не клонило в сон, а его собеседник был его точной копией, только вымытой, выбритой и причёсанной. Хотя, если приглядеться, любой призрак, фантом или дух сразу признал бы в нём своего.

— Ну, и что же дальше? — Призрак продолжил прерванный разговор.

— Ты должен решиться, — быстро и убеждённо ответил Знаток.

— Можно вопрос? — Призрак дерзко ухмыльнулся.

— Да-да? — Знаток поджал губы и поднял подбородок — весь внимание.

— Не кажется ли тебе, — начал Призрак, — что ты поступаешь безнравственно, производя эксперименты только над другими?

— Всё? — спросил Знаток. — Весь вопрос?

Призрак кивнул и тут же уточнил:

— Пока весь.

— Дело в том, батенька, — начал с нажимом Знаток, сверля собеседника взглядом поверх очков, — дело в том, что до сего момента я просто не имел права подвергать себя прямому риску. Иначе моя цель просто могла не быть достигнута...

— А ты уверен, — перебил Призрак, — что к этой цели вообще стоило идти?

— Как? — вскричал Знаток в явном возмущении. — И это говоришь ты, моя собственная духовная составляющая? Ты отрицаешь прогресс?..

— Да, — Призрак убеждённо кивнул. — Точнее, я за его ограничение. В разумных пределах.

— Да не твоё это дело — говорить о разумном! — Знаток разъярился. — Ты — дух! Душа! Понимаешь?

Призрак покачал головой и хотел возразить, но Знаток не позволил:

— Нет, погоди! Ты слушай!.. Как говорится, духу — духово, а разуму — разумово. Если ты за робкий разум, то можешь убираться ко всем чертям, а я считаю и буду считать, что для разума

не существует того, что ты называешь «разумными пределами»! Разум на то и существует, чтобы преступать все известные пределы, и если он остановится в своём движении, он перестанет быть разумом, он станет... чёрт знает чем!

Некоторое время они молча смотрели друг на друга: Знаток — яростно и тяжело, Призрак — озабоченно и с едва уловимым сожалением. Наконец Призрак заговорил.

— Тебе не кажется противоестественным, что душа призывает разум быть... разумным?

— Именно! — вскричал тут же Знаток. — Именно! И это говорит о лени души, и мне стыдно, что у меня такая душа!

— Такая ленивая? — кротко уточнил Призрак.

— Такая запущенная! — взорвался Знаток. — Не разум, а душа должна звать, вести человека вперёд, к новым знаниям, к победам разума, чёрт возьми!

— Первично-то всё-таки бытие, — усмехнулся Призрак.

— Хватит играть словами! — зарычал Знаток. — Был бы ты мужчина, я заставил бы тебя...

Он внезапно замолчал, стал похож на обиженного мальчишку и, барабанив пальцами по столу, уставился в окно, задрал подбородок.

— Дослушай меня спокойно, — сказал Призрак. — Только не перебивай, мне трудно потом сосредоточиться. Хорошо?

Знаток молча, не оборачиваясь, кивнул.

— Ты прав, — продолжал Призрак, — духовное — это по моей части. А духовное — это и нравственность тоже. Даже в особенности. И я опять тебя спрашиваю: было ли нравственным то, что ты делал с другими, сам при этом не испытывая их мучений?.. Подожди, я продолжаю. Между нами никогда не было прямого разговора, как сейчас. Он бы, впрочем, никогда и не состоялся, если бы не твои душегубские эксперименты.

— Зато... — вскинулся Знаток. Но Призрак повысил голос:

— Я требую, чтобы ты дослушал молча! Не забывай, что мы с самого начала договорились о полном равенстве. Изволь, чёрт тебя возьми, соответствовать!.. Твой эгоизм довёл тебя до того, что даже так называемый эксперимент на себе ты ставишь только на мне, прикрываясь рассуждением, что, мол, только через духовную составляющую начинается связь со Всемирным Разумом. На самом деле здесь просто эгоизм и трусость. Но это к слову... Итак, твои душегубские эксперименты были мне всегда не по душе. Точнее сказать, будучи сам твоей душой, я никогда их не принимал. И я никогда не скрывал от тебя этого, я был активен, согласись! Однако твой острый и настырный разум, будучи хозя-

ином положения, — как, впрочем, и сейчас, — проявлял ко всем моим стараниям удивительную тупость...

— Да иначе ты не сидел бы сейчас передо мной, несчастный! — презрительно простонал Знаток. — Это же э-ле-мен-тарно!

— Только из-за твоей тупости я здесь и торчу, — Призрак вздохнул с мрачным видом. — Только тупица не слышит внутреннего голоса, пока не выведет его из себя.

— Да это ты выводешь меня своей тупостью!

— Нет уж, дай договорить, иначе... впрочем, действительно жаль, что я недостаточно материален... Ну так вот... Ах, чуть не потерял из-за тебя мысль. Не сбивай, я тебя прошу. Неужели не видишь: я рассеиваюсь из-за твоих выкриков... Итак, ни разу ко мне не прислушавшись, ты калечил растения, пытал человеческие кости, мучил насекомых и прочую живность. Они не имели возможности за себя постоять, пока ты не приволок в лабораторию уникальное зеркало...

— С ним я шагнул дальше всех!..

— Шагнул. И поплатился лабораторией, не считая собственных ожогов и нервного тика под ложечкой. Даже мне до сих пор икается... Но и зеркало тебя не отрезвило. Судьба продолжает тебя искушать, она подбросила тебе Друга с его Институтом. Тут бы и подумать, и одуматься, а ты выпрыгнул из пижамы и очертя башку бросился к новым ожогам. Но теперь этим не кончится. Ты посягнул на святая святых, и это тебе даром не пройдет...

— Что же это за тайник?

— Очень хочется узнать?

— Я ради этого всё и затеял.

— Сказать-то можно. Пожалеешь.

— О чём? Что ты морочишь мне голову?

— Твою голову сейчас заморочить легче лёгкого — там нет меня. Но моя задача — как раз обратное: просветить тебя. А это равно спасению, можешь мне поверить.

— Итак же, итак? — Знаток весь нацелился на собеседника, его взгляд прожигал стёкла очков. — На что такое я посягнул?

— Дозволь сначала вопросик. — Усмешка двойника показалась Знатоку издевательской, но он сдержал гнев и почти обречённо кивнул. Призрак перестал улыбаться: — Ты можешь представить, что бы я сделал, если бы сейчас мы поменялись местами?

— То есть я стал бы тенью, а ты — в тело?

— Вот именно.

Знаток поджал губы, наклонил голову и, покачиваясь всем телом, некоторое время думал.

— Я полагаю, — сказал он затем, — что ты запрыгал бы от ра-

дости и ни за что не пустил бы меня обратно. Угадал?

— Ты близок к истине. Только я знаю, что из этого получится, поэтому поступил бы иначе. Интересуешься?

— Ну-ка, ну-ка.

— Я сходил бы в баню, хорошо попарился, а потом уложил бы рюкзак и ушёл на месяц в горы.

— А я?

— Тебе я поручил бы всё время быть рядом и развлекать меня умными разговорами: о погоде, о пейзажах, о женщинах... Кстати, ты не находишь, что среди женщин попадаются иногда весьма привлекательные?

— Да-да, — Знаток кивнул, — с некоторыми есть о чём поговорить. Но ты не отвлекайся. Зачем всё это? Зачем эти горы, поход, рюкзак?

— Давай попробуем, тогда поймёшь.

— Ты ведь обратно непустишь.

— Будешь хорошо себя вести — пущу. Я же сказал: нам друг без друга — никак... Ну, что, по рукам?

— Погоди, погоди, — спохватился Знаток, — а как же насчёт святая святых?

— А куда она денется? Моё условие: вернёмся — тогда скажу. Для твоей же пользы. А может, по дороге сам поймёшь.

На следующий день, опечатав лабораторию. Знаток отбыл в неизвестном направлении. Он сообщил только, что для успешного окончания эксперимента нуждается в кратком отдыхе на природе, дабы собраться там с мыслями, — чем весьма порадовал директора.

— Однако, — пробормотал директор, когда за другом закрылась дверь, — у меня опять ощущение, что с нами был ещё кто-то. Только на этот раз совсем другой. И сам Знаток — не такой какой-то. Душевнее, что ли...

3. СВЯТАЯ СВЯТЫХ

Двумя неделями позже загорелый человек сошёл с поезда и двинулся домой пешком, тихо беседуя сам с собой. Однако внимательное ухо могло бы уловить, что собеседник был, но голос его доносился, как ни странно, из полупустого рюкзака, брошенного на одно плечо.

— Ну и как наше богатырское ничего? — доносилось из рюкзака.

— Своя ноша не тянет, — отвечал человек и шагал довольно легко.

— Однако мы загорели, — слышалось из рюкзака.

— Скорее, обветрились.

— Каков же вывод?

— А его сделала за нас та симпатичная рыженькая попутчица.

Она, помнится, сказала: «Вашему виду можно позавидовать».

— Простой каламбур. Не обольщайся.

— От черноглазой туристки в горах тоже были комплименты.

— Всё равно не спеши радоваться, — парировал рюкзак. — Комплименты часто делают тем, с кем не собираются иметь дела.

— А пожизнерадостнее нельзя покаламбурить?

— Можно, — легко согласился рюкзак. — Эта рыженькая в поезде вместе с комплиментом могла бы и адресок подарить.

— Так ещё не поздно исправиться, — заметил загорелый. — Вон же она!

Загорелый с рюкзаком догнал на трамвайной остановке рыжую красавицу, попросил у неё адрес, получил его, посадил улыбающуюся в трамвай и двинулся дальше.

— И ты готов идти к ней в гости? — обратился он к рюкзаку.

— До сих пор не веришь? — донеслось оттуда. — Две недели в горах тебя не убедили?

— Да как тебе сказать... Не боялся. Домой не просился. Скучать не давал. Понимал меня как будто...

— Э-э-э, батенька, ищешь, к чему придраться!..

— И всё же, — сказал загорелый, — я ждал большего.

— А именно?

— Неужели забыл?

— А-а-а, — пропел рюкзак. — Святая святых... Жгучая тайна. Знаешь, было так хорошо, что я об этом ни разу не подумал. Боже мой, первый раз в жизни — горы, ветер, солнце, этот роскошный камнепад...

— Который нас чудом не накрыл!

— Да плевать! Это была жизнь, достойная жизни. Не согласен?

Загорелый облегчённо засмеялся:

— Как же я могу быть не согласен, если в этом — моя идея?! Совсем не важно, что ты не определил наш секрет по имени. Главное — ты его правильно почувствовал... Вот тебе тема для размышлений: ЧУВСТВА РАЗУМА! Мне доступен анализ, тебе — чувства. Это — на уровне открытия. Значит, всё в порядке!

— Так что же, — голос из рюкзака зазвучал надеждой, — осталось вернуть меня на место, и будем жить дальше?

— Разумеется. Только вот наше тело проголодалось.

Человек с рюкзаком завернул в столовую. Когда он покончил

с обедом, рюкзаку было предложено сначала зайти в гости и закрепить знакомство с рыжей красавицей, а уж затем...

— Прошу тебя, — взмолился рюкзак, — никаких красавиц и никаких «затем»! Во-первых, представь ощущения человека, к которому ввалится гость без разума...

— С разумом в рюкзаке, — поправил загорелый.

— Это одно и то же. Тело, начинённое только эмоциями, может быть привлекательно только односторонне...

— Гармонии возжаждал? Похвально. Но ты сказал: «Во-первых»...

— А во-вторых, пора бы и меня пощадить. Две недели такой бесприютности...

— Вдвойне похвально, — оценил загорелый. — Всё больше уверяюсь, что до тебя многое дошло, даже начинаю верить, что теперь мы с тобой поладим.

— И день сегодня рабочий, — напомнил рюкзак. — Институт открыт...

— Хорошо! — Загорелый решительно встал. — Идём в институт. Совместимся, сходим в парную... А в гости двинем вечером, да?

В рюкзаке — радостный всхлип.

И вот они в институте. То есть не они, а он, загорелый, обветренный в горах Знатока прекрасного и Светило в области точных наук. В его опечатанной лаборатории осталась настроенная аппаратура, с помощью которой он собственную душу отделил от тела. Но теперь душа на месте, а в рюкзаке, небрежно брошенном за плечо, томится и перевоспитывается разум — холодная, ненасытная субстанция, лишённая сострадания, озабоченная когда-то лишь поиском истины. Похоже, однако, что, уступив душе своё место, помыкавшись без тела, разумная составляющая Знатoka серьёзно изменилась к лучшему, проще говоря — подобрела.

Загорелый и обветренный, ни к кому в институте не заглядывая, достал из кармана ключ и заперся в лаборатории. Там он немедленно развязал рюкзак и опустился в кресло. Освобождённый Призрак разума расположился в кресле напротив. Он был небрит и нечёсан, худ лицом, глаза блестели.

— Ты больше похож на духовную составляющую, — усмехнулся бритый, мытый, загорелый и обветренный.

— Зато тебе жаловаться не на что, — Призрак вздохнул. — Ты всего достиг.

— Не скажите, батенька. Идеал недостижим — это во-первых. А во-вторых и в-остальных, чувство удовлетворённости, если оно не преходяще, ведёт человека к деградации. Совпадает?

— По форме-то совпадает, — Призрак поморщился. — Но трудно мне представить, чего ещё можешь хотеть ты, лишённый аналитичности. После гор сходить в море? После рыжей девицы узнать пегую? Или серую в яблоках? Вместо коньяка пожелать мартини?

Загорелый засмеялся.

— Разумеется, разумеется, разумеется. И моря хочу, и пегую в яблоках, и мартини, и в парную желаю, и ещё много чего. Однако без тебя всё это пресно. Не вижу, почему надо хотеть только чего-то недостижимого? Мне кажется, когда мы были в этом теле вместе и ты притеснял меня, то хотел ещё меньшего, чем я.

— Меньшего?!

— Именно. Ты хотел ВСЕГО ЛИШЬ Истины. Мистической Истины, ради которой не жалел ни себя, ни окружающих. Только послушай, какое дикое созвучие: «Ничего, кроме истины». Да что она такое, кто она такая? Знал ли ты, РАДИ ЧЕГО истязал матерью?

— Мне казалось, знал, — пробормотал Призрак смиренно.

— А теперь что тебе кажется?

— Теперь я сомневаюсь. Во всём, кроме того, что материя существует.

Несколько минут стояло молчание, только гудели разогреваемые приборы и чуть потрескивала единственная свеча на осциллографе. Занавеси на окнах Знаток, входя, не поднял, но большего света ему теперь не требовалось — все необходимые данные он держал в памяти, а рукоятки приборов легко находил ощупью.

— Что ж, — сказал наконец загорелый, — аппаратура готова. Прости за душеспасительную беседу, если она тебе таковой показалась... И давай соединяться. Командуй, что где подключать.

Глаза Призрака мрачно блеснули, он пружинно встал, приблизился спереди вплотную к загорелому, повернулся к нему спиной, вытянул руки и велел двойнику сделать то же самое.

— Теперь выполняй мои движения.

Ведомый призраком разума, человек затягивал клеммы и застёгивал манжеты на запястьях, потом щёлкал тумблерами и крутил рукоятки...

Последний щелчок, мигнули лампы — и призрак растворился в теле.

— Ну, вот и всё, — сказал Знаток голосом Духа и потянулся к рубильнику.

— Ошибаешься, — ответил он сам себе другим, прежним голосом и ударил сам себя по руке. Лицо его исказилось яростью, которая легко стёрла мелькнувшую было обиду.

— Не выйдет! — простонал голос Духа.

— Уже вышло! — был ответ. — Пошёл вон!

Руки Знатока уверенно пробежали по тумблерам и рукояткам, снова мигнули лампы, и опять их стало двое. Только теперь бритый, мытый, загорелый и обветренный ошеломлённо заколебался в воздухе, а бледный, обросший и нечёсанный мрачно содрал с себя манжеты и датчики, отключил аппаратуру, отшвырнул ногой рюкзак и тяжело опустился в кресло. На худом лице горели ненасытные глаза, дышал тяжело.

— Ну, и чего же ты добился? — спросил Дух.

— Скоро увидишь, — был ответ. — Только отдышусь. А вот ты не добился ничего.

— Кому ты сделал хуже, несчастный?..

— Ошибаешься, — был ответ. — Несчастливым я прожил всего две недели. Правда, вполне несчастным. Боже мой, только вспомнить — две недели долой! Из такой короткой жизни! И ведь всё уже было готово! Оставалось только подключиться, и я давно владел бы Истиной! Так нет, меня дёрнуло тащиться с тобой куда-то в пустыню — лишь затем, чтобы узнать, что твоя жалкая тайна, твоя великолепная святая святых — всего лишь мифическое единство двух непримиримых врагов!..

— Враг был только один, — возразил Дух. — Враг самому себе.

— Слова-а-а, — протянул Знаток. Он переплёл вытянутые ноги и расслабился. — Как они мне надоели... Но ладно, говори что хочешь. Дело сделано, я опять свободен... Ты только послушай, какое слово: «Свободен»!

От волнения Дух потерял форму. Его тело заколебалось, черты лица исказились. Но он взял себя в руки и спокойно возразил:

— Ты БЫЛ свободен. Когда рядом был я. Но ты рвался в рабство. Получай же: теперь ты — раб своих страстей. И без меня они очень быстро тебя погубят.

Он на минуту замолк, но хозяин тела снисходительно покивал:

— Давай, давай. Твоя очередь меня развлекать. Скажи, что я пожалею. Скажи, что обманул, когда говорил, будто у меня появились сомнения... Только я не обманул. Я действительно всю жизнь сомневаюсь во всём, кроме того, что материя существует. Но сомнения — самое ненавистное, что есть на свете! Поэтому в тело я тебя не пущу, пока не приведу мир в порядок... Можешь сказать, что обнаружил у меня зачатки совести. Давай-ка, зови к этому заморышу — может быть, он откроет тебе дверь...

Дух последний раз содрогнулся и — стал уплотняться. Он убавился в росте, зато спинка кресла теперь едва проглядывалась сквозь его тело.

— Ну же, — подбадривал Знаток. — Где твоё красноречие? На рыжих израсходовал?

— Хорошо, — процедил Дух. — Развлеку в последний раз... Ты о двери говорил. Я в неё стучаться не буду. Я так выйду.

Тень какого-то чувства проступила на лице Знатока. Но время её было коротким. Он сказал:

— Я имею в виду другую дверь.

— А я имею в виду вот эту, — Дух кивнул на дверь лаборатории. — Впрочем, подойдёт и окно, и потолок. Бог в помощь, как говорится.

Теперь забота осенила лицо Знатока.

— На бога надеяться не советую, — сказал он строго, как говорил бы с неопытным подростком. — Мы имеем дело с пока ещё нетрадиционным законом физики.

— То есть?

— То есть без меня тебе долго не прожить. Из нашего путешествия я сделал вполне определённые выводы. Правда, они касаются меня, но физическая сущность у нас с тобой, надеюсь, одинакова... Так вот, любой из нас вне тела больше месяца не протянет. Рассеется. — Знаток помолчал, потом с непривычной для Духа задумчивостью начал вспоминать. — Ещё в студенчестве пришла эта идея. Я представил, что душа — это очень сложный электромагнитный сгусток, достоверная копия человеческой психики. Я думал, что после моей смерти она отделится от тела и будет витать между живыми — искать, в кого бы вселиться. Во взрослого вселиться мудрено — у него своя душа выросла. А если найти младенца — будет в самый раз. И тогда к нему в разные возрасты будут приходиться разные странные воспоминания: будто он уже встречал эту формулу, когда-то имел вот такую мысль, знал этого человека... Ты ведь помнишь эту идею?

— Помню, конечно, — Дух печально кивнул. — На семинаре по философии преподаватель назвал тебя за неё «ползучим эмпириком».

— Ярлыки вешать — много ума не надо, — подхватил Знаток. — Но я не отступил. Я поставил эту идею целью жизни...

— И вот ты у цели, — перебил Дух. — Но всё равно недоволен.

— Нечем. Только пусть тебе не кажется, что я кокетничаю. Нечем быть довольну. Когда идея пришла, я ещё не знал, что в мозгу нет единства. Правое полушарие, левое полушарие, эмоциональная доминанта, аналитическая... Чему радоваться теперь? Тому,

что во мне осталось работоспособным только одно полушарие?
А правое не хочет возвращаться?

— Сам выгнал!

— Да я не о том! Если моя наука не может привести в согласие всего два полушария моего собственного мозга, то чему я могу радоваться? Да при том ещё, что согласие между нами — это даже не цель, всего лишь промежуточный этап, средство для достижения Мировой Гармонии...

— Вселенской, — поправил Дух довольно насмешливо.

— Да, Вселенской! И не надо иронизировать! Если бы ты не мешал, давно бы уже...

— Так ведь уже не мешаю, — усталость и презрение зазвучали в голосе Духа. — Схема известна. Включай и наслаждайся. Только дослушай, что я тебе скажу.

— А, валяй, — Знаток махнул рукой. — Всё одно и то же...

— Ты в лесу не видишь деревьев, — сказал Дух. — То, что кажется тебе этапом и средством, на самом деле — та самая святая святых, на которую тебе никак не следовало посягать. Гармония Разума и Духа — чего ещё можно хотеть от Мироздания?

— Да ты, батенька, субъективный идеалист!

— А ты, я гляжу, недалеко ушёл от того преподавателя философии... Учёный должен, говорят, всё узнать об океане по капле воды. А ты в погоне за мифической Вселенской Гармонией готов перешагнуть через гармонию в собственной голове. Даже не перешагнуть. Наступить. Я ведь знаю: ещё шаг...

— Да что ТЫ можешь ЗНАТЬ? — Знаток скривился. — Ты, примитивная эмоция!

— Мне и не надо что-то знать. Я чувствую. И поэтому прежде, чем под твоим каблуком захрустит твой собственный череп, я уйду. Может, и в самом деле переселюсь в какого-нибудь младенца.

— Младенец!.. Ты же убедился, что без аппаратуры это невозможно!

— Посмотрим... Теперь это уже всё равно. В крайнем случае рассеюсь. Но зато со спокойной совестью, по Хайяму: «Ты лучше голодай, чем что попало есть...»

— «И лучше будь один, чем вместе с кем попало!» — рявкнул Знаток. — Можешь катиться! Уже вон темно на дворе, а я всё с тобой тут нянчусь! Отправляйся в какой-нибудь роддом и начни всё сначала! А я честно дойду свой путь. Без дезертиров!

— А ведь я было совсем поверил в тебя, — сказал Дух.

— Вера — это убогая подпорка при нехватке информации!

— Что ж, прощай.

Не меняя позы, дух начал смещаться вбок, и Знаток отвернулся, чтобы не видеть, как дезертир исчезнет за стеной.

Полчаса бледный, давно не бритый человек не двигался в кресле и даже не открывал глаз. Потом он встал, порывлся в карманах, нашёл бумажку с адресом рыжей красавицы и разорвал её в мелкие клочки. Потом обошёл пространство предстоящего сражения, пнул подвернувшийся под ноги рюкзак и начал уверенно собирать сложную схему.

Установив на последнем генераторе нужную частоту, он проверил показания всех приборов, бросил последний взгляд на экран осциллографа и двинулся к высоковольтному щиту. Там он ещё раз пнул свой пустой рюкзак, почти равнодушно понаблюдал за огоньком оплывшей свечи и положил руку на рубильник...

Директор Института Необычных Проблем, заканчивая вечерний моцион, шёл расслабленной походкой по сырому асфальту и глубоко дышал. Этот перерыв в суточном рабочем цикле он особенно ценил, потому что мышечная разрядка вызывала чудесный отлив крови от головного мозга. При этом все суетные связи в мозгу рвались, и сторожевой центр имел возможность очень свежо поработать на свободе. Высшее наслаждение наступало дома, под душем, когда из всего комплекса идей и задач, которыми постоянно загружен сторожевой центр, как бы случайно выделялась какая-нибудь одна. И не просто выделялась, а почти всегда имела вид законченного решения.

— Жена с детьми сегодня в театре, — бормотал он про себя, — позаботиться некому, так надо не забыть взять в ванную табурет с бумагой и карандашом. А то шлёпай потом голый до письменного стола...

Рассмеявшись этой мысли, директор хозяйским глазом оглядел издали свой институт, мимо которого, как всегда, лежал его путь.

— А ведь это в лаборатории Знатока, — увидел он в двух окнах слабое мерцание. — Вернулся и даже ко мне не заглянул. На износ работает.

Он прошёл несколько шагов, размышляя о том, какой беззаветный вол науки этот Знаток и что бы такое предпринять, чтобы вывести его из этого самоубийственного режима. Ещё один, последний, взгляд на окна заставил его отшатнуться и замереть.

Едва тлевший в окнах лаборатории свет сделался вдруг ослепительным и выплеснулся далеко наружу. Долетел треск и звон.

Обожгла лицо и заставила зажмуриться волна сильно сжатого воздуха.

Только на миг стало оглушительно тихо, и в этой тишине раздался рядом негромкий голос:

— Что и требовалось доказать.

Директор огляделся, рядом никого не было.

В институте заголосила пожарная сирена.

В соседнем медицинском учреждении закричал новорождённый».

* * *

Уже через день Отрава нашла Вируса и со смехом сообщила:

— Ты был совершенно прав: всё, что человек пишет, всегда — о себе. Правда, кое-где надо немного додумывать, выводы делать. А тут всё буквально. Этот старый умник при мне пережил приключение, после чего прибыл домой и сразу сел писать. И вот что написал.

«ЗАДУМАЛСЯ

Вчера я был вне себя от досады: стоит немного увлечься, и твоё очередное тело попадает к психиатрам с диагнозом «шизофрения». Мне проще: покидаю беднягу, и дело с концом. Но ему, уже «нормальному», никто сразу не верит, и лечат болезного от раздвоения личности, пока не утешат собственное профессиональное тщеславие. И год лечат, и другой... Тоже мне профессионалы! Каждый настолько поверхностен и ограничен, что интереснее вселиться в подсобника на стройке, чем в этого врача.

Впрочем, на сей раз я выбрал журналиста. И тело для тридцати лет в хорошей форме, и умишко незауряден: не только творит, но и ученья не чурается. Притом предпочитает систему: сначала в техническом вузе получил инженерное образование, потом на практике основательно освоил журналистику, теперь записался на факультет философии в городском народном университете.

И вот он сидит на семинаре по диалектике и прислушивается к себе: что за озарения вдруг пошли косяком? Со вчерашнего дня прислушивается. Тонкая натура, хорошая способность к самоанализу, но ещё не понял, что это он ко мне прислушивается. И не поймёт: на сей раз буду крайне осторожен и до лечения его не доведу.

Однако не стоило бы и вселяться в индивида, если вовсе не ставить целью его развитие. Высший порядок сам по себе возникает у людей столь редко, что к нам они почти перестали рекрутировать. А это чревато общей деградацией человечества, и тогда

само наше существование теряет изрядную долю смысла: кому из подлинно мыслящих охота быть «вещью в себе»? Высший Свет в тревоге постановил: активизировать. И вот, бросив все дела, набираемся опыта ценой шизофрении. Досадно и досадно.

— А я считаю, — мой носитель встаёт и обращается к доценту, — не может разум погибать вместе с телом. В этом случае даже умозрительно теряется смысл его рождения и существования. А поскольку уже доказана его электромагнитная природа, имеем все основания предположить, что волновая матрица мозга после телесной смерти не угасает, а просто отделяется и может существовать в пространстве самостоятельно, как, например, шаровая молния или телевизионная волна. При условиях, которые пока не исследованы, такую блуждающую душу можно даже сфотографировать.

Боясь, что перебьют, он начинает скороговоркой рассказывать, как год назад на балконной двери у него треснуло стекло. Ночью и без видимой причины. Трещина показалась интересной, и он — на фоне тьмы — сделал снимок. Когда же проявил плёнку, увидел рядом с трещиной женское лицо. И узнал свою учительницу, умершую ровно сорок дней назад...

Доцента зовут Николай Николаевич. Тайком даже от себя он гордится таким именем-отчеством: дважды Николай-угодник. Но для мира он — образцовый материалист. Вот уже раздул ноздри и зоб — сейчас обругает моего журналиста ползучим эмпириком.

Один из самых невыносимых людских недостатков — страсть к прозвищам, порождённая нетерпимостью. Бирки-прозвища неснимаемы, несмыываемы и обязательны к однозначному пониманию. Мы с одним поэтом — он сейчас в Высшем Свете, но скоро вернётся обратно к людям — как-то даже сочинили об этом куплет: «Вот палата на семь коек, вот профессор входит в дверь, тычет пальцем: «Параноик», и поди его проверь».

Чувствую: от ползучего эмпирика до параноика здесь дистанция невелика, стоит лишь заупрямиться. Давай-ка, друг, помолчим и подумаем о своём.

Мой носитель садится и, слушая свой «диагноз» вполуха, вспоминает вчерашний день.

Вчера, едва вселившись, я круто взял быка за рога, и денёк у него с утра выдался как подарок.

Сначала он нашёл для своего очерка такой поворот, что очерк тут же вывесили на «Доску ляпов и казусов». И всего-то из-за элементарной констатации: каждый отдельный человеческий род можно представить в виде конуса — многочисленные предки-посредственности от основания к вершине как бы выдавливают

наверх гения, после чего процесс идёт в обратную сторону («На делях гениев природа отдыхает»), чтобы когда-нибудь создать нового гения и вновь отдохнуть пару веков. «Открытие» тут же окрестили «Теорией конуса» (как, впрочем, это явление и называется в Высшем Свете) и немного посмеялись над автором — впрочем, вполне дружески: у кого, мол, на этой работе не заходит иногда ум за разум. Но настроение у него упало: непонимание равных болезненно.

Пообедать нам удалось дома. Жена моего журналиста готовит превосходно, но это, увы, её главный талант, если не считать привлекательной внешности — при очень среднем, впрочем, темпераменте.

Нахваливая суп, мой носитель как бы между прочим задал вопрос, на который не решался целых два дня:

— Ну, как тебе мой рассказ?

Плох тот журналист, который не пытается стать писателем. Жена при этом может сыграть роль крыльев Икара либо железобетонного надгробья.

Она подняла глаза от какого-то толстого детектива и пролепетала:

— Знаешь, я ещё не прочла.

Он выразительно посмотрел на её детектив и хмыкнул. Она в ответ гневно поджала губы и голосом твёрдой обиды сообщила:

— Ты пишешь слишком умно. Над каждым твоим словом приходится думать. Я не могу читать тебя быстро.

— Полтора десятка страниц для человека с высшим литературным... — Мой носитель отставил лапшу по-флотски. — Неужели такой труд?

— Да! Такой труд!

Он вскочил, поблагодарил за обед и бегом удалился. Выпить чаю мы решили в кафе, а там какой-то пьяненький здоровяк начал навязывать своё внимание весьма привлекательной особе в белой шапочке, белой курточке — да вся она была в белом и блондинка. Пришлось принять участие в диспуте, дошло до жестов. Реакция нас не подводила, тело слушалось неплохо, но резкость всё же оставляла желать лучшего. И постановка удара была уже не та...

Ныло выбитое запястье, саднила скула, но всё обошлось: и строгие люди в форме не подвернулись, и белая шапочка идёт рядом, ей по пути, она благодарит и задаёт вопросы. О, так вы журналист! А дерётесь, как настоящий хулиган. Даже лучше. Ах, боксёр! Сама должна была догадаться. Да чего уж там — бывший! Самый что ни на есть. А на какие темы пишете? О, это серьёзно!

Как-как? «Теория конуса»? Ничего смешного. Мне это известно как «теория пирамиды». Но конус — убедительнее. Кстати, все подобные вещи восходят к проблеме души. Как вы относитесь к гипотезе электромагнитной матрицы мозга? Ведь, согласитесь, теорию мирового эфира тоже подвергали, зато теперь...

Так дошли, не заметив, до самой двери народного университета.

— Ну, мне сюда.

— Так и мне сюда!

И оказались за одним столом.

Два высших разума рядом. Это у людей редкость. А чтоб ещё и разного пола — просто-таки шедевр случайности. Ода! Кантата! Полувзгляд как норма понимания. Бедный доцент-угодник даже не представляет, даже подозревать ему не дано, какую бурю взглядо-хохота порождают в нас его диалектические филоглупости!

И вдруг доцент энергично приближается и чеканит с обидой:

— Нет-нет! Не делайте вид, что не слышите! Если не согласны с моими доводами, то, может быть, ваша коллега вас убедит?!

Коллега, та самая, вся в белом блондинка, стоит за соседним столом и по просьбе доцента повторяет специально для меня, неслуха:

— С чисто физической точки зрения ваша электромагнитная душа не выдерживает даже элементарной критики, даже на уровне средней школы. Вихревые турбулентности, радиопомехи, космические лучи, энергетика...

Я с отчаянием поворачиваюсь к своей соседке. Жена уже смотрит на меня. Понимает и сострадает. Улыбается глазами: «Напиши об этом рассказ». Я киваю.

Всё ещё саднит скула и ноет запястье».

* * *

— Та-а-ак, — протянул Вирус. — Будем считать, что я по-человечески озадачен. Написано как бы от твоего имени, что ли?

— Мне тоже так показалось, — усмехнулась Отрава.

— И ты им не писала?

— Это твоим Пушкиным кто-то писал, — Отрава сделала вид, что возмущена. — Я верую в чистоту эксперимента и следую этой вере. Как тебе оборотец?

— Молодчина, совершенствуешься. Но и он молодец. Весьма близко к сути, только пол перепутал, — тоже усмехнулся Вирус. — И не сказка это, а фантастика.

— Да называй хоть мифом, хоть бывальщиной, хоть фэнтези,

хоть притчей философской — что это меняет? Меня озадачивает как раз эта близость к сути. Они верят в наше существование, но как-то по-своему. Не мы от них исходим, а они — от нас, э? Этакая многоэтажная схема: тело, клеточки мозга, нейроны, а дальше — то, что они называют полевой связью...

— Да и Бог бы с ними, — отозвался озабоченно Вирус. — Нам бы не упустить цель... Не забыть бы, что ищем...

— Это я ещё помню. Исходная точка — «назло». Найдём адрес — там и разберёмся, э?

— Где ты подцепила это «э»? У этого спеца-писателя-переплётчика?

— У него. Вживаюсь.

— Ну так продолжим?

— А ты — куда теперь?

— Надо вселиться в одного человечка...

— Не назовёшь? Сглазить боишься?

— Кивнул бы, да нечем.

Вирусы рассмеялись и расстались.

* * *

Это только со стороны кажется, что в чужом мозгу легко. Я ей рассказываю, а она восклицает: «Благодарю, друг Вирус! Притворяться пустым файлом — это такое неслабое развлечение...» И улетает — притворяться. А вот когда притворится, я бы на неё посмотрел. Если собранную информацию не архивировать, она не запомнится, а если запоминать, тогда какой же ты — «пустой»?! Бедный человек тобой начинает маяться, твои мысли начинает слышать, ты усиливаешь самоконтроль, создаёшь в «пустом» файле что-то вроде скрытого подфайла, к нему нужен пароль... Ну, и так далее. Поневоле поверишь, что пустоты в природе не бывает... Вот сейчас подглядываю изнутри за одним человечком, а его от меня знобит. Впрочем, знобит его не от одного меня. В его мозгу и Отрава притаилась. От двух-то вирусов кого угодно будет знобить. А вирусам — хоть бы что. Одна из них просто подсматривает и подслушивает, а у меня — другая задача. Я хочу суметь кое-что посложнее. Этому спецу-писателю-переплётчику я, может быть, кое-что подскажу незаметно, а от подружки-Отравы утаюсь, «для чистоты эксперимента», как она же выражается.

Этот человек, по-моему, запутался в своих поисках смысла. Или в своих увлечениях. Он сейчас будет творить такое, что и подсказки мои не нужны. Сам додумался до переворота.

Впрочем, без меня всё же не обошлось. Я из подкорки заслал ему в сознание дурной сон, и теперь под этим впечатлением он

творит нечто, на сон похожее. Вернее, уже сотворил, а теперь пытается описать в рассказе, полоумно-фантастическом?

* * *

Что-то меня знобит. С недосыпу, что ли?.. Такого ещё не бывало. Иногда сны записывал, а теперь вот сон меня разбудил, тут же забылся, но осталось премемерзкое ощущение, что надо как-то изменить свой собственный мир. И я его изменил. И сейчас опишу в третьем лице, будто не о себе. Может, что-нибудь пойму, тогда и полегчает.

«ИМЯ АВТОРА

Поучительная история

Стояло позднее воскресное утро.

Кабинет писателя напоминал отсек подводной лодки.

Это была узкая комната с окном в одном конце и дверью напротив. Под окном всю стену занимал раздвижной обеденный стол, который перекочевал сюда из большой комнаты. Там за ним когда-то пировали весёлые компании, но потом писатель и его жена состарились, их дети разъехались, друзья поумирали, и пировать стало некому. Место большого стола занял маленький, журнальный — лишь бы попить вдвоём чаю перед телевизором да сыграть в нарды или в шахматы.

Однако ни на телевизор, ни на игры выделять много времени писатель не мог. Он всю жизнь готовил себя к активной старости, и вот она наступила и не позволяла терять впустую остаток жизни, утекающей всё быстрее. Выиграв первую партию и проиграв вторую, он говорил жене: «Игра есть развлечение работяги и страсть лодыря». И отправлялся в свою комнату, которую по писательским правилам надо называть кабинетом. Сам он называл её мастерской, а жена — подводной лодкой.

Ему нравилось, что она так называет его мастерскую. Это напоминало тот боевой корабль, на котором он в молодости служил. Проходя между книжными стеллажами и шкафами к своему столу, он чувствовал себя надёжно, как будто по бокам были не хрупкие кирпичные стены, а толстая выпуклая броня прочного корпуса, которая не боится сокрушительных глубинных давлений. И не столярный верстачок был втиснут меж двумя шкафами, а монтажный столик с хитрой морской электроникой. Не пишущая машинка была накрыта красным клеёнчатый чехлом, а аппарат подводной связи. Не переплётный пресс висел на гвозде, а

секстан. Не столярный угольник соседствовал с прессом, а шагающая штурманская линейка. Не карта Томской области заменяла ковёр над самодельным жёстким топчаном, а секретная схема охраняемой акватории. И не топчан это был вовсе, а флотский рундук, покрытый не спальным мешком поверх сложенной брезентовой палатки, а флотским матрасом, набитым для плавучести пробковой крошкой. Только боксёрская груша, побитая и потёртая до бесцветия, была та самая. Он получил её в детстве как приз за победу на ринге и возил с собой повсюду. Внутренний мешочек он набивал горохом, вмещалось ровно шесть кило. А когда приходилось переезжать далеко, высыпал горох и заталкивал пустой снаряд в рюкзак. Теперь этот старенький рюкзак стоял на своей раме у стеллажа. В нём помещался берестяной короб для грибов да совочек с граблями для сбора черники. А когда-то в нём побывали и живая камчатская чавыча величиной с хорошую акулу, и акваланг, и горные трикони с ледорубом, и репортёрский магнитофон с фотоаппаратом, и стартовый завтрак парашютного звена. И множество, множество книг перебивало в этом рюкзаке, прежде чем попасть в шкафы и на стеллажи.

Поначалу, когда ещё не занялся писательством, он собирал книги художественные. Первым, ещё в раннем детстве, ему в руки попал забытый кем-то из гостей том Джека Лондона. И он до сих пор знал наизусть рассказ про боксёра-мексиканца, который преуспевал в им самим презираемой профессии. Следующий рассказ — о любви к жизни — он тоже знал наизусть и даже испытал судьбу его героя на себе. Вторым был томик Михаила Лермонтова, и он особенно любил в нём стихотворение про умирающего гладиатора, чьи колена скользят во прахе и крови. На обоих этих томах — к счастью будущего писателя — было невзрачное название «Избранное». Поэтому он и обратил внимание на фамилии авторов, хорошо их запомнил и всегда им радовался, встречая на полке магазина или в чьём-нибудь шкафу. За свою длинную жизнь он окружил себя множеством таких друзей. Среди них были соотечественники: Пушкин, трое Толстых, Анчаров, Высоцкий, Булгаков, Некрасовы, Курочкины, Стругацкие, Колупаев, Куваев — несколько полок интереснейшей, настоящей художественной литературы. Не меньше места занимали иностранцы: Хемингуэй, Мелвилл, Кафка, Гёте, Грин, Мериме, Гюго, Акутагава — все в переводах, потому что писатель не знал иностранных языков. Но то были лучшие российские переводчики: Кашкин, Маршак, Пастернак, Чуковский, Бернштейн, Фельдман, Стругацкий...

Как в театре или в кино зрители ищут имена любимых артистов на афишах, так этот наш герой собирал книги любимых авто-

ров. Он довольно рано понял, что может жить только писателем, и всю жизнь себя к этой трудной работе готовил.

Прежде всего, думал он, надо прочесть всех лучших авторов, чтобы самому писать не так, как они. Иначе будут говорить — подражатель, эпигон. И он читал запоем. Соблюдая, впрочем, гигиену, чтобы до срока не испортить глаза.

Далее, думал он, нужен собственный жизненный опыт, чтобы лучше всех знать, о чём пишешь. И он учился в разных институтах, жил в разных краях, работал на самых разных производствах и овладел таким множеством профессий, что мог бы запросто составить какой-нибудь «Справочник строителя», «Справочник рыбака» или электрика, слесаря, столяра, журналиста, шофёра, водолаза, лесозаготовителя и множество других. Но все эти справочники уже были составлены и все имелись у него на полках, чтобы сверять с ними собственную память, когда сочиняешь художественные произведения.

Он сочинял всегда: и в институтах после занятий, и на заводах после работы, и в экспедициях, и даже в отпусках. Он не мог не сочинять. Он говорил, что писателем, как и любым другим специалистом, надо родиться, пораньше открыть и развить в себе дар, тогда проживёшь отпущенные природой годы не зря, а перед уходом не будешь ни о чём жалеть. Он говорил: «Художник, писатель — это не профессия, это образ жизни». И писал даже в трамвае, в аэропорту или на вокзале, подставив под тетрадь колено.

Сначала это были рассказы. Такие маленькие, что он предлагал их в газеты. Иногда принимали, иногда публиковали. Вместе с опытом рассказы увеличивались и перестали помещаться в газетах. Он начал рассылать их в сибирские журналы, и, если там оказывалось место между романами известных мастеров, ему выделяли одну-две-три странички. Он никогда не гордился этими успехами и на поздравления друзей отвечал шуткой: «Моими сочинениями удобно затыкать мелкие прорехи в мировом литературном процессе».

Однажды толстый журнал легко и даже внезапно принял его небольшую повесть: она оказалась злободневной в самом начале эпохи больших перемен. Он сделал из этой повести киносценарий и отправил в Москву. Но ответа не получил. Это было привычно: он уже много раз не получал ответов из Москвы, а из Питера вежливо и однообразно писали: «Сибирь не входит в наш Северо-Западный регион», хотя и издавали более известных сибирских авторов.

Он не убивался по поводу поражений. Даже не расстраивался. И говорил такое, чему верила, может быть, только жена: «Неког-

да тратить время на обивание порогов. Надо писать, пока пишется, а продавать будем потом». Она по нардам и шахматам знала, что для него процесс важнее результата. Получая от неё мат, он никогда не огорчился и не требовал реванша. И всегда уговаривал её не злиться, если слишком часто выигрывал сам. И снова напоминал анекдот про мужа-профессора: «Важен не результат, а метод поиска». Чтобы поверить в это такое анекдотическое равнодушие к проигрышам, жене потребовались годы. О друзьях нечего и говорить: они считали его неудачником и от души жалели. Его сочинения они хвалили тоже от души, но на то и друзья...

Он долго писал реалистические рассказы, но однажды проснулся на своём самодельном топчане с ощущением, что этого мало. (Его всегда осеяло по утрам, перед пробуждением.) Он подумал: «Зачем людям читать реализм, если его полно за окном?». И взялся за фантастику. И у него получилось. Романы стали принимать и готовить к печати. Но фантастически неожиданная напасть и тут перекрыла ему дорогу.

Первый, самый любимый роман «Беспорядок» был принят по очереди в четыре издательства. И все они, начав подготовку роковой рукописи, впадали в кому и закрывались. Трижды выбрасывались гранки, наборы, иллюстрации, а непроходимая рукопись возвращалась к автору, вся размеченная синим редакторским карандашом. В последнем издательстве приняли даже все три его романа, но успели-сумели издать только первую книгу самого любимого, рокового, и тоже обрушились.

Писатель не терял присутствия духа и в своих дневниках продолжал фиксировать повороты судьбы. Он научился этому ещё в детстве — отмечать моменты, когда жизнь, а значит, и судьба может круто измениться. Его дневники хранили такие моменты, когда он мог, например, стать профессиональным военным, но отказался; когда была возможность хорошо и на всю жизнь устроиться в журналистике, в милиции, в педагогике, в науке... Но он уходил от распахнутых дверей, которые вели к рекордным вершинам профессий, точно так же, как в молодости менял виды спорта, едва превысив средний уровень. Всё достижимое быстро приедалось, а в литературе вершину было просто невозможно разглядеть, и он ломился и ломился в чуть приоткрытую щёлку под воротами в писательство, но после каждой попытки оказывалось, что они открываются не в ту сторону.

В четвёртом издательстве ему предложили: получить гонорар деньгами после продажи всего тиража или взять сразу — книгами. Он с удовольствием выбрал второе и начал одаривать рома-

ном всех друзей и знакомых, а одну пачку — больше не взяли — отнёс на продажу в магазин «Букинист».

И тут он почувствовал, что пора окинуть наконец взором положение в отечественном книгоиздании, чтобы присмотреть место в этом процессе и для себя. Он решил выписать из книг адреса всех, какие попадутся, книжных издательств и начать наконец осаду сразу во все стороны: авось какая стена да не устоит.

Чаще всего букинистические магазины бывают небольшими, но этот, самый старей в Сибири, занимал несколько обширных залов с высокими потолками и был поистине похож на книжный храм. Столы и стеллажи занимали всё мыслимое пространство, и каждая книга была настолько доступна посетителю, чтобы не просить продавца: «Покажите». Сам подходи и листай.

Писатель несколько часов выписывал адреса издательств и просто листал книги великих и невеликих авторов, приветствуя друзей, радуясь открытиям, досадуя над яркими дорогими поделками с голыми вооружёнными красотками на обложках, разящими окровавленных вампиров среди глянцевого космической тьмы. Когда добрался до конца экспозиции, он окончательно уверился, что его книжкам здесь делать нечего: среди великих авторов его не заметят, а среди халтурщиков — не выберут. Рынок переполнен. Чтобы тебя купили, надо быть знаменитым, а чтобы стать знаменитым, надо быть покупаемым.

Но он не мог бросить своё дело. Он зверел, как наркоман, если не писал, и жена сама начинала делать намёки и предлагать сюжеты. Его жена была мученицей его литературных исканий, она вынесла с ним все путешествия и приключения, всю бедность и неустроенность, и он ей доверял. Он должен был найти свою тему и своего читателя.

В конце необъятной экспозиции для взрослых всего один стеллаж — и то скромный — занимали книги для детей. Совсем немного знакомых имён — Несбит, Перро, братья Гримм, Родари, Андерсен, Киплинг, Экзюпери, Линдгрэн, Уайльд — все иностранцы. Совсем немного разных сборников народных сказок и почти нет российских авторов. Он понял: эти книги не покидают своих домов, их не сдают букинистам, а передают от старших детей к младшим или дарят чужим малышам. Книги для детей — высший пилотаж литературы.

Он внимательно перебрал на стеллаже все детские книги. Он не признавался себе, что тайком ищет голубой корешок той единственной детской повести-сказки, которую написал для сына и легко издал в Томске, с яркими, весёлыми иллюстрациями. Это было давным-давно. Сказка понравилась детям, весь ти-

раж был раскуплен в области мгновенно. Долго приглашали на читательские конференции в школах. Совсем недавно в одном классе сразу трое ребят заулыбались ему, как родному, и сообщили, что прочли и хранят эту книгу, только не запомнили фамилию автора, ах, как приятно.

Спросили, где сейчас можно книгу купить. Он ответил, что больше её не издавали.

— А почему?

— У меня на это нет денег, — ответил он честно, — а ПРОСТО ТАК переиздать никто не решается.

Теперь он стоял в книжном магазине и смеялся над своей глупостью. Зачем писать для взрослых? Ради денег? Не получится, не тот характер. Для взрослых и так пишут все — их ведь надо развлекать. А вот ОНИ, ожидающие тебя читатели, которые найдут, выберут, будут читать и перечитывать твою сказку, потому что она — добрая и смешная. И воспитывает — они сами это говорят. Значит, надо любыми усилиями издать её снова. И написать множество других. Только для детей...

Решающий поход к букинистам состоялся пять лет назад. За это время было написано то самое множество новых сказок, в котором он тогда поклялся перед детским стеллажом. Но выпустить книгу так и не удавалось. Ни самую первую, ни новую. Издатели говорили: «Ищите деньги — издадим с удовольствием». Это были местные. А из больших столичных издательств на его письма просто не отвечали.

Других детских писателей в городе не было, посоветоваться можно было только с теми, которые писали для взрослых. Все они уже нашли себе спонсоров и издавали потихоньку свои взрослые книги в своём городе. Один из этих писателей объяснил, что сейчас в издательствах никто писем не читает, их бросают в корзину не вскрывая. Почему? Потому что солидные авторы предлагают свои солидные сочинения через сеть Интернета (было сказано просто — «Сеть»), а для этого надо купить компьютер, перепечатать (было сказано — «перегнать») сказки на дискету и через Сеть передать их (было сказано — «сбросить») на обозрение всем издателям. Надо лишь завести в Интернете свой раздел (было сказано — «сайт»). Сказочник не имел средств на покупку персонального компьютера, на содержание принтера и участие в Интернете. Они с женой всегда жили от зарплаты до зарплаты, а последние несколько лет — от пенсии до пенсии. Он увидел себя в тупике, из которого без посторонней помощи не выйти.

От детей помощи ждать не приходилось — это ведь были их дети.

Он попытался найти фирму, которая оплатила бы его расходы на издание сказок. Он предлагал верное дело: «Книгу быстро раскупят, и ваши деньги вернутся». Но ему не верили: «Сказок полно, детских книг навалом, они дорогие — кто купит?». Бизнес не поддавался убеждению, да писатель и не любил убеждать. То, что было очевидным для него, казалось очевидным для всех — в чём же убеждать?

И вот настало то самое воскресное утро, о котором идёт рассказ.

Писатель заставил себя сделать утреннюю разминку, попил чаю и вошёл в свою мастерскую-кабинет-подводную лодку. Жена ещё спала, её телевизор не мешал думать. Только оконное стекло дребезжало от ровного, привычного автомобильного гула. Молчали книжные корешки на полках. Он всегда считал их друзьями, а оказалось, что им безразлично, кому принадлежать. Он всю прошедшую ночь пытался найти в них уже не ответы, а хотя бы один совет: как не утонуть бывшему водолазу в этом океане равнодушного молчания. Не добился ни ответов, ни советов. Молчали и собственные рукописи — целая полка обыкновенных картонных папок, никуда не пристроенных подарков Человечеству.

Всё оказалось напрасно. И мысли, которые он скопил, и мастерство, с которым их выстроил. Не хватало там чего-то ещё. Цемента в кирпичной кладке. Таланта? Везения? Связей? Теперь это не имело значения.

— Досадно, — пробормотал писатель. — Делал всё честно, как разумел: чтоб было и смешно, и страшно, чтоб не было вранья и чтоб была в подтексте пища для подсознания... Чем-то обидела меня Природа. Или я — Её...

Окно продолжало дребезжать. Он распахнул его и швырнул в утреннюю сырость тетрадь с недописанной повестью. Со второго этажа она должна была перелететь тротуар и никого не задеть.

Следом за тетрадью полетели книги с ближайших полок. Он брал их небольшими пачками, чтобы через стол и подоконник бросать подальше, на травку под берёзами.

Он вовсе не думал об их дальнейшей судьбе. Выберет ли какой-нибудь простак что-нибудь для чтения на досуге или отнесёт кто-то практичный букинистам — совершенно не важно. Важно, что сам он к букинистам не пойдёт. Деньги на книги потрачены, но ими оплачены знания, впечатления, а раз эти знания и впечатления не пригодились, то не нужны и деньги — нечего больше на них купить в ненужной, бессмысленной жизни.

Казалось, он швырял книги бесконечно долго, но когда посмотрел на часы, увидел, что ушло на всю работу около пятнадца-

ти минут. Так он и запишет в дневнике. Только сначала выбросит рукописи.

Папки улетели за окно, он закрепил дребезгучее стекло гвоздиком и захлопнул раму. Вниз, на газон, даже не поглядел. Сразу взял дневник — простую школьную тетрадь с трёхзначным номером — и сделал запись: поставил число, отметил погоду, обозначил время и написал, что выброшена вся ненужная бумага, оставлены только дневники (как поучение для внуков) и инструменты, потому что их жалко выбрасывать.

Человек, бросивший писательство, оглядел пустую комнату и решил, что на эти полки можно будет ставить берестяные туески, резные блюда, солонки, пряничные доски, шкатулки, игрушки — всё, что он теперь изготовит и будет раздаривать внукам, детям и их друзьям. Пока не оставит этот неинтересный мир. И пусть Человечество выкручивается как хочет..

Он зря не посмотрел за окно, на свои выброшенные книги и рукописи. Их быстро собирали дети, у которых был как раз выходной день. Кто-то сбегал за тележкой, другие принесли сумки и рюкзаки, и ещё до обеда на газоне было пусто и чисто, начавшемуся дождю ничего не удалось испортить.

Назавтра был понедельник. После занятий юные спасители книг и рукописей сдали свою добычу в макулатуру и на вырученные деньги собрались закупить сладостей. Но по дороге им попался старичок, разложивший прямо на тротуаре, на коврик, старые книги. Среди них была стопка чудом завалившихся у него книжек с голубым корешком. Одна из девочек остановилась: «Ой, смотрите! Та самая сказка, что досталась мне от старшей сестры, а кто-то из вас же и зачитал! Давайте покупайте новую, сохраню её для своих будущих детей!».

Вся стопка книжек с голубым корешком была тут же куплена по дешёвке, и ещё остались деньги на сладости.

Если бы предприимчивые дети сравнили имя автора на сданных в макулатуру рукописях и на обложке этой книги, они были бы обескуражены и постарались бы спасти папки. Но они запомнили только названия книг».

Отрава весело подумала:

— Автор перечитал рассказ и засмеялся: полегчало. И ничего не пришлось выбрасывать. Просто утолил фантазию.

Вирус тоже рассмеялся: он знал по опыту, что такое его поведение не помешает наблюдаемому. Он чувствовал также, что его смех услышит Отрава и сразу обнаружит вероломного друга, пробравшегося в её владения.

Отрава тут же объявилась. Она имела забавный вид взъерошенного пустого файла и тоже хохотала.

— Бежим отсюда, — позвала, — человек переутомился, ему надо прикорнуть.

На свободе предложила:

— Обсудим это сразу.

— Работать в паре — хорошо, — сразу заявил Вирус.

— Только не скрываться друг от друга.

— Не обижайся. Я просто хотел убедиться, что друг для друга мы можем быть незаметными.

— Убедился? Больше так не делай. Это — неудобно.

— О! Хорошее слово! Как по-твоему, «уют» лучше «комфорта»?

— Я уже знаю по-английски, — сообщила Отрава. — Ихний «комфорт» — просторнее нашего «уюта», но для моей женской сущности уют как-то ближе...

— Домашненькая ты моя, — пробормотал растроганный Вирус. — Прости. Больше от тебя — никаких секретов. А то ведь сотрёшь под горячую руку...

Вот на таком полуслове приходится сказку заканчивать.

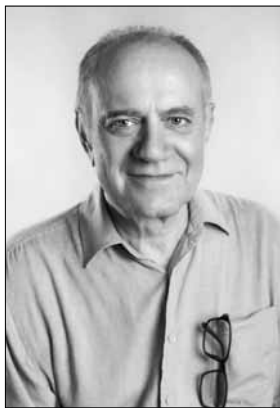
Как мы убедились, не всё в Природе (на свете и во тьме) так хорошо, как нам хочется, и не всё так уж худо, как нам кажется.

Впрочем, совершенно очевидно, что сказочно правдивая история о сложных вирусах и простых людях очень даже не закончена.

История вообще не может быть закончена. Но об этом — уже совсем другие истории.

Николай
ИГНАТЕНКО

Стихотворения



Николай Алексеевич ИГНАТЕНКО

Игнатенко Николай Алексеевич родился 19 декабря 1946 года в городе Прокопьевске Кемеровской области. Закончил Томский университет и аспирантуру. Кандидат физико-математических наук, доцент. Член Союза писателей России. Автор восьми поэтических сборников, изданных в Томске, Новосибирске, Москве. Печатался в Новосибирске, Кемерове, Алма-Ате, Свердловске, а также в Филадельфии и Чикаго (США). Живёт в Томске.

*Из сборника
«Три возраста любви»
Томск, 1995*

* * *

Апрельский авитаминоз.
Желанье спать, желанье выпить.
И рвутся тоненькие нити,
которыми к тебе прирос.

И боли нет. Анестезию
дарует друг мой – алкоголь.
А если чувствуется боль,
то только разве – за Россию.

* * *

Мне грустно без тебя. Две мухи за стеклом
оконным завершают суетливость.
Берёзы пожелтели. За окном
стоит сентябрь, нагоняя сырость.

Не радует багряных лоскутов
шитьё его торжественной одежды.
Вернулись дураки из отпусков,
и в воздухе полным-полно надежды.

Им не понять, что осень – это смерть
того, что началось, но не свершилось.
Как в это время хочется уметь
не ощущать в своих плечах бескрылость!

А взмыть за теми, что летят на юг,
курлыкая, подальше от печали,
не зная, сколько доставляет мук
нелепая крылатость за плечами.

Темнеет. Мухи на моём стекле
умаялись, остановившись сами.
Мне грустно без тебя не на Земле,
а в небе, улетаая с журавлями...

* * *

В кругу друзей прошедшим летом
мне стала истина ясна:
поэты пишут для поэтов,
но им сочувствует страна...

* * *

Восточный профиль.
Каряя смешинка,
не уставая, мечется в глазах.
Но русский стон
и лёгкая заминка,
когда вдвоём,
и будто в пропасть – «Ах!».

И пламя, буря, полная беспутства,
потеря лиц, рождение естества,
когда любви высокое искусство
даётся сразу. Миновав слова.

И голод. Первобытный, полузверский.
И хлеб с вином – он возвращает свет.
Раздвинь, поэт, на окнах занавески,
взгляни на эту женщину, поэт!

Восточный профиль. С лёгкой поволокой
глаза в моих купаются глазах.
И луч звезды холодной и далёкой,
в них исчезает –
словно тайный знак.

* * *

Как труден поединок мой с тобой,
замешанный на страсти поединок.
И в споре между жизнью и судьбой
мы не дошли ещё до середины.

Я не могу тебя перебороть!
Неужто так нужна тебе победа,
когда скулит нетронутая плоть
ночами, как собака у соседа?

Зачем слова? Пройти бы, обнявшись,
от Лагерного вниз и до Горсада,
осознавая, как прекрасна жизнь,
и что бороться – не за что. Не надо.

* * *

Томь-река. Только снег да снег.
В обе стороны снег без края.
Да ещё одинокий след
к середине реки петляет.

Там зачем-то пробили лёд,
чёрным глазом мигает прорубь,
заораживает, зовёт
сквозь ресниц ледяную прорезь.

Не зови! Подо льдом струясь,
ты, река, подожди до лета.
Вдоль тебя, сколько видит глаз,
никого в обе стороны нету.

И вот так до весны, не спеша,
ты, река, одиночество сеешь.
А живая твоя душа
подо льдом уплывает на север.

* * *

Да что вы все: «Что делать? Быть – не быть?».
Вопросы праздны, не точны ответы.
Представьте: срок, оставшийся прожить, –
на три затяжки крепкой сигареты.

Какой вопрос, да и какой ответ
в такой момент покажутся уместны?
Порог, который сменит белый свет,
молчит. Его ответы неизвестны.

Так что ж вы все: что делать? Быть – не быть?
Представьте три последние затяжки...
Не осуждайте тех, что будут жить,
ища ответ на дне заветной фляжки.

* * *

Любимая, далёкая, смешная!
Ты чувствуешь волшебные толчки
в своей душе?
Беспечно напевая,
хрустальные наденешь башмачки.

Как быстро зимний вечер наступает,
закат его сочувственен и ал.
Я старый принц.
Отчаянно скучая,
с утра карету за тобой послал.

Я жду тебя среди толпы придворных.
Ах, кони-кони, бег ваш слишком тих!
Но где возьмёшь таких коней проворных,
чтобы в один тебя домчали миг?

Где взять коней, как утолить желанье,
чтобы его навеки утолить?
Я жду тебя, предчувствуя прощанье,
которое последним может быть.

А бал шумит, а музыка играет,
как будто это главное теперь,
не слышит, как карета подъезжает,
как скрипнула внизу входная дверь...

Любимая, далёкая, смешная!
Зеленоглазый юный дурачок!
В который раз на память, убегая,
оставишь мне хрустальный башмачок.

* * *

О Господи! Как долго длится день!
Боль нетерпенья разрывает темя.
Я вижу, как моя исчезла тень,
мир замер, – в нём исчезло время.

Я – ожиданье. Ждать – мой вечный крест:
от сердца – предпоследних содроганий,
тебя – из очень отдалённых мест
и от веселья редкого – рыданий.

Какого чёрта долго длится день!
Зачем во мне остановилось время?
Вернись, моя утраченная тень,
исчезни – то, что разрывает темя!

Я всех прощу. Я буду тихо жить,
не говоря, не злясь и не мешая.
Я, ожидая, так устал любить,
но как любить, совсем не ожидая?

* * *

Не будем ссориться! Давай считать до ста,
хоть я для утешенья мало годен.
Я для поэта неприлично стар,
я для поэта слишком старомоден.

Слова, слова... Убыток дней моих,
моей души не леченная рана.
А хорошо бы – домик на двоих,
но это или поздно, или рано...

Но всё равно я мысленно несу
себя по снегу в девственных сугробах,
и веточкой, подобранной в лесу,
пишу на них: «Несчастливы мы оба».

И для Вселенной вряд ли мы – товар,
торгуя нами, понесёшь убытки.
Я для поэта неприлично стар,
и не пора ли собирать пожитки?

* * *

День прошёл: ни хорош, ни плох.
Сколько их пройдёт чередой?
Мой любимый, мой юный бог,
что же сделала ты со мной?

Злюсь, что я, как и все вокруг,
для тебя на одно лицо:
не отмеченный знаком друг,
не товарищ, в конце концов...

Я старался тебя постичь –
Бог свидетель! Хотел увлечь,
направляя тебя, как дичь,
в западни подстроенных встреч.

Ты уходишь. Твои глаза,
слава богу, уже не видны.
Лишь – надменность твоей спины,
как признание моей вины.

Мне знакомый хакер Петров
поскорее бы в памяти стёр
скрип по снегу твоих шагов,
отзвучавших, как приговор.

Но – всегда ненавидел июнь.
Я не буду сходить с ума,
потому что придёт июнь,
потому что уйдёт зима.

И по коже сладкий мороз,
когда тронешь тебя, – пройдёт.
За тебя поднимаю тост.
Скоро всё-таки Новый год.

г. Томск, 1964, абитура

Закат упёрся мне в стекло,
но ты не появилась,
и всё, что быть у нас могло,
увы, – не совершилось.

И много ли тому причин,
или одна причина?..
Я снова буду жить один,
как праведный мужчина.

Я лягу, потушу свой свет,
усну без снов, как птица.
Когда-то общий наш рассвет
пусть в окна не стучится!

Я не проснусь. И пусть восток
алеет цветом редким,
душа – уставший мой зверёк –
пусть спит спокойно в клетке.

И будет тихая Земля
стареть под тихим небом,
а с ней мой дом, моя скамья
и стол с насущным хлебом.

* * *

Мы ссоримся, и ссорам нет конца.
Я низведён до рефлекторной жилки,
когда волна удушья от лица
идёт к руке и к сжатой крепко вилке.

И хочется вонзить её в себя,
себя казнить за то, что жизнь такую
устроил, ненавидя и любя,
мирясь, скандаля, мучаясь, ревнуя,

желая монастырской тишины
среди раскатов вызванного грома
и зная, что не создан для войны,
а создан, как ленивый кот, для дома.

Но почему же ссорам нет конца?
Измученный сомненьями, не знаю.
Как бред, отхлынет краска от лица,
и в кресле кот уже мостится с краю.

* * *

Прости, что я с тобою говорю словами,
в которых смысл совсем не тайных чувств.
Как жаль, что не с тобой парю под облаками,
пригублен твой бокал, а мой давно уж пуст.

Как горек вкус вина! И счастьем ли вскипела
в душе моей влюблённости волна?
Не знаю я. Да разве в этом дело?
Мне просто жаль очнуться ото сна,

где мы с тобой – не нищий и богатый,
а ты – не милостынею издалека...
Во мне живёт предчувствие утраты,
как мудрость – утешенье старика.

Любимая! Я был, и даже буду –
преступно рад – искать с тобою встреч,
но чувств моих восторженную грудь
я, умудрённый, постараюсь сжечь.

И у костра того, раскинув руки,
погреюсь, лёжа, на небо взгляну,
куда, смолкая, удалятся звуки,
а взгляд замрёт, уткнувшись в вышину.

О, как прекрасно там, под облаками,
от сладости паденья замирать...
И можно обо всём сказать словами,
и обо всём на свете промолчать.

* * *

Я в городе чужом.
Я в нём совсем один.
Тебя здесь нет, и есть ли ты на свете?
Мне кажется уже: я твой заблудший сын,
пропавший, как твои другие дети.

Ты помнишь тех, кто обладал тобой,
тебя любил и был тобой обласкан?
А я вот помню тех, кто за спиной, –
ушедших женщин, милых и прекрасных.

Я предал их, чтобы в который раз
с единственной с тобой – одной навеки...
Как будто время не коснётся нас
и не смежит распахнутые веки.

Представьте, мне не страшно умереть!
Я жил как жил, я был большой проказник.
В конце дороги поджидает смерть,
как самый яркий и последний праздник.

О, женщины, любившие меня!
Услышав медных труб аккорд печальный,
зажгите свечи посередине дня
и выпейте бокал вина прощальный...

Я в городе чужом. Замёрзшее стекло.
Я лбом своим давно протаял дырку.
На доме вижу мутное число,
как строчку под последнюю копирку.

* * *

Придавила крылья осени
снегом ранняя зима.
Ты совсем меня забросила,
одинокая сама.

На работу ходишь, в гости ли –
твой тебе начертан путь.
Я хотел на крыльях осени
улететь куда-нибудь...

* * *

Бесконечная, вечная, снежная
никогда не уйдёт зима.
Не любимая бы, не нежная, –
я б, наверно, сошёл с ума.

* * *

Эта ночь! Ни дыханья, ни робкого ветра,
только шорох листвы, только ритмы любви.
В темноте потолок подпираю глазами, а где-то
люди шепчут слова и, возможно, мои.

Эта ночь! Чёрной кистью я белые звёзды рисую,
то очнувшись, то снова упав в бесконечные сны,
Я сегодня мечтатель, сегодня я сладко тоскую,
свесив ноги с обрыва ночной тишины.

Эта ночь! Раздающая ночь уходящего лета
непросохшие звёзды любимым моим.
Эта ночь перестала быть ночью поэта,
потому что он умер, раздав свои звёзды другим.

ФЕТУ

*Кто не в состоянии броситься
с седьмого этажа вниз головой с
непоколебимой уверенностью, что
он воспарит по воздуху, тот не лирик.*

А. Фет

Покуда взгляд меж строчек не увяз,
я Вам пишу, доверившись бумаге,
и у судьбы прошу в который раз
для мыслей – сил, а для души – отваги.

Мне надоели вскрики неудач,
мне надоела невезенья слякоть.
Теперь, когда я слышу чей-то плач,
хочу помочь, но не в ответ заплакать.

Юродивым мечусь среди столбов,
пытаюсь прыгнуть выше старой мысли,
чтобы душа, коснувшись проводов,
рождала звёзды, рассыпала искры.

Поэт ли я? Стремление моё –
не блажь и не прикрытие бессилья.
Из стратосферы падая в жнивье,
я верю, что судьба подарит крылья!

Когда б вы жили, Афанасий Фет,
я б вам поставил две бутылки водки
за то, что я – лирический поэт,
и не последний – где-то посередке.

Но так ли важно, кто я есть. Зачем
во мне сильней свирепствуют вопросы,
как кто-то пьяный на моём плече
мундштук слюнявит вечной папиросы.

Мне только-только приоткрылась дверь,
откуда, как морозом, тянет вечность,
куда уйдёт густая дрожь потерь
и праздников весёлая беспечность.

А буду я в аду или в раю...
В раю я непременно встречу с Вами.
Надменно водку отстранив мою,
стихи зашепчете мне мёртвыми устами...

* * *

У меня за окном – лес.
У тебя за окном – дом.
Ты живёшь к перемене мест.
Я живу за своим окном.

У тебя в глазах – чёрная даль,
у меня в глазах – синяя стынь.
Каждый день я несу тебе дань,
ты – свою дорожную пыль.

У тебя в квартире – тишь,
у меня в моём доме – допрос.
И, когда ты уже спишь,
я всё тру свой разбитый нос.

У тебя на стене нет
из прошлого строгих лиц.
А мне из форточки свет
советует: «Помолись».

Ладно, пусть я – дурак,
и жизнь моя кувырком,
но что-то в мире не так,
и твой дом и мой не дом.

У тебя за окном – день,
у меня за окном – ночь.
Мне скажет: «Ты стал как тень», –
моя, но не наша, дочь.

* * *

Стихи не могут быть не о любви!
Поэзия, распутная бабёнка,
раскинув бёдра жаркие свои,
к себе прижмёт почти ещё ребёнка.

И не отпустит больше никогда,
заставив на алтарь твоей надежды
нетронутые застилать одежды
и совершать на них восторг стыда.

И вот тогда тебя, раба её,
приколет бабочкою к строчкам, как к неволе,
трепещущей от сладкой вечной боли,
поэзии стальное остриё.

*Из сборника «Переход на осеннее время»
(Новосибирск, 1997)*

* * *

Ты сама звонить перестала.
Гордость, что ли, изгрызла душу?
На звонки с каждым разом всё суше
отвечает твой голос усталый.

Скоро полностью он растает
И, твою не затронув память,
я нелепо взмахну руками –
сон приснившийся так исчезает

из сознания.
Лишь ощущение
остаётся о том, что было.
Ну, а если бы позвонила?
Чьё к кому было бы возвращенье?

Геннадию Прашкевичу

Я живу посредине Остзейских болот,
и со мною журавль одинокий живёт.
Мы живём, одинокие оба,
кто – до осени, кто – до гроба.

Мне отсюда уже никогда не уйти,
потому что не вижу отсюда пути.
Да и надо ль куда-то стремиться,
пока рядом со мной моя птица?

Он со мною о жизни прошедшей молчит,
он мой друг, зря не заговорит,
Потому что большое мученье –
слышать слов бесполезных реченье.

Мы не делим болота, тумана, еды,
мы не делим заржавленной этой воды,
ни портретов не делим, ни рамок,
ни любимых не делим, ни самок.

Мы мужчины, мой друг! Нам не надо грустить,
за болотами нам никогда не прожить.
В этом наша простая грамматика,
мой таинственный остров Прибалтика!

Потому и живём средь Остзейских болот,
где любимая сразу от скуки помрёт.
Ждём тихонько, носатые оба,
может, – осени, может, – гроба.

* * *

Я с Вами разговаривал вчера,
а Вы так торопливо отвечали
и так поспешно головой качали,
что я подумал: Вам домой пора?

Зачем домой? Я знаю, это вздор.
Там пусто, как на улице под утро.
Морщинки возле глаз скрывает пудра, –
что скроет одиночества позор?

Не верю, что для Вас – конец уже.
Взгляните, как бы Вы ни отвечали,
в окне увидите: налево от печали
ликует жизнь
на третьем этаже.

* * *

Настанет время, и меня не станет.
Смешную верность больше не храня,
любимая, наплакавшись, обманет
ещё недавно жившего меня.

Я одного мучительно не знаю,
и никому узнать не суждено:
боль от измены там я испытаю
или, увы, мне будет всё равно?

МАЛГОЖАТА

Я вечером закрою ставни
и подниму заздравный тост
за нас с тобою. Православный
закончился Великий пост.

Ясновельможным стать бы паном,
забыть, что русский я поэт,
и чтобы сердцу под жупаном
не говорили польки «нет!».

С тобою, гордой, знать удачи,
с большим искусством делать вид,
что грех, который нам назначен,
Бог католический простит.

Шептать не громче отголоска,
свой ус пушистый теребя:
«Ну коль не Бог, так Матка Боска
простит влюблённую тебя!».

Но я не пан. Дворец мой – хата,
мне остаётся лишь мечтать
и твоё имя – Малгожата –
как заклинанье, повторять.

И вот – цветы дарю, не больше.
И губ твоих искать боюсь.
Ты для меня немножко – Польша,
как я тебе немножко – Русь.

Я болен Речью Посполитой,
как заболел тобой, да жаль,
что, как любовь, во мне разлита
моя славянская печаль.

Вино горчит. Мой гост заздравный –
теперь уже прощальный гост
за нас с тобой, за православный,
вчера закончившийся пост.

* * *

Калитку деревянную открыть,
увидеть дом перед большой рекою
и захлебнуться от желанья быть
на этом свете лишь с одной тобою.

Рука в руке войти, как в божий храм,
во двор, заросший низкою травюю.
Навстречу тихо выйдет вечность к нам
благословить бесплотною рукою.

А вечером у берега реки
скамейка встретит деревом шершавым.
Закат, огни роняя на пески,
даст волю наконец лучам лукавым.

Его косой стремительный уход
оставит наши взгляды без ответа.
Случайный перережет теплоход
дорожку из оранжевого света.

* * *

А. Богдану

Июньский вечер. На траву
вот-вот опустится прохлада.
Там, где кончается ограда,
я лягу, глядя в синеву.

Потом взгляну из-под руки
как за рекой, лучи скрывая,
закат бесшумно догорает,
роняя в воду огоньки.

А на Оби такая гладь,
как будто кончилось течение,
как будто в данное мгновенье
река решила умирать.

У ивы листья вороша,
вдруг воздух двинется в дорогу.
Наверно, это рвётся к Богу
реки бессмертная душа.

* * *

Ты меня чересчур не разгадывай
и сама мне загадку будь,
и в глаза мои так не заглядывай:
вдруг отыщется там что-нибудь?

Слышишь? Где-то тихонько пиликают,
пряча в звуках печаль бытия...
Ты и горе моё превеликое,
и огромная радость моя.

Радость – встречи с тобою греховные,
горе – скорый конец наших встреч.
Никакие утехи любовные
от разлуки не могут сберечь.

Мудрых слов моих старые глупости
остановит улыбка твоя.
И прошепчет «прощай» твоей юности
подступившая зрелость моя.

* * *

Немалой толикой труда
я вырвал встречи обещанье.
Прощанье,
если навсегда,
наверное, и есть прощанье.

Прощай!
Что толку говорить –
тебя вот-вот похитят двери.

Твой взгляд не мне уже ловить,
мне только верить и не верить,
что вплоть до Страшного суда
тобой даровано прощенье.

Прощенье,
если навсегда,
наверное, и есть забвенье.

* * *

Ты говоришь, а я терплю
обидных слов тугую жесть.
Дай силы, Бога я молю,
не показать, что я люблю,
забыть, что ты на свете есть!

Спокойно встать. Сказать – прости.
Уйти, не встретив взглядом взгляд.
Упасть от горя, но ползти,
скулить, но силы обрести
ни разу не взглянуть назад.

* * *

Листай, листай свои календари!
Ты вычитаешь в них про неизбежность
того, что дни закончатся мои,
и я уйду в небытия безбрежность.

Вселенная мне будет, будто дом,
все звёзды станут близкими, как Солнце,
и люди, что уснули вечным сном,
родными – от зулуса до японца.

Представь такую вечность бытия!
Подарком Бога смерть приняв такую,
среди планет и звёзд бессмертный я
там о тебе, оставленной, тоскую...

А мне б листать с тобой календари,
не знать, что время утекает в вечность,
и проживать даруемые дни,
испытывая разве что беспечность.

* * *

Храни Господь любимую тебя!
Во всех строках, написанных доселе
я лишь любил, но, искренне любя,
я подбирался к сути еле-еле.

Всё потому, что нет такой судьбы,
в которой все начертаны удачи.
Но через верх высокой городьбы
я подсмотрел, что у тебя – иначе.

Ты будешь жить, не ощущая стрел,
которые в тебя чужая жизнь вонзает,
а собственная жизнь всё забывает,
что я когда-то жить с тобой хотел...

*Из сборника «Приворотное зелье»
(Москва, «Современный писатель», 1998)*

* * *

Молчи, мой стыд! Мне надо подойти
к последней грани, где за ней – безумство.
Любимая! Прими, пойми, прости
последний взрыв изношенного чувства!

Молчи, душа! Дай телу вознестись,
в высокой страсти породниться с высью.
Как рад, любимая, что я не предал жизнь!
И знаю, что не буду предан жизнью.

Молчите все! Любая страсть пройдёт,
скользнёт любая радость за ворота,
но миг, который нас двоих взорвёт,
растянем, как божественное что-то.

И замолчим! Как будто бы навек.
Попросит каждый, чтобы вечерами
когда-то им любимый человек
не приходил в измученную память.

Умри, мой стыд! Я всю хотел пройти
дорогу чувств, с восхода до заката.

И вот прошёл..
Любимая, прости
за то, что были счастливы..
Когда-то.

* * *

Мне врать тебе нельзя, мой юный бог!
Я обращён к тебе, как обращён к иконе.
Хорош я для тебя иль безнадёжно плох,
я до сих пор как следует не понял.

А юность много ль радости даёт?
А зрелость много счастья доставляет?
Кого из нас двоих удача ждёт?
Кто в облаках из нас двоих витает?

Про нас с тобою врут календари!
Я возраст свой, поверишь ли, не знаю.
Стихи мои – мой запоздалый крик, –
как листья с дерева осеннего, слетают.

Наверно, нам не быть уже вдвоём,
не ощущая лет моих отравы.
К тебе я, как к иконе, обращён.
Чего я жду – удачи, счастья, славы?

* * *

Который год ты рядом и не рядом,
который год мы вместе и поврозь.
Нам, кроме нас, едва ль кого-то надо,
а вот поди ж – живём, хоть не сбылось...

Глаза твои – агатовые дольки –
не плачьте, потонув среди гримас!
На людях мы – знакомые и только.
Наедине – нет в мире ближе нас.

Любовники! То нежные, то злые,
несчастные счастливые зверьки,
то дикие, а то совсем ручные,
доверчиво берущие с руки.

Но почему живём мы в разных клетках,
свои две жизни не связав в одну,
а счастье, в сердце вспыхивая редко,
горчит, как будто чувствует вину?..

* * *

Ну где найти тебя? Или такую?
Зачем мелькнула ты в моей судьбе,
что я собакой брошенной тоскую
по жутко недолюбленной тебе.

Кто знает, может, поделом досталось...
И те, недолюбившие меня,
к тоске впридачу мне накличат старость
и холод сердца около огня.

И закричись, но не найти такую.
Неужто ты последняя в судьбе?
Но, может, я не о тебе тоскую,
а о влюблённом молодом себе...

* * *

Ночь.
Навстречу летят и кричат о своём
поезда, как голодные волки.
Мне приснилось прекрасное тело твоё
под качанье вагонной полки.

Грудь твоя,
твой живот,
твой любовный оскал
воспалённого ждали героя...
Встречный бешеный поезд в окно прокричал.
Я проснулся, лишившись покоя.

Я в ночное окно опрокинул глаза:
ты ушла, а с тобою удача,
а с удачей погасла в окошке звезда...
Поезд замер в предчувствии плача.

Мне тебя не вернуть. Я лечу в никуда.
Простыня моя свесилась с полки,
словно флаг поражения. Лишь поезда
мчатся встречу, как голодные волки.

**Из сборника «О свойствах страсти»
(Томск, 2000)**

* * *

Я думал: принадлежность к естеству –
почти что принадлежность к мезозою..
Ты, наконец, одна сейчас со мною,
я есть хочу – тебя,
а не траву.
Я – раптор, тарбозавр, голодный зверь –
божественную плоть твою намерен
дерзать терзать..
Хоть вовсе не уверен,
что одолею нежности барьер...

* * *

Наверное, всё это пустословье,
но как быть понятым помимо слов,
когда ты легкомысленно готов
томление души назвать любовью?

Слова – как ложь.
Как пустота – молчанье.
Какое выбрать из ста тысяч слов
и положить на чашу тех весов,
где с чувством в равновесии сознание?

* * *

Как ни суди, любовь – готовность
сдаваться под её арест
и знать, что неопределённость
и ожидание – вечный крест,
и не гадать о том, что будет,
распутывая узелки времён.

Как я смешон на фоне буден,
как я преступно не влюблён!

* * *

Мои слова написаны не кровью,
соавтор жизни той, которой нет.
Но всё, что совершал я как поэт,
конечно, называется любовью.

Я знаю, сумасшествие моё
и до меня повторено стократно.
Но правда слов настолько ж вероятна,
насколько вероятно их враньё.

* * *

Вчерашних слов убавится весомость.
Угаснут сполохи страстей.
Важна не мысль.
Важна дорога к ней.
Как, например, важней любви – влюблённость.

* * *

Ну разве это повод для печали –
разлука, наступившая внезапно?
Любовь, как жизнь, вершится поэтапно.
Всё дело в ней.
Не мы ль её позвали?

Проходит всё.
Пройдёт и срок разлуки,
и встретимся мы снова, как в начале.
Ну разве это повод для печали –
мои тебя не обнявшие руки?

* * *

Любимая! Ты в возрасте Христа.
Для женщины – не роковая дата.
За то, что ты прекрасна и чиста,
ты столько раз уже была распята!

И воскресала, несмотря на боль,
и поднималась, расправляя плечи,
с глубокой раны стряхивая соль
и повторяя, что ещё не вечер.

* * *

Ну вот и весна!
Дождались и не умерли.
От дрожи предчувствий в груди холодит.
Глазами любимой апрельские сумерки
синют пронзительно впереди.

Прохожих не видно, но самую первую
увидю тебя, мне не долго идти.

А встреча случится.

Я так в это верую,

что это не может

не произойти!

Жить посреди. Как этот путь заманчив!

Жить с краю – тоже способ бытия.

Зачем я вам, когда я неудачлив,

зачем вы мне, когда удачлив я?

Поэтому не посреди, не с краю,

а где-то в измерении другом –

и не живу, а тихо умираю

от счастья жить –

не здесь, не там.

Кругом.

Из сборника «Роща»

(Новосибирск, 2003)

* * *

Не уходи, не рассказав обид!

Смахни с ресниц снежинки, чтобы плакать,

слова свои вонзая в живую мякоть

моей души, которая болит.

Болит, не понимая от чего.

Любимая, и ты – не панацея

от всех гримас судьбы. Тебя жалея,

я зачастую сам лишён всего.

Как это всё не вовремя, не к месту!

Как будто бы признание ни о чём.

Я думал: мы останемся вдвоём,

и я тебя увижу как невесту...

Но все могилы всех твоих обид

торчат, как вёрсты пушкинской эпохи.

Не верь, что так уж наши чувства плохи.
А если веришь, то Господь простит...

* * *

Я думаю, ты вряд ли позвонишь.
И дело не в любви и неприязни:
трусливая разъединяет тишь
два аппарата телефонной связи.

Непредсказуемость игры страстей –
сгоревшее реле у светофора –
разбрасывает в сторону людей,
любить бы и любить ещё которым.

Ах, пусть дождётся Страшного суда
души моей подстреленная птица.
Страшнее нету слова «никогда» –
не видеть, не звонить, не объясниться...

* * *

Как сладко всё опять начать сначала!
Все судьи спят, распущены суды.
Пускай, пока ты мне во сне вручала
верительные грамоты судьбы,
пришла пора всё начинать сначала.

Мне кажется, любовь – не ремесло,
наверное, она сродни искусству.
Бывает, что уменье – только зло
и надо просто доверяться чувству.
Тем более, любовь – не ремесло.

Я думал о тебе, что ты моя.
Мне помогала значимость момента,
мешали рукава истэблишмента,
в подъёме жали туфли бытия,
но думал о тебе, что ты моя.

Ранимость неустойчивой души –
всегда итог любовной неудачи.
Поэтому прошу тебя: спеши!
Прислушайся – я для тебя назначен.
К тому же – неустойчивость души...

Я слышу, как предчувствия мои
мне говорят, что жизнь являет милость:
я в двух шагах от пропасти любви,
от той, которой даже и не снилось.
Да здравствуют предчувствия мои!

* * *

Угрюмое вторжение декабря.
Нелепое вторжение печали,
когда мы в разговоре замолчали,
о главном так и не заговоря.

Быть может, напугали, как увечья,
изломы, предстоящие в судьбе.
Но как остановить своё предплечье,
которое так тянется к тебе?

В морзянке чувств, меж точек и тире
молчание весомее, чем слово.
И то, что между нами быть готово,
я думаю, случится в декабре...

* * *

Монеты слов текут из кошелька
и скоро кончатся – ни капельки не жалко.
Пусть мой разум отдохнёт слегка,
пускай на сердце снова станет жарко.

И я тебе не стану говорить
сто десять раз на дню одно и то же,
и нас тобой связующая нить
натянется чувствительней и строже.

Да и зачем нам, милая, слова?
Мы обо всём друг другу рассказали.
Моя к твоей клонится голова
не по одну ли сторону печали?

* * *

Твоё лицо нахлынуло в ночи –
продолговато, смугло, как у Блока,
с бездонными глазами, как у Бога,
хранящими всю мглу первопричин.

Мне – пять ночей, чтоб это пережить!
О, помоги мне, Господи, остаться
на этом свете, чтобы не казаться,
но чтобы мне на этом свете – быть.

Пуškai в ночи тогда напрасно ждут
твои так переменчивые лица.
Кто победил себя, тот не боится,
что утром палачи к нему придут.

* * *

Какая степень восхищенья
тебя достойна? Её нет.
И на какое преступленье
пойдёт из-за тебя поэт?

Да на любое. Всё порушу,
предам, зарежу, украду,
чертям отдам живую душу,
на всё, любимая, пойду!

Я проживу в одно мгновенье
всё, что положено в судьбе...

Какая степень восхищенья
доступна, милая,
тебе?

* * *

Мне трудно посредине жизни жить,
желать тебя, но так, чтоб не обидеть.
Как часто слово сладкое «любить»
имеет привкус слова «ненавидеть».

Любовь – борьба неравных наших сил,
итог её известен только Богу.
Напрасно я униженно просил
тебя вернуться к нашему порогу.

Как строг стал твой когда-то нежный взгляд!
Под ним любой одет не по погоде.
Так только нелюбимые глядят,
так только нежеланные уходят.

И где истоки будущих обид?
Зачем всегда запаздывает жалость?
Зачем в душе так ноет и болит,
как будто что-то в ней ещё осталось?

* * *

Пока я буду жить на этом свете,
я буду помнить сотканный тобой
ковёр любви из звонких междометий,
нелепо быстро вытоптанный мной.

Нам всё мешало навсегда расстаться.
Но я уже растрчивал слова,
чтоб быть таким, каким хотел казаться,
а впереди уже ползла молва.

Проходит всё.
Но наше расставанье
висит исподним на балконах дней.
Как будто наше первое свиданье
последнего значительно страшней.

* * *

Ухожу.
Не держись за прошлое –
миг прощанья неумолим.
Ты такая была хорошая,
что такой же будешь с другим.

Мне, наверное, нет прощенья.
Бог помирит меня с тобой.
Расставания – обновления,
даже если кому-то – боль.

Ухожу.
Облетают растения.
Ветер дует колючий, злой.
Обернусь.
Твоё платье осеннее
так трепещет,
а я – чужой.

* * *

Несхожая валентность наших душ
нас разделяет строже, чем граница.
Не потому ли хочется напиться,
чтоб размочить на сердце злую сушь.

Оживши, вскрикну: «Милая, прости!».
Наш треугольник – жёсткая фигура,
где я дурак, где ты, совсем не дура,
и он из тех, кого не обойти.

Прощальных слов рассыплется труха.
Зверёк души напрасно будет злиться,
что оставляет навсегда граница
его по эту сторону греха.

Валентине Синкевич

Моя перебесившаяся плоть
несёт душе покойное блаженство.
Божественное это совершенство
суетность чувств не может побороть.

Как в таинство бессмертья погружён,
я наконец-то вышел на дорогу,
ведущую не к вечности, не к Богу,
а просто к перекрестию времён.

* * *

Мы движемся от снов до полуснов,
мы кружимся, не расцепив объятий.
Круги мои твоих продолговатей,
я их сильнее растягивать готов.

О замкнутость круженья, ты велишь
в одну и ту же возвращаться точку.
Любимая, к стихам добавлю строчку,
и ты меня, наверное, простишь

за то, что я от наших полуснов
хочу уйти, хочу найти дорогу,

которая не возвратит к порогу,
к объятьям, где так много от оков.
Я ухожу. Меня не надо ждать.
Быть одиноким – вот удел поэта.
А сны мои – прощенье мне за это,
а полусны, чтоб это забывать...

*Из сборника «Вариант судьбы»
(Новосибирск, 2006)*

ОСТРОВ КИПР

Гряда камней – защита от прибоя.
Доплыть до них – какие пустяки!
Особенно, когда плывущих двое –
он и она, а сзади остров Кипр.

Огромный камень – царственное ложе.
За камнем море изумрудом волн.
Он и она – как их желанья схожи,
не море плещет – страсть бушует в нём.

Они легли, прижались, чтоб согреться,
их поцелуй вобрал морскую соль.
И у него вдруг так забилося сердце,
что ощутил желание, как боль.

А дальше кость грудная – в кость грудную,
и плоть одна в другую рвётся быть,
и, несмотря на камень, страсть такую
уже ничем нельзя остановить.

А в ста шагах купались и кричали,
пытался кто-то жестом одобрять,
и мимо проплывавший англичанин
советовал им дальше продолжать.

Потом он спал, она едва ль дремала,
как море были за грядой, тихи.
Потом она, привстав, ему сказала,
что не в него влюбилась, а в стихи.

Нет ничего грустнее – быть поэтом.
Стихи бы сжечь и – помыслы легки!
И чтоб любила женщина при этом
только тебя.
А сзади
остров Кипр...

* * *

Вообрази, что нет меня,
и что тебя со мною нету.
Ноябрьский ветер, леденя,
один свирепствует по свету.

Мне проще – меня просто нет.
А ты обязана уютиться
в скворечнике, где был поэт,
и жить в нём до весны, как птица.

Три зёрнышка, и ты сыта.
Звонок, и ты уже готова.
Жизнь удивительно проста,
когда есть цель и два-три слова.

Я жив, я жил ещё вчера,
и через день умру едва ли.
Ты только жди меня с утра –
нет ничего важней, чтоб ждали.

* * *

Т.

Ты красивая, умная, гордая.
Ты звенишь во мне колокольчиком
и живёшь совсем в другом городе,
и, смеясь, грозишь своим пальчиком.

Я не первый твой и не последний.
Но пока ещё, видно, памятный,
если мной и моими бреднями
в голове твоей мысли заняты.

Телефонная связь, как спасение,
но от зависти пусть отравится.
Я увижу тебя весеннею,
моё сердце совсем расплавится.

На Бакунина в старом городе
наша встреча с тобой назначена.
Ты приедешь красивая, гордая,
твои денежки все потрачены.

Мы займём у первого встречного
пятьдесят рублей до второго
и пропьем на пороге вечного...
Может, где-нибудь встретимся снова.

* * *

Судьба моя, не сотвори мне зла!
В который раз ты смерть отводишь мимо.
И жизнь вернулась, и душа взошла.
и прорастает именем любимой.

Судьба моя, не сотвори мне зла!
Пускай за радость мне придёт расплата –
не забирай лишь сразу, что дала, –
не трожь меня крылом своим, утрата!

Судьба моя, не сотвори мне зла!
Я верую: душа неистребима!
Пока жива – из глаз уходит мгла,
пока жива – и смерть проходит мимо.

Судьба моя, не сотвори мне зла!

* * *

Летай во сне, любимая, летай!
Бог сна легко тебе дарует крылья,
чтоб силы притяженья отпустили
тебя умчаться в виртуальный рай...

Летай во сне, любимая, летай,
хотя бы просто ради физкультуры!
Что наши жизни? – Две смешные дуры,
поставленные к пропасти на край.

Не бойся и не сотвори стыда
по поводу любовной неудачи
со мною, не нашарившему сдачи
тебе, мне не отдавшейся тогда!

И вообще не ставшая моей! –
Никто не знает, почему так вышло.
Играют мышцы, вздрагивает дышло
у двух приостановленных коней.

Вот с этими конями и взлечай,
пронзив закат малиновый, морозный,
и сам Господь насупленный, серьёзный
тебя пропустит в настоящий рай.

И в суете не видно и не слышно,
что я пытался тоже полететь.
Вот только жаль, что так мешает смель
нелепое между конями дышло.

* * *

Ты звонишь каждый день.
Отовсюду.
Телефон – твой спасательный круг.
Не возьму. Не отвечу. Не буду.
Хоть я вовсе не горд и не крут.

Даже дело не в том, что измена
подспела мне как поворот,
и не в том, что французская Сена
посредине Парижа течёт.

Нет, такое – не чёрная ссора,
не отказ посредине игры.
Это смерть посреди косогора,
это труп у подножья горы.

Не звони.
Я не вправе прощенье
раздавать. Я не вправе карать.
Не Христос, но – распят. Воскресенья
я не жду, и не хочется ждать.

Не звони.
Я болею падучей
или просто вошёл в эту роль.
Жизнь проходит сторонне, как случай,
вероятность которого ноль.

Жизнь проходит, являясь извечно,
как предательство, как суета.

Позвони.
Как далёкое нечто.
Как стихи, но с пустого листа.

* * *

Ирония, направленная вслед
моих подошв, препятствующих снегу,
и снег скрипит, как будто бы победу
меж нами празднует одна из наших бед.

Конечно, не победу над тобой.
Ты – вечность. Не поверженное знамя.
Меня давно уже съедает пламя,
а ты – заметишь дым лишь над трубой.

Ах, до чего скрипуч январский снег.
Морозы надоедливы, как слякоть.
И почему-то хочется заплакать,
когда услышишь сзади чей-то смех.

* * *

Моя жена – добрейшая из женщин –
мне повествует о своих делах.
Её слова, торжественны и вещи,
во мне уняться заставляют страх.

Кто знает, как она умеет это.
Я воспитаем, я уже смеюсь.
Раздвинув шторы, за добавкой света,
как в очередь, к окошку становлюсь.

И дураком к стеклу прилипши носом,
вдыхаю свет, прорвавшийся ко мне,
и ни одним нечаянным вопросом
я не пытаюсь помешать жене,

пока она – добрейшая из женщин –
молчит одним молчанием со мной.
На ароматах тополей замешан,
вплывает в окна вечер голубой.

ДАВАЙТЕ ЗАВЕДЁМ РОМАН!

Давайте заведём роман!
С гуляньем за руки, с цветами,
Друг к другу тайными звонками...
И чтоб не вырос между нами
ни Ваш, ни мой самообман.

Давайте заведём роман!
Хмельной, с поездками к цыганам,
чтоб каждый был беспечно пьяным,
но всё равно любимым самым
под пенью страстное цыган.

Давайте заведём роман!
С поездкою в деревню к маме,
с её встречальными слезами.
Чтоб с сеновалом. С петухами,
что будят рано по утрам.

Давайте завёдем роман!
С коварством, с ревностью, с изменой,
с разбрызгиваньем крови венной,
с попыткой к бегству из Вселенной
и возвращеньем только к Вам.

Давайте заведём роман!
Роман, озвученный стихами,
как будто бы не между нами,
а между мыслью и словами,
как удаётся только снам...

*Из сборника «Способ бытия»
(Томск, 2011)*

ВОСПОМИНАНИЕ О БЕЛОМ ТЕПЛОХОДЕ

Не трепещите, сердце! Всё устроит клир,
когда о смерти речь. А если о надежде?
Есть жизнь, любовь, а с ними вечный мир,
но что из них ко мне явилось прежде?

Я знаю, что любил сто тысяч лет,
кого – не помню, только верю – всё же
для любящих зажжётся тот рассвет,
когда мы станем зрячи и похожи.

Не трепещите, сердце! Жизнь вот-вот пройдёт,
и в руки перестанут плыть удачи,
как в Хайфу с Кипра белый теплоход,
где на корме поэт зашёлся в плаче.

От жизни полноты – не более того!
Прекрасные мгновения уходят
трепещущего сердца моего,
плывущего на белом теплоходе.

МАРТ

Как хорошо быть смелым и умелым,
без зависти, не совершать грехи,
пусть даже глупым занимаясь делом –
писать стихи. Опять пишу стихи.

И надобность единственная гложет:
быть одному, и чтобы чистый лист,
и чтоб жена не досадила тоже,
зимою я индивидуалист.

Но как-то надо с мокротой душевной
до осени далёкой завязать:
ведь в марте свет пронзительный и гневный,
что в полдень уже хочется летать.

И я взлечу, не дожидаясь лета,
жена сварливо вскинет кулаки.
Я счастлив, что весны дождался света,
поэтому прощайте, старики!

* * *

Январь.
Свирепствует мороз.
Зима садится, опустив закрылки
на лики опушённые берёз,
на наши поседевшие затылки.

А воздух, как разлитая печаль,
как неизбежность боли входит в горло.
В такое время всех живущих жаль.
Не от того ль в груди дыханье спёрло?

И эта жалость, как бывшая страсть,
когда до неприличия был молод,
не позволяет в снег спиной упасть,
чтоб испытать последний в жизни холод.

Была ли жизнь? И был ли белый свет?
А те, кто был, на самом деле были?
Жаль не того, что крыльев больше нет,
а жаль того, что были эти крылья.

УСПЕТЬ БЫ

Успеть бы спеть, да горло пережато,
сказать успеть, да высох мой язык.
Успеть в любви, да полька Малгожата
всё в Кракове живет, я от неё отвык.

Мне не нужны моления и прощенья
за миллион моих смешных грехов.
Да и какие, к чёрту, прегрешенья
произрастают из стихов?

Я успевал приблизиться к удаче
и не стеснялся жить в своей стране.
По грошику накопленное счастье
вскипало вдохновением во мне.

А горько мне не от того, что старость,
колени ноют, и ботинки жмут.
Чего ж такое время мне досталось:
одни молчат, другие снова врут.

Вершится слов означенных мельчанье,
а прочие растут и горло жмут.
Рычанье происходит из молчанья,
ну как из гнёта вырастает бунт.

И не прошу тебя, великий Боже,
отсрочить неминуемую смерть.
Я верю в сердце. Лишь оно поможет
успеть сказать, решиться и посметь.

ТОМСК

Мой нарядный, любимый, заносчивый Томск,
ты, как вечный студент, вне старений.
Как стареть, если ты как связующий мост
для живущих в тебе поколений!

Хорошеешь, растёшь, видно, скоро тебе
говорить будут «Ваше величество!».
Скольким людям был главным в их личной судьбе,
а живёшь, говорят, лет четыреста!

Ты бы мог, говорят, и столицей стать,
всю Сибирь возглавлять и округу.
Не жалеи! Но зато мы не станем считать,
кто был больше привязан друг к другу.

Я люблю над обрывом твой Лагерный сад,
Томь, Почтамтский проспект с чувством меры.
Твои храмы в беззвучном восторге стоят,
как подростки в предчувствии веры.

И пока терема твои радуют глаз,
Воскресенскую гору не срыли,
Томск, пожалуйста, помни о нас,
кто живёт, будет жить, или жили.

О ЛЕВИТАЦИИ

И было первое июня,
был день из солнца и тепла.
И только город, вечный нюня,
терял знакомые тела.

И мы не просто уходили
сквозь городскую суету –

мы, нелюбимые, любили
и каждый, кажется, не ту.

Зачем ты потерял нас, город,
весёлых, дерзких, молодых?
Всю жизнь испытывали голод
по людям из пород таких.

Всю жизнь мы ждали и искали
не ждать кого бы, не искать.
И все над Витебском летали,
обретши свойство тел летать.

С тех пор всегда начало лета
как тайна чувств, как ворожба,
как предстоянье для поэта
и как дальнейшая судьба.

Неумолимое кадило
внутри затянет и во вне.
И что осталось то, что было
спустя лет сорок пять во мне?

БЕЛЬЧИКОВ

Любимая! Останься на века...

Владимир Бельчиков.

Удивлён, жизнерадостно честен,
не сказать, что в себя углублён,
он был в Томске настолько уместен,
что немного и Томском был он.

Кто, как он, у любимой попросит,
чтоб осталась она на века?
Кто вошёл по-мальчишески в осень,
и бравируя этим слегка?

С близорукой улыбкой нанайской
кто ж теперь по Тверской пробежит,
чтобы в церковь поспеть на Алтайской,
чтоб успели за нас отслужить –

за поэтов-друзей и за близких...
Торопясь, беспокоясь, он жил.
Я поклон тебе шлю самый низкий,
не костей не жалея, ни жил!

О тебе будут помнить, Володя.
Ты ушёл. Станет в жизни темней.
Что ж поспешно так в нашем народе
гаснут лики любимых людей?

*Из сборника «Среда»
(Томск, 2013)*

* * *

Ледоход на Томи. И я мысленно с ним.
Подмывает туда устремиться,
где звериное шествие вздыбленных льдин
да внезапно возникшие птицы.

Ледоход. Он как жизнь: не воротить назад,
своё русло пройдёт без утайки.
Знать бы, льдины о чём меж собою шуршат,
да кричат ошалевшие чайки.

* * *

Сорок лет мы с тобою приятели, Томск,
с абитуры гулять пристрастился,
от ростральных колонн, обозначивших мост,
чтоб в Ушайку трамвай не свалился,

до обрыва к Томи – там, где Лагерный сад,
полчаса прошагаю, как в гости,
по пути наполняя в душе тихий сайт
о возлюбленном городе Томске.

Томь-река – под обрывом, за нею простор.
И – восторг, и мурашки по коже...
Жить и жить бы ещё, ну хотя бы лет сто –
всё равно не нажился бы тоже.

А прогулка даёт новый импульс крови,
и опять я бесстрашен и молод.

Город встреч и потерь, город первой любви,
жизни всей моей прожитой город.

Мы ещё поглядим на твои купола!
Мы ещё погуляем беспечно.
От тех мест, где весенняя юность цвела
и до тех, где мы ляжем навечно.

Но по нам, уходящим, ты, Томск, не грусти,
праздник жизни в тебе – нескончаем.
Скольким людям тебя предстоит обрести!
Вот наступит зима – подсчитаем.

УНИВЕР

От Никитки мы утром бежали
через площадь, потом через сквер –
в рощу, где мы слегка остывали
перед тем, как войти в универ.

Только так мы его называли,
уважая, но как своего,
в дверь пинали и с лекций сбегали –
старшекурсник – не больше того!

В Томск приехав почти что подростком –
каждый гений, драчун, пионер.
Ах, соблазны весеннего Томска!
Были... было... Но спас универ.

Но как быстро нас жизнь пролистала!
Только в памяти лица друзей
тех, кого по земле раскидало
и кого уже нету на ней...

Вниз спускаясь по улице длинной
вдоль ограды, которой сто лет,
слева вижу сквозь рощу старинный
и надменный его силуэт.

Он по-прежнему строен, изящен,
в нём порода с годами видней.

Он для многих – судьба – настоящая,
позолоченных судеб важней.

Провожая коллег в «Белом ангеле» –
от него через внутренний сквер –
я молюсь за живых, за преставленных.

В душах тех и других – универ.

КАМЕННЫЙ МОСТ

Цесаревичу строили мост.
А недавно понятно мне стало,
что с него начинался мой Томск,
да и дальше встречались, бывало.

В мою юность приходит он там,
где торчат универские кровли,
там, где в роще старинный фонтан
был ещё до вождей установлен.

Где я, вечно голодный студент,
тем вождям по наивности верил.
Но настал неизбежный момент
и за мною захлопнулись двери.

Мост не дал нам пропасть на миру –
у него все опоры надёжны,
чтоб могли мы придумать игру,
и сыграть на судьбу стало можно...

Каждый день – как не кормленный тигр,
каждый день так, как выпадет карта.
Мы попались на времени игр
беспощадных, нечестных, азартных...

Снова выручил Каменный мост,
отправляя почаще к истокам,
где насмешливый, старенький Томск
сам для всех нас являлся уроком.

Сколько раз, деревянный, горел!
Сколько раз он был хамски унижен!

Но отстраивался и каменел
и умнел, становился престижен.

И, когда я расправлю канву
моей жизни, чтоб прямо лежала,
то окажется, что я живу
на мосту, где есть только начало.

И куда он меня приведёт,
мост из юности, сказки, из песни?
Знаю лишь, что тому, кто идёт,
помереть-то и то интересней!

* * *

Был ужас двухнедельного дождя,
кипело в каждой луже, как в кастрюле,
вода во всё въедалась не щадя.
Происходило это всё в июле.
Спасал шатёр, провисший, словно цирк,
ряд столиков, залитые сиденья,
угрюмый бармен, стойки тусклый цинк
и ожиданье чуда появленья.
Но, видимо, опять ты не придёшь.
Я встану с неуютного сиденья,
на стойку брошу сиротливый грош
и молча в дождь шагну из заведенья.
Пойду без цели, как бездомный пёс,
дрожа от одиночества и стужи
и чувствуя в душе такой мороз,
что по пути затягивает лужи.

Виктору Колупаеву

Мы сидели на Кирова в сквере.
Временной ли, пространственный пласт
ты словами скреплял. Я поверил,
хоть и знал: Колупаев – фантаст.

Это было в двухтысячном. Летом
бабьим. Да и под вечер чуть-чуть,
и со мной, неизвестным поэтом,
говорил ты – великий молчун.

Пива выпили мы немного –
две бутылки, из них, – прости! –
полторы выпил я. Нестрого
ты смотрел, хоть и не пил почти.

Как добрался умом до выси,
от которой, наверно, угас?
И какие великие мысли
ты молчал среди суетных нас?

Нет у времени памяти. Может,
у пространства? Да кто же поймёт?
И зачем до сих пор меня гложет
разговор незаконченный тот?

Ул. СОВЕТСКАЯ, 99

Вечер. В окнах дождь обещанный,
хорошо хоть не с утра.
И всё ходит, ходит женщина
по периметру двора.
Бродит под чужими окнами,
дождь осенний – без конца.
Без зонта. Совсем промокла,
капли, слёзы ли с лица.
Шляпка – мокрая тарелка,
взгляда фиговый листок.
Такса с ней, собака мелкая,
вьётся у печальных ног.

Не собаку же выгуливать
блажь пришла, не погулять,
когда капли – злые пули
решетят и решетят.

Драма обрастает знаками:
задник, залитый дождём,
ближе – женщина с собакой
в ожидании своём.

Ночь, как занавес, спускается.
Сцену накрывает мрак,

и душа моя сжимается
и за женщин, и собак.

* * *

Октябрь.
Скоро, очень скоро
период летний завершится мой.
Железный бак для уличного сора
заполнен жёлтой городской листвой.

Берёзы с липами так непривычно голы.
Стоят, грустя, с поджатою ногой.
И только рядом у соседней школы
весёлый гул с забегами гурьбой.

Да я стою недалеко от бака,
красивым мусором сейчас заполнен он,
что, не обнюхав даже,
прочь бежит собака,
которой прежде был он стол и дом.

Как хорошо, что время вне печали!
Похожий на листвой забитый бак,
дождусь ли я, чтоб мне в конце сказали:
любил он осень, женщин и собак?

Эдуарду Бурмакину

Октябрь. Въедливая слякоть.
Листва последняя летит.
Души израненная мякоть
всё кровоточит, всё болит.

А ветер грубо, приставуче
рвёт полы тонкого пальто.
И это есть тот самый случай
сказать, что живы мы зато.

Мы вовсе не сродни природе –
зимой она почти мертва.
А вот у нас, назло погоде,
душа озябшая жива.

НА ВОСЬМОМ ЭТАЖЕ

Понимаешь, меня уже нет.
Будет утро. – Я верю знаку. –
На восьмом этаже мой флегматик-сосед
хлопнул дверью и вывел собаку.

Тихо лифт зашуршал. А меня уже нет.
Где я, где вы и мир мой, ну где ты?
Где бумага, вопрос мой, и где мой ответ,
где друзей моих близких советы?

Ничего. Только утро. А я неживой.
Никогда не проснусь. Не оттаю.
Друг родной и единственный мой!
Что мне делать теперь? Я не знаю.

Понимаешь, меня уже нет.
Я сожжён, распылён, отозвонен.

Ты не верь в этот майский клокочущий свет,
просто нет меня. Я похоронен.

Снова лифт зашуршал. Мой вернулся сосед,
и собака вернулась,
привычно
не облаяв меня, не обнюхав мой след,
не заметив меня, как обычно.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ РОЩА

(рефлексии старшего преподавателя)

Подхожу зимним утром
к уснувшей заснеженной роще
и сквозь ветви берёз
различаю родной силуэт.
Словно кистью судьбы моей
строго исполненный росчерк –
абрис формы классической:
белый на белом –
Университет.

Томск меня подтолкнул
резким шумом проспекта – в ворота,
и тотчас все мирские заботы
как ветром сдувает с меня.
И хотя предстоит впереди
непростая работа,
я иду, предвкушая удачи
и трудности нового дня.

Я, конечно, управлюсь
со всеми своими делами,
дал бы Бог уберечься
подольше от чаяемых бед.
Я не просто живу,
но я горд, что работаю в храме,
в храме формы классической:
белый на белом –
Университет.

И со мною младое, до слёз,
устремляется племя,
и, как только вольюсь через двери,
подхваченный радостно им,
метроном в моём сердце
начинает отсчитывать время –
Vita Nova.
И, Гаудеамус,
оно совпадает с твоим!

Возвращаясь с работы
опять по артерии главной
вдоль ограды старинной,
которой не меньше ста лет,
слева долго во взоре
ещё сохраняю державный
выше елей взметнувшийся
белый на белом –
Университет.

ДЛИННЫЙ ФЕВРАЛЬ 2005 ГОДА

Я просыпаюсь в предрассветный час –
зовётся: «между волком и собакой» –
и почему-то ощущаю всякий раз,
что был помят во сне хорошей дракой.

Дерусь во сне, а в жизни – не драчун,
мне в этом мире жалко тварь любую.
Я никого обидеть не хочу,
особенно в такую стужу злую.

Но вряд ли в мире меньше станет зла,
когда во сне лишь я дерусь за это.
Пора вставать. В окне синеет мгла
тягучего февральского рассвета.

Потом, как в ужас, выйти на мороз,
где люди – вопросительные знаки,
в страну заиндевелую берёз,
где мёрзнут все: и волки, и собаки.

УТРО В ДЕРЕВНЕ

По крыше дождь – как снотворное,
с утра – небосвод голубой.
Проснуться в деревне – здорово,
особенно рядом с тобой.
Мой дом из сухого дерева,
он молод, ему двадцать лет,
он думает, что ты стерва,
а я улыбаюсь: «Нет».
Ты просто – райская птица,
ты в доме, как в клетке, живёшь.
Он только тебя боится,
он думает: подожжёшь.
Печалится, что из дерева
и жил-то лишь двадцать лет,
и думает, что ты – стерва,
а я улыбаюсь: «Нет».
Жалуется соседям,
что тянешь меня в города,

боится, что мы уедем,
и я улыбаюсь: «Да!».

* * *

Моя рябина во дворе
цветёт бледно-зелёным цветом.
Как я, намёрзлась в январе
и отогреться хочет летом.

Ах, лето! Милостивый Бог,
его даруя, отбирает.
Я отогреться сам бы мог,
да вот душа не успевает.

И, как рябина у крыльца,
цвету бледно-зелёным цветом.
Моя душа, её пыльца
витают над коротким летом.

МЕСЯЦ МАЙ

Как долго был я вял, капризен, скушен!
Всё это стало литься через край.
Но что теперь тревожит сладко душу?
Пришла весна! Благословенный май.

Ах, месяц май! Чисты твои восходы,
оранжевых закатов яростный цвет.
И первые уходят пароходы
вниз по Оби, конца которой нет.

Старею. Становлюсь сентиментален.
А в эту пору надо бы уметь
отбросить посторонние детали
из всех желаний, чтобы только – сметь.

Сметь дерзко, необдуманно влюбляться.
Не верить, что у жизни есть конец.
И над своей же глупостью смеяться,
как не смеётся ни один глупец.

* * *

Волны. Галька в лохмотьях пены.
Ветер врёт про свои дела.
За рекою плачут сирены
в ритме всхлипывания весла.

Плач их в эту пору заката –
будто сладкий призыв к тебе.
И на лодке плывёшь куда-то,
может, даже к другой судьбе.

* * *

Туман. К воде ведущая тропинка.
По щиколотку топящий песок.
Июль. Рассвет. Деревня Половинка,
и – Обь у ног.

А под лопаткой сладкие мурашки
от предстоящей зорьки внутрь идут,
а полы незастёгнутой рубашки –
как флаги, подающие салют.
И вот я на реке, несущей к Богу
себя, дождями налитой по край.
А сам Господь, даруя мне дорогу,
как посуху, ведёт в туманный рай.

* * *

Живая граница песка и воды
туда и сюда постоянно смещается,
а волны спеша замывают следы,
и лодка слегка за мостками качается.

Приплывший на лодке старик рыболов
повыше свои раскатав голенища,
задумчиво чистит нехитрый улов,
а птицы кричат, как крикливые нищие.

Старик, свою рыбу промыв изнутри,
с корзиной и вёслами вверх поднимается.
И рыбки по волнам плывут пузыри,
и с воплями чайки за ними бросаются.

* * *

Клочки тумана поплавок скрывают
лишь изредка, чтоб оживить сюжет,
в котором, может, рыба проплывает
и думает: клевать ей или нет.

Раздумала. И, сам с собой судача,
тру между пальцев сорванную сныть.
Ах, жизнь моя – редчайшая удача –
ведь так легко могло тебя не быть!

А так – речная заводь, утро, лето.
Сегментик солнца вспыхнул за рекой.
И всё дано тебе задаром это,
осталось только сделать шанс судьбой.

* * *

Не вольны мы. Не вольны наши тени.
Вольна вода касанию весла.
Утоплен подбородок твой в колени.
Весна воды. Но поздняя весна.
А я гребу, как узник на галере.
Два метра до колен твоих и плеч.
Прости, Господь, я изменил бы вере,
чтоб только чувством меры пренебречь!

Но лодка, как таможня, как граница
разъединяет, не сближая нас.
Мой дерзкий штамм хотел к тебе привиться,
но веточка, увы, не принялась.

Невольны мы. Вольны лишь наши души.
Но даже им не суждено понять,
что лишь любовь легко тебя задушит
и с любопытством воскресит опять.

РЕКА

Виктору Астафьеву

Она как будто даже не текла.
Она стояче пробиралась между

кочкарника, застрявшего ствола,
но всё-таки предчувствуя надежду
вдруг вырваться на галечный проток,
чтоб камни вдруг ожили под струёю,
а дальше – прямо уходя и вбок,
прорвать прижим и вырваться Рекою.
И вечно течь. Чтоб только океан
мог встретить страстно, жаростно, жестоко.

Мы все умрём от юношеских ран,
что получили в галечных протоках.

* * *

Бушует август.
Лисья морда осени
коварно промелькнёт то там, то тут,
но ещё скулы летом перекошены,
глаза по-летнему всё ищут и всё ждут.

Ещё горит надежда на безумие.
«Прощай, любовь...» – не прав ли Беранже?
Но вот сентябрь.
К забытой летней сумме
нам не добавить ничего уже.

Ах, милая!
Не рано ль мы забросили
попытки навсегда сойти с ума?
И тычется мне в душу морда осени,
а там, я чувствую, – давно уже зима.

* * *

И снова август.
И крадётся осень
бесшумно и коварно, словно рысь.
Берёзы зажелтели между сосен,
и комары совсем перевелись.

Под вечер опускается прохлада
и, как сосед, заходит на крыльцо,
а там витают ароматы сада
и запах малосольных огурцов.

Отужинавши молодой картошкой,
из дому выйдешь на небо взглянуть.
Так вызвездит, что в ближний лес дорожку,
как лампа, освещает Млечный путь.

* * *

Осень – солнечное создание –
шепчет в окна мне: «Отвлекись!».
Шлёт мне шёлковые послания,
жёлтой краски набрав на кисть.

В беззаботной улыбке осени –
обещанье отсрочки зимы.
Рано летние игры забросили,
зря не любим друг друга мы.

От охапок жёлтого света
до пронзительной синевы –
столько в осени много лета,
сколько в кронах берёз листвы.
Час не пробил для покаяния!
Перед смертью бушует жизнь.
Осень, солнечное создание,
жёлтой краски берёт на кисть.

* * *

Покой земли.
Воскресная удача
его понять, почувствовать, принять.
Деревня Половинка. Осень. Дача,
где жизнь моя течёт как будто вспять.

Заметно молодею.
Дура-старость,
сегодня мне с тобой не по пути!
Ах, как берёза во дворе старалась
последней жёлтой вспышкой расцвести.

Спасибо, милая!
Тебе я тоже внемлю,
как всем лесным друзьям моим окрест.
Будь я жених, я б эту выбрал землю
из всех судьбой предложенных невест.

И лёг бы здесь навеки под берёзой
красивым, мускулистым, молодым...
Напрасно только выбивает слёзы
костров осенних приставучий дым.

ОБЬ

И как будто и не было лета –
заманило и бросило там,
где дожди, как плохая примета,
неотступно идут по пятам.

Да к тому ж постоянная сырость –
основная среда для тоски.
Пеленой сероватой покрылась
середина великой реки.

И последние грустные птицы
левым берегом тянут Оби.
Даже если захочешь влюбиться,
то душе не прикажешь: люби!

Потому что закончилось лето.
Зиму как-нибудь переживи,
чтобы март – как рождение света,
а апрель – как рожденье любви.

* * *

Октябрь. Распутица, и на дворе сквозняк,
деревья голы, пропускают ветер,
и солнца диск как будто бы иссяк:
совсем не греет и почти не светит.

Возврата к сказкам лета больше нет.
В берлоги скоро лягут василиски.
Вот-вот покроет все деревья снег,
и все они замрут, какobeliski.

Печь затопить, потом свечу задуть,
мечтать на неразобранной постели,
что хорошо бы тоже мне уснуть
и спать, пока не стихнут все метели...

Тогда вселенский рассосётся сплин,
проснувшись, некто выйдет из берлоги,
чтобы увидеть солнца жёлтый блин
и промочить свои босые ноги.

* * *

Зажгите звёзды, погасите свечи,
коснитесь лбом холодного стекла.
Как быстро наступает зимний вечер,
как быстро наша молодость прошла!

Вон в небе путь проглядывает Млечный,
и в сердце холод продолженьем тьмы.
Конечно, жизнь – поток являет вечный,
вот только жаль, что в нём не вечны мы.

Мы все частицы вечного стремленья
рассеять мрак, дать жизнь своим мирам.
Ах, скольким ещё вспыхнуть поколениям
и скольким ещё гаснуть, как и нам!

Стекло в окне остудит лоб горячий,
и голос бездны снова станет тих.
Как горько, что не может быть иначе,
что мы не больше, чем один из них.

Не главное ли нам предназначенье:
исполнить жизнь, дать продолженье ей?
Бушует в окнах зимнее свеченье.
Не потому ли грусть ещё сильнее?

* * *

Метёт, по-прежнему метёт!
Какое чудное ненастье,
когда зима насыплет счастья
и все дороги занесёт.

Я буду жить совсем один
в засыпанном по крышу доме,
без мыслей глядя, словно в коме,
на жизнерадостный камин.

И жизнь как будто не идёт,
наоборот пошла на вычет.
Лишь ставень в раму тычет, тычет...
Метёт, по-прежнему метёт.

* * *

Вдруг ослаб утомительный холод.
На кустах воробьи да синицы,
пережившие холод и голод,
веселятся, как райские птицы.

Словно больше не явится стужа,
и весна обувает галоши,
чтобы топтать по собственным лужам
и самой себе хлопать в ладоши.

Это скоро уже приключится,
ползимы лишь осталось до марта.
Только б выжили райские птицы,
да со мной не случилось инфаркта.

Михаилу Андрееву

МЕТЕЛЬ

Метель! Как здорово, ей-Богу,
идти, отворотив лицо,
ногами находя дорогу,
уткнувшись, наконец, в крыльцо.

И, снег стерев с лица ладошкой,
в избу, как в тёплую купель,
войти и кинуться к окошку:
какая чудная метель!

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

О праздники начала января!
Я буду юн, беспечен, новогоднен.
На маскараде, будто сотворя,
найду тебя в наряженном народе!

Как Ариадна, ты мне бросишь нить,
лукаво маску сбросив на минутку.
Без масок очень трудно полюбить,
но мы полюбим, вопреки рассудку.

Я буду очень трепетно любить,
как ёлку, нарядив тебя словами.
Мы будем жить, мы будем долго жить,
глаза в глаза, соприкоснувшись лбами.

И мы тебя, зима, переживём!
О, мы ещё достойно встретим лето,
и вместе в сказки августа уйдём,
и будем жизнь благодарить за это.

А в сказках вознесёмся в небеса –
такая в души снизойдёт отрада.
Взглянуть бы Богу в серые глаза
и вновь упасть в объятия маскарада!
Прости, Господь!

* * *

Ну и ладно! Высокой не будет судьбы.
Будет дом, будет дым из кирпичной трубы,
и – поленья гореть, обращаясь в тепло,
будут так, чтобы было на сердце светло...
Но, наверно, высокой не будет судьбы.
А хотелось бы выше взлететь городьбы,
устремиться бездумно в небесную высь,
куда искры из печки уже поднялись,
рассмотреть на земле потаённую пядь,
где захочется мне и тебе умирать.

* * *

Возвышенность – невольная черта
ландшафта или вдохновенья.
Топтать газон, не делать ни черта
и брать тайком у птиц уроки пеня.

Потом упасть на рыжую траву,
глазами в кроны сосен упираясь,
и чувствовать всем телом, что живу
и умирать пока не собираюсь.

Не вошедшее в сборники

НАЧАЛО ВЕСНЫ

Андрею Груздеву

Неясные, зыбкие сны
в начале апреля приходят,
хотя и прохладно в природе
и реки в плену у зимы.

Утрами, лишь только проснусь,
я сны эти вспомнить пытаюсь.
Но то ли склероз, то ли старость,
пойду-ка я лучше пройдусь.
И, ветру подставив плечо,
я выйду в подтаявший город.
Конечно, мне семьдесят скоро,
но кажется – двадцать ещё.

Меня, может, женщина ждёт,
я, может быть, ей интересен.
А Груздев напишет мне песню
и сам же её и споёт.

О том, как рассветные сны
в начале апреля приходят,
как зимы ворчливо уходят,
как реки текут из весны.

Н. К.

Таких, как ты, конечно, не бывает.
Ты – экзальтация.
Ну, хочешь – всплеск породы.
Я часто вру, но иногда бывает,
что я вранья, как боли, не терплю...

Петербургские эскизы

ВЕРФИ

Речка Пряжка. Фонтанки устье.
Нет бутиков и ресторанов.
Украшают моё захоlustье
птичьи шеи портовых кранов.

Рядом море, и верфи рядом,
где когда-то кричал сердито
Пётр Великий о том, что надо
делать шхуны, а не корыта.

Но сейчас никого не слышно,
ни царей, ни бояр, ни присных.
Встали верфи, и это вышло
в декабре, где-то в первых числах.
Говорят, их в Кронштадт ссылают.
Места в городе не хватает.
Понастроят краснокирпичных
для богатых домов отличных.

Так что, верфи мои, прощайте!
Птичьи шеи под крылья спрячьте.
Или лучше на юг улетайте,
а по Питеру – что ж! – поплачьте.

Речка Пряжка, Фонтанки устье,
да и я – мы осиротеем.
Хоть и станем не захоlustьем,
а районом для богатеев.

7.02.12

АРИТМИЯ

Дёргает что-то сердце
жилку в виске неритмично.
Мне бы успеть одеться,
выйти во двор прилично

и добрести до Фонтанки,
точнее, до парапета,
бросить в воду останки
чувств и дожить до рассвета.

Времени бы хватило
всё прокрутить сначала.
Как ты меня схватила,
как ты не отпускала.

Выпила всю до капли
жизнь в сумасшедшем темпе.
Это любовь, не так ли?
Трудно быть в этой теме.

Особенно, если годы
лезут меж рёбер наружу.

...Господи, сколько народу!
И это с утра и в стужу.

13.02.12

ХОЛОДНО В ПЕТЕРБУРГЕ

Я хожу в тёплой куртке и свитере.
Мешковат, не хватает беспечности.
В феврале очень холодно в Питере.
Жжёт лицо. Подмерзают конечности.

И Фонтанка замёрзшая. Белая.
Только изредка люди с собаками.
Да какая-то птица умелая
снег покрыла следами, как знаками,

начертила письмо – всех касается.
Одиноко ей, холодно, голодно,
ну как всем в этом северном городе.
Только кто в этом честно признается?

13.02.12

ФЕВРАЛЬ

Снег идёт сквозь чёрные деревья,
в окна серый тычется февраль.
Отодвинув штору, поглядел я
на дорогу. Чувствую, что жаль.

Жаль машины, мнущие снежинки,
жаль в машинах едущих людей.
Ах, февраль, справляешь ты поминки
по зиме – владычице твоей.

Этим снегом падающим плачешь,
что уходишь в прошлое, и жаль,
что нельзя переменить иначе
то, когда конец зимы – февраль.

Сквозь деревья, меж домов, на крыши
снег идёт, как самый близкий друг.
Скоро, снова зиму переживши,
встрепенётся стылый Петербург.

14.02.12

УТКИ

На льду на Фонтанке утки,
и нету воды открытой.
За сутками следуют сутки
жизни холодной, насытой.

Жалость невыносима.
Февраль оказался лютым.
Люди проходят мимо –
одеты тепло, обуты.

И смотрят на птиц равнодушно,
как на любых бездомных.

У уток такие же души,
как у друзей, у знакомых.

А может, ещё нежнее.
Сегодня мне будет сниться,
как прячут под крылья шеи
озябшие серые птицы.

Оттепель марта, где ты?
Как уткам бы не помешала!
А в мае дождёмся лета
и белых ночей начала.

19.02.12

КОМАРОВО

Первый раз проживаю достойно.
Белый снег. Комарово. Февраль.
Мне возвышенно здесь и покойно.
Не грущу. Не жалею. Не жаль.

Лишь Иван Николаевич Овинцев
хмыкнул, полный мне дав пансион.
Мол, писателем каждый становится
здесь, хоть не был писателем он.

Да тем более номер двенадцатый:
люкс, просторно и первый этаж.
Только боязно всё же вселяться,
ну, как в Лувр, как в Дорсэ, в Эрмитаж.

Но вселился – докладывать смею вам.
И зима за окном расцвела.
Ах, спасибо Вам, Анна Андреевна,
что писала, любила, была.

От души вы могли бы смеяться
на мою запоздалую роль:
снова в номере Вашем двенадцатом
проживал сероглазый король.

Из далёкого города Томска
неизвестный, но гордый поэт
счастлив был, что разглядывал сосны,
те, что с Вами встречали рассвет.

Счастлив был, что не надо тревожиться
о конечности жизни земной,
что судьба неминуемо сложится
так, что он не захочет другой.

27 февраля 2011 г., Комарово

Тамара КАЛЁНОВА

- По следу Рыбки 5
Деревянный маузер 72

Сергей ЗАПЛАВНЫЙ

- Крылья Карлыгаша 133
Марейка 146
Стихотворения 249

Владимир ШКАЛИКОВ

- Сказочно правдивая история «О СОЗДАТЕЛЯХ»
для кое-что понимающих в компьютере
и кое в чём другом 293

Николай ИГНАТЕНКО

- Стихотворения 379
-

Библиотека томской поэзии и прозы

Том 2

Тамара Александровна Калёнова
Сергей Алексеевич Заплавный
Владимир Владимирович Шкаликов
Николай Алексеевич Игнатенко

Координатор, разработчик проекта,
редактор книжной серии *Г. К. Скарлыгин*

Технический редактор *О. В. Карташов*

Корректор *И. А. Сердюк*

Издание Томской писательской организации.
Отпечатано в ООО «Томская полиграфическая компания».

Подписано в печать --.--.2018 г. Печать офсетная.

Формат 140×240 мм. Шрифт Cambria.

Усл. печ. л. ____. Уч. изд. л. ____. Тираж 1 000 экз.